ISSN 0130 – 6545

11 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Взрыв.

Цветные иллюстрации номера — работы ливанского художника Миледа Бутроса Авайда

(Из серии «Ливан вчера, сегодня, завтра»)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1985

Содержание

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО — Любовь в тени и под солнцем *(Роман. Перевод с испанского Юрия Павлова)* 3

СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК — Totentanz in Polen *(Перевод с польского Асара Эппеля. Послесловие Льва Гинзбурга)* 89

ДРИСС ШРАЙБИ — Расследование на месте *(Роман. Окончание. Перевод с французского Валерия Орлова)* 106

К 150-летию со дня рождения

МАРК ТВЕН — Три тысячи лет среди микробов *(Фрагменты повести. Перевод с английского Людмилы Биндеман. Вступление Ю. Ковалева)* 151

Критика

Идеологическая борьба и литература

Л. ФЕДОСЕЕВА — А все-таки она читается! *(Заметки о том, кто и как читает сегодня на Западе советскую литературу)* 182

С. ПРОЖОГИНА — В поисках настоящего времени *(О творчестве Дрисса Шрайби)* 190

Наши публикации

МЕША СЕЛИМОВИЧ — Воспоминания *(Фрагменты книги. Вступление и перевод с сербскохорватского Александра Романенко)* 196

Заметки писателя

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Реальность и художественное воображение *(О творчестве Йордана Радичкова)* 204

Публицистика

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН — Из уст очевидцев *(Заметки на полях книги С. Теркела)* 212

АТТИЛА ЗОМБОРИ — Дело о похищении картин *(История расследования. Фрагменты книги. Перевод с венгерского Ф. Лукьянова и В. Сергеева)* 223

Наши гости

Б. Хлебников — Ганс Петер Блойель и Йохен Кельтер (ФРГ) 222

Л. Васильева — Костас Асимакопулос (Греция) 239

Антирубрика

Научно-фантастические рассказы

ЯРОСЛАВ ВЕЙС — День на Каллисто стоит года на Земле *(Перевод с чешского Е. Ц. Аронович)* ✦ РЕДЖИНАЛД БРЕТНОР — Корень зла. РИЧАРД УИЛСОН — Подвижник Гарри — виновник «утечки умов». ЭДВАРД Д. ХОК — Самый лучший зоопарк *(Перевод с английского Анатолия Мельникова)* 241

Из месяца в месяц

250

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы ливанского художника МИЛЕДА БУТРОСА АВАЙДА: «Призыв», «Проводы бойца Сопротивления».

© «Иностранная литература», 1985

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО

Любовь в тени и под солнцем

РОМАН

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

О человеке можно составить четкое представление, узнав ответ на три вопроса: с кем он порвал, с кем спорит и с кем соглашается.

Пал Рез

Меняется погода — и человек меняет историю своей жизни и свои ботинки.

Леон Фелипе

I

Серый особняк в гаванском районе Лоутон, выцветший от солнца и ветров, возвышается огромным кубом посреди большого сада, в окружении кустов лавра и корявых стволов засохших деревьев; одинокий, он словно погружен в себя. Кажется, что время для него остановилось.

Родриго проходит по террасам, лестницам, заглядывает во все углы, во внутренний дворик-патио, заросший папоротником и лишайниками, в просторные залы, где затерялась потемневшая мебель. «Магда, странная, нелюдимая девчонка. Не понимаю ее...» А Магда бредет вдоль морского берега, грустно и вопрошающе озираясь вокруг, бредет по улицам, не разбирая дороги, и все окружающее представляется ей далеким миражем. «Магда, чужая и сложная девчонка. Не понимаю ее...» Да, ты не понимаешь ее, но все же смутно приходишь к выводу, что судьба — это не просто опрометчивый шаг, промах, неудачная ставка в игре, а что-то такое, что ты сам создаешь, вызываешь к жизни; судьба — это скорее выбор, чем случайность. Слепая случайность. Сколько раз в жизни ты вытаскивал не самые удачные номера. Но вот прожиты годы — и всегда в риске, мгновенном и точно рассчитанном.

Слышно только, как ветер шуршит по ставням и стеклам да монотонно отстукивает маятник огромных часов. Родриго останавливается и разглядывает позолоченный сейф в центре комнаты, в течение многих лет бывший самым величавым предметом домашней обстановки. Родриго нравилось открывать его, извлекать оттуда одну купюру за другой, набивать ими, как конфетами, карманы. В те времена он не

© Manuel Cofiño, 1981.
© Editorial Letras Cubanas. Ciudad de La Habana, 1981.

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС — MANUEL COFIÑO LOPEZ (род. в 1936 г.)

Кубинский писатель. Автор сборников рассказов «Время перемен» («Tiempo de cambio», 1969), «И однажды солнце явится судье» («Y un dia el sol es juez», 1976), «Кусочек моря и окно» («Un pedazo de mar y una ventana», 1979), «Проходя там, по этим улицам» («Andando por ahi, por esas calles», 1982), романов «Когда кровь похожа на огонь» («Cuando la sangre se parece al fuego», 1975), «Последняя женщина и близкий бой» (русский перевод напечатан в «Иностранной литературе», 1973, № 1, 2).

Роман «Любовь в тени и под солнцем» вышел в Гаване в 1981 году («Amor a sombra y sol». Ciudad de La Habana, Editorial Letras Cubanas. 1981). Печатается в журнальном варианте.

внушал симпатии многим, но его личность вызывала уважение, даже восхищение. Теперь его старческое лицо лишь напоминает о былой изворотливости, о прежней страсти к наживе; порой оно обезображено ненавистью. Он поглаживает бородавку на носу, моргает подобно одному из своих котов. Родриго! Или генерал Родриго, или дон Родриго для всех сорока четырех районов Гаваны! Сейчас он дрожащей рукой прикасается к статуям святой Варвары и святого Хуана Боско. Их фигуры огромны — в человеческий рост. Проводит ладонью по головам, потом вдруг пинает ногой пьедестал. Святая Варвара покачнулась, и у нее изо рта и из носа сыплется труха источенного жучком дерева.

Медленным шагом Родриго обходит дом с его пятнадцатью необитаемыми комнатами, дом, напоминающий монументальный склеп. Изредка промелькнет едва различимая тень кошки, послышится шум кошачьей возни на лестницах и в коридорах. Где-то хлопнет дверь. Скрипнут ступеньки. Звякнет окно. Медленные шаги словно тащат за собой тяжелое дыхание. Родриго с раздражением смотрит на все, что его окружает. Дрожат мешки под глазами, трясется дряблый подбородок. Вот он останавливается в столовой, где тридцать человек в окружении двадцати четырех телефонов подсчитывали то, что выиграли у всей Гаваны. На широком столе красного дерева ворох испещренных цифрами листков. Томаса разносила кофе. Томаса в своих цветастых платках, серьгах, ожерельях, бусах, со своим зазывно темнеющим сквозь накрахмаленные кружева телом мулатки, любвеобильная и податливая, по первому знаку готовая услужить. Теперь и Томаса превратилась в груду старых костей, выпирающих сквозь темную морщинистую кожу. Нет никого, везде — тишина. Родриго сжимает кулаки. Опускается в плетеное кресло, рассматривает длинные, как карандаши, пальцы и повторяет церемонию, которую совершает в течение многих лет: вытаскивает из-под кольца на пальце свернутую бумажку. Трясущимися руками расправляет ее. Глаза его сверкают. Но бумага чиста. «Уже ничего нет. Равно как смерть...» — и дышит хрипло, прерывисто. Сидит неподвижно, лицо искажено мрачной гримасой. Рука на подлокотнике кресла. Разглаженная бумажка валяется возле его домашних туфель на полу из черно-белых плит, образующих бескрайнюю шахматную доску. На колени ему вспрыгивает кот. Поглаживая его, Родриго думает о Магде. И, как при галлюцинации, видит: она смотрит на него через окно, а теперь уже бежит, летит к нему, сейчас бросится на шею...

Сквозь мутные стекла витражей еще сочится свет. В зале стоит густой запах одиночной камеры. Но вот доносится пронзительный скрип входной калитки. «Должно быть, Кастаньо...» Родриго с трудом поднимается и начинает свою литанию из жалоб и проклятий. Высокие овальные стекла пропускают уже побледневшие лучи солнца, заполняющие зал тусклым блеском расплавленного золота. И когда Родриго идет, тени, кажется, тянутся за ним. «Магда, странная и трудная девчонка...»

А Магда бредет с рассеянным видом, похоже, ничего по пути не замечая. Воздух, которым она дышит, кажется горьким. Скулы одеревенели. Все вокруг — горячее, липкое — и обычное и чужое. Поворачивает назад и снова бредет, обволакиваемая резким запахом бензина и раскаленного асфальта. Струйки пота бегут за ушами. Проезжает колонна машин, и автомобильные гудки, сирены мотоциклов, песни сливаются в один оглушительный шум. Сзади кто-то кричит. Она оборачивается, потом, высоко подняв подбородок, уходит отсюда, оставляя позади сутолочную, бурлящую улицу.

Узкая полоска тени пахнула ей в лицо свежестью. В задумчивости она идет по парку. Благоухающая прохлада полна покоя. Магда вдыхает запах листьев, травы и влажной земли. Оглядывается вокруг,

снимает туфли и босиком идет по траве. «Идти по следам, которых уже нет...» Впечатление такое, что свет, заливающий газон, можно пощупать.

Лучи солнца, проникая сквозь ветви деревьев, выглядят сверкающими стрелами. «Вперед пути нет...» Все ей видится как бы на расстоянии, словно воздух становится прозрачной занавеской, превращается в стекло и сама она не принадлежит к тому времени, сквозь которое идут ее ноги и на которое смотрят ее глаза. А рядом чьи-то лица, фигуры, жесты. Вот плетется старик, разглядывая солнечные блики на асфальте. «Подставить бы лицо ветру, пусть бы унес он мечты мои в тихую заводь...» С криком пробегают какие-то мальчишки. Магда пересекает улицу. Флаги: одни свешиваются из окон, другие развеваются на древках под резким октябрьским ветром. Разглядывает витрины, в них — выгоревшие, засиженные мухами бумажные цветы, товары, которых нет в продаже, пустые подарочные коробки. Все это кажется ей неправдоподобным. Пробирается сквозь толчею. Очереди в магазинах, очереди в книжных лавках, очереди за прохладительными напитками. Она прислоняется к освещенной солнцем стене и вдруг с особой ясностью ощущает внутри себя пустоту. «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим...»

Магда проводит языком по губам. Неожиданно из боковой улочки донесся запах моря. Ноги обдало ветром. Проезжает переполненный автобус, пассажиры гроздьями висят на нем. Какой-то мужчина улыбается ей из окошка. А по улице летит свежий, влажный, соленый бриз. За поворотом видно, как резкая линия моря отсекает небо. Упругие толчки воздуха говорят, что ветер северный. «Рыбы и струны гитары — вот мой удел...» Магда, оставив туфли и присев на парапет Малекона[1], поглаживает свои голые ноги. «Зачем и куда им идти? Незачем и некуда». Смотрит на море, и глаза горят, хотя выражение лица мрачное. Оглушительный звук, казалось расколовший небо, заставляет ее посмотреть вверх: МИГ, подобно серебристой игле, пронзает облака. Волны осыпают ее брызгами. Она спрыгивает с парапета и, надевая туфли, рассматривает бетон тротуара, выщербленный едкой морской водой, крошечные озерца соли, осколки позеленевшего камня. Опустив голову, снова шагает по Малекону. «Только музыка Великого Глухого, которую мне никогда не сыграть на моей гитаре, всегда со мной и помогает мне...» Морская пена хлещет ее по лицу.

Подходит к многоквартирному дому на берегу океана. Смотрит на закрытые окна. Поднимается по мраморной лестнице. С гулко бьющимся сердцем останавливается у двери. Дрожащий ключ не сразу попадает в скважину; наконец она вставляет его и отпирает замок. А когда дверь за спиной захлопывается, ее охватывает чувство страшного одиночества и ужасной тревоги. Магда снова открывает дверь и выскакивает на улицу.

Родриго сжимает сигару. В его жилах кровь еле бьется, но вспышки раздражения и гнева временами наводят на мысль о мятеже, тайном, коварном и подлом.

— Можно жить с отчаянием в душе, но без надежды жить нельзя,— говорит он Кастаньо. Дрожащими пальцами разминает сигару и медленно подносит ее к губам. Наблюдает за дымком.— Я всегда умел найти выход из любых переделок, а эта далеко не самая трудная. Американцы придут. Для нас это будет как освежающий северный ветер.— Делает еще затяжку. Кашляет, проводит рукой по губам.— Не забывай, что важно уметь спокойно выжидать. Мы не знаем, как все это будет, у нас еще не было времени разобраться в ситуации, но постепенно правила игры определятся. Пока — сплошная неразбериха, брожение, всего лишь путаные и опасные дела.

Кастаньо согласно кивает. Он знает свою обязанность: сидеть воз-

[1] Набережная в Гаване. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ле Родриго, выслушивать его планы, его жалобы на неблагодарность, на одиночество и во всем поддакивать.

— Операции с землей меня не очень интересуют. Стараюсь жить на обычные доходы. Опять же — помогаю людям. Ты же знаешь, Кастаньо, какая сейчас нехватка продуктов... Да, в такие времена я, бывало, проворачивал неплохие дела. Во время второй мировой войны загреб кучу денег. Помню случай, когда мы вместе с Гильермо Алонсо Пухолем проделали комбинацию с шинами. Их поставляли нам с Базы Гуантанамо, американской... Сегодня все намного труднее, но у меня есть и опыт и средства.

— Теперь все не так, как было.

— Ах, Кастаньо, даже не верится, что это говоришь ты. Всегда все не так, а в то же время все очень похоже. Одна революция сменялась другой, война — войной, правительство — правительством. Все меняется и все повторяется в этом мире, и в конце концов единственное, что имеет ценность,— это золото, а золото любит тех, кто любит его,— золото все равно как женщина, за которую ты дорого заплатил и бился не жалея сил. Оно... не уйдет от тебя. Потому что золото не миром добывается, а борьбой. Не забывай об этом, Кастаньо. И не забывай, что ты мне служишь. Вот так. Отнеси это Магде. Спроси, почему она не приходит. Иногда совсем пропадает. А по телефону звонить не хочу. Предпочитаю видеть лицо человека, с которым я разговариваю.

Кастаньо берет пакет и сует в карман.

— И скажи Томасе, чтобы пришла. Она, должно быть, на кухне. Второй пакет тебе. Иди.

Из своего плетеного кресла он видит, как Кастаньо идет к двери. Тяжелая деревянная дверь затворяется и выглядит черной в сумраке залы. Прежде чем встать, Родриго укутывается в плед — в эти холодные дни он накидывает на плечи что-нибудь теплое, чтобы уберечься от сквозняка. Один из котов точит когти о полоз кресла-качалки. Бледно-желтые стены кажутся пергаментными. Родриго думает о Магде и о жене, которой уже давно нет, о ее необузданной ревности и о Томасе. А особенно о Луисите, о ее коротких, открывающих колени юбках, о легких, почти прозрачных кофточках, вырисовывающих маленькие, тугие груди. «Они и сейчас, когда я их трогаю, наливаются упругостью, а если смазать их медом...» И морщины его лица, мешки под глазами, складки подбородка вздрагивают.

Он наступает на красное пятно, загоревшееся на полу от света, проникающего через пурпурное стекло витража. Подходит к окнам. Краем пледа прикрывает рот. В листве лавров щебечут птицы, но ему не хочется их слушать. Закрывает окно и направляется к комнате, в которой много лет назад умерла Хертрудис. Ощупывает свою бородавку и закрывает глаза.

У высокого мужчины с рублеными чертами худощавого лица и с еле заметным синеватым пятном на правой скуле тоже закрываются глаза, а он силится их открыть, борясь с дремотой. Три дня провел он в Лас-Вильясе на бесконечных собраниях и почти не спал. Останавливает машину. Глушит мотор, гасит фары. Моря не видно, слышен лишь шум прибоя, предвестника северного ветра. Прямо на сиденье автомобиля засыпает.

Когда просыпается, в предрассветном сумраке уже можно различить стволы казуариновых деревьев. Сквозь стекла машины видно море, блекло-голубоватое, почти одного цвета с песком. Выходит размяться. Проводит рукой по лицу, и пальцы его задерживаются на шероховатом пятнышке, выделяющемся на скуле. Побережье безлюдно. Длинная полоса, приглаженная и потемневшая от прибоя. Несколько месяцев назад он побывал в окопах где-то в этих местах, может, вон там, за той песчаной грядой вокруг искореженного железа. Вспомнил-

ся человек, немногословно и четко объяснивший создавшееся положение и предупредивший, что все должны держать палец на спусковом крючке. Ветер бьет рывками, вздымая волны. Временами самая стремительная и высокая из них быстро приближается и врезается в берег, размывая песок и оставляя на нем пену и мусор.

Он вдыхает соленый аромат утра. Ботинки вязнут в песке. Вдруг замечает следы двух босых ног, потом и отпечатки рук, будто кто-то прошел по песку на четвереньках. Подняв взгляд, видит невдалеке женщину, идущую вдоль полосы прибоя. Сделав несколько шагов, она вновь опускается на песок.

Женщина не видит его. Он приближается к ней сзади. Пальцами голой ноги она разгребает камешки, принесенные яростными накатами волн на пляж. Маркос видит кожу в мурашках. Ветер треплет ее волосы. Она оборачивается и замирает, словно ожидая чего-то. Опускает глаза. Все это происходит очень быстро. Но Маркос успевает схватить мгновенный, метнувшийся взгляд, сплошную линию бровей, раздувающиеся ноздри, как у одинокого дикого животного, которое решает: спасаться бегством или броситься вперед, — рисунок сочных губ и крупного рта, может быть слишком крупного, придающего молодому лицу горькое и презрительное выражение.

— Добрый день.

— Здравствуйте,— отвечает она низким глухим голосом, продолжая разгребать ногой песок.

Чайка в стремительном и отчаянном броске касается воды — искрой мелькает мысль и о крепости крыльев и о силе ветра. Маркос смотрит на девушку, на берег, на мусор, выброшенный волнами. Ветки деревьев. Бледно-розовые раковины. Щепки, плавающие в бьющейся на песке пене. Высокая волна без пенного гребня накатывает на ноги девушки. Отхлынув, оставляет арабскую вязь водорослей на ее смуглых икрах.

— Холодная, наверно?

Она не отвечает. Смотрит на казуарины, как раз туда, где он оставил машину. Одинокая девушка на берегу, в этот час и в такой холод, будит в Маркосе любопытство.

— Что с вами? Вам плохо?

— Нет. Немножко холодно. Больше ничего.

— Идемте в машину,— Маркос показывает в сторону казуаринов.

Она колеблется, но потом согласно кивает и поднимается. Высокая, худая, как подросток, длинные ноги и широкие, полноватые, в сравнении с бюстом, бедра. По песку ступает неуклюже. «Словно жеребенок, который учится ходить»,— думает Маркос, поглядывая на ее фигуру, обтянутую влажным платьем. Она поднимает руку, придерживая длинные и гладкие каштановые волосы, которые ветер превращает в хвост кометы. Поворачивается к Маркосу и рассматривает его. А ветер усиливается. Бьет в лицо, обдает запахом водорослей. Уже различим горизонт, застланный зеленоватой дымкой. Они направляются к машине, подгоняемые порывистым ветром, поднимающим тучи песка. Она оборачивается:

— Я позабыла туфли.

Когда Маркос возвращается с ее сандалетами, она уже стоит возле машины, одной рукой опираясь о дверцу, а другой убирая с лица непослушные волосы.

— Не знаю, что вы обо мне подумаете.

— А ничего. Подумаю, что замерзли. Забирайтесь в машину.

Она смотрит на него, потом на море. Открыв дверцу, падает на заднее сиденье. Маркос садится за руль.

— Вы живете здесь, на побережье?

— Нет.

— Куда вас отвезти?

— Подождите. Лучше я выйду.

— Почему? Куда вы пойдете?

— Да, верно... Просто иногда мне нужно прогуляться по берегу моря. Хочу убедиться, что мне все глубоко безразлично... Извините, болтаю глупости.

Она, не отрываясь, смотрит на море. Растрепанные волосы придают ей вызывающий вид. Маркос протягивает руку и поправляет зеркало заднего обзора. Оборачивается взглянуть на нее. Платье обтягивает ее тело, и кажется, что ткань тоже становится мягкой, теплой и весомой. Девушка не отводит глаз от моря. Ее молчание и загадочное поведение смущают Маркоса, вызывают странную робость. И все-таки он спрашивает:

— Может быть, позавтракаем где-нибудь?

Она пожимает плечами. Очень узкими, в сравнении с бедрами, Маркос замечает, что изгиб ее шеи переходит в линию спины очень мягко. Автомобиль летит, оставляя позади зеленую заросль казуаринов. Солнце дрожит в листве. Девушка недвижима и молчалива. Он то и дело поглядывает на нее. Возле «Пикин-Чикин» в Аламаре[1] останавливает машину.

— Пойдемте?

— Подождите немножко.— Повернув к себе зеркало заднего обзора, она поправляет волосы.

Завтракают молча. Потом, уже опять в машине, он спрашивает:

— Куда вас подвезти?

— Если можно, к отелю «Океан». На Малеконе. Знаете?

— Конечно.

— Вы были очень любезны. Как вас зовут?

— Маркос... А вас?

— Магдалена. Но все меня называют Магдой.

Ее лицо смягчается и кажется гораздо более молодым.

— А почему бы нам и не пообедать вместе?

— Нет-нет. В таком виде я не могу,— ее лицо снова становится строгим, и Маркос понимает, что ей сейчас не до разговоров и развлечений. Возле отеля он говорит:

— Мы обязательно должны увидеться.

— Не знаю. Мне бы не очень хотелось.

— Почему?

— Потому что мы очень странно познакомились.

— Я завтра позвоню в отель.

— Нет. Меня не будет.

— И все-таки завтра мы увидимся.

— Это невозможно.

— Послезавтра я буду ждать вас здесь в семь вечера.

— Нет. Я не смогу.

— Итак, до послезавтра,— говорит Маркос и трогает машину.

А Родриго бредет по обширной прихожей, в которую выходят двери комнат. Серый полумрак иногда перемежается беловатыми или призрачно-желтыми пятнами света. Какое-то непреоборимое чувство, неотвратимое, как приговор, заставляет его вновь и вновь приходить в эту комнату, с которой связано очень многое и где умерла Хертрудис. Комната — в самой глубине, прихожая переходит в узкий коридор, далее дверь на винтовую лестницу, которая ведет в сад.

Родриго останавливается. Повертывает защелку, и его сразу обдает влажным теплом. На облупившейся желтой штукатурке проступили зеленоватые пятна. Он смотрит на широкую кровать красного дерева, где можно спать вдоль и поперек, и свернувшись клубком, и свободно разметавшись,— идеальное ложе, чтобы провести ночь как вздумается. Трогает выцветшие гардины мутно-горчичного цвета. И в

[1] Район Гаваны.

грязных клубах его памяти всплывают упреки, крики и угроза, в конце концов приведенная в исполнение. По соседству с зеркалом в инкрустированной оправе — образ его помешавшейся жены. Фотография в кожаной раме пожелтела. Но он помнит Хертрудис живой, сухощавой, с резко очерченными скулами. Помнит глаза, взгляд которых в последние дни был ужасен. Он слышит, как она кричит, бледная и дрожащая: «Если ты будешь продолжать, я убью и дочь и себя!» Это было тогда, когда Томаса сказала ему: «Отбери у нее дочь, а на саму не обращай внимания. Дурь у нее все это».

Томаса... В те времена упругие груди Томасы сводили его с ума. Поначалу, когда она только еще пришла к ним работать, нанятая в помощь Хертрудис ходить за ребенком, Родриго, наблюдая, как она снует по дому, подает кофе или укачивает его дочку в саду среди темных благоухающих роз, даже и вообразить не мог, какова на самом деле эта Томаса. Платье все скрадывало. Но однажды он увидел ее обнаженную. Вошел на цыпочках в комнату служанки (где Томаса спала до тех пор, пока Хертрудис не ворвалась к ней с криком: «Проституткам здесь не место» — и не выволокла вон за волосы, царапаясь и кусаясь) и стащил с нее ночную рубашку. Томаса нисколько не сопротивлялась, видя в этом свое естественное предназначение, а только стыдилась или делала вид, что стыдится, и все повторяла, что ей холодно, и просила не порвать висевшие на шее бусы для сантерий[1], подарок от крестной из Реглы[2]. А когда он увидел ее посреди комнаты нагой, то был ослеплен. Кто бы мог предположить, что служанка так сложена, что создана она для наслаждения. На следующую ночь, когда он снова пришел к ней в комнату, она ждала его. И были там ананасы и тыквы[3], а на полу рассыпаны апельсины, и Томаса, обмазанная медом, благоухающая корицей, распласталась на апельсинах и осыпала себя павлиньим пухом. Как это было не похоже на Хертрудис, которая, особенно после рождения дочери, терялась в постели, будто не зная, что ей следует делать. Она позволяла ласкать себя, но сама оставалась холодной, равнодушной, словно совсем утратила силы для проявления любви.

Какая разница между ними! Хертрудис стала совершенным манекеном... Он познакомился с ней, когда еще работал парикмахером. Она казалась тогда почти девочкой, бледная, веснушчатая и застенчивая. Ее родители были против этой связи, потому что Родриго к тому времени уже начал организовывать примитивные подпольные лотереи. В глубине парикмахерской за стенкой из досок и картона у него играли в кости по песо, в домино, а еще и в карты — не только в покер, в баккара, но и в монте, в лонгану, в сило, в «три листа», в «черное зачеркивает все» [4], кроме того, он еще делал ставки на бегах.

Один сержант помог ему, когда стал полковником [5]. Тот самый парень, что еще содержал курсы в конце улицы Эскина-де-Тойо, преподавая английский и машинопись, который заходил в парикмахерскую сыграть в домино (тогда там играли только в домино, азартные игры в глубине салона еще не практиковались, и не было тогда защитной перегородки из досок и картона). Сержант смеялся, когда Родриго напевал: «Кто идет задом наперед и наоборот?» Все думали, что это краб, номер пятьдесят восьмой, а Родриго, приводя игроков в замешательство, утверждал, что это пьяный, номер сорок девятый. Парень смеялся и говорил, что ему очень нравятся такие шарады. Как-то Родриго утром отправился к нему в казармы «Колумбия» и с тех пор начал вести крупную игру. И родители девушки уступили.

Кажется, что тишина распирает стены. Родриго всматривается в

[1] Культовая церемония, бытующая среди некоторых негров и мулатов.

[2] Район Гаваны.

[3] В данном случае — атрибуты афрокубинского культа.

[4] Монте, лонгана, сило и другие — запрещенные законом азартные игры.

[5] Имеется в виду будущий диктатор Кубы Фульхенсио Батиста, свергнутый Кубинской революцией в 1959 году.

портрет Хертрудис в кожаной рамке. Кругом — тишь и пустота. Он проводит рукой по пыльной подставке. Раскрывает высокий шкаф с зеркалами на дверцах; старое, сырое дерево скрипит. Резко пахнет камфорой, и Родриго видит на белом белье кедровую шкатулку. Это маленький сундучок с пальмами, вырезанными на крышке. Святая святых, где Хертрудис хранила свои сокровища. Столько лет они пролежали здесь среди белья, ушедшие из жизни. Лишь недавно Родриго впервые раскрыл шкатулку.

Он вытаскивает из шкафа аккуратно сложенные батистовые, полотняные, тканьевые покрывала. От белоснежных простыней и скатертей, расшитых Хертрудис цветами, пахнет прелью. Столовые скатерти ни разу не вынимались, потому что Томасе не разрешалось прикасаться к ним. Окантовала их Хертрудис уже тогда, когда заточила себя с дочкой в этой комнате и занялась шитьем и вышивкой. Тут же хранятся и простыни новобрачных, выстиранные и тщательно отглаженные. Они тоже окантованы Хертрудис, но раньше, чем она заперлась в этой комнате, раньше, чем родилась ее ненависть.

Родриго раскладывает все эти вещи. Неумолимое время наложило на них свою печать, придало желтоватый оттенок, истончило ткань, сделав ее почти бумажно хрупкой и на вид такой ломкой, что, кажется, при первом прикосновении она рассыплется в прах. Маленьким мраморным шариком падает на пол кусочек нафталина, столько лет предохранявшего ткань от тления и моли.

Вынимает шкатулку. Открывает. Замер, захваченный воспоминаниями, смотрит на ее содержимое. Словно что-то бьет из глубины лет по глазам, заставляя нервно подрагивать веки. Кристаллы горного хрусталя. Фотографии. Письма. Приглашения на свадьбы. Рассыпавшееся ожерелье из черного янтаря. Завядшие сухие цветы. Зеркальце в позолоченной оправе. Остов веера. Аметистовые четки. Маленький золотой крестик. Фото голенькой Магды с игрушкой в руках. Булавки с разноцветными головками. Почтовые открытки ко Дню влюбленных. Плетеный серебряный кошелек. Пустой флакончик из-под духов. Орхидея из набивного бархата. Фотография какого-то праздника. А вот и он сам на бейсбольной площадке, готовящийся бросить мяч.

Родриго берет другую фотографию, на которой он снят в саду «Тропиканы» [1] в костюме из полосатого тика и в пальмовой шляпе, с золотой цепочкой; рядом Хертрудис, держит его под руку. Карточка, пожелтевшая, как увядший лист, дрожит в его руках, как будто ее колеблет невидимый ветер времени. Родриго бросает фото, словно ожегшись, и закрывает шкатулку. Ставит ее обратно в шкаф. А потом начинает пересчитывать белье: раз, два, три, четыре... пятнадцать. Бормочет про себя: «Будь прежние времена, сегодня я поставил бы на пятнадцать — на «девушку, хранящую любовь в шкатулке». Неплохой текстик для шарады! Моим ребятам бы понравился: и Ньято, и Кастаньо, и Пако — всем понравился бы».

А за столиком полупустого бара вполголоса беседуют Ньято и Пако. Пьют уже несколько часов подряд. Покрасневшие белки глаз свидетельствуют об изрядной дозе алкоголя в их крови.

— Дело серьезное.

— Значит, Кастаньо убедил старика.

Какой-то одинокий пьянчуга скандалит возле стойки. Бармен, не обращая на него внимания, дремлет, поддерживая голову руками.

— Старик ввязывается только в большие дела.

— Мощный старикан! С таким можно работать. При обмене денег он тоже сумел словчить.

Кондиционер сломан, и дым плавает в воздухе, собираясь под черным подвесным потолком с налепленными звездами из фольги. В баре пахнет мочой, пивом, дымом, хлоркой и устрицами.

[1] Известное гаванское кабаре под открытым небом.

Пако чертит крестики на столе и говорит:

— Наверняка у него где-нибудь закопаны деньги.

— Конечно.

— Если старик помрет, а здесь опять станет по-старому, Кастаньо нагреет руки.

— А дочь?

— Она, по-моему, чокнутая. Как-то вечером я встретил ее недалеко от порта. Идет, понимаешь, глядит в небо и плачет.

— Не скажи. Не такая она дуреха и вовсе не чокнутая. Знаешь, что она отмочила, когда училась в школе у монашек?

— Еще бы не знать.

Вентилятор бессильно крутится в густом воздухе, но его жужжание так же бесплодно, как и выкрики пьянчуги у стойки. За одним из столиков спит какой-то мужчина, уронив голову на пластиковую столешницу.

— А это не из «Хе-дос?» [1]

— Нет. Это бедолага, который продает на улице кофе в разлив.

— Я теперь никому не верю. Смотри, как они накрыли ребят в Сан-Хиле, а ведь те работали непосредственно в ЦРУ.

Снова наполняют бокалы. Шум у стойки становится громче. Двое официантов взяли пьяного под руки, подтащили к двери и вытолкнули из бара.

— А помнишь ту, которая продавала надушенные тряпочные куклы? И еще говорила, что они приносят счастье.

— Ну?

— Чтобы переспать с ней, надо было купить куклу. Она приговаривала: я, мол, сама не продаюсь, а платить надо за куклу.

— Стерва девка.

— Но как-то раз мне привалило счастье. Зашел я, а здесь, смотрю, какая-то другая девчонка. Совсем молоденькая. Застенчиво так ходит между столиками. Я сразу — на абордаж. Напоил ее, как ослицу, и повел в номера «Агуа дульсе» напротив «Сьерры». И что ты думаешь — оказалась цветочком. Вот был банкетик, пальчики оближешь! Так-то!

— Да, тогда была житуха. Всяк делал, что ему нравилось, и никто не лез в чужие дела. А сейчас пойдешь к девке — попадешь в комитет [2]. Па-аскудство!

— Ты помнишь, как тогда было?

Оглядывают все вокруг, и на какое-то мгновение для них словно вспыхивают утонувшие в дыму лампочки под потолком. Сверкают искусственные звезды на искусственном небе. Слышится гул разговоров. Звон бокалов. Шутки. Раскаты смеха. Стрекот кассовых аппаратов. Женские взвизги. «Мадрид» уже переполнен посетителями. Девушки стучат каблучками меж столиков, а клиенты похлопывают их по бедрам. Те хихикают и повизгивают. Воздух пахнет лимоном и дешевыми духами. Лица расплывчаты, едва различимы, с трудом вырисовываются сквозь облака табачного дыма. Звякают подносы. Старые проститутки торгуют букетиками орхидей и гардений. Звучит мелодия болеро... «Обманывай меня, обманывай всегда, и ложью своей меня ты осчастливишь!» Взгляд Пако останавливается сначала на полу, загаженном окурками, огрызками сигар и плевками, потом на сломанном музыкальном автомате, покрытом пылью, повернутом к стенке и окруженном пустыми ящиками из-под пива. Отдельные кабины пусты. Стены обшарпаны. Бумажные звезды на потолке отклеиваются... А когда-то он думал, что у него много друзей, много женщин. Но вот прошло несколько месяцев, вокруг пустота. Сжимая бокал, Пако говорит:

— Иной раз чувствую себя так одиноко, будто здесь я чужой.

[1] «Хе-дос» («G-2») — так называлась служба безопасности дореволюционной Кубы.

[2] Имеются в виду комитеты защиты революции — добровольные организации по охране порядка.

— Мне не лучше.
— Будет когда-нибудь все как раньше?
— Кто знает.
— Не порти вечер.

Крутится вентилятор, смешивая запахи воспоминаний с застоявшейся пивной вонью и табачным дымом. В тени на полках за стойкой выстроились бутылки. Скучающая физиономия бармена. Ньято оглядывается вокруг. Никого...

— Смотри-ка, а вот и Кастаньо! — восклицает Пако.

Улыбка вошедшего скрывает смущение. Он пододвигает стул и садится. Пако наливает. Рука дрожит, верхняя губа кривится. Лицо красное, как кусок сырого мяса. Льет до тех пор, пока ром не переполняет бокалы и не растекается по столу. Кастаньо молчит. Берет бокал, поднимает его на уровень глаз, рассматривает, поворачивая в руке. Сквозь стекло полки буфета кажутся вогнутыми. Не стерпев равнодушного молчания Кастаньо, Пако спрашивает:

— Как Родриго?

Кастаньо, не отрывая взгляда от бокала, отвечает:

— Все в порядке.— Медленно ставит бокал на стол и опускает глаза.

— О деле с ним говорил? — спрашивает Ньято.

— Говорил.

Кастаньо не спеша извлекает из кармана рубашки пачку, вытаскивает сигарету и, прикурив, следит за пламенем спички, потом задувает ее.

— Да-да, говорил.
— А он что?
— Он верит вам. Говорит, что друзья познаются в несчастье.
— Тогда за дело?
— Нет.

Они смотрят друг на друга, как боксеры перед началом поединка. Пако залпом осушает бокал:

— То говоришь, что убедил его, а теперь — нет...
— Он больше не будет играть. Дело гиблое.
— Выходит, старик забыл нас.
— Слушай, Родриго никогда не забывает ни о чем и ни о ком. Просто предлагает сейчас дельце повыгодней,— отвечает Кастаньо, неторопливо сплетая и разводя пальцы рук.
— Можно узнать какое? — обиженно спрашивает Пако.
— Сейчас надо уладить дела с землей.— Кастаньо медленно проводит рукой по пластику стола, как бы разглаживая невидимые складки.— У него есть участки во Флориде. Ему надо связаться с людьми, которые уезжают из страны и могут заплатить ему драгоценностями. Родриго понимает, что стоимость денег то растет, то падает, а золото и бриллианты всегда в цене.
— А всякие там хлопоты?
— Этим занимаюсь я.
— Сколько мы заработаем?
— Все зависит от сделки. Старик в этом разбирается. Ваше дело — найти клиентов. Придумает он и еще что-нибудь. Вы же знаете, котелок у него варит! Действует только наверняка.
— Что правда, то правда. Профессор.

Кастаньо смотрит на них. Ноздри Пако, испещренные красными прожилками, подрагивают.

Родриго обмахивает рукой лицо, смотрит на котов и слышит какой-то шум, из тьмы ночи доносятся отдельные выстрелы.

Магда ждет у подъезда отеля. На ней черный свитер с высоким воротом и темно-синяя юбка, волосы, зачесанные назад, перехвачены

на затылке черной бархатной ленточкой. Маркос останавливает машину. С трудом узнает Магду. Лениво моросит дождь, окутывая все сеткой. Увидев машину, девушка стремительно подходит. Маркос открывает дверцу, а когда Магда усаживается рядом, смотрит на нее с удивлением. Даже лицо ее стало другим. Она прерывает молчание:

— Ну, что думаете обо мне?

— Рад увидеть вас снова.

— Сама не знаю, зачем я явилась. Правда, позавчера вы вели себя хорошо. Не назойливо. Ненавижу любопытных мужчин. Расспрашивают и вынуждают лгать.

— А я был уверен, что вы меня будете ждать.

— А вот я не была уверена,— улыбается Магда. Он впервые видит ее улыбку.

Машина поворачивает на Прадо. Авениду зарябило от дождя. Бронзовые львы кажутся смазанными оливковым маслом. Ветви деревьев искрятся хрусталем. Асфальт выглядит черным зеркалом с играющими на нем бликами. Магда рассматривает резкие черты его лица, пятно на щеке. Светофором отброшен сноп зеленых лучей на мокрую улицу. Автомашины будто спешат расплющить отражения огоньков фар на асфальте. Маркос прибавляет скорость.

— Поужинаем?

— Ни да ни нет.

— Почему нет?

— Так... Не обращайте на меня внимания.

Снова проезжают мимо отеля «Океан», но теперь в обратном направлении. Волны бьются о высокий парапет набережной и взрываются пенным веером. Магда проводит языком по губам. Привкус соли. Поднимает боковое стекло. Ее взгляд устремлен к морю, которого почти не видно, потому что за пеной прибоя — черная непроницаемая мгла. Взгляд отсутствующий. Вместе с ароматом ее духов он улавливает какое-то чувство тревоги. В зданиях, заштрихованных дождем, зажигаются маленькие прямоугольники окон.

— Я думал о вас,— произносит Маркос.

— Не верится.

Но лицо ее оживляется.

— Правда думал.

Магда улыбается. В лице появляется какая-то успокоенность. «Насколько эта девушка не похожа на ту, на пляже»,— думает Маркос.

— Мне действительно понравилось, как вы вели себя в тот раз. Ни о чем не спрашивали.

— И вот теперь я связан вашими словами насчет любопытства. Не осмеливаюсь ни о чем спросить.

— Не надо все понимать буквально. О чем-то мы должны разговаривать,— возражает Магда, а в уме проносится: «Что это за человек? Где работает? Наверно, принял меня за ненормальную. Ожидая его в дверях отеля, я не верила, что мы снова увидимся, но твердила про себя: должен приехать, должен, должен! А показалась его машина — мысли мои словно стали явью».

— Вот и приехали,— говорит Маркос.

В сумраке он разглядывает ее. Магда подносит бокал ко рту и задерживает его у самых губ. Чуть смачивает язык, потом, не глядя на Маркоса, слегка отпивает.

— Какая-то ты странная.

Магда обращает к нему широко раскрытые удивленные глаза, но не разжимает губ. Зрачки большие и влажные, и вся она — сплошное сомнение, грусть, какой-то душевный надрыв. Выражение лица неуловимо постоянно меняется, словно разбивается зеркало.

— Все-таки что с тобой? — спрашивает Маркос.

— Ничего. Мне хочется побольше узнать о тебе, и ты, наверно, хочешь кое-что узнать обо мне. Хоть я и уверена, что узнать все о другом человеке никто не может, даже тот, кто достоин знать. В этом суть. Прошлое — это груз, который мы обречены таскать с собой. Жаль, что еще не придумано ничего, чтобы освободить нас от воспоминаний и вопросов.

Маркос рассматривает ее, словно надеясь вдруг найти ключ к ее тайне.

Магда отводит взгляд, прикрывает глаза и видит себя в то туманное утро, когда так тревожно метались чайки. Она узнала — ей сказали или она сама почувствовала,— что умерла мать. Вспомнилось ей и как праздновали один из дней ее рождения. Огромная картонная коробка, из которой вылетают голуби: розовый и голубой. Факир во фраке и в своей волшебной чалме, где спрятана уйма всяких вещей. И отец. И Томаса, и мужчины, постоянно окружавшие отца. Они смеялись над факиром, а ей сделалось страшно. Вспоминается жизнь у тетки — она не помнит, чтобы подолгу жила в доме отца. Отводила ее туда Томаса, а не тетка — та ни разу не приходила за ней, только Томаса, она же и забирала девочку в конце недели... А потом школа монахинь. Мать Ана, напыщенная и строгая днем, раздававшая подзатыльники и щипки, а ночью мягкая и сладкоречивая, застенчиво журившая их. Лицо у матери Аны краснело, как яблоко, и ее ласки холодной рыбой ползли вверх по ногам. А на следующий день она опять крестилась теми же пальцами, которыми лазила под ночные рубашки. И эти монашки с бледными лицами, воняющие немытым телом, самозабвенно перебирающие четки с большими распятиями. Воскурения фимиама, холод чаш со святой водой, мрачный свет свечей. Каникулы в Варадеро[1], в доме родителей Сонии и Дианы,— пони и лошади, запах грив и развевающихся хвостов, конского пота, который, казалось, пропитал твою кожу, вошел в тебя, став как бы твоим собственным. И теннис, и гитара, и Милагрос, и Магали, и Орландо — вся компания. И Ричард, и она с ним в зарослях олеандра. Обещание украсть ее. Дни на пляже, где и вовсе потускнели лица матери и тетки, расплылись, стерлись, остались только руки, гладящие ее по шее, по длинным, почти до пояса, волосам. Потом рождались мечты, красивые и обреченные на смерть, как альбаака, вырванная с корнем. И она видит себя упрямой или равнодушной, непокорной или подавленной, меланхоличной или взбалмошной. Ее спрашивали: зачем вы сделали так? Разве вы не понимаете, что это глупо? Что девушка, подобная вам?.. Переполошенные и гневные женщины... Образы беспорядочно мечутся в памяти, и она думает: «Если бы он знал, наверняка стал бы презирать меня». И говорит:

— Спрашивай о чем хочешь. Ну же, спрашивай.

— Я освобождаю тебя от вопросов и воспоминаний.

— От вопросов — может быть, а от воспоминаний...

— Все возможно.

— Ты думаешь? Ты кажешься слишком самонадеянным. Моя жизнь была достаточно беспорядочной и трудной, чтобы ее понять. Девочкой я была, как говорится, «не от мира сего» и очень неуравновешенной. По-моему, не всякую жизнь легко понять. Было время, когда я хотела пойти в монахини, потом стать теннисисткой, позже — артисткой и певицей. Училась музыке, целыми днями слушала записи. После увлеклась чтением, а теперь — ничегонеделанием. Ах да, вот что еще позабыла: ведь я хотела быть и амазонкой, мечтала стать великой наездницей, непревзойденной в скачках через барьеры. В общем, кем только я не хотела быть...

— Ты не работаешь?

— Отец обеспечивает меня всем. У него еще много осталось.

[1] Курорт на атлантическом побережье Кубы.

— А потом?

— Не знаю. Я устала от пустых дней. Иногда чего-то боюсь. Живу в страхе. Вспоминаю, перебираю свою жизнь и ничего не понимаю.

— Как бы ни сложна была проблема, решение можно найти.

— Я совсем растерялась. Только море иногда... Понимаешь, я всегда жила без цели, не видела пути.

Магда говорит о своей жизни с таким волнением, что ее хрипловатый, низкий голос кажется Маркосу нежным, заставляет забывать о резких нотках, и чудится ему, будто она рассказывает о чем-то близком и в то же время о бесконечно далеком.

— ...Моя мать покончила с собой, когда я была совсем маленькой. В общем, я ее почти не знала. Веришь, это все равно что родиться полуслепой, когда многие вещи начинаешь видеть с опозданием. Воспитывала меня тетка, она уже давно умерла, поэтому отец отдал меня в монастырскую школу-интернат. А в свободные дни за мной присматривала Томаса, служанка, которая и теперь живет у отца. Мне было довольно скучно. Конечно, в детстве были свои развлечения, но и они мне надоедали. Все было каким-то нелепым. А теперь мне еще скучнее. И все кажется еще нелепее.

Рассказ ее течет плавно. Иногда лишь вспыхивает возгласом, но снова огорченно гаснет, будто придушенный страданием. Слова сливаются в один поток, подобный ровному журчанию воды, а то голос звучит отрывисто и резко, как бы в абсолютной тишине, в вакууме. Маркос, зачарованный его тоном,— уже не кажется ему этот голос ни хриплым, ни неприятным,— смотрит на Магду, стараясь уловить глубинный смысл ее речи. Она говорит, словно облекая в слова давние переживания и выстраданные горести, которые трудно выразить.

Разговор прерывается, и на некоторое время они вновь погружены в тишину. Потом Маркос спрашивает:

— А почему ты живешь в «Океане»?

— Я живу вовсе не там.

— Значит, у отца?

— Я никогда не жила у него. То есть мне рассказывали, что после рождения действительно жила там, но я этого не помню. А теперь у меня квартира по соседству с «Океаном».

— Живешь одна?

— Да. С тех пор, как умерла тетка, я осталась одна. Ну вот, теперь ты кое-что знаешь обо мне. А ты где работаешь?

— На табачном предприятии.

— И чем занимаешься?

— Заготовкой ягуа.

— Что это такое?

— Пальмовое волокно, из которого делается упаковка для табака.

— А, да-да. А живешь в Гаване?

— В Гаване.

— Как это хорошо, боже мой.

— Ты веришь?

— Во что?

— Ну, поскольку ты воспитывалась у монашек... наверняка верующая.

— Нет, не верю. Иногда вроде бы да, но если всерьез — не верю. Мне кажется, я лишняя в этой жизни. И не покончила с собой только потому, что трусиха. Ты можешь подумать, будто я помешалась на всем этом. В общем-то просто дура. И не обращай на меня внимания.

— Ты плачешь?

— Да нет. Лучше бы плакать, но слезами ничему не поможешь.

Маркос берет ее за руку и смотрит на девушку с какой-то еще неясной симпатией, словно рассеянно вглядываясь в смутную даль.

Она улыбается вымученно, через силу. Желая приободрить ее, Маркос пожимает ее пальцы и вдруг замечает, как в ней словно про-

буждается жизнь,— видимо, воскрешение надежды не обязательно проявляется зримо и броско.

— А на пляже что ты делала?

— Не знаю, как это тебе объяснить...

Родриго проснулся. Вот уже который месяц он спит мало. Рассветные часы проводит в плетеном кресле-качалке, погрузившись в раздумья. «Эти глупые выходки Магды...» Курит. Раздражается. Сквернословит. «Но Уркиса — контакт надежный...» Прикидывает в уме. Подсчитывает. Разрабатывает комбинацию. «Лорие не устоит, ухватится за это дело...» Поглаживает на пальце старое золотое кольцо. Прислушивается к злобным, похожим на человеческие воплям котов, носящихся повсюду, их запахи примешиваются к свежему, еще ночному ветерку из сада.

А снаружи волны бьют по прибрежным камням и парапету набережной, и их протяжный, несмолкаемый гул напоминает одышку какого-то живого существа. Легкий ветерок колышет шторы. «Поймет ли он, если я расскажу ему все? Что мне делать? Что?..» Магда беспокойно ворочается в постели. Вытаскивает руки из-под простыни и водит ими в воздухе — два пятна света. «Кажется, я слышу его голос...» Воздух пахнет морем, дождь царапает оконную раму. «И вообще, возможно ли это? А если он сам все узнает обо мне, то поймет ли?..» Затихает под простыней, облегающей тело. Вдруг обращает внимание на письмо Дианы, прислоненное к лампе на ночном столике. Поднимается и берет флакон с таблетками. Спотыкается о мокрые туфли. На полу пустые сигаретные пачки, пепел, зеленые трусики, темно-синяя юбка. На спинке одного из стульев черный, насквозь промокший свитер. Подходит к холодильнику. «Почему я такая слабая, такая легковерная и наивная?..»

...Маркос остановил машину напротив «Океана». Она, высунув руку в окошко, показала свою квартиру на втором этаже. «Я тебе позвоню. Сейчас должен ехать в Лас-Вильяс решать кое-какие вопросы по работе. Как вернусь, тут же позвоню». Пожал ей руку и прикоснулся губами к щеке. Подождал, пока она открыла дверь. Помахал рукой и рванул с места машину. Магда поднялась на несколько ступенек, потом остановилась и ухватилась за перила, будто лестница дальше обрывалась над пропастью. Повернулась и снова вышла на улицу. Если бы можно было освободиться от своего прошлого. Если бы могла она не быть самой собой. И если бы не надо было ничего скрывать... Она поднимает руки к затылку, развязывает черную бархатную ленту, и волосы, развеваемые ночным ветром, рассыпаются. Запрокидывает голову, проводит руками по лицу, задерживая их на ушах.

Огни уличных фонарей разрывают небо. В темноте блестят лужи. Она пересекает проезжую часть, приближается к парапету набережной и идет вдоль него под дождем и ветром, в свете фонарей, окутанных туманом водяной пыли. «Если бы это было возможно!..» Холодный соленый ветер треплет ей волосы. Струи дождя бьют в лицо, а капли морской воды скатываются по шее. «Как крепко пожал руку, а его глаза, такие усталые и понимающие, устремленные на меня, когда я ему сказала: «Нелегко быть счастливой. Мне этого не позволяли. Не знаю, что это такое, не привыкла, не научилась понимать. Некому было учить». Ради этого взгляда, такого сочувственно-печального, мне очень хотелось бы нравиться ему...» Шла она в одиночестве вдоль парапета, у самого моря, вдыхая запахи соли, ночи, сна, ржавчины и гнилой древесной коры, вся мокрая, слизывая языком воду, сбегавшую с лица, ступая по лужам, в которых тонули опрокинутые фонари.

Теперь в окно тянет ветерок, раскачивая мокрые чулки, висящие на задвижке. Магда, лежа в постели, слушает море, его шум, который и ласкает и будоражит.

А в пальмовой роще солнечным утром только что отзвучал голос Маркоса, и мощный, оживленный гул поднимается над толпой ягуэрос[1]. Рокот голосов стихает, когда Отилио выступил на шаг вперед и попросил слова:

— Все можно сделать, если человек захочет. Разве вы не видели звездочек, которые кружат по небу среди настоящих звезд и очень на них похожи? Новые звездочки сделаны человеком. И если человек мог сделать звезды, неужели нам не управиться с ягуа? Все, что от нас требуется, это хорошо работать. Поверьте, товарищи, когда я вижу в нашей роще зеленую завязь ягуа, свернутую, как улитка, то у меня вот здесь, в груди, сердце прыгает от радости, и еще больше я радуюсь, если эта ягуа окажется хорошей для дела. А молодые не то что не хотят, а просто иногда не обращают ни на что внимания, думая, что заготовлять ягуа не ахти какая наука. А это наука! Заготовляют ее в любое время, этого же делать нельзя. Среди дня, к примеру, я никогда ее не собираю. Только примечаю, а на другое утро до восхода солнца седлаю лошадь и отправляюсь в рощу за ягуа. В чем тут дело? А в том, что в ранние часы ягуа волглая от росы и не ломается, не крошится при перевозке. Я помню, как отец меня, еще мальчишку, брал с собой в пальмовые рощи. Про ягуа можно много рассказать. Я с рождения, можно сказать, сосал вместо соски жеваный табак, завернутый в ягуа. Ягуа у нас используют даже как лекарство. А в старые времена —когда дома часто не бывало соли — в еду бросали кусочек ягуа. Так почему же, спрашивается, мы не можем решить эту задачу, если человек побеждает даже боль? Понимаете, в чем беда, ягуа — вещь капризная, я не раз говорил об этом, только мои слова пролетают мимо ушей... А тут как-то год назад из Хикотеа сюда приехали саперы и давай взрывать пальмы динамитом. Ссылались на то, что готовят землю под какие-то посевы, не то дорогу собирались строить. Так и не выяснилось. А у меня, когда я видел, как пальмы взлетали в воздух, просто сердце разрывалось. Кончилось тем, что дорогу не построили и сеять ничего не сеяли. Так вот я и говорю насчет ягуа, что это мы можем выполнить. Только надо научить молодежь... И вы, Маркос, сами увидите, как мы справимся с этим делом. Отилио Фернандес вас заверяет...

Рядом со складом, в помещении конторы из блоков с шиферной крышей, слышен голос Чавеса. Маркос сидит верхом на стуле, опершись руками на спинку и положив голову на кулаки. Он слушает.

Разглаживание ягуа — не последний и не первый шаг в обработке ее. Прежде всего ее надо просушить в сушилках, или развесить на заборах, на стенах домов, или же расстелить в подходящем месте...

Маркос проводит рукой по подбородку и говорит:

— Вот видите, нет мелочей, когда решается вопрос о нормах.

Эладио смотрит в пол и с серьезным видом потягивается во вращающемся кресле, будто собрался хорошенько отдохнуть на мягком сиденье. Отилио жует кончик сигары, и в его глазах искрится радость. Голос Чавеса заполняет все помещение. Маркос слушает с жестким выражением лица, подавшись вперед, по-прежнему поддерживая голову руками. Голос Чавеса отчетлив и звонок, но читает он чересчур быстро, от этого голос кажется монотонным.

— Ягуа, избавившись от лишней влаги, полураскрываются, выставляя на солнце свою желтую сердцевину. Тогда сборщик должен пальцем ощупать это место, и если сердцевина не слишком размягчилась, можно приступать к разглаживанию ягуа, укладывая их слоями, а сверху придавливая гнетом...

Взгляд Маркоса через окно скользит по фламбойяну с сухими

[1] Заготовители ягуа.

стручьями[1], по складским помещениям. Рабочие входят и выходят из них, перетаскивая кипы. Ветер доносит запахи мяты и коровьего навоза. Сияние неба нестерпимо, под фламбойяном пара волов, покрытых соленым потом. Новенький ярко-красный трактор ползет по полю, над которым, подобно атомному грибу, возвышается альгарробо, только вид у него вполне мирный, пронзительно-зеленый. Дальше расстилаются луга, высятся пальмы с зелеными султанами. Маркос поглаживает серебристый колпачок шариковой ручки, выглядывающей из кармана рубашки.

— В упаковке из ягуа табак созревает без потери качества... Различают ягуа для художественных промыслов, для изготовления канатов, для покрытий домов, наконец, для упаковки табака...

На оконный переплет садится воробей, клюет невидимые зернышки и снова улетает. Небо словно затянуто пепельной пеленой.

— Все ягуа идут в дело. Вчера художественные промыслы прислали нам заявку...

Эладио, прислонившись к стене, отводит глаза, старается скрыть беспокойство. Маркос, щелкая кнопкой шариковой ручки, сурово посматривает на него.

— На штампах указывается сорт ягуа, шифр заготовительного центра. Все.

Маркос поднимается со стула и, опираясь руками на спинку, говорит:

— Мы убедились, в каком безобразном состоянии находятся сбор и хранение ягуа. Отсутствует контроль со стороны Эладио, безответственно относились к работе молодые рабочие. Понятно, в прежние годы ягуа и бедность увязывались между собой, а как только бедность начала отступать, многим стало казаться, будто и ягуа больше не нужна. На самом деле она очень нужна. И работа эта весьма важная. Необходимо все как следует обсудить, изучить, дать высказаться людям, послушать их, перенять опыт. И главное — надо любить свое дело. Тут вот Отилио сказал очень правильно: не позволяй крыть крышу твоего дома тому, кому эта работа не в радость. Вы сами видели, как на собрании в Хикотеа после обсуждения дел и особенно под влиянием выступления Отилио сразу возросла активность. Дошло даже до того, что люди спорили из-за ягуа, упавших на тот или другой участок. И вот этот порыв, возникший у рабочих, нам надо поддержать, усилить. Хочу подчеркнуть, что подлинный руководитель должен не забывать о том, в каких условиях проявляется трудовой энтузиазм, ему надо знать личные качества каждого рабочего. Эладио пришлось снять с должности ответственного по заготовкам в провинции, на его место назначен Отилио. А вы, Чавес, будете отвечать за сортировку и хранение.

Маркос подходит к Отилио и хлопает его по плечу.

— Завтра я возвращаюсь в Гавану. У нас осталось всего пятьдесят сборщиков ягуа на всю провинцию. Через год потребуется тысяча. Это твоя задача.

Отилио жует сигару и в знак согласия машет рукой. Эладио смотрит на мыски своих ботинок. Уже около дверей Маркос прощается со всеми, делает несколько шагов и, остановившись, добавляет:

— Особое внимание уделяйте районам Эсперансы и Хикотеа, они дают наиболее качественную продукцию. Не забывайте, что из тамошних ягуа делают упаковку на экспорт.

Возвратившись в Гавану, Маркос тотчас же позвонил Магде. Той Магде, которая сейчас вздрагивает, будто сведена судорогой, сплета-

[1] Фламбойян и альгарробо — тропические деревья с красивыми цветами. У фламбойяна после цветения на голых ветвях остаются огромные стручья.

ет руки, подносит их ко рту, кусает пальцы и запястья. Наконец соединенные словно в мольбе руки разжимаются, и она затихает, ослабевшая, бессильная, глаза потухли, увлажнились, вот-вот польются слезы.

— Это и от радости и от грусти...— говорит она и смотрит на Маркоса с улыбкой, сразу изменившей ее лицо. Поднимается и, встав на колени у края постели, шепчет:— Ненавижу одиночество, но меня пугает и близость. Я все время жила, разговаривая только сама с собой. Боюсь, что диалог все нарушит. Может, с тобой будет иначе.

Маркос осматривает комнату. Груды вещей. Разноцветный хаос. Все вперемешку. Словно в магазине игрушек после взрыва бомбы. Баскетбольный мяч, маленькие подковки, старинные часы с музыкой, куклы, набор миниатюрных горнов, чучело крокодила, стопки книг и дисков, хлыст наездницы, плюшевые зверьки, аквариум, старый ночной горшок из фарфора с ручной росписью, используемый в качестве цветочницы для плюща, вьющегося по подставке, флаконы духов, кофточки, чулки, платья, разбросанные по креслам и стульям, всяческие безделушки, раковины, теннисная ракетка, морская звезда, гитара.

Магда руками шаловливо ерошит шевелюру Маркоса и отходит к окну. Ее распущенные волосы прикрывают спину. Маркос смотрит на Магду, локтями оперевшуюся о подоконник. Спрашивает ее, а она, не слушая его, повторяет: «Это от радости и от грусти». А сама не оборачивается.

«Когда я смотрю на нее, вновь чувствую упругость, жар и аромат ее тела, вижу глубокие, и тревожные, и жаждущие глаза, сентиментальность и чувственность, ее отрешенность и оцепенение от удивления перед чем-то всеохватывающим и глубоким. Это ее лицо — сейчас оно уже иное — остается у меня в памяти, и я знаю: мне не забыть его никогда. Весь ее вид, рассеянный и в то же время сосредоточенный. Ее способность размышлять, глядя внутрь себя. Кто же она, что она делала и что с ней происходит? Почему в ней одной сразу столько разных женщин? И эта изменчивость и таинственность, окружающая ее. Минутами мне кажется, будто все это неправда, но ведь вот она, тут, плачет и улыбается, по-детски наивная и непостижимая. И я все еще ощущаю запах и влагу ее тела. Не могу понять. Не знаю...»

Магда, прикрытая распущенными волосами, оборачивается и спрашивает:

— Как ты себя чувствуешь? Я хочу сказать — физически, ну и не только физически.

— Прекрасно.

— Может быть, и так. Но я, наверное, представляюсь тебе каким-то чудовищем или невменяемой.

— Почему же?

Она смеется:

— Хоть немножко нравлюсь?

— Конечно, о чем говорить.

— Если так, то, значит, ты тоже немножко ненормален. Во всяком случае, нас спасает твой оптимизм вопреки моей взбалмошности. Я очень капризна. Но мне кажется, что в капризах столько же искренности, сколько и притворства.

— Ты глупая, и мнительная, и...

— Ты считаешь? Я совсем не такая простая. Монахини говорили, что я полуангел-полудьявол. Меня постоянно ругали за то, что я вся во власти настроения, что мной руководят сиюминутные порывы.

— Кто тебе это говорил?

— И тетка, и отец, и монахини, и друзья, и подруги. Хотя, может быть, все они ошибались...

Магда улыбается, берет со стола сигарету и, все еще с улыбкой, говорит сквозь дым:

— Ужасный беспорядок у меня в комнате. Все собираюсь устроить генеральную уборку.

— Да нет, и так очень мило.

— Ну, если ты считаешь это милым...

Сейф, фигуры святых, циферблат с римскими цифрами, бесстрастные стрелки часов. «Растолкую Кастаньо все как следует...» Чихает. Поглаживает волоски на бородавке. Прикрывает глаза и откидывает голову на спинку кресла. «Уркиса тоже в этом деле пригодится. Он должен быть мне благодарен, этот Уркиса. В тот раз как подарок даже привел мне Хулию, признателен...» Окруженный воспоминаниями и полумраком, устраивается поудобнее и улыбается, улыбается своим мыслям. Но вдруг улыбка исчезает, он перестает покачиваться, настороженно подается вперед: слышит — или ему только кажется, что слышит,— шаги и шепот. Любой звук беспокоит его, заставляет вздрагивать. Не покидают его постоянная тревога и подозрительность. Вслушивается напряженно, но ни один шорох не доходит до его слуха, умирая в отдалении. «Должно быть, коты...» Он снова откидывает голову и готов уже закрыть глаза, но внезапно уже совершенно ясно слышит скрип, а потом шаги, которые ни с чем не спутаешь. Тяжелая дверь красного дерева открывается, и входит Томаса, неся тарелочку и чашку с золотой каемкой.

— На вот, выпей. Это настой из апельсиновых листьев, тростникового сока и листьев амбарины. Тебе полезно. А потом разотру тебя.

— Приведи ко мне Луиситу. Думаешь, я совсем уже одряхлел.

Похоть вспыхивает в его гноящихся глазах. А по лицу Томасы пробегает горькая улыбка. В последний раз, когда он заставил ее привести Луиситу, она подсматривала и видела его бессилие, полную беспомощность. Родриго отводит взгляд и пьет. Томаса включает лампу-торшер. Он поднимает глаза и смотрит на желтый перекошенный абажур, под которым виднеются оголенные провода.

— Садись.

Смотрят друг на друга со злорадством, отказываясь от блага забвения, разглядывают изъяны кожи, морщины, следы разврата; вспоминают долгое тайное соучастие, взаимные измены, недоверие, наслаждение, ненависть, несбывшиеся мечты.

Томаса берет чашку из рук Родриго, не отдавая себе отчета, когда это происходит и в который раз за многие дни и годы. Склонив голову, смотрит в пол.

— Сегодня я ходила к Магде. Кое-что простирнуть...

— Ты каждую неделю ходишь туда. Почему сегодня говоришь об этом?

— У нее завелся мужчина.

Родриго так резко сжимает пальцами подлокотник кресла, что его дряблое лицо вздрагивает.

— Она что, живет с ним?

— Кажется.

— Приводит в дом?

— Похоже.

— Это в дом, который я содержу... И кто он?

— Не знаю.

— Надо узнать, дурья твоя голова! Узнать, понимаешь! Я должен быть в курсе.

На лице Родриго яростное негодование, Томаса, как обычно, повинуется, склонив голову.

Голос похож на голос Магды.

Маркос замечает плакат: в небольшом золоченом ободке часовщик с лупой и с сигарным резаком в руке. Улыбается. И слушает голос, доносящийся через полуоткрытую дверь вместе со словами

Армандо. Рассматривает карту на стене. Зоны табака заштрихованы коричневым. Красные и зеленые указатели. Надпись красными буквами на черном фоне: «НЕСМОТРЯ НА БЛОКАДУ И АГРЕССИЮ, НЕ СНИЗИМ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА!» Из-за двери слышны невнятные звуки: голос Армандо, приглушенный стук пишущей машинки и голос секретарши, похожий на голос Магды. Над пепельницей вьется тонкая серая струйка дыма.

Входит Армандо, прикрывая за собой дверь. Снимает очки в массивной черепаховой оправе. обращается к Маркосу:

— Поздравляю, ты здорово сумел решить все проблемы. И разногласия между сортировщиками, и с очисткой табака, и, наконец, со сборщиками ягуа. Хорошо поработал. Ты знаешь, мы хотели бы поручить тебе руководство одной из сигаретных фабрик.

— Какой?

— Той, на которой ты когда-то работал.

Маркос встает и расхаживает из угла в угол. Армандо наблюдает за ним, постукивая по губам дужками очков.

— Что с тобой?

— Ничего. Но дело в том, что...

— Садись. Сколько времени ты там проработал?

— Два года.

Армандо выдвигает ящик стола, вытаскивает несколько папок, листает бумаги. Вырывает из блокнота исписанный лист, вкладывает его в первую папку, зажимая скоросшивателем, и говорит:

— Вот возьми и прочти. Потом поговорим.

Маркос выходит из кабинета и идет к себе. Рассматривает надпись красным карандашом. Открывает папку, читает докладную записку: «Поспешность, с которой приходилось производить назначения новых администраторов фабрик, перешедших в руки государства, не позволяла должным образом осуществлять подбор кандидатур, предварительно изучив соответствующих товарищей, в большинстве случаев принималась во внимание лишь их революционная сознательность... Матео Акоста был назначен директором фабрики и обнаружил свою некомпетентность. ...Ввиду этого он был заменен Леонсио Саэнсом. Вначале, как удалось установить, Леонсио неплохо поработал, добился улучшения организации труда... Но через несколько месяцев его поведение стало меняться... Почти перестал общаться с рабочими, сблизился с оппортунистами из числа служащих фабрики, потворствовал кумовству и подхалимажу... Незаконные операции, осуществлявшиеся Леонсио... В строжайшей тайне он оборудовал на фабрике небольшое помещение, где встречался со своими друзьями и подружками, зачастую в рабочее время... В течение трех дней он направлял двух разнорабочих вечерней смены красить свой дом. Краска, использованная при этом, тоже, как выяснилось, была взята на фабрике... Вплоть до сегодняшнего дня, хотя он уже отстранен от должности и его дело передано в следственные органы, продолжают поступать заявления от товарищей. Люди резко критикуют его методы управления, допускавшийся произвол. После того как подтвердились сигналы со стороны товарищей Хулио Мартинеса из профсоюза, Лидии Льяны из комитета коммунистической молодежи, Лукаса Куэваса из парткома, Карлоса Альдерете, Хулио Кампоса и других, было предпринято более широкое расследование. Было установлено, что на фабрике царил хаос, приведший к анархии и в том, что касалось трудовой дисциплины, отношений с рабочими, и в расходовании продукции, в отчетности перед вышестоящими органами. Подробности — в прилагаемых справках».

Маркос захлопывает папку. В записной книжке делает отдельные пометки. Зажигает сигарету. Проводит рукой по лицу, в памяти всплывает та, «своя» фабрика много лет назад: он стоит рядом с дедом перед Алонсо Менендесом.

— Дон Алонсо, вот своего внука я привел...

Дед проговорил это с присущим ему испанским акцентом. После чего наступило долгое молчание. Алонсо рассматривал их, будто вопрошая, откуда они на него свалились. Покраснев, дед добавил:

— ...На случай, может, найдется для него какая-нибудь работа.

Алонсо развалился во вращающемся кресле, обтянутом черной кожей, и равнодушно взирал на них. Дед помялся, ожидая ответа, и, не выдержав паузы, неуверенно продолжал:

— Школу он окончил. Отец умер. Я на пенсии, не могу помочь ему учиться дальше. Да и университет закрыт. Он сам пытался найти работу — ничего не вышло. Вот я и подумал о вас...

Алонсо слушал, все так же развалившись в кресле, и рассеянно кивал головой, но понять, что означали его кивки, было невозможно. От ослепительного света в кабинете ярко сверкали три камня в перстне, цепочка часов, булавка галстука, золоченый «Паркер» на стекле стола.

— ...Я много лет работал у вас и надеюсь, что на меня нет жалоб. На него тоже не будет. Он парень серьезный, образованный и хочет работать.

Алонсо еще больше откинулся на спинку своего кресла, поправил безукоризненные манжеты рубашки и произнес:

— Ты знаешь, как это непросто.

— Прежде чем прийти к вам, я узнавал. Мне сказали, что будут брать новых людей.

— Все так, но, как бы это ни казалось невероятным, я, хозяин, не могу брать кого захочу. Синдикат, очередность... В соответствии с контрактом, персонал расширяется или сокращается в зависимости от количества табака, поступающего в производство. Действительно, начав выпуск новых сигарет суперкласса, мы увеличили продажу и теперь будем расширять штаты. Но среди кандидатов — пятеро временно не работающих, уволенных десять месяцев назад. Так что новых будет всего трое служащих и два механика. А у администрации всего лишь одна вакансия.

— Дон Алонсо, была бы ваша воля... Вы знаете меня лет сорок, и это первая просьба, с которой я к вам обращаюсь.

Алонсо провел ладонью по голове. Его реденькие седые волосы, заботливо уложенные, казались нарисованными на коже. Дед неотрывно смотрел на его рот, пытаясь угадать, что он скажет.

— Конечно, все время, пока ты служил у нас. ты был хорошим работником, верным нашей фирме человеком. Надеюсь, что твой внук из того же теста.— Он перевел взгляд с деда на Маркоса и спросил: — Счетоводство знаешь?

— В школе нас этому не учили.

— А английский?

— Немного.

— Вот в чем недостаток наших школ. Раз не учат никакой профессии, учение ничего не стоит. Ну да ладно, принимая во внимание, что мы уважаем и ценим твоего деда, а в конторе нам не хватает паренька... Я не могу дать тебе место служащего или рабочего в табачном цеху. Кроме того, мне не хотелось бы заставлять такого парня, как ты, таскать кипы или возить тачки, там только пот да грязь. Вот что: возьмем тебя посыльным при руководстве. Вначале заработок будет намного меньше, чем у рабочего, но ты наберешься опыта в администрировании, и со временем жалованье будет увеличиваться. При ответственном отношении к делу можешь далеко пойти. Загляни через пару дней.

Дед, волнуясь, пытался обнять Алонсо, но тот брезгливым жестом остановил его. Маркоса передернуло от такого неуважения. И теперь еще его мутит от одного воспоминания об этом, воспоминания о тех давнишних месяцах безработицы, о погубленной Сильвии — о той

тягостной ночи, ночи насилия, горечи и возмущения. На фабрике тихо и безмолвно. Девушку тошнило, лицо ее позеленело, она не могла сдвинуться с места. Автоматически считала купюры, а глаза у нее были как две пустые дырки, прожженные сигарой...

Маркос открывает другую папку. Изучает материалы в течение многих часов.

Он входит и не видит меня — я спряталась, заслышав на лестнице его шаги. Осторожно подкрадываюсь к нему сзади, обнимаю за шею, кладу голову ему на плечо и веду к софе, а сама шепчу:

— Каждую минуту...

И он обеими руками охватывает мои волосы и, запрокинув мне голову, спрашивает:

— Что ты делала?

— Думала.

— А то, что я принес, прочитала?

И я отвечаю: «Нет, не смогла». Как я скажу ему, что едва открою книжку, тут же вижу его, как он тянется, чтобы поцеловать меня, переверну страницу — слышу его голос, переверну другую — и мне кажется, что его руки касаются меня? И я ласкаю эти листы и целую их, потому что они — его, потому что он читал их, держал в своих руках. Как только принимаюсь за чтение, в голове что-то происходит, и опять появляется он. Нет, я не смогу объяснить ему этого и повторяю:

— Ничего не получается.

— Почему?

— Ты был далеко, не могла сосредоточиться.

Целует его в шею, расстегивает пропотевшую рубашку, проводит пальцами по его плечам и покусывает ухо. Потом, обмякшая, подавшись вперед, она всем телом прижимается к нему...

Обессиленная Магда кладет голову на грудь Маркосу. Он гладит ее влажные волосы, мягкие на шее, как пушок.

— Кто может предсказать, в какой момент у человека начинается новая жизнь?

Легким движением поднимается с пола, и Маркос видит, как она идет по комнате, приводя в порядок волосы. Пока Магда расчесывает их щеткой, он оглядывается вокруг. Она подходит к нему и говорит:

— Синяя моя птица, я хочу, чтобы ты знал: огромное наслаждение вселяет в меня страх — страх потерять все. В любви я эгоистка. Любовь для меня — ежеминутная потребность, сумасшествие. Я мгновенно воспламеняюсь и привязываюсь. Кто-то сказал, что любовь существует в мире, чтобы забывать о мире, и это правда. Единственно, чего я хочу,— быть с тобой все дни, все часы, моя синяя птица.

— Почему синяя птица?

Магда показывает на чугунную подставку, на которой стоит пустая позолоченная клетка, и, обхватив скорее нежно, чем чувственно обеими руками голову Маркоса, рассказывает:

— Однажды отец ездил на охоту в Пинар-дель-Рио и привез мне живой подарок — птичку, которую, по его словам, там называли «призраком» или «призраком святого Диего». Ты тоже явился мне как подарок. Это была небольшая птичка цвета морской воды, с павлиньей грудкой и голубым пятнышком на головке. А у тебя пятнышко на щеке. Хочу быть с тобой всегда, каждую минуту, в любой час суток, моя синяя птица!

— Так не получится,— улыбаясь, отвечает Маркос.— Кроме того, по-моему, любовь существует вовсе не для того, чтобы забывать о мире, а наоборот — помнить. Любовь напоминает о мире. И я думаю, что в любви нельзя быть эгоистом. Любовь приносит радость, пробуждает активность, а порой обрекает даже на самоотречение.

— Ну ладно. Мы никогда не будем ссориться, правда? Я должна

рассказать тебе кое-что, но сейчас не могу — мне так хорошо с тобой... Понимаешь?

Не ответив ей и не спросив ни о чем, ты опираешься на подоконник и смотришь на море, на пенное кипение среди каменных глыб. Патрульный катер проходит через горловину порта. Далеко, на горизонте, чудовище «Оксфорд» [1]. Хочется и не хочется знать, что она собирается поведать, но ты решаешь, что не надо торопиться, она все равно расскажет; как говорит Армандо, постепенно все неясное становится ясным, и вода бывает по-настоящему чистая, когда бьет ключом. Если же ее подкачивать, она замутится.

У Армандо на каждый случай готова присказка, он серьезный и в то же время такой радушный, такой уверенный в себе, что после разговора с ним всегда становится спокойнее на душе. Завтра вместе с ним ты поедешь на фабрику. Несколько часов обсуждался с Армандо вопрос о материалах, собранных в папке. Он вызвал тебя по селектору, и, когда ты вошел в кабинет, он с кем-то вел телефонный разговор. Ты его знаешь и уважаешь уже много лет, с того самого дня, когда дед указал тебе на него — он тогда беседовал с группой рабочих. Тебе известна его биография: мастер по выделке сигар на фабрике «Корона», видный профсоюзный руководитель, а потом — подпольная деятельность, почти легендарная жизнь. Ныне он начальник Объединения. Человек, с которым нельзя не считаться. Завтра пойдешь с ним на фабрику. Магде о делах не говоришь. Прислушиваешься к ее шагам у тебя за спиной, вот она что-то шепчет плюшевому мишке, а что — не разобрать. Ты знал женщин правдивых, лживых, доверчивых, спокойных, неистовых, падших и благопристойных, веселых, печальных, легкомысленных, простых и трудных, теряющих рассудок и благоразумных, скандалисток и сдержанных, бездумных и противоречивых. Но что таит в себе Магда? Откуда эта постоянная напряженность, невидящий взгляд, лихорадочный блеск в странных, мрачных глазах, будто множество мыслей одновременно одолевают ее и она не может освободиться от них. Ты оборачиваешься и видишь ее на софе с ниспадающими на пол волосами. Хотелось бы рассказать ей обо всем, но ты уже думаешь о том, что завтра придется столкнуться со столькими трудностями, и удивляешься, с какой ясностью припомнилась последняя беседа с Армандо.

Кивком Армандо пригласил его сесть, и Маркос наблюдал за ним, пока тот говорил по телефону:

— Ты должен уметь разъяснить, что именно нужно решать тотчас же, а что можно отложить. И должен доказать почему... Да-да, но это дело опасное. Тут все может рухнуть. Важно не кидаться из стороны в сторону, а надо спокойно посидеть, все обмозговать и найти правильный подход к делу. И при этом следует помнить, что один человек не в состоянии сам все решить... Нет-нет, так нельзя. Пусть ты говоришь правильно, хорошо разъясняешь и выражаешься ясно, но если тебя все-таки не понимают, нельзя считать, что ты имеешь дело с дураками или врагами. Да-да. Прости, но я сам иногда тебя не понимаю... Собери металлообрабатывающие станки из мелких мастерских в центральный цех, поставь к ним лучших механиков, наиболее инициативных. И это надо сделать за неделю.

Армандо положил трубку, что-то отметил в настольном блокноте, медленно поднял свои маленькие усталые глаза, поправил очки и сказал:

— Тяжелые дни. Многое надо сделать. Необходимо срочно решать вопросы — и обороны и производства. Проблемы возникают одна за другой. Тут не только случай с Леонсио. Многие парни из-за женщин теряют голову. И ты, Маркос, учти, что дух коллективизма в большой мере зависит от личного примера руководителя и от дове-

[1] Американский линкор, стоявший напротив Гаваны во время блокады Кубы в 1961—1963 гг.

рия рабочих к нему... Дело, которое мы тебе поручаем, будет нелегким... Не надо забывать, что главная задача революционера — сделать людей лучше. Вот и давай снова внимательно посмотрим все материалы.

Чайки кружат над морем, садятся на камни. Буксир тяжело тащит барку с песком. Слева на фоне заката отблескивают квадратики оконных стекол утопающих в сумерках зданий Ведадо [1]. Фонари на Малеконе уже зажглись, а сноп света маяка Морро голубоватым лезвием рассекает темное небо. Ты поворачиваешься к Магде, она лежит на софе, держа в высоко поднятых руках плюшевого медвежонка, показывает ему язык, обращается к тебе:

— Я сейчас размышляла и хочу тебе объяснить, что значит для меня любовь.

— Ну и?

— О, она значит очень-очень много. Хочется сказать, что любовь — это музыка, музыкальный шквал звуков, рожденный кипением крови, это лихорадка, это нечто такое, что навевает грусть, что начинается однажды утром, а потом уходит, и ты ждешь не дождешься возвращения. А в общем можно сказать, что для меня любовь — цветок на гребне разбивающихся волн. Не слушай — это так, символика. Главное же то, что я боюсь.

— Почему?

— Моя любовь убивает меня всем тем, что смерть придумала в этой жизни.

— То есть?

— Она делает меня немой. Заставляет бояться слов.

— Ну ладно. Одевайся и пошли поедим. Я проголодался.

Но ты не знаешь, что я так и не сказала тебе того, что хотела рассказать, не смогла...

В вестибюле навстречу поднимается дежурная, с удивлением здоровается и нажимает кнопку, открывая алюминиевую решетку. Армандо толкает застекленную кедровую дверь. В нос ударяет крепкий запах выдержанного табака. Маркос оглядывает двор, заваленный кипами табака в упаковке из ягуа, светлой и прочной, и вспоминает Отилио. По дороге пробегает взглядом объявления на стенах. Поворачивают налево и входят в контору. Кое-кто узнает Маркоса, он останавливается, чтобы поздороваться. Проходят в кабинет. Те же стены, то же вращающееся кресло, обтянутое черной кожей, те же стулья, зеленый диван, лампа на тяжелой бронзовой подставке. Нет на стене лишь фотографии испанца — основателя фабрики, вместо нее висит фото Хосе Марти с табачниками Тампы. Все прочее осталось точно таким же, как и годы назад, и Маркос оглядывается вокруг со странным чувством, будто попал в западню времени.

Армандо представляет членов руководящего совета. Рассаживаются. Маркос присел было на какой-то стул, но Армандо показывает ему на кресло директора и обращается к присутствующим:

— Прежний директор снят по причинам, которые вам известны. Его заменит товарищ Маркос Лопес. Некоторые из вас уже знают его. Он внук резчика табака и сын окольцовщицы сигар [2]. Работал на этой фабрике. Оставил ее, включившись в политическую борьбу. Был арестован, потом выслан в Мексику. После победы революции возвратился, был назначен в группу материально-технического обеспечения революционной полиции, являлся инструктором противовоздушной обороны, затем перешел в управление по борьбе с растратами и хищениями государственной собственности, а потом переведен в министерство промышленности. И вот уже долгое время работает в нашем Объединении. Ему давали различные поручения, он все выполнял

[1] Район Гаваны.

[2] Работницы, наклеивающие на сигары бумажные кольца с указанием марки.

безукоризненно. Проявил себя исполнительным, требовательным, инициативным и ответственным товарищем. Вот почему мы и решили назначить его директором фабрики. Я оставляю его с вами. Вам есть о чем поговорить. Мне тоже хотелось бы принять участие в беседе, но не могу. А на завтрашнее собрание приду.

Когда Армандо закрывает дверь, все молча смотрят друг на друга. Клубы дыма плавают в воздухе. Маркос выкладывает из портфеля несколько папок и записную книжку. Окидывает взглядом лица. Из левого кармана рубашки вынимает шариковую ручку.

— Я прочитал некоторые справки о создавшемся здесь положении. И был бы признателен вам, если бы вы обрисовали проблемы и трудности, каждый на своем участке. Лучше вас никто их не знает, а все вместе мы знаем, что бумажки — это одно, а жизнь с ее реальностью — другое.

Кампос, начальник производства, поднял руку.

— Говори.

— Проблемы довольно сложные. Прежние владельцы заказали новые машины. Кажется, и банк уже согласился предоставить кредит. Это было очень важно, обновилась бы система подачи сырья, предусматривался пуск новых линий — для печати, завертки,— а также механизация упаковки. Но как только выяснилось, что революция принимает социалистический характер, в поставках было отказано. Наши теперешние машины устарели и изношены. Дело усложняется еще и тем, что две машины «Молинс»— новейшие на фабрике — год назад были выведены из строя саботажниками. Хотя с большим трудом машины снова запустили, сырье до сих пор подается вручную.

— Что сделали вредители?

Мартинес беспокойно ерзает на диване и просит слова.

— Сунули железку в табачную массу, когда она шла в горловину машины...

— После этого подобные случаи еще были?

— Нет.

— А раньше?

— Еще сколько!

— Расскажите.

— Раз испортили ременный привод, не полностью перерезали, а сделали только надрез, чтобы позже ремень сам оборвался. А то бросили окурок в засасывающую трубу, но мы вовремя заметили.

— А саботажников схватили?

— Нет.

— Ни одного?

— Ни одного. При саботаже такого рода трудно поймать на месте преступления виновного.

— Новых фактов вредительства не было?

— Рабочие сами положили конец. Нами были созданы специальные комиссии бдительности. Пересмотрели весь персонал, обратили внимание на подозрительных. На митингах и собраниях товарищи беспощадно клеймили преступников. В такой атмосфере нетерпимости, которая была создана, саботажники больше не решались действовать. Помню, Нино, механик конвейера, прямо на собрании вытащил нож и сказал, что, если увидит какого-нибудь мерзавца в момент преступления, располосует его вдоль и поперек, и пусть ни один прохвост не надеется уйти живым с фабрики. Вот так.

— Плохо только, что кое-какие вредные элементы пока еще остались на прежних местах,— бросает реплику Мартинес.

Кампос машет рукой:

— Я сам еще не кончил. И других трудностей хватает. Иногда производство останавливается из-за нехватки отлаженных маркировочных штампов. Нет ароматизаторов, клея, да и с бумагой неважно. Ленты конвейеров в очень плохом состоянии, вообще с оборудованием

беда. К самым важным узлам нет запасных частей. Думается, что производственный процесс, особенно на участке упаковки, надо пересмотреть. Я уже вносил несколько предложений, товарищи знают.

— Это мы решим, дело-то в наших руках. Непонятно только, почему оно никак с места не сдвигается. Я тоже не раз говорил,— подает голос Лукас.

Маркос, не переставая, пишет в своем блокноте. Лукас говорит без запинки, будто читает, а на вопросы Маркоса отвечает твердым, уверенным тоном.

Просит слова Роберто. Главная проблема в его отделе — учет. Прежний руководитель все забрал в свои руки, любой документ должен был проходить через директора, и он так долго держал бумаги у себя, что многих теперь и найти невозможно. Еще одна проблема — инвентаризация. Маркос просит у Роберто инвентарную опись. Лидия, откинувшись на спинку стула, грызет ногти. Глаза ее полузакрыты, но внимательно следят за лицом Маркоса.

Кастаньо поправляет воротничок своей полотняной рубашки. Озирается. Закуривает. Подходит к углу, где когда-то стоял киоск, а в нем действовал он, апунтадор болиты [1], и где, бывало, только и слышалось: «Никель на голубя, три тапы на оленя, диего на жабу, песета на монашку, полканьи на бабочку, реаль на корабль, баро на цветок, медио на рыбу...» [2]. Накануне Родриго сорвал хороший куш со своей шарадой: «Кто из животных ходит всех тише?» Все поставили на двадцать девять, думали — мыши, а выиграла девятка. Кто же мог догадаться, что это слон? Родриго — мастер высшего класса!.. Но игра продолжается: «Тапа на петуха, две тапы на ракушку...» Так было. А сейчас Кастаньо слышит лишь погребальный звон колоколов. Там, где стоял его киоск, теперь цветочная палатка, бачки с огромными яркими цветами. «Тьфу, терпеть не могу цветов. Одна вонища!..» Он сплевывает. «С души воротит...» Какая-то женщина подходит и покупает хризантемы, красные и желтые гладиолусы. Цветы, завернутые в газетную бумагу, будто с удивлением выглядывают из кулька с крупными заголовками черным и красным шрифтом. Кастаньо успевает разобрать на мокрой бумаге: «Бомбардировка сахарного завода...» Женщина удаляется.

Кастаньо то и дело бросает взгляды на 23-ю авениду. Крутится туда-сюда возле маленького кафетерия на углу улицы Сапаты. «Родриго удалось выпутаться. И мне повезло, что работаю с ним, не то прозябать бы на ихнее дерьмовое жалованье... А Лорие запаздывает... Так, значит, Лорие и Серьга — один и тот же человек? Странный тип. То он часовщик, то апунтадор, потом механик, гравер, гранильщик бриллиантов, а теперь еще выдает себя за электрика...» У палатки останавливается грузовик с цветами. Запах влажной зелени и цветов так силен, что Кастаньо сплевывает и вытирает рукой рот. «Однако парень опаздывает. Все же придет. Они с Родриго, кажется, старые приятели. Старик, должно быть, ему очень доверяет, а то бы не подпустил к этому делу. Хотя из всего, что он мне рассказал, о Лорие он особо не распространялся. Конечно придет. Но вот запаздывает, а ведь я потом еще должен увидеться на набережной с Ньято

[1] На дореволюционной Кубе помимо государственной лотереи существовало множество подпольных лотерей — рифа, болита и другие — организованных дельцами из местной мафии, связанной с властями и полицией. Эти дельцы—«банкиры болиты»— создавали сети непосредственных реализаторов и сборщиков доходов от лотерей—апунтадоров, действовавших под видом мелких киоскеров, лоточников и т. д. Выигрышные номера в болитах заранее устанавливались и секретно передавались апунтадорам вместе со стишками-шарадами, которые якобы должны были помочь игрокам делать удачные ставки. Каждому номеру в болите соответствовал какой-либо рисунок, набор которых открыто выставлялся в киосках апунтадоров. Поэтому ставки делались не на номера, а на рисунки.

[2] Никель, тапа, диего, песета, канья, реаль, баро, медио — распространенные названия различных мелких монет.

и Пако. Ньято дурень, недоносок: жена вступила в комитет[1], ему бы дать ей коленкой под зад и послать куда подальше, так нет, жалеет эту стерву...» Подходит к магазину мраморных изделий. Цветочницы для могил, надгробные плиты с виньетками, кресты, амфоры, ангелы. Похоронная процессия безмолвно проплывает к воротам кладбища. Кастаньо, засунув руки в карманы, разглядывает монументальную арку над входом.

— Чур меня, чур, чур! — громко говорит он и вдруг чувствует чью-то руку на плече. Потухший окурок вываливается у него изо рта. Он оборачивается:

— Слушай-ка, ты возникаешь как призрак.

— Резонно, я же вышел с кладбища,— говорит Лорие, улыбаясь.

— Если бы старик не сообщил мне твоих примет, я не узнал бы тебя.

— Сколько лет прошло.

— Получил записку?

— Получил.

— Значит, заметано? Согласен?

— Да, только вначале хочу сам поговорить с Родриго.

— Это трудно. Он не разрешает ни звонить ему, ни приходить домой. Осторожничает. Все надо делать через меня.

— Без разговора с Родриго дело не пойдет.

На мгновение во взгляде Кастаньо, устремленном на зловещий — с человеческим черепом — перстень Лорие, проскальзывает испуг, но тут же лицо его вновь становится бесстрастным.

— Я передам ему.

Расходятся. Кастаньо направляется к 23-й авениде, вперив взгляд в цементное покрытие тротуара. Группа девчонок в форме бекадос[2] перебегает улицу. Смех, шум. Но Кастаньо продолжает шагать задумавшись, не отрывая глаз от земли, в его поджатых губах дымится новая сигарета.

В толпе рабочих громкий говор — обсуждают смену руководства. Собрание проходило на центральном дворе фабрики. Армандо представил Маркоса. Кое-кому показалось удивительным, что этот высокий худой парень, казавшийся им когда-то не очень-то расторопным, через несколько лет приходит сюда уже директором фабрики. Маркос говорил кратко. Сказал, что с общей помощью постарается справиться с трудностями, подчеркнул, что фабрикой управляет не только директор. Пообещал, что постепенно разберется во всех вопросах и примет нужные меры. В заключение объявил, что двери его кабинета всегда открыты для любого рабочего.

На следующий день Маркос побывал в цехе рубки, сушки, ферментации табака, набивки, маркировки сигарет и на складе. Не было уголка, куда Маркос не заглянул бы. Поражал беспорядок. Кучи мусора. Скопление продукции на различных участках. Пол в одном цехе оказался в очень плохом состоянии. У трех машин не действовали воздухоочистители. Маркос расспрашивал рабочих, хотел досконально ознакомиться с каждым участком, с каждой группой машин.

В течение следующей недели Маркос приглашал к себе каждого из рабочих, пользовавшихся наибольшим доверием, а также своих старых коллег, которые, как ему сообщили, были ненадежны. Этих последних он откровенно расспрашивал, стараясь уяснить, почему они не поддерживают революционных перемен. Беседы с людьми, настроенными к революции, как считалось, прохладно, не понравились кое-кому. И когда кто-то из руководящего совета прямо сказал ему об этом, Маркос ответил:

— Человек переменчив, даже оставаясь самим собой. А мы по-

[1] Имеется в виду комитет защиты революции.

[2] Ученики государственных школ-интернатов, открытых после революции.

рой это забываем. Мы привыкли видеть его таким, каким он был, а не таким, какой он сейчас. Надо смотреть повнимательнее.

Вместе с его двумя друзьями и их женами мы пошли как-то погулять по городу. И вместо того чтобы развлечься, на что надеялась, я сразу же почувствовала себя не в своей тарелке. Они, по-моему, тоже. По какой-то причине или вовсе без причины возникла натянутость. Хоть я изо всех сил старалась под них подстроиться, мне это так и не удалось. Все время чувствовала себя стесненной, чужой, будто отгороженной от них какой-то невидимой стеной. Присутствие его друзей удручало. Иногда вдруг меня начинало бесить, что мы не вдвоем. Было просто невыносимо, когда он смеялся вместе с ними, а я не находила ничего смешного. Я хотела, чтобы он не отдалялся от меня, а был все время только со мной, хотя бы и среди друзей. Я и он, а остальные — вокруг. Он и я, а остальные просто рядом. Но Маркос разговаривал и смеялся, а я ничего не понимала. Будто была совсем чужой в этой компании: Маркос чужой мне, и я чужая ему. А я какой ему казалась? Временами наверняка выглядела глупой и никчемной. И чем больше он старался сблизить нас, тем глубже я замыкалась в каком-то странном одиночестве. И что самое неприятное — без причин, без оснований. Они говорили, болтали, смеялись, упоминали имена и события, а я блуждала далеко от них по закоулкам моих воспоминаний, сопротивляясь угрызениям совести. Я понимала, что несу вину за свою прежнюю жизнь, но не знала, как мне отделаться от чувства этой вины. Наверно, без поддержки мне всего этого не одолеть. Интересно, а что он думал, глядя на меня? Мне казалось, будто временами на его лице появлялось опасное выражение досады — предвестие разочарования. Может быть, я встретилась с ним слишком поздно для себя. Когда мы возвращались, я чуть не царапала ногтями свои ладони, все искала объяснения происшедшему. Мне было стыдно, хоть я и не могла понять, чем испортила эту нашу прогулку, но успокаивала себя тем, что, может быть, Маркос ничего не заметил. Он ведь был в своем мире. Но окончательно я успокоилась, когда мы, наконец оставшись вдвоем, снова стали понимать друг друга, будто каким-то чудесным образом наши тела вновь соединили наши миры. Только любовь сплачивает двух одиноких.

Родриго, скрестив руки на животе, ждет. Свешивает голову на грудь, но не спит. Судорога тенью пробегает по его лицу. Вздыхает, устраивается поудобнее. В доме тишина. Призрачный свет, подобно тревожному сну, крадется по мебели, шторам, зеркалам, стенам — по всему вокруг. В серых потемках Родриго ждет. Тяжело, беспокойно дышит. Хрустит длинными пальцами. Манжеты рубашки свесились, закрывая запястья. Часы бьют пять. Он вытаскивает пахнущий одеколоном платок, проводит им по лицу. «Почему не идет?..» Рассматривает платок и снова хрустит пальцами. «Сколько раз я посылал за ней, чтобы увидеть ее, и она всегда приходила вовремя. А сегодня, когда мне необходимо поговорить с ней, опаздывает. Ну и характер! Глаза у нее материнские, в остальном же совсем не похожа на Хертрудис. Говорить с ней придется поделикатнее. Всегда она была своевольной, привыкла делать все, как ей вздумается...» Вдруг он замечает, что разговаривает сам с собой, вздрагивает и умолкает. Поворачивается, скрипя плетеным креслом. Трогает бородавку и продолжает терпеливо ждать. Скрещивает руки на груди, глубоко вздыхает, и будто наяву до него долетает запах детских волос Магды — запах фиалковой воды,— он видит блеск душистых золотых волос маленькой девочки. Так бывает всегда, когда дочь должна прийти к нему. И вдруг в слепой ярости он сжимает руками подлокотники кресла, представляя невыносимую сцену: эти волосы — теперь они светло-каштановые — благоухают в мечтах какого-то неведомого врага. «Иметь дочерей —

все равно что вскармливать телок на потребу другим...» Руки его кошачьими когтями впиваются в прутья кресла. Доносится шум. Он поднимается и зовет:

— Томаса! Томаса!

Но уже слышит, как открывают верхний засов, потом нижний, щеколду, немецкий замок, затем обычный, цепочку, слышит голос, а потом и скрип открывающейся двери. Перед зеркалом он делает строгое лицо, проводит рукой по прическе. Пытается улыбнуться. Но естественной улыбки не получается. Он уже не умеет улыбаться просто так, непринужденно, бескорыстно раскрываться в приятной доброй ухмылке — былом признаке радостного настроения.

Прислушивается к шагам на лестнице. Дверь распахивается. Подходит Магда, целует его в щеку, он гладит ее волосы, спадающие на розовое платье. Магда улыбается. Родриго чуть отходит, разглядывает ее, не скрывая подозрений.

— Что с тобой происходит?

— Ничего.

— Деньги получила?

— Да.

— А почему не заходишь навестить меня?

— Вот пришла. И не хотелось бы, чтобы ты встречал меня упреками.

Встряхнув головой, она поправляет волосы.

— По-моему, ты в чем-то изменилась.

Магда шагает по комнате. Резко останавливается, принимает фривольную позу манекенщицы и ироничным тоном бросает:

— Постарела? Помолодела? Потолстела? Похудела? Стала красивее? Страшнее, грустнее, глупее, выше, ниже, веселее? Говорят, человек может перемениться за несколько дней.

— Кто тебе сказал?

— Ай, папа, папа!

— Нет, ты скажи, кто тебе сказал?

— Зеркало.

— Зеркало?

— Я посмотрелась и едва узнала себя. Действительно, мне показалось, что это не я. Тебе не понять.

Родриго сводит брови.

— Подойди сюда. Давай присядем. Мне надо с тобой поговорить.

Он садится в кресло, а Магда на пол, как в детстве, когда Томаса приводила ее к нему. Родриго опять гладит ее по волосам.

— Ты единственное, что у меня осталось на свете. Я всегда потворствовал тебе.

— К чему ты клонишь, папа?

Магда смотрит на него снизу, закинув голову.

— Мне передавали, что ты знаешься с каким-то мужчиной, который тебе не подходит. Должно быть, кто-нибудь из этих, из нынешних?..

Магда встает.

— И кто же тебе передал, что я знаюсь с мужчиной, и именно с таким, как ты говоришь?

— Доченька, я хоть и не выхожу никуда, но знаю все. Неважно, кто рассказал. Мне это сообщили для твоего же блага.

— Мне не нравится, когда за мной шпионят.

Родриго морщится, словно ему мазнули по губам кислотой. Кашляет, содрогаясь всем телом. Сжав губы, сглатывает мокроту.

— За тобой не шпионят — заботятся о тебе. Ты не должна знаться с таким мужчиной. Тебе же известно, какой ущерб они причинили мне. Да и тебе тоже. Разве ты позабыла?

Он беспокойно ворочается, кресло скрипит.

— У каждого своя жизнь, папа.

Родриго упирается руками в подлокотники кресла, чтобы Магда не заметила их дрожи.

— Послушай, дочка...

Стукнула защелка на двери. Входит Томаса в своем желтом платке на голове и в накрахмаленном переднике. Ставит на столик поднос и удаляется. Дверь из красного дерева закрывается с легким скрипом, похожим на приглушенное кошачье мяуканье. Родриго прикрывает глаза рукой.

— Я все делаю во имя тебя. Только и думаю, чтобы тебе было лучше. Не натвори глупостей.

— Глупости — это то, что плохо кончается. А если что-то кончается хорошо, так это, к счастью, перестает быть глупостью и становится благом. Но успокойся, папа. Ничего серьезного не происходит.

— Он тебя действительно не интересует?

— Нет, папа, не интересует.

— Тогда обещай мне больше не встречаться с этим типом.

Родриго отпивает кофе. Руки его дрожат так, что он едва не роняет чашку.

«Боже мой, как дрожали у него руки! Никогда таким не видела...» Смотришь на аквариум. Закидываешь ногу на ногу. Зажигаешь сигарету и, держа ее во рту, подходишь к окну. Бросаешь сигарету в пустоту. Возвращаешься, рассматриваешь уголок с игрушками, пустую клетку, набор горнов, подставочки, плюшевого мишку. Поднимаешь с пуфика клетчатую рубашку, прижимаешься к ней лицом, целуешь, будто это живая частица Маркоса, вдыхаешь запахи земли, табака и мятой травы, и у тебя что-то закипает в груди и обдает жаром тело, тебя неудержимо тянет к нему. «Что же в жизни имеет значение и что нет? Тогда это была я? Я и не я. Нет, это была не я! Сейчас я не та, не хочу быть той. Но ведь все-таки это была я и когда-нибудь должна буду рассказать ему о себе. Как он к этому отнесется? А если не поймет...» Подходишь к телефону.

В кабинете раздается звонок. Маркос поднимает трубку:

— Да-да...

— ...

— Что с тобой?

— ...

— У тебя странный голос.

— ...

— Нет, мне нужно задержаться по меньшей мере на пару часов.

— ...

Маркос кладет трубку. Скрестив руки на столе, склоняет на них голову. Затем быстро встает, вынимает из ящика стола фонарик, идет в умывальню и ополаскивает лицо, проходит через кабинет, не вытираясь, чтобы вода освежила его, стекая по лицу, по шее за ворот рубашки. Выходит на центральный двор, и его сразу же обволакивает влажный воздух, горячий, остро пахнущий вяленым, выдержанным табаком. Направляется к грузовому подъемнику. Дергает за цепочку, и дверцы захлопываются, как гильотина, с резким стуком. Кабина похожа на клетку, и по мере ее подъема Маркос через массивные боковые металлические решетки рассматривает отдельные участки фабрики, переплетения труб, неоштукатуренные кирпичные стены, вагонетки подвесной дороги, переходы и лестницы на противоположном конце здания.

В обширном продолговатом цехе, изогнутом буквой Г, выстроились машины, слабо освещенные немногими включенными светильниками. По одну сторону — сигаретные, по другую — упаковочные и маркировочные. Маркос рассматривает пульты управления, кипы на деревянных платформах, серые полы, посыпанные опилками вокруг

опорных колонн. Все вокруг темно-свинцовое, только на вороненой стали машины Лидии зеленеют свежие бегонии.

Улыбаешься, но всего лишь на мгновение, потому что безлюдие и тишина, располагающие к воспоминаниям, переносят тебя на эту же фабрику, но в другую ночь. Внизу на центральном дворе что-то зашумело. Подходишь к балюстраде и видишь, как дежурный милисиано[1] закрывает окно... «Отсюда в тот раз я увидел Алонсо Сейчас мне кажется, что я должен был убить его на месте, пропороть его раздутое брюхо, но не решился от стыда. Не за него — за нее. Сперва я просто не поверил своим глазам, а потом меня захлестнула злость и отвращение... В ту ночь Алонсо ввалился вот через эту дверь, пьяный, волоча за руку девушку, годившуюся ему в дочери Остановившись между кипами табака, он вытер платком свою толстую, потную рожу и, бестолково размахивая руками, что-то показывал девушке на пустынном дворе.

Тогда я задержался на фабрике по работе. И вот увидел, что они поднимаются на гостевом лифте, а когда дверцы открылись, я, сняв ботинки и стараясь не шуметь, последовал за ними, скрываясь за барабанами, колоннами, машинами, рулонами бумаги. Они вошли в камеру ферментации, Алонсо включил свет. Девушка пыталась уйти, было видно, что ей не по себе в густых испарениях, исходивших от табачной массы. Но Алонсо держал ее за руки и что-то говорил на ухо. Девушка согласно кивнула. Алонсо, пошатываясь и словно цепляясь руками за воздух, подошел к регулятору температуры и влажности, перевел рукоятку, чтобы хоть немного освежить атмосферу в камере. Потом снова приблизился к девушке, вынул из кармана несколько купюр и бросил их на расстеленный табак. Когда она наклонилась за деньгами, он схватил ее... Меня, застывшего на месте, переполняло чувство ненависти и отвращения... Девушку стошнило. Лицо ее позеленело. Алонсо, довольный, лежал на табаке в полудреме, скрестив руки на жирном животе. А она одернула платье, вышла и за дверью села на пол. Сосчитала деньги да так и застыла, не в силах пошевелиться.

А через неделю стали возвращать на фабрику тысячи блоков с жалобами на то, что сигареты плохо горели, из них высыпалась табачная крошка. Алонсо забил тревогу, словно не знал, из-за чего все произошло. Распустил слух, будто не сработал регулятор режима воздуха в камере ферментации — совершена диверсия, мол, и повинна в ней группа революционеров, которым он отказал в денежной помощи в фонд подполья. И придумал Алонсо все это, чтобы не только выгородить себя и скрыть правду, но заодно и отделаться от некоторых рабочих...» Как раз в тот самый день Маркос покинул фабрику и ушел в подполье, но оставил товарищам письма, в которых рассказал, как все было на самом деле.

Магда напряженно уставилась на телефон. Ломает пальцы. Подходит к окну, распахнутому в синеву. Опирается локтями о подоконник, наклоняется, заглядывая вниз. «Как притягивает пустота! Как море и небо. То, чего я не смогу сказать сегодня, будет причиной завтрашних страданий. Чайки доверяются воздуху. А я? Как я скажу ему? Не то, что велел отец, а то, другое. О своей жизни, которой я не поняла, о правде, которая уже не кажется мне правдой и делает откровенность для меня такой невыносимо трудной. Поймет ли он? Он говорил, что людям не чуждо ничто человеческое. А сам поймет ли меня? Мне кажется, что я всегда искала не то и не там, где следовало бы. Боже, как притягивает пустота!..— Отходит от окна. Присаживается на край постели.— Никогда я не умела жить сама по себе...— Ложится на спину и закрывает глаза.— Что же делать? Как сделать?..» Рывком поднимается с постели. Идет на кухню. В мойке двухдневная груда грязной посуды. Раздвигая тарелки, роняет на пол ста-

[1] Член добровольной военизированной дружины по охране порядка.

кан, он разлетается вдребезги. Наклоняется, осторожно собирает осколки. Один впивается ей в правую руку. «Кровь. Подумать только, я пролила кровь. И это кровь той девушки...» Вытирает о волосы окровавленную руку. Возвращается в спальню с баночкой таблеток и стаканом воды. Ставит их под лампой на ночной столик на таком расстоянии, чтобы можно было достать рукой. Вновь ложится и вытягивается на спине.

Ночь затемнила витражи под потолком.

Зажигаешь свет и видишь: она лежит, обняв подушку, волосы разметались по наволочке и лицу, рот полураскрыт. Простыня едва укрывает ее.

Воздух над постелью словно сгущается, наполняясь вечным, ни с чем не сравнимым ароматом — ароматом спящей, молодой женщины, доступной. И в то же время ты знаешь — женщины отсутствующей, недосягаемой, отделенной от тебя невидимой, непроницаемой и несокрушимой границей сна. Мужчина и женщина могут жить рядом, вместе дни, месяцы, годы и даже иметь одинаковые желания и надежды, общие радости и горести, но только не во сне. Можно жить одной жизнью, но спать одним сном нельзя. Сон человека принадлежит только ему, и никому другому. Вот она тут, ты можешь прикоснуться к ней, но не можешь коснуться ее там, в ее сне. Никогда ни ты ее, ни она тебя не узнаете до конца. И, пораженный этим внезапным прозрением, ты вспоминаешь ее слова о том, что в жизни всегда есть что-то, в чем никогда не признаешься.

Ты замечаешь флакон с таблетками и полуотпитый стакан воды. Присаживаешься на кровать и начинаешь расшнуровывать ботинки, как вдруг чувствуешь, что она вздрогнула, будто от удара током. Вытягивается. Снова вздрагивает, что-то бормочет. Судорожно прижимает к себе подушку. Ты трясешь ее за плечи, дергаешь за руки, слегка шлепаешь по щекам. Она медленно открывает глаза, будто возвращаясь издалека, из места, которого тебе никогда не узнать. Моргает, устремив взгляд в пустоту. Потом опускает глаза и обвивает твою шею с той же страстностью, с которой обнимала подушку. Глубокий вздох высоко поднимает ее грудь.

Ты встаешь. Она продолжает сидеть на кровати, поджав под себя ноги. В ее теле нет ничего для тебя незнакомого, но каждый раз, когда ты вдруг видишь его, ты снова и снова ослеплен. Пот покрывает ее кожу легкой тканью из прозрачных капелек.

— Что стряслось, когда ты мне звонила на работу? Голос у тебя был какой-то странный. И опять пила таблетки?

— Чтобы заснуть. Я так разволновалась. Дело в том, что...

Она поднимается, прикрываясь простыней.

— Дело в том... Не знаю, как объяснить. Это насчет отца. Ты знаешь, мы уже говорили об этом...— Прикусила уголок простыни.— Он разговаривал со мной о тебе. Просил даже, чтобы я с тобой рассталась.

— А ты что?

— Ничего.

— В каком смысле?

— Ну я... Не помню. Была как в столбняке, не знала, что ответить. Он такой старый, весь дрожал, смотрел на меня так, что я вынуждена была сказать то, что сказала.

— Сказала то, что в действительности чувствуешь?

— Я не хотела сделать ему больно. Ведь он дает мне все.

— Что значит «все»?

Она склоняет голову и не отвечает.

— Для тебя «всем» кажутся деньги, которые он тебе дает, да Томаса, которую присылает постирать, погладить и сварить обед. Думаешь, я не вижу! Можем расстаться теперь же. Решай сама. Но если

ты останешься со мной, то не должна больше принимать денег и позволять Томасе делать что-то за тебя. Все будешь делать сама, а что касается денег — обойдемся тем, что я зарабатываю. Пойми, Магда, иногда тот, кто отвергает, выше того, кто берет. И все-таки решай сама.

Маркос вместе с Кампосом и Лукасом обходят фабрику. Вокруг стучат машины, жужжат и поскрипывают шкивы, стонут чиненые-перечиненые конвейерные ленты.

— Просто удивительно! — радуется Кампос.

— Это любовь и ненависть поддерживают работу наших машин,— говорит Лукас.— Ненависть к тем, кто нас ненавидит, и любовь к тем, кто нас любит... Кстати, пулемет очень удачно установили на крыше. Вчера разместили еще три на мастерской на улице Беласкоаин. И надо было видеть, как ведет себя народ в той мастерской. Несколько недель назад завод соков и фруктовых консервов в Колоне прислал им клапан от главной машины — нельзя ли его исправить? И что вы думаете — починили и даже поехали на тот завод, чтобы поставить клапан на место. И завод заработал как раз тогда, когда уже не стало хватать соков и компотов для детских садов и больниц. Мерзавцы, блокадой они хотели бы уморить наших детей голодом.

— И не только голодом. Бомбили сахарный завод «Брасиль».

Разговор идет под грохот машин, шум бегущих транспортеров, вращающихся колес, сработавшихся шестерен.

— Нет, не разрушить им нашей промышленности, не парализовать блокадой. Просто чудесно, что наша мастерская запасных частей смогла сделать такое дело для завода в Колоне,— говорит Маркос.— А вот у меня серьезные сомнения насчет плана производства. Думается, если Леонсио был способен на такое, что вскрылось, то не исключено, что он ловчил и с планом.

— Мне тоже кажется, что план занижен по сравнению с имеющимися возможностями,— соглашается Кампос.— Я как-то сказал об этом Леонсио, а он меня обвинил, что, дескать, хочу вконец запороть машины, которые и так уже износились и требуют бережного отношения, а потому, мол, план нельзя увеличивать...

— Что вы думаете о Роберто? — спрашивает Маркос.— Он обещал представить мне отчет, но до сих пор тянет, находит какие-то отговорки.

— Просто безответственный человек,— замечает Кампос.

— Да, не из лучших,— соглашается Лукас.

— А по-моему, у него нет ни стыда, ни совести,— говорит Маркос.— Я понимаю, что это интуитивный вывод, но я верю своей интуиции. Она может не сработать в делах, однако в отношении людей она меня никогда не подводила. Поэтому обманщики, приспособленцы, лицемеры инстинктивно меня боятся.

Кампос и Лукас переглядываются.

— Ладно, пойдемте посмотрим, как установлен пулемет.

В тот же день Маркос, собрав руководящий совет, заявил, что прежний план, вероятно, был занижен по отношению к существующим производственным возможностям. При подведении итогов хотели пустить пыль в глаза и выиграть в соревновании... «Целью должно быть не завоевание вымпелов или знамен,— подчеркнул он,— а достижение успехов в производстве и экономике в целом. Почему одни смогли произвести больше, лучше и с меньшей себестоимостью, а другие нет? Как этого добились? И что приносят наши достижения в соревновании экономике страны? Вот что самое важное».

Дождь барабанит по крыше террасы и по навесу над входом, бурлит в водосточных трубах, крутит мертвые листья в решетках

сливных колодцев, бьет по олеандрам и по жалюзи окон, и все смешивается в тягучий беспокойный гул, атакующий тишину, царящую в доме, и делающий ее еще более напряженной. Родриго слушает шум дождя, поглаживает бородавку и, наклонив голову, смотрит на Кастаньо. Бледно-желтая кожа лица еще сильнее подчеркивает хитрый блеск глаз.

— Значит, он хочет поговорить со мной.

Проводит рукой по волоскам на бородавке, тихо покачивает головой.

— Он так сказал.

— Хорошо. Мы увидимся в надежном месте. Ты предупредил, чтобы он не приходил сюда и не звонил по телефону?

— Само собой.

— Человек он серьезный. Я его давно знаю. А ты правда не узнал его?

— Не узнал. Если бы вы не рассказали, какая у него фигура, и не назвали примет, не описали бы все, я бы его нипочем не вспомнил.

— Дело в том, что он промышлял в Ла-Лисе. Ну а когда была облава... Не помнишь?

— Какая?

— Видишь ли, Кастаньо, я сохраняю все и обо всем помню. Для меня позабыть что-нибудь — это почти как потерять деньги.

Не торопясь, копается в кармане блузы-гуайяберы и вытаскивает помятую, пожелтевшую вырезку из старой газеты, разглаживает ее и протягивает Кастаньо.

«Гавана, 1 октября. В столице стало известно, что полиция провела облаву по выявлению апунтадоров и банкиров болиты, обвиняемых в нарушении закона о лотереях. К настоящему времени в различных районах задержаны нарушители, известные как Кастаньо Везун, Пепе Молочник, Минго, Панчито Кривляка, Пятилапый, Турок, Волнорез, Миллиардер, Семь Кинжалов, Тото Толстяк и Лорие Серьга. У упомянутого Миллиардера в каблуках туфель обнаружено специальное устройство для хранения перечня выигрышных номеров. Будучи захваченными полицией в момент передачи по телефону номеров в свой центральный «банк», двое из нарушителей безуспешно пытались прибегнуть к крайнему средству. Один из них, а именно Волнорез, проглотил два таких списка общим числом в тысячу номеров. Ему были вынуждены сделать срочное промывание желудка в столичном госпитале имени Каликсто Гарсиа. Кастаньо Везун пытался сделать то же самое, но не сумел привести замысел в исполнение, так как полицейский успел вытащить изо рта задержанного половинку листка с уличающими его номерами. Семь Кинжалов, один из апунтадоров, арестованных полицией в ходе данной кампании по ликвидации противозаконных игр, угрожал самосожжением, если его немедленно не выпустят на свободу, и громогласно заявил, что крупные дельцы болиты сговорились с полицией, чтобы покончить с бедными местными апунтадорами, которые, по его уверениям, дескать, приносят пользу населению. Полиция информировала, что будет и впредь проводить кампании социальной профилактики».

Кастаньо возвращает вырезку. Родриго аккуратно складывает ее, прячет в карман и, улыбаясь, говорит:

— Тебе неприятно, а тогда я сделал это для твоего же блага. Я не мог допустить конкуренции мелких апунтадоров, вонючих банкирчиков и прочей дешевки. Учти, мои заведения приносили ежедневно почти двести тысяч песо, и из этой выручки каждые двадцать четыре часа я передавал ребятам Батисты больше тридцати тысяч. Как же я мог позволить вам, тем, кто не платил властям, создавать мне конку-

ренцию? Знаю, тебе пришлось туго, но повел ты себя правильно — пришел ко мне, и я тебе помог. Дал работу. Я всю жизнь помогал всем. Сделал из тебя порядочного человека. Правда ведь? Отвечай: правда или нет?

— Само собой.

Родриго поглаживает бородавку и смотрит на Кастаньо, как добрый папаша.

— Я помог тебе встать на ноги. Чтобы наслаждаться тенью, надо прижаться к дереву. А с теми, кто выступил против меня, ты прекрасно знаешь, что произошло. Грозили, шумели, а кончили тем, что грызут наручники в камере. Мне рассказывали, что Семь Кинжалов впал в истерику и даже в тюрьме все продолжал орать: «Надули, подловили! Пусть возьмут Родриго и его людей в киосках!» Этот педераст, наверно, рехнулся. Видишь, чем кончил? Лорие оказался умнее, хотя и не сразу. Когда его выпустили, тоже пришел ко мне. Решил уехать в Венесуэлу. Я помог ему, как и всем. Там стал гранильщиком алмазов. Вернулся с деньжатами. Потому ты и не помнишь его — уезжал он. В самом деле, ты не запомнил его?

— Правда нет.

— А я вот помню всех. Тебе дал подняться, как на дрожжах. Правильно я говорю?

— Само собой.

— Помнишь, приезжали братья Лански[1], представляя тех из Нью-Джерси и Флориды? Они в контакте со старейшими семьями в Чикаго. Я брал тебя на некоторые встречи с ними, помнишь? Потому что доверял и доверяю тебе. Хорошо, что ты не забыл это. Наступили трудные времена, и не дело забывать старых друзей. Понимаешь?

Пока Родриго говорил, Кастаньо не смотрел на него, а теперь, подняв голову, не может скрыть удивления. Родриго преобразился. Спина распрямилась, как доска, он больше не опирается на спинку кресла, уже не кажется сникшим, напротив — сидит, словно на троне, помолодевший, важный.

— А помнишь Сэма Такера и Джо Бишоффа из Огайо, а Чарли Турине, его еще звали Бритвой? Я ужинал с ним в «Кукине»...

Говорит с воодушевлением, твердо, подчеркивая слова резкими движениями указательного пальца. Легко встает с места. Взгляд пронзителен. Морщины разглаживаются.

— С Лански тоже обедал, в обществе генерала[2]. Познакомился тогда даже с Джорджем Рафтом, киноактером. Там был народ из Голливуда, Техаса, из Лас-Вегаса — отовсюду. Вспоминаю, как Сантьягито Рей, министр внутренних дел в правительстве Батисты, сказал, что я со своими стишками больше знаменит на Кубе, чем Рубен Дарио[3]. Ну и Сантьягито!

Родриго прохаживается взад-вперед, любуясь самим собой, самодовольный, как молодой кот. Улыбаясь, ласково гладит позолоченный сейф. Энергично жестикулирует. Указательным пальцем продолжает рубить воздух.

— Насмешили же мы тогда генерала! Кто-то сказал, что я — великий теоретик игры. И я, как сейчас помню, объяснил, что люди на Кубе еще с колониальных времен научились есть левой рукой, чтобы правой делать ставки. Ты бы посмотрел, что там творилось, Кастаньо! Как все хохотали, особенно когда я сказал, что республика у нас родилась на восьмерке пик, запеленутая в купюры и карты, а вместо сомбреро — стаканчик для игральных костей. Кто-то из американцев спросил меня, почему наши люди так любят азартные игры. Ты же знаешь, все американцы — ученые, любят расставлять все по полоч-

---

[1] Известные американские финансовые дельцы, связанные с преступным миром США.

[2] Имеется в виду диктатор Батиста.

[3] Рубен Дарио (1867—1916) — выдающийся никарагуанский поэт.

кам, оплачивают исследования всякой ерунды. Я ответил, что кубинец играет, поскольку игра — часть его жизни, соль его земли, смысл его существования, эликсир его счастья, корень его надежд. Тебе известно, у меня есть что сказать на каждый случай. Надо было видеть, как они хохотали! Еще я объяснил, что на Кубе, прежде чем научиться читать и писать, уже знают все фигуры шарад к болите. Тут вообще кто не умеет играть, считай, не подготовлен к жизни. И начал им выпаливать наизусть, чтобы поняли, с кем имеют дело. А они от удивления уши развесили, только глазами хлопали. Ты помнишь, Кастаньо: один — конь, два — бабочка, три — матрос, четыре — кот и рот, пять — монашка, шесть — черепашка, семь — ракушка, восемь — покойник, девять — слон, десять — рыба, одиннадцать — петух, двенадцать — женщина что надо, жена, тринадцать — павлин и красавчик, четырнадцать — кладбище, пятнадцать — девчонка и пес...

Он ходит по зале, уверенный, властный, торжествующий. Кастаньо смотрит на него, раскрыв рот. Родриго, выкрикивая каждый номер, резко взмахивает пальцем:

— Шестнадцать — бык, семнадцать — луна, восемнадцать — рыбка, девятнадцать — червяк, двадцать — кот, двадцать один — красавица... двадцать девять — мышь... тридцать пять — паук, тридцать шесть — трубка, помнишь, Кастаньо? Тут я остановился. Всех шарад не перечесть. Эх, Кастаньо, Кастаньо, какие были времена! Я сделал из тебя великого апунтадора. Ты был и остаешься моим доверенным лицом. Одевался как денди. Ездил на машине. Даже пошалил с графиней Кэтти и женой Гудмайера. Помнишь Лулу, которая каждый день делала у тебя ставку в сто, а то и двести песо? Такие вещи надо помнить.

Фигура Родриго отражается в овальном зеркале. Кастаньо видит, как у старика снова опадают плечи горбится спина, расслабляется все тело. Лицо теряет величавость и гаснут глаза, когда он говорит:

— А Лорие передай, что увидимся через несколько дней. Позже скажу когда и где. Ему ничего не объясняй. Ньято и Пако ни слова об этом. От Ньято меня вообще прикроешь Черт знает что — позволить жене вступить в комитет! Похоже, он уже брюки на юбку сменил.

Несколько секунд сидят в тишине, слушая дробь дождя по оконным стеклам. Родриго откидывается на спинку кресла и прерывающимся голосом произносит:

— Смотри за Ньято. И иди. Хочу побыть один.

Маркос встречает его стоя, сжимает в руках карточки и, не дав сказать ни слова, бросает резко и сухо:

— Ваши инвентарные карточки — это черт знает что!

Роберто пытается стоять вытянувшись, бледнеет, поджимает губы, в замешательстве спрашивает:

— Почему?

Маркос швыряет веер карточек на стол.

— Я сам пересчитал рулоны бумаги, пакеты с марками[1] и сигаретными пачками.

Роберто мнется и смущенно говорит:

— Дело в том, что наличность тут меняется каждый час.

— Да! — Маркос бьет кулаком по столу.— И значит, каждую неделю вы подчищали и подправляли карточки по своему желанию?

Роберто снова поджимает губы. Потом что-то бормочет под нос.

— Теперь мне ясно, почему прежний директор мог делать все, что хотел. Он пользовался полным отсутствием учета. Как можно установить, что пропало, если неизвестно, что было.

— Но дело в том...

[1] Ярлыки государственной табачной монополии, которые наклеивают на пачки сигарет.

— Да-да, объясните, в чем дело, и так, чтобы было ясно, все ясно!

Маркос вынимает из ящика два поршня с шатунами и кладет их на стол.

— В ваших учетных документах эти запчасти не значатся. Я их вытащил из какой-то коробки на складе. А в одном из проходов я видел ржавеющие рейки и уголки. И они тоже не значатся в вашей картотеке. Разве вам неизвестно, что мастерская нуждается в таких материалах? Не знаете, что мы вынуждены делать запчасти даже из водопроводных труб? Это же походит на саботаж!

— Я не позволю так разговаривать со мной! Я — революционер.

Маркос опирается крепко сжатыми кулаками о край стола и говорит:

— Подобный вам экономист, проработав тут лет десять, принесет фабрике ущерб не меньший, чем, скажем, взрыв динамита или обстрел артиллерии. Революционер не тот, кто постоянно твердит об этом, а тот, кто действует по-революционному. Я не представляю, как иначе расценить ваше поведение. Вас переводим на другую работу. Кстати, в Гуанаакабибес будут производиться посадки эвкалиптов. На фабрике вам нечего делать. Поезжайте туда.

Кастаньо крутит руль, машина поворачивает и выезжает на авениду. Родриго как истукан выпрямляется на сиденье. Взгляд его бегает по сторонам. Солнце белит листву деревьев махагуа, недавно высаженных рядами по обе стороны улицы. Автомобиль снова сворачивает. Выезжает на Кальсада-де-Хесус-дель-Монте и катит по крупным пятнам тени, отбрасываемой зданиями. Ослепительное солнце заливает боковые улочки, его лучи разбиваются о бетон и яркими бликами обрызгивают стены.

— Лорие должен ждать нас на углу улиц Инфанты и Карлоса III,— говорит Кастаньо.

— Разговаривать будем в машине. Так надежнее. Действовать надо осторожно. Не клевать на приманку, не заглатывать крючок. Меня-то они не сумеют поймать в свои идиотские западни. Помни, Кастаньо, старый пес бегает мало, но чует издалека.

— Вы давно уже не выезжали из дома.

— Давно. И лучше не вылезать, когда видишь все это.

А солнце жжет и застилает пеплом сгоревшего времени твои глаза, в которых проплывают воспоминания за воспоминаниями, высвечивая заведения, вывески, фасады прошлого мира, теперь погребенного, стертого, вдребезги разбитого. Ты не находишь вокруг ничего, ничего из былого, которое безотвязно преследует тебя. Тогда ты закрываешь глаза и впадаешь в нестерпимый соблазн поверить, что все осталось по-прежнему. Но, их приоткрыв, убеждаешься: только что увиденных в памяти вещей нет на их местах. Все по-другому, все переменилось, и тебя окружает действительность, не совпадающая с той, что осталась в воспоминаниях. И ты чувствуешь себя потерявшимся на знакомых улицах. Вздрагиваешь, заметив на ветровом стекле отражение твоего до странности молодого лица. Оно становится все яснее, потом вдруг расплывается и исчезает, не дав тебе времени зафиксировать образ. И опять в глаза лезет то, чего не хотелось бы видеть. И ты сам не замечаешь, не догадываешься, как меняется твое лицо — то светлеет, то мрачнеет. Полуразвалившееся здание — и ты улыбаешься. Стайка молодежи — хмуришься. Смотришь и вспоминаешь. Вот здесь было кафе, теперь это опустевший дом, заваленный мусором и отбросами. Там, где был магазин электротоваров, сейчас кое-как приспособленное жилище. Улица Корреа, процветавшая в свое время, теперь в полном упадке. Универсальный магазин «Колосаль» в руинах. Витрины разбиты, грязь, гниющие доски. Выражение твоего лица меняется из-за искаженного представления

о времени... Воспоминания носятся в воздухе подобно пыли в солнечном свете. Все виденное преображается, образы не соответствуют месту. Видишь какую-то девушку, пересекающую улицу. Темно-зеленая кофточка, бежевые брюки. Похожа на Магду. Но нет. Эта ростом ниже, и волосы темнее. Кроме того, ты не знаешь, не знаешь, что Магда сейчас не может быть на улице. Она сидит напротив Томасы, держит ее за руку и просит помочь ей, посоветовать что-нибудь... Девушка исчезает за автобусом. Патрульная машина поравнялась с твоей, и ты в страхе прячешь глаза. Теперь вы проезжаете по Эскина-де-Тойо, и ты ищешь взглядом витрину «Бодегона», видишь ее и не видишь, видишь — а ее нет. Ты чувствуешь себя заблудившимся и потерянным. Места, улицы, закоулки, углы, фасады, которых уже нет, которые переменились, стали иными, возвращаются снова, сбивают тебя с толку. Воспоминания одно за другим проносятся перед мысленным взором, то крутятся в вихре, то плывут не спеша, смешиваются непонятно как, перекрещиваются, но не позволяют ни воспринять то, что ты видишь, ни вернуть того, что было. Твой мир, мир прошлого, разлетается в мгновение ока, взрывается и парит в воздухе подобно пыли в солнечном свете. Машина останавливается у светофора на бурлящей Эскина-де-Техас. Тут на всех четырех углах были твои киоски, приносившие ежедневно более пятисот песо каждый. Теперь — только беспокойные, озабоченные толпы на автобусных остановках. Смотрят на тебя. И тебе кажется, что узнают. Сжимаешь губы, закрываешь глаза и рукой проводишь по лицу.

Слова Мартинеса, сотрясая воздух, теряются в дыму и резком свете зала заседаний. Присутствующие недоуменно переглядываются. Лица кажутся застывшими. Тишина такая, что слышно, как горят сигареты. Лидия грызет ногти, ее отсутствующий взгляд неподвижен. Свет ламп яркими пятнами отражается на кофейных чашках. На лице Маркоса, щелкающего кнопкой шариковой ручки, лежит тяжелая тень. Голубые ленты табачного дыма сплетаются под потолком. Кампос рассеянно вертит пепельницу. Лукас замер, но все видят, как он потрясен. Мартинес сжимает кулак, стискивает челюсти. Бледность не сходит с его лица.

Они только что выслушали доклад, точнее, не выслушали, а будто приняли на себя тяжесть свалившегося камня.

Когда Луис — экономист, сменивший Роберто,—захлопнул папку, первым запротестовал Мартинес. Стал объяснять, что сверхурочные работы требовались, дескать, для выполнения плана, в этих же целях беседовали с отстающими. А на фабрике даже устроили праздник по случаю перевыполнения плана. Как же теперь сказать рабочим, что все это было обманом? Но данные доклада объективны, конкретны, неопровержимы. Маркос взял текст доклада и обстоятельно, пункт за пунктом все разъяснил. План был занижен по отношению к реальным мощностям. Сверхурочными работами прикрывались организационные неполадки. Царила самоуспокоенность. Оборудование использовалось не лучшим образом. Четкие, обоснованные доводы Маркоса убедили Мартинеса и, кажется, других членов руководящего совета. Вдруг встал Моралес и заявил:

— Я отказываюсь говорить об этом с рабочими.

Мартинес резко бросил ему:

— Ты не веришь или трусишь?

Попросил слова Лукас:

— Непонятно, как это профсоюзный руководитель отказывается сказать правду рабочим. Как можно бояться трудящихся? Нельзя же по-прежнему вводить их в заблуждение. На собрании мы расскажем им все. Мы должны говорить правду, мы не можем прибегать к лжи, но надо быть осторожными, чтобы не делать поспешных выводов. Надо выражаться предельно ясно. Соревнование должно быть глубо-

ко осознанным, а не основанным на формальностях и механических подсчетах, хотя они тоже необходимы, но главное в соревновании не они. Истина не в наградах, а в чистой совести.

— Мне стыдно выступать перед рабочими. Я прошу освободить меня,— говорит Моралес, бледный и растерянный.

Мартинес бьет кулаком по столу:

— Подавай в отставку! Мы обсудим твою трусость на общем собрании.

Моралес шевелит губами, но голоса не слышно. Избегая взглядов товарищей, он уходит с заседания.

Маркос смотрит на истлевшую на краю пепельницы сигарету. Встает и, заложив руки за спину, в раздумье шагает по залу. Лидия тоже поднимается с места подходит к двери, открывает ее и выглядывает в коридор. Закрыв дверь, оборачивается, и ее взгляд встречается с глазами Маркоса. С ее лица еще не сошло удивление, и она продолжает грызть ногти. Коротко стриженные, густые и иссиня-черные волосы девушки блестят в свете ламп.

Маркос снова садится и говорит:

— Все это достойно сожаления. А теперь приступим к тщательному рассмотрению нового плана. Кампос, читай.

Заседание продолжалось несколько часов. Наконец оно окончено, и люди покидают помещение. Лидия остановилась в коридоре. Подходит к Маркосу.

— Мне нужно поговорить с вами.

— Пойдемте ко мне в кабинет.

Лидия, и так-то низкорослая, выглядит совсем малышкой в своем комбинезоне. А рядом с Маркосом кажется еще меньше, едва достает ему до плеча и, не желая отстать от него, торопливо семенит. Поворачивают налево. Увидев вымпел победителей соревнования и стенную газету, где приведены часы добровольной сверхурочной работы каждого человека, Маркос говорит:

— Вымпел надо снять.

Она молча идет за ним. Пересекают большую комнату, заставленную канцелярскими столами, и входят в кабинет. Лидия остановилась, глядит по сторонам с любопытством.

— Присаживайся.

Она наконец садится по другую сторону стола. Маркос открывает металлический шкаф, берет термос и наливает две чашки кофе.

— Не бывала еще здесь?

— Нет. Хоть и работаю на фабрике уже два года, но здесь не бывала.

Пока она пьет кофе, Маркос рассматривает ее удивительно белое лицо с тонкими чертами и такими черными глазами, что радужная оболочка сливается со зрачком, и это придает им особую выразительность. Маленькая рука с детскими пальцами и ногтями, обгрызенными чуть не до крови, держит чашку.

— Сам я впервые побывал здесь несколько лет назад, когда приходил наниматься на работу.

— Да, мне рассказывали о вашем прошлом.

— Обо всем? — улыбается Маркос.

— Что касается фабрики.

Лидия ставит чашку на стол и, расслабившись, устраивается поудобнее в кресле, откидывает голову назад, прикрывает глаза. Яркий свет ламп падает ей прямо на лицо, подчеркивая синие тени подглазий и резкий контраст между очень черными волосами и очень белой кожей.

— Устала?

— Немножко.

Она открывает глаза, распрямляется в кресле, локтями опирается о стол и пристально всматривается в Маркоса.

— Ты носишь контактные линзы?

— Нет. А что?

— Ты так, несколько странно смотришь...

— У меня немного косят глаза.

Маркос улыбается.

— Ну и как тебе показалось?

— Вы о чем?

— О заседании. О том, что произошло.

— Я как раз об этом и хотела... Дело в том... думается, что надо поговорить с Моралесом. Представляю, как ему плохо сейчас.

— Ну что ж, поговорим еще раз с ним.

— Но только не для того, чтобы стыдить и добить совсем. Надо помочь ему исправиться, уговорить не бросать работу.

Маркос задумывается, берет карандаш и чертит на клочке бумаги крестики и спирали.

— Ладно, поговорим. Но каково было его поведение на совете? Вряд ли ему можно оставаться руководителем профсоюзной организации.

— А я думаю наоборот: должен остаться.

— Он вел себя безответственно.

— Это правда, а человек-то он не безответственный. Я даже не могу понять, как это у него вырвалось. Вернее, понимаю, и я вначале думала так же, как и он, но сдержалась. Я тоже была готова выступить на заседании, но, знаете, иногда человек... Ну, вы понимаете?

— Нет. Объясни.

— Мне трудно. Надо видеть, как он болеет за дело, как старается. А какого труда ему стоило убедить равнодушных! Зато потом он светился радостью. Видели бы его тогда. Он все время повторял: план надо выполнить, надо! Энтузиаст он, неутомимый, задорный. Вот он какой, Моралес.

Маркос нажимает на карандаш, и спирали на бумаге становятся крупнее и жирнее.

— Но сдрейфил. А ведь именно он должен сказать рабочим правду. Как это — профсоюзный вожак и не верит рабочим? Если у него нет веры в них, он не может ими руководить. Ведь его избрали, верили в него, а вот когда наступил момент доказать, что эта вера не напрасна, он не решился высказать рабочим правду. И в конце концов, вина-то за состояние дел не его и даже не профорганизации, причина — в плохих методах руководства производством. Моралес проявил недопустимую слабость.

— То, что вы говорите, верно, конечно, однако все-таки ему надо помочь. Объяснить, что случившееся должно придать ему уверенности. Как раз вот такие случаи и учат, как надо поступать. Он обязан это сделать, для того его и выбрали. И выбрали не ради проформы. И поэтому надо помогать ему.

— Его поведение было совершенно неправильным.

— Верно. По-моему, это от волнения, он очень переживает, беспокоится о собственном достоинстве. Не из трусости он так поступил. Я представляю, каково ему было на заседании. Это... это как если бы любимая женщина ему изменила. Изменяла давно, и вдруг он бы узнал об этом. В таких случаях люди порой ведут себя необдуманно. Он, наверно, чувствовал себя так же.

— Ваш пример...

— Я понимаю, не совсем подходящий, это не одно и то же, но более или менее близкое.

— Конечно, каждый из нас недостаточно знает других. Извини. Ведь народа так много. За короткий срок трудно, да и невозможно

узнать всех. И о тебе действительно мне мало что известно, заметил только, что постоянно приносишь на работу цветы.

— Я люблю цветы. Живу я в Арройо-Наранхо — это почти за городом. Там много зелени. И когда иду на работу, всегда захватываю с собой букетик.

— Далековато живешь.

— Порядочно, но мне нравится там. Встаю я очень рано, и меня приветствует птичий оркестр. Мать говорит, что в жизни, когда женщина огорчается, она становится камнем, а когда радуется — цветком. Живу спокойно, с матерью и сыном.

— Никогда бы не подумал, что у тебя есть ребенок.

— Почему?

— Я полагал, что ты не замужем. Молода очень.

— Не такая уж я и молодая. Два года назад развелась. Не получилось у нас. Он бесился, когда я уходила на собрания. Вообще не хотел, чтобы я работала или училась. Многого не понимал. Хороший человек, но не понимал меня. Может, я и сама была в чем-то виновата, но теперь это не имеет значения. Ну, вот вы и узнали кое-что обо мне.

Она встает и делает несколько шагов по кабинету, рассматривает каждую вещь. Ощупывает кожаную обивку кресел, металлические шкафы. Маркос вглядывается в ее изящную фигурку, бледную кожу, блестящие волосы и странные глаза, будто омытые свежей водой. Лидия подходит к нему и протягивает руку. Улыбается.

— Вот увидите, Моралес все воспримет правильно. Спасибо.

Закрывает за собой дверь. Маркос смотрит на исчерченный листок, комкает его, скатывает в шарик и бросает в корзину. Зажигает сигарету и в задумчивости останавливает взгляд на портрете Хосе Марти с табачниками из Тампы.

Томаса сидит рядом с Магдой и молча слушает ее. Смотрит на девушку, улавливает что-то новое в ее глазах, взглядывает еще раз — но нет, глаза Магды все те же.

— Послушай, девочка, какая муха тебя укусила? Уж не дал ли тебе этот парень какого-нибудь приворотного зелья, чтобы помутить твой разум и перевернуть нутро? Ты сходишь с ума, детка.

— Говори о нем что хочешь, Томаса, только с каждым днем он мне нравится все больше и больше. Когда я рядом с ним, мне ничего не надо, уходит он — и такая тоска берет! Если вижу, что он чем-то озабочен, мне становится грустно. Никогда со мной такого не было. Волшебство, колдовство, называй как хочешь. Но тут ничего не поделаешь.

— То, о чем ты меня просишь, девочка, очень трудно сделать. Обмануть твоего отца ой как непросто! Он на тебя смотрит, будто шкуру сдирает, сразу видит, что у человека на душе. Если не знает, то чувствует. От него не скроешь. Я не решусь. И ты не расстраивай его. Неприятностей ему и так хватает. Он очень рассердится. Ты его еще плохо знаешь,— говорит Томаса. Она прикрывает глаза, представляет себе, как на нее обрушивается слепая ярость Родриго, вспышки жестокости, необузданные порывы, следы которых она носит на теле. Такие припадки бешенства, такое дикое возбуждение охватывает его всегда, если что-нибудь не получается, или если он бессилен что-то сделать, или когда ему перечат. Остынув, он сам называет это «злой местью жизни». Такие извержения ярости синяками отпечатывались на твоей коже, истязали плоть и душу, они превратили твою жизнь в сплошной ад соучастия в грязных делах, ад обманов, покорности, разврата и страха. Ты моргаешь, пытаясь отогнать воспоминания, но они прячутся лишь на время, и смутная тревога прячется вместе с ними.

Магда подходит к софе, нагибается, склоняясь к тебе, и берет твою руку:

— Заходи ко мне, но только не прибирать, не стирать, не гладить и не готовить еду. Это я буду делать сама.

— Девочка, ты же ничего не умеешь. Ты никогда этого не делала.

— Научи, и буду делать.

— Милая моя, такие дела не для тебя.

— Почему же?

— Глупости все это, доченька. Как ты жить-то будешь? Ты умеешь только тратить. У тебя свои привычки. Тебе всегда нравилось все самое лучшее из лучшего. Так что деньги от отца бери, а Маркосу не говори.

— Он сразу догадается.

— Скажешь, что деньги скопила, мол, это твои сбережения.

— Но ведь это же обман.

— Послушай, дочка, коли выбирать, кого обманывать, отца или Маркоса, выбирай уж Маркоса. Он не заметит. Это легче, и будет лучше для вас обоих.

— Я люблю его, и обманывать его было бы нечестно.

— Милая моя, такой пустячный обман ничего не значит.

Магда отпускает твою руку и задумчиво смотрит на аквариум.

— Делай, как я тебе говорю. Тебе советует старуха, которая...

Но девушка перебивает тебя и спрашивает:

— Скажи, Томаса, как относился к тебе мой отец? Не понимаю, почему вы не поженились?

— Послушай, девочка, никто не ищет того, что уже имеет. Говорю тебе это, потому что я уже старуха и знаю много, ох, много. Я была служанкой и сожительницей твоего отца. Два дела сразу, и так много лет подряд. Так было, да и теперь так.

— Но вы хоть любили друг друга?

— Ох, дочка, сразу видно, что ты влюблена. Потому об этом сейчас и спрашиваешь.

— А как у вас было с моей мамой?

У тебя сжимаются губы, морщины углубляются, будто прорезаны огненными лезвиями. Ты не знаешь, но глаза твои становятся бездонными. Магда не успевает заметить это — ты сразу же берешь себя в руки. И пугаешься, словно еще сохраняешь живые соки в теле, а в душе — способность страдать и притворяться.

— Твоя мать болела нервами. А о тебе всегда заботился отец. Сейчас это важно тебе знать. И старайся не огорчать его. Он уже совсем старый.

Ты скрестила руки на белом накрахмаленном переднике и видишь, какими сухими и морщинистыми они выглядят на белой ткани, но не чувствуешь запаха увядшей травы, исходящего от тебя.

— Томаса, ты мне была как мать. Ты должна помочь мне.

— Я помогу, помогу.

Магда смотрит на тебя, сжимает твои руки, и ты отводишь взгляд от нее, потому что видишь в ее глазах глаза Хертрудис, одержимой.

Маркос дал указание представить ему справки: об объеме производства, о запланированных и фактических расходах сырья, о выполнении заданий на каждой машине, в каждом цехе, каждым рабочим, о причинах невыполнения или перевыполнения заданий, о количестве листового табака на складе, о наличии бумаги, марок и пачек для упаковки сигарет, о дефицитном сырье или запасных частях, о прогулах.

Кампос просматривает записную книжку, полную пометок, цифр и масляных пятен. На отдельных страницах следы его пальцев видны отчетливо, как дактилоскопические отпечатки. Загибает страницу и показывает Маркосу: на сигаретной машине номер шесть — на ней работает Рауль — отмечается недопустимый перерасход сырья.

Стучат в дверь. В кабинет входят Альмагер, Лукас и Мартинес. Последний говорит:

— Все готово к пуску поточной линии упаковки. Вверху нас ждут.

Маркос закрывает папку и ставит ее на полку. Собирает разрозненные бумажки с заметками и расчетами.

Они проходят через контору, где к ним присоединяются несколько служащих. На подъемник грузят табак для рубки, рабочие вкатывают тележки с кипами. Во дворе Моралес усердно промывает какие-то детали в ванночке с бензином. Бросает паклю. Улыбается. Обменивается рукопожатием с Маркосом, тот говорит:

— Хотим посмотреть на упаковочную линию. Пойдем с нами.

Поднимаются по лестнице, Маркос, следуя за Моралесом, замечает сеть морщин на его шее. Останавливается, смотрит во двор. Вспоминает профсоюзное собрание. И как будто слышит гомон, перекличку голосов, аплодисменты. Двор заполнен стульями, креслами, табуретами. Сидят и на кипах табака. Отдельные лица неожиданно четко вырисовываются в памяти. Слова о том, что перевыполнение плана было ложным, вначале вызвали замешательство, но по мере продолжения доклада народ стал все понимать. Вспоминает лица рабочих, их жесты, выступления и снова переводит взгляд на Моралеса. Еще до обсуждения вопроса Моралес попросил слова, встал и показался гораздо более высоким, чем был на самом деле. Все глядели на него, а он не знал, как начать. Наконец, нерешительным тоном рассказал о своем поведении на заседании совета: мол, после, когда с ним поговорили, он все понял, но тогда, на совете, опешил и попросил освободить его. Выступление Моралеса утонуло в аплодисментах — шумных и единодушных. Собрание решило оставить его на прежнем посту.

На третьем этаже окна были вымыты во время субботника. Работа оказалась напряженной и трудной, пыль спеклась, и слой ее стал таким плотным, что пришлось прибегнуть к соляной кислоте. Несколько дней тому назад по-новому приспособили вытяжные устройства, а каждую машину оснастили пылеулавливателем. Теперь воздух здесь стал чище и прозрачней. Солнечные лучи врываются через стекла, под углом пересекают помещение, отсвечиваясь на машинах и стенах. В светлых конусах повисают лишь мельчайшие частицы табачной пыли.

— Нам трудно было даже представить, чем насыщен воздух, которым дышали, пока не увидели эти тысячи пылинок в солнечном луче,— говорит Мартинес.

Они идут дальше вдоль ряда набивочных машин. У шестой машины Маркос задерживается и в точно рассчитанный момент подхватывает пригоршню сигарет и кладет в карман. Рауль смотрит на него с удивлением. В его глазах растерянность и подозрительность. Что-то хочет сказать, но Маркос уже идет дальше.

Сворачивают направо и проходят через упаковочный цех. Вдалеке, на участке наклейки марок, Маркос различает кувшинчик с цветами. Машина сотрясает голубые соцветья — вот-вот они опадут, но держатся, дрожа и вибрируя, вторя машинному ритму. В проеме двери Маркос видит улыбающуюся ему Лидию.

— Кому-то пришла хорошая мысль покрасить машины в зеленый цвет, а сиденья — в апельсиновый.

Тут Маркос слышит за спиной голос Лидии:

— Фабрики не должны быть кучей однообразно-серого железа.

Маркос оборачивается и видит, как Лидия чуть не бегом припускается к своему рабочему месту, улыбаясь так выразительно, что просто невозможно смотреть на нее равнодушно. Некоторое время собравшиеся наблюдают за работой новой поточной линии.

Возвращаясь, они снова проходят мимо набивочных машин У одиннадцатой — гора пакетов с резаным табаком. Кампос выходит вперед и спрашивает у рабочего:

— Почему такой завал? Что случилось?

— Что-то с машиной. Я говорил механику, но бесполезно.

— Остановите машину,— приказывает Маркос.

Быстрым шагом идет вдоль линии. Проходя мимо шестой машины, снова набирает пригоршню сигарет. Сопровождавшие его товарищи остались помочь у одиннадцатой, а он быстро спускается по лестнице.

«И зачем я только пообещала?..» Шваброй выгоняешь котов из кухни. Один из них изогнулся, шерсть дыбом. Видишь его острые зубы, выпущенные когти. Бьешь кота, он взвизгивает и неуловимой тенью вылетает наружу. «Зачем я ей обещала?.. Не смогла. Не удержалась. Точно кто-то меня связал, опутал...» Дрожащими руками ополаскиваешь тарелки и чашки. «Сейчас он позовет меня. А как увидит, сразу догадается. Ох, боюсь... Но чего я так переживаю, крестная же говорила, что мне за свою совесть бояться нечего, ведь я заговоренная и мои заступники — добрые духи. Вот сейчас позовет, предчувствую, что позовет. И сразу догадается, только посмотрит — все поймет...» В его присутствии ты всегда ощущала себя неуверенной, беззащитной. Твои хитрость и ложь никогда не обманывали его. Он сразу же замечал малейшее колебание или дрожь, каждое, почти неуловимое движение твоих губ, растерянность в глазах, и твоему обману приходил конец. И вот ты слышишь его голос — зовет. Идешь медленно, тебе не хочется видеть его. Чашечка кофе позвякивает о блюдце — дрожит твоя рука.

Вот и он. Поглаживает, как обычно, бородавку. Пьет кофе. Широко расставляет ноги, упершись руками в колени, и пристально вглядывается, будто в самую душу. Ты чувствуешь, как его взгляд проникает в тебя, читает твои мысли. Остатки твоей твердости улетучиваются, и тебе кажется, что он знает как раз то, что ты стараешься поглубже спрятать.

— Ну что там с Магдой? Все еще продолжает с этим?..

Ты молчишь. Стискиваешь руки, избегаешь его взгляда, который, кажется, ощупывает тебя, подозрительный, беспокойный. Ты теряешься, бормочешь что-то, подыскивая слова.

— Говори, черт возьми!

— Да,— выдыхаешь ты.

— Я так и думал!

Хлопает себя по коленям. Ты слышишь его тяжелое дыхание и уже знаешь, что это предвещает.

— Значит, все-таки с этим кретином!

Резким ударом смахивает чашку на пол. Челюсть его трясется.

— Что ты ей сказала?

— Пробовала уговорить, но вы ведь знаете, какая она. С самого детства была странной и своевольной, как кошка. Ну и... каждой женщине нужен мужчина.

— Мужчина, а не какой-то ублюдок! Не позволю! Она обманывала меня! Врала!

Он срывается с места, пересекает комнату. Стучит по столу. Звенят стекла в шкафу. Резко взмахивает руками, словно раздавая пощечины невидимому противнику. Ты хочешь подойти к нему, но тебя пригвождает к месту этот его хорошо тебе известный взгляд. Родриго все еще жестикулирует, мотает головой, будто уклоняясь от ударов. И все-таки ты делаешь шаг к нему и говоришь:

— Успокойся. Тебе вредно. Нельзя так нервничать.

Он потрясает в воздухе кулаками и кричит:

— К черту «вредно», к черту «нервничать»!

— Ну успокойся, Родриго,— просишь ты.— Она ведь всегда была такой несдержанной, непослушной. Никогда не считалась с тобой. С

малых лет росла как дикарка, по своей воле, ты сам позволял это. Ей нравится жить одной, вести себя как вздумается. Характер у нее твой. Она из того же теста. Теперь вот ей хочется быть с этим мужчиной, и, мне кажется, ты тут ничего не сделаешь.

— Как это ничего не сделаю?

— Успокойся, успокойся же. Почему ты не хочешь, чтобы она жила, как ей по душе? Мы свое уже отжили. Я говорю, когда девушка влюбляется, она теряет голову, у нее уже нет разума.

Ты кладешь руку ему на плечо и пытаешься улыбаться, как в молодые годы, но и это не действует,— теперь Родриго, вместо того чтобы расстегнуть твою блузку и увлечь в постель, кричит:

— Дура набитая! — и дает пощечину, от которой ты пятишься, пока не натыкаешься на стену.

Проводишь рукой по лицу, тонкая струйка крови течет из носа и смешивается со слезами.

— За что ты меня так? Она вся в тебя, она из тех людей, которые, если чего захотят, не остановятся, пока своего не добьются. Такие готовы на все.

Ты видишь, слова твои повлияли на него. Он подходит к тебе, берет за руку и говорит:

— Но этого она не добьется. Я приму все меры. А ты будешь делать то, что я тебе велю.

В его словах сквозят и просьба и угроза. Ты дрожишь, пока он указательным пальцем стирает капельку крови, готовую упасть с твоего подбородка. Родриго отряхивает руку, и капля слетает на белую плитку пола. Из-за фигур святых молнией выскакивает кошка и слизывает красное пятнышко.

Маркос смотрит на часы, открывает дверь кабинета. Калибратором проверяет плотность набивки сигарет из одной пригоршни и сравнивает ее с сигаретами из другой. Из металлического шкафа достает специальные весы и устанавливает их на столе.

Раздается телефонный звонок.

— Слушаю.

Магда сидит на софе, в левой руке держит подковку, а правой прижимает телефонную трубку.

— Пораньше придешь сегодня?

— Вероятно, нет.

Магда с силой сжимает подковку и начинает болтать голой ногой, свесившейся с софы.

— Мы же почти не бываем вместе...

Маркос переводит взгляд с никелированного штатива на коромысло и легчайшую металлическую чашечку весов.

— А что поделаешь?

Магда следит за тем, как золотистые и красные тени переплывают с места на место в зеленоватых недрах искрящегося аквариума, и еще сильнее сжимает в руке подковку.

— Обещай, что в воскресенье поедем с тобой на пляж. Так не может продолжаться — работа и работа, только работа, надо когда-нибудь и развлечься.

Маркос кончиком пальца слегка постукивает по металлической чашечке, раскачивающейся подобно маятнику.

— У меня воскресник на фабрике.

Она проводит подковкой по телефону и еще сильнее начинает болтать обнаженной ногой.

— Неважно, поедем после обеда, когда вернешься.

Маркос притормаживает движение чашечки.

— Хорошо.

Она целует подковку и роняет ее на софу. Нервно отбрасывает волосы назад. Маркос опускает трубку. Поочередно кладет сигареты

на чашечку весов и делает пометки. Вес значительно разнится. Берет с полки папку со средними нормами и сравнивает. Сидит задумавшись. Нажимает кнопку селектора.

— Кампос! Слышишь, Кампос. Пошли ко мне Рауля. Пусть зайдет сразу же, как кончит смену. Предупреди еще Лукаса и Мартинеса. И сам спустись чуть пораньше.

Песни. Крики. Неразбериха. Толчея. Визги. Хохот. Пьяная похвальба. У стойки — потные люди с мутными глазами, зевают, громко разговаривают, переступают с места на место, пошатываясь, смеются, требуют, чтобы кто-то замолчал, размахивают руками, пытаются петь. Лезут из кожи вон, стараясь показать, что веселятся. Ньято сидит, оперевшись локтем о стойку и положив голову на ладонь, поглядывает на бармена и на бутылки. Рубашка на животе Ньято вылезла из брюк.

Кастаньо входит размеренным шагом, старательно оберегая мыски своих сохранившихся от старых времен двухцветных ботинок. Садится за столик в глубине сада. Оттуда делает Ньято знак, чтобы подошел. Тот показывает кукиш, поворачивается к нему спиной и, подняв бокал, протягивает его бармену, словно священник чашу с причастием во время мессы. Кастаньо сохраняет невозмутимый вид, взгляд его холоден и колюч. Появляется Пако, идет к столику Кастаньо, хочет сесть, но Кастаньо опережает:

— Приведи его.

Пако оборачивается и видит Ньято, навалившегося на стойку. Подходит и подхватывает того за локоть. Ньято резко вырывается. Пако снова берет его за руку, пытается уговорить, но Ньято отмахивается. Пако возвращается к Кастаньо:

— Брось его. Скоро сам придет.

— Как дела?

— Хорошо, только вот Ньято беспокоит.

Ньято не спеша подходит к ним. Покрасневший нос блестит от пота. Смотрит заплывшими глазами. Подвигает стул, садится. Водит мокрым дном бокала по столику и, не глядя на Кастаньо, брызгая слюной, говорит:

— Меня выключайте из игры. Поступаю на работу.

— Ты здорово завязан. Будь осторожен в словах и делах. Подумай хорошенько. Не то шкура может попортиться.

Словно не слыша Кастаньо, Ньято поднимает бокал, залпом опустошает его и со стуком ставит на стол.

— На кой черт мне думать! Все вы накрылись. Со дня на день загребут и — к ногтю. Тут скоро скрутят всех. Так что выключайте меня из своих дел.

— Ньято, слушай, не поддавайся жене,— говорит Пако.

Ньято стучит кулаком по столу и кричит:

— Не смейте говорить тут о моей жене!

Взбешенный Кастаньо смотрит в глаза Ньято, стирая со стола влажный кружок — след от бокала, поднимается и покидает бар. Пако следует за ним.

Пошатываясь и сгорбившись, прикрыв лицо руками и втянув голову в плечи, Ньято тоже направляется к выходу. Идет, заметно петляя, пересекая солнечный луч на полу. У стойки останавливается, сбивает с нее бокал. Заплетающимся языком бормочет:

— Скрутят их. Загребут всех. Меня-то не тронут, а их всех — к ногтю.

Ухватился обеими руками за стойку — его тошнит.

Я пришел в половине шестого. Маркос просматривал журнал учета, потом захлопнул его. Тут же показал мне результаты взвеши-

вания для проверки набивки сигарет и спросил, как считаю я, был ли злой умысел у Рауля. Я не знал что ответить и подумал: чтобы быть справедливым, надо залезть в душу Рауля. Попробуй раскуси людей. Но все же ответил, что не раз говорил про это Раулю, а тот утверждал, что всему виной машина. Поговорили о Рауле. Прежде всего стараемся понять причины, почему некоторые люди поступают так.

Когда вошли Лукас, Мартинес и Рауль, я сел на диван, а они — в кресла напротив стола. Маркос показывает Раулю две кучки сигарет и спрашивает:

— По-вашему, они весят одинаково?

— Не знаю.

— Не знаете?

— Машина очень изношена...

— Когда я проходил мимо в первый раз, в машину поступило одно количество табака, а почему, когда я возвращался, табак поступал в другом количестве?

— Что вы имеете в виду? — спросил в свою очередь Рауль с явным раздражением.— Я не способен на такое.

— Я не утверждаю, что вы сделали это умышленно, может, просто по невниманию.

— Я уже двадцать лет работаю здесь и знаю, что и как надо делать.

— Не спорю. Но вы знаете также, сколько центнеров табака пропадает впустую, когда в машину его подается больше чем надо. И сигареты получаются хуже — твердые, плохо горят. Если бы я был уверен, что вы делаете это умышленно, то сейчас не разговаривал бы с вами — вас уже арестовали бы за саботаж.

Я видел, как у Рауля подрагивали брови, лицо исказилось злой гримасой, будто он старался гневом заглушить страх.

— Работаю на совесть, понимаю ответственность. Вы не с ребенком разговариваете.

Я смотрел на него так, словно пытался проникнуть в его душу. Долго молчал, катая по столу попавшийся под руку карандаш. Рауль тыльной стороной ладони вытирал пот с лица. Я вглядывался в него, и вдруг у меня родилось сомнение, недоверие к нему, хотя тогда я даже предположить не мог, на что Рауль способен пойти несколько месяцев спустя. Просто было трудно вообразить, куда может завести человека обида и злоба. Но все-таки уже тогда в нем закипала дурная кровь. А дурная кровь быстро накапливается.

— Мы переведем вас на другую машину и посмотрим, как ваша старая машина будет вести себя при новом работнике.

— Но я...

У него прервался голос, он встал и вышел из кабинета. В душе у него уже таилась ненависть, недобрые мысли сквозили во взгляде. Все молчали. И все-таки я никогда бы не подумал, что он сделает то, что сделал. Сложное создание — человек.

Солнце золотит кожу ее ног. На лбу у волос искрится полоска. Возле самой воды виднеется замаскированный противотанковый ров. Магда разглядела его только тогда, когда я показал. Дальше по берегу — контрэскарпы, они закамуфлированы, а справа у мелких заливчиков, подобно муравейникам, рассыпались брустверы стрелковых ячеек. Магда быстро вскакивает на ноги, стряхивает песок со ступней и бежит. Сначала за линией берега скрываются ее ноги, потом бедра и, наконец, волосы. Она входит в воду спиной и кричит: «Иди сюда!» На голубом фоне я вижу ее белые руки, она зовет меня с такой неподдельной радостью, будто школьница в первый день каникул. Волны разбиваются о ее спину, обдавая брызгами. Я смотрю вдаль, и море на горизонте кажется неподвижным, гладким и твердым, слов-

но зазубренное лезвие ножа, а вблизи его очертания смягчаются. Волны рождаются, нарастают, опрокидываются, захлестывая друг друга, бегут наперегонки. Едва одна из них подкатывает к Магде, я перевожу взгляд дальше и вижу новую волну, которая должна обрушиться на нее. Поднимаюсь и иду к воде. Лицом чувствую ветер и солнце, а ногами — рассыпающийся горячий песок, потом приятный холодок влаги от набегающих на берег волн. Магда приближается ко мне, протягивает руки: «Пойдем туда, поглубже, где можно купаться нагишом». Улыбается и обдает меня брызгами. Я беру ее за руки, и мы идем до тех пор, пока вода не поднимается нам до шеи. Магда, нагая, дышит тяжело и учащенно. Море обволакивает ее тело, колышет груди под бегущей водой, пронизанной бликами. Она держится за мои плечи, и мы идем дальше. Уже почти не достаем дна, подпрыгиваем, чтобы не наглотаться воды. Магда обнимает меня за шею, прижимается ко мне и шепчет: «Если бы мы всегда могли быть вот так вместе и вокруг — никого, вдали от людей, чтобы никто...» Высокая волна накрывает нас. Плаваем долго, все дальше уплывая в открытое море. Волны разбиваются о наши тела, и от нас к берегу тянется пенный след...

Вот они идут по кромке моря, вокруг ни души, только рокот волн, выбрасывающихся на песок. Она шагает по сухой полоске, закинув руки на затылок, отжимает волосы. Добираются до того места, где оставили свои вещи. Магда наклоняется, раскладывая два полотенца — в белую и в красную полоску. Ложатся и, растянувшись на спине, один возле другого, смотрят в небо и слушают бормотанье воды. Медленно плывут облака.

— Как люблю я море! С самого детства.

Он открывает глаза и спрашивает:

— Почему?

Если бы я могла объяснить ему, то сказала бы, что думать о любимом человеке — это все равно что стоять у моря и ждать смены его красок. Но говорю совсем другое:

— Не знаю. Никто не может этого сказать. Порой вещи нравятся нам даже своими недостатками. Вроде бы мне все время чего-то не хватало в жизни, а оно — только взглянешь — сразу приносит успокоение... В общем, не знаю. Но мне очень нравится море, а еще верховая езда. Ой, ты тоже мне нравишься.

— А ты хорошо плаваешь,— говорит Маркос.

И я кусаю губы, провожу ладонью по лицу и хочу рассказать тебе о Варадеро, о Сонии, о Диане, о письмах, которые получаю, а тебе не показываю; о той ночи, когда, униженная и оскорбленная, отчаянно плыла следом за яхтой, скользившей в серой полутьме, гналась за ней, потеряв голову, рискуя в ту беспокойную ночь своей жизнью. Хочу рассказать тебе все-все, но какой-то непонятный страх мешает мне говорить. Слышу, ты спрашиваешь:

— Где ты научилась так плавать?

...Разрозненные, застывшие сцены. Дом Сонии в Варадеро, Ричард на трамплине бассейна, вызывающе самодовольный. Сейчас-то я думаю, что он был просто хвастливый дурак и обманщик. Я не любила его, хотя тогда считала, что люблю. Теперь-то мне все совершенно ясно. Его лживые обещания увезти меня, когда я со своей гитарой уходила от него из пальмовой рощи вдоль кустов жасмина... Родители Дианы и Сонии каждый год уезжали путешествовать в Европу, и их огромный дом поступал в наше распоряжение. Ночные свидания у олеандровой изгороди... Тогда-то Диана, Сония и Ричард научили меня плавать. Диана была изумительной пловчихой, лучшей в нашей школе и клубе «Ведадо-Теннис»... Потом были пони и первая лошадь, подаренная мне отцом. Затем та прекрасная кобылица, покорительница барьеров. Я в костюме амазонки рядом с Дианой. Ричард с биноклем. Все видится отрывками, как в порванной киноленте.

— На море научилась,— отвечаю, не глядя на Маркоса. Злясь на себя, поднимаюсь и иду к кромке берега. Нагибаюсь, поднимаю камень и, приблизившись к воде, неистово с силой бросаю его, словно эта неистовость должна отбросить вместе с камнем тоску и страх, давящие меня. Но камень, большой, с кулак, вместо того чтобы улететь далеко и тут же затонуть, падает у берега и с волной возвращается к моим ногам. Мне чудится в этом крах, немой ответ на мои вопросы, мечты и желания. Подходит Маркос, тоже поднимает камень, с легкостью бросает его, и я не могу понять, почему у него камень летит так далеко и мгновенно тонет за пределами зеленых разводов воды, в самой глубине синевы. Я чувствую, как он берет меня за руку, поворачивает к себе и говорит:

— Ты выбрала неподходящий камень, слишком пористый наверно. Важна ведь не величина камня и не сила, с какой бросаешь, главное — уметь его выбрать.

Я смотрю на него, кладу голову ему на плечо и, сама не знаю почему, спрашиваю:

— Ты веришь мне?

Он мягко высвобождает плечо и, ласково сжав мою голову в ладонях, говорит:

— Меня больше интересуют поступки людей, чем их слова.

— Разумеется,— отвечаю я и продолжаю: — Но знаешь, мне кажется, что, если бы я тебе рассказала о своей жизни, и рассказала бы правду, ты думал бы иначе. Посмотрел бы на эту правду другими глазами. Ведь есть много такого, чего даже сама себе я не могу объяснить.

— Лучше не будем об этом говорить,— отозвался Маркос.

Он наклонил голову, и мы пошли вдоль берега.

...Идут, ступая по темным, влажным пятнам от волн на поблескивающем песке. Знойный воздух струится над сверкающей от солнечных бликов морской гладью. Волны докатываются до их ног, обволакивают щиколотки пеной и смывают следы на песке. Рука Маркоса находит руку Магды и пожимает ее, Магда неотрывно смотрит на него. Идут рядом, обнявшись за талию.

— Позавтракаем,— предлагает Магда.

Магда направляется к машине и приносит цветастую сумку. Отыскивает затененное и чистое местечко под миндальными деревьями. Опускается на колени, вытаскивает из сумки скатерть с зелено-коричневым рисунком, расстилает ее на песке, ставит термос, аккуратно развертывает парафинированную бумагу.

— Сама приготовила?

— Да.

— Откуда все это? Ведь таких продуктов в продаже не найти.

Магда не знает, что ответить.

— Приготовила Томаса или ты?

— Приготовила я, но Томаса кое-что принесла.

— А где она взяла?

— У папы есть знакомые.

Маркос поднимается, а Магда продолжает стоять на коленях, опустив голову с ниспадающими на песок волосами, не решаясь поднять глаз. Маркос сухим и резким тоном говорит:

— Я же тебя предупреждал, что ничего не хочу от твоего отца!

Широко открытыми глазами Магда смотрит в спину удаляющемуся Маркосу, поднимается, бежит вслед, догоняет его и, обняв, всхлипывает:

— Я хотела порадовать тебя...

Оба смотрят в море. Она прижалась к его спине, положив подбородок на плечо.

— В детстве, когда море становилось бурным, я любила выискивать самую высокую волну и, найдя ее, говорила: «Вырасту такой же

большой, как ты». И вот что из меня получилось — большая дура. Прости меня.

Она прижимается плотнее подбородком к его плечу. Маркос, не оборачиваясь, закидывает руку и гладит ее по волосам. Они смотрят в голубое море с рассыпанными по нему зелеными пятнами ряби.

Свет гаснущего дня тлеет в унылых сумерках. Услышав шаги, ящерицы прячутся в расщелинах меж камней. Ветер будоражит куст лавра, заставляет трепетать бурьян, окружающий высохший и растрескавшийся бассейн фонтана. Родриго обращается к Кастаньо:

— Разговор с Лорие прошел прекрасно. Он знает свое дело. Неограненные алмазы поступят с Базы[1], так что придется тебе съездить туда. Я скажу, с кем там связаться. Лорие не должен знать, откуда поступил материал. Пако ни слова об этом деле, а Ньято тем более, после того, что ты о нем рассказал. В общем, никому и ничего!

Жестом показывает Кастаньо, чтобы тот вошел и закрыл дверь на террасу. Подходит к столу и из кедровой шкатулки берет сигару, разминает ее, вертит в пальцах перед носом. Закрывает глаза и, раздув ноздри, втягивает аромат, проводит кончиком языка по всей длине сухого листа. Высекает пламя зажигалки и, чтобы сигара разгорелась ровно, поворачивает ее над огнем. Шаркая старыми кожаными туфлями, подходит к двери, открывает ее, выходит на террасу и, перегнувшись через перила, сплевывает в сад. Воробьи на лавровых кустах оглушительно чирикают. Закрыв дверь, Родриго возвращается. В глазах желатинный блеск, лицо сурово. Включает поломанный, когда-то элегантный торшер: сооружение из металла и паутины проводов с разбитыми, потрескавшимися подвесками из темного хрусталя и розетками под яшму.

— Садись, Кастаньо. Наступают трудные дни. Надо быть очень осторожным. Ты умеешь молчать, я это знаю. Но вот что я хочу спросить у тебя... можешь ты убить человека, если нужно будет?

Кастаньо сидит недвижим, устремив взгляд в глаза Родриго, который продолжает стоять, опираясь руками о спинку кресла, и изучающе всматривается в лицо Кастаньо — спокойное, непроницаемое лицо игрока в покер с едва заметным застывшим выражением угодничества. Глаза Родриго словно отвердели, утратили желатинообразность, хотя и сохранили блеск, будто их влага замерзла и превратилась в острые льдинки.

— Понятно, речь идет о враге. А я тебе устроил бы немедленный и гарантированный выезд из страны. Знаю, смелости у тебя хватит и на это, и на гораздо большее. Но говорю, чтобы ты все взвесил. Может, дело дойдет до этого.

II

Ты выходишь из здания Объединения, ошеломленный и сбитый с толку словами Армандо. Пересекаешь улицу. Открываешь дверцу машины. Опускаешь стекла и сидишь, напряженно выпрямившись, опершись на руль, не зная, что делать, и пытаясь взять себя в руки. Хочется сейчас же, немедленно поехать к Магде, расспросить ее, заставить рассказать все. Резко дергаешь с места машину и с такой силой сжимаешь руль, что белеют пальцы. Автомобиль берет повороты, скрипя шинами. Ты в полном замешательстве. Хочешь сдержать себя, приехать к ней спокойным. Останавливаешь машину напротив причалов, в тихом месте среди ящиков, ждущих погрузки, рядом с хранилищем асфальта. Язык пламени нефтеперегонного завода лижет небо, оранжевые отблески огня пляшут по поверхности моря. Гло-

[1] Имеется в виду американская военная база в районе Гуантанамо (Куба).

таешь тяжелый, затхлый ветер с залива. Закуриваешь сигарету и следишь, как дым расползается по ветровому стеклу, сквозь стекло и дым видишь пламя в небе и снова слышишь слова Армандо. Лицо Армандо...

— Я пригласил тебя, чтобы поговорить о работе и еще по личному вопросу. Решено дать фабрике экспортный заказ. Понятно, это потребует более напряженного производственного плана, потребует создания одновременно двух поточных линий: для сигарет из черного табака и светлого. Мы знаем, в каком состоянии находится фабрика, но раз надо, то надо. Расширим цеха, установим машины, хоть и не новые, однако только что отремонтированные. Увеличим штаты. Вот план. Внимательно изучи его и обсуди на руководящем совете.

Он передал тебе папку. Снял очки, насупил брови, помолчал. Ты понятия не имел, что еще он собирался сказать, а он не знал, как начать. Заговорил сухо и размеренно:

— А теперь я хочу коснуться несколько щекотливого вопроса, который меня очень беспокоит. Я узнал, что ты живешь с одной девушкой, и считаю своим долгом предупредить, что она тебе не пара, даже может повредить тебе во многом. Женщина такого типа может быть всего лишь хитрой приманкой. Не работает, не учится, не участвует в общественной жизни. И, насколько мне известно, особа довольно сумасбродная, со странностями и вообще производит впечатление не совсем нормальной.

Ты ерзаешь на стуле, хочешь объяснить, но он жестом останавливает тебя, внимательно глядя в глаза, словно обдумывая, сказать ли что-то еще или подождать. Ты напрягаешься, уставившись взглядом в его лицо, но на самом деле не видишь его. Лицо Армандо лишь экран, на котором отражаются твои мысли: Магда на пляже, когда ты увидел ее впервые, будто большой ребенок, заблудившийся на берегу моря, неправдоподобная и загадочная, растерянная и соблазнительная, дрожащая, недосягаемая и близкая, влекущая своим взглядом и телом, с непредсказуемо изменчивым лицом и жаждой любви, жаждой совета и помощи, голос, приглушенный и грустный, и в то же время явная, хотя и сдерживаемая сила духа. А потом ее нетерпеливые руки на твоих плечах. Понемногу ты возвращаешься из своих расплывчатых воспоминаний, позади остаются обрывочные фразы, осторожные умолчания, многозначительные жесты, сбивчивые иносказания, слова со смутным смыслом, боязнь возможности скорого расставания и гнетущей угрозы потерять друг друга. Ты снова смотришь в глаза Армандо и говоришь:

— Это сугубо личное дело. Чего ты хочешь от меня? Чтобы я оставил ее?

Армандо встает и медленно прохаживается по кабинету. Остановившись, оборачивается к тебе и спрашивает:

— Знаешь, чья это дочь?

— Знаю. Но знаю и то, что дети за родителей не отвечают.

— А известно тебе, что она ведет переписку с двумя своими подругами, дочерьми ярого контрреволюционера?

Его вопросы застают тебя врасплох, ты начинаешь волноваться.

— Знаешь, что в школе, в которой она училась, избили одну нашу активистку только за то, что она была на стороне революции? И знаешь ли, наконец, что она пыталась тайно выехать из страны?

Ты будто видишь в воздухе звук его голоса, ты ошарашен этими неожиданными известиями и не находишь что ответить. Только чувствуешь испарину на лице да желание забыть его слова, которые, подобно кошмарным ударам молнии, раздирают и сжигают тебя.

— Знаешь, что она шесть месяцев укрывалась в загородной усадьбе?

Армандо вновь вышагивает по кабинету, постукивая оправой очков по губам. В наступившей тишине тебе кажется, что вокруг ни-

кого нет. Ты продолжаешь неподвижно сидеть, пока он не подходит к тебе со словами:

— Я понимаю, что чувства не перечеркнешь, но иногда ими надо жертвовать. Любовь нельзя подавить, а вот стараться управлять ею следует...

— Так я и пытаюсь сделать. Девушка может стать другой.

— Не так все просто. Люди не изменяются мгновенно.

— Армандо, поверь, любовь может все. Только ненависть и одиночество не способны ни на что. Я считаю своим долгом помочь ей.

— Она, по-моему, человек избалованный, неуравновешенный. Потребуется многое понять и вытерпеть. А терпения, кажется, у тебя не так уж много.

— Я решил не расставаться с нею.

— Ну ладно Я посчитал своим долгом высказать тебе все, что слышал, хоть и знаю, что влюбленные придумывают всякие увертки, стараются убедить себя в своей правоте. Поступай как хочешь. Но мне все-таки казалось, что чисто в личном плане я обязан был поговорить с тобой...

Ты открываешь дверцу машины. Две чайки кружат над ящиками и шеренгой недавно выгруженных тракторов. Подходишь к молу. Вода плещется о сваи. Советский танкер, подавая сигналы, медленно направляется к выходу из порта. Огни судов, стоящих в бухте, перемигиваются над поверхностью моря, их отражения кажутся лампочками под водой. Какой-то буксир ударяется бортом о причал, и деревянный настил дрогнул под твоими ногами. Водная гладь представляется сталью в бетоне, полоски отсвечивающего пламени нефтеперерабатывающего завода будто перерезают бухту. Тяжелый запах морских ракушек, моллюсков, нефти, смолы, водорослей бьет тебе в лицо. Ты разглядываешь плотный слой прибитого волнами мусора: автомобильные шины, обломки дерева, банановые плети, засохшие кокосовые орехи, доски от ящиков, древесная листва, яичная скорлупа. Слой мусора уплотняется, сужается, по мере того как вода прибивает его к молу. Ты останавливаешься. Сжимаешь ладонь в кулак, с силой комкаешь пустую сигаретную пачку и бросаешь ее в воду. Упав и набухнув, она медленно разворачивается, словно цветок, одиноко плавающий в нефтяном пятне. Пачка тонет, ты возвращаешься к машине и трогаешь ее с места.

Прыжками взбегаешь по лестнице. Открываешь дверь и из прихожей видишь полоску света, проникающего из комнаты. Со спинки стула небрежно свисают чулки Магды. Она спит, закинув руки за голову. Рот полуоткрыт, волосы в беспорядке рассыпаны по лицу, грудь поднимается и опускается в ритм дыханию. Магда кажется тебе чужой, далекой, будто вы никогда не были вместе.

Сбросив одежду, входишь в ванную. Пускаешь душ — соприкосновение с холодным потоком, мощным и обжигающим, бодрит и успокаивает. Растираешься полотенцем и чувствуешь, как расслабляются мускулы, кожа розовеет и становится упругой. С полотенцем на плечах открываешь зеркальную дверцу шкафчика, берешь бритву, проводишь рукой по лицу и кончиками пальцев ощущаешь колючую бороду и легкое жжение на щеке, там, где пятно. И тут же вспоминается тот дом в Мехико, в районе Нуэва-Ансунес, и та пожилая сеньора, которая так помогла, когда с тобой случилось несчастье. Вспоминаются лагеря в Икстапан-де-ла-Саль, Агуаскальентес, Льяно-дель-Медио и особенно в сельве Кинтана-Роо на полуострове Юкатан, дни тренировок, изнурительные марш-броски, полевая жизнь, неудобства и слова командира: «Чтобы стать настоящим революционером, нужно закалять и тело и дух». А в тот вечер во время стрелковых занятий у тебя в руках разорвало винтовку и порох обжег щеку, даже опалил

брови и ресницы. Ты думал, что останешься слепым, но помогли медикаменты и усилия дружески расположенного к вам врача. Дело пошло на лад. Выжимаешь из тубы крем для бритья, начинаешь намыливать лицо, и в это время в зеркале возникает Магда. Обернулся — она стоит перед тобой, босиком, опираясь о косяк двери.

— Почему ты меня не разбудил?

Не ожидая ответа, подходит к тебе и обнимает за шею. Ты отстраняешь ее.

— Нам надо поговорить.

По ее лицу пробегает тень предчувствия.

— Что с тобой?

— Ты должна кое-что объяснить мне.

Ее широко раскрытые глаза вспыхивают.

— Почему ты не рассказала мне всей правды? Почему не сказала, что...

Она мгновенно сникла. Отшатнулась и вышла. Продолжаешь бриться. Услышав всхлипывания и вздохи, идешь в комнату и видишь Магду распростертой, уткнувшейся лицом в подушку, прикрывшей голову простыней. Ты не подходишь к ней, а направляешься к окну и выглядываешь в кромешную темень. Море накатывает на прибрежные камни, медленно, размеренно, без пены. Прислонившись к шероховатой раме, вдыхаешь резкий, словно перенасыщенный солью морской воздух. Какой-то старик, сидящий на парапете набережной, собирает рыболовные снасти и старательно укладывает их в сумку. За спиной слышатся всхлипывания. Не шевелясь, искоса смотришь на Магду, и она, видимо почувствовав твой взгляд, смотрит на тебя не моргая, как наркоманка. Прижимает кулаки к груди, пытается что-то сказать. Собравшись с силами, садится на край софы и приглашает тебя, освобождая место рядом. Лицо ее, серьезное, почти трагичное, искажено мучительной, как от электрошока, судорогой, и в нем — безысходность. Дышит тяжело.

— Погаси свет. Мне неприятно. Режет глаза.

— Хочешь разговаривать в темноте, чтобы я не видел твоего лица?

— Нет, нет, нет! Не гаси, пусть горит.— И снова прижимает руки к груди.

Колеблется, похоже, никак не может решиться на откровенный разговор, наконец, собравшись с духом, начинает говорить неуверенно, робко, преодолевая смущение и страх. Говорит словно из глубины своей бездонной грусти, боль сводит ей губы. И пока ты слушаешь, как она, покрывшись испариной, исповедуется тебе, до тебя доносится, будто сквозь время, аромат ее тела. Что-то такое, что нельзя ухватить, но что каждый хотел бы унести с собой. Твои вопросы заставляют ее касаться деталей, которые, видимо, ей не хотелось бы вспоминать. Голос ее срывается. Она замолкает, делает усилия над собой, поднимает голову и продолжает. Все смешалось в кучу: незначительные мелочи, интимные подробности, ощущения. По нескольку раз она повторяется в своем мучительном монологе, который, кажется, никогда не кончится. Дрожащая, задыхающаяся, она, пожалуй, исповедалась тебе во всем... «Этого я никому в жизни не рассказывала,— говорит она.— Это все. Я много раз собиралась поделиться с тобой, но не могла... Теперь словно освободилась от этого кошмара...»

«Обессилев, я лежала возле Маркоса, умерев и родившись вновь, способная мечтать, не лгать, и любить, и не чувствовать себя одинокой. И это так много для меня. Очень много».

Три часа длится совещание. Вокруг ламп плавают густые облака дыма. Обсудили изменения и перестройку, необходимые для выполнения обязательств по экспорту без ущерба для основного плана. Прикинули минимальные затраты, которые понадобятся для установ-

ки нового оборудования и улучшения условий на рабочих местах. Обновляется штат.

— В прошлый раз, как только увеличили штат, возникли проблемы,— говорит Мартинес.

— Какого рода? — спрашивает Маркос.

— С зарплатой.

— Объясни толком.

— Тогда мы собрали старых мастеров и объяснили, почему необходимо еще привлечь рабочую силу, хотя это потребует пересмотра зарплаты. Кое-кто спросил, как это отразится на них. Им ответили, что у старых мастеров сохранится прежняя зарплата, а пополнение будет получать по новым расценкам. Ты, наверно, помнишь Кампос, что тут же нашелся один, встал и заявил, что он решил защищать интересы новых и старых рабочих, толковал об опасности общего снижения заработков в будущем.

— Кто это? — спросил Маркос.

— Рикельме.

— Рикельме... Рикельме? А-а, помню его. Когда я в свое время работал здесь, он был подсобным при машине. Помнится, он еще занимался какими-то махинациями с кредитными книжками. Но теперь я его что-то не вижу на фабрике.

— Он подался в Соединенные Штаты месяца три назад, незадолго до того, как вы были назначены руководить фабрикой. Тогда на собрании кое-кто говорил и о том, как будут себя чувствовать новые рабочие, узнав о неравной зарплате. Другие рассуждали так: если, мол, хозяева могли платить рабочим такие деньги, несмотря на миллионные затраты на рекламу и на личное обогащение, позволявшее им жить в роскоши, почему же теперь, когда нет таких расходов и фабрика принадлежит народу, вновь принятым рабочим не платят наравне со старыми?

— Кто это спрашивал?

— Охеда, Рауль, Бенито, Регаладо. Присутствующие здесь товарищи, которые были и на том собрании, помнят, как Рауль тогда разошелся, вскочил с места и сослался на то, что по конституции за одинаковый труд положено одинаковое вознаграждение. Лукас тогда же сразу дал ему и другим отпор. Вот эта группка из нашей страны не уехала, продолжает работать на фабрике. Я напоминаю об этом, нельзя забывать о тех, кто мутит воду и подбрасывает яд. Они всегда могут показать когти.

Лукас, откинувшись на стуле, курит, прикрыв глаза, но слушает внимательно. Он обычно скуп на слова. Поглаживает блокнот, потом вдруг заявляет:

— Сейчас такое вряд ли может повториться. Народу ясно, что заработная плата пересматриваться не будет, и только для новых рабочих вводится другая шкала. На фабрике насчитывается двести пятьдесят три человека, а тех, о ком ты говоришь, всего трое или четверо.

— Тем не менее они действуют, сеют раздоры, создают трудности,— возражает Мартинес.

— Если дадут волю рукам, отрубим руки,— подает реплику Лидия.

Маркос, задумавшись, закуривает и смотрит на дым.

— То, что говорит Лукас, резонно. Теперь уже не те времена. И не надо никому ничего рубить. Надо убеждать.— Лидия краснеет, уши ее горят, она не сводит глаз с Маркоса.— Надо разъяснить людям, что раньше зарплата использовалась хозяевами, чтобы разъединять рабочих. Фабрикантам не важны были ни интересы страны, ни справедливость в распределении заработков. Если мы разъясним это толково, любой нас поймет. Вот что мы должны делать.

Солнце опустилось уже ниже крон деревьев, выстроившихся вдоль ограды. Томасе видны лишь их очертания на золотом фоне. Косые лучи высвечивают мусор на траве сада, ржавчину железной решетки. Нет уже тех темных душистых роз, воздух не благоухает ароматом жасмина и райских деревьев, как в ту проклятую весну, когда покончила с собой Хертрудис. Предзакатный свет вместо того, чтобы стирать, затушевывать воспоминания, делает их более четкими и подробными. Сейчас сад как бы одет в униформу, придающую ему серую холодность колодца или кладбища. Воробьи стайкой крикливо суетятся, снуют вокруг кустов лавра.

— Ну, начали! Закрой окно!

Томаса закрывает и направляется к двери, но Родриго останавливает ее:

— Куда? Не уходи! Не хочу оставаться один. Садись.

Прикусывает сигару, поглаживает бородавку, смотрит на Томасу. Прислушивается к тиканью маятника. Погрузившись в размышления, не спеша курит, между тем как старые часы с монотонным перестуком переводят секундную стрелку, а Томаса следит за последним вечерним лучом, умирающим вдали.

— Ты, пожалуй, права. Надо изменить подход к Магде. Если будем перечить, она еще больше закусит удила. Упрямая как осел. Дикую кобылицу и то легче объездить. Тебе следует почаще заходить к ней. И постараться, чтобы и она почаще приходила ко мне. Надо сказать ей, что, хоть мне и не нравится связь ее с этим... досаждать ей я не буду, единственная, мол, забота — ее счастье. А Кастаньо я поручил навести справки о ее ублюдке. Может, еще он и сам ей надоест. Ты же знаешь: ей то одно подавай, то другое. Она всегда была такая. Кастаньо говорит, что этот... Маркос... работает день и ночь. Ни одной женщине такое не понравилось бы, а Магде тем более. И зарабатывает он ерунду — что-то около двухсот песо. Магда может потратить их в один день. Она рехнулась, право. Не хочет, видите ли, брать деньги от меня. Наверняка его штучки. Этот народ не поймешь. Все рехнулись. Ты понимаешь, что значит не хотеть брать от меня деньги? Добейся, чтобы она брала. Это очень важно! Но не думай, будто я смирился с тем, что они вместе. Если не выйдет по-моему, я прибегну к крайним мерам. Не позволю, чтобы какой-то сукин сын из этих, из нынешних, издевался надо мной. У меня есть задумка...— И, постукивая кулаком по подлокотнику кресла, начинает рассказывать Томасе, которая слушает его раскрыв рот, с удивлением и страхом. Родриго говорит в такт ударам кулака. Заканчивает, когда в комнате уже совсем стемнело. Томаса поднимается, зажигает лампу и уходит в свою спальню.

Все так же, как было двадцать лет назад. Железная с медными шарами кровать, зеркальный шкаф, маленький столик у стены и кресло стоят на своих местах, но краска и шторы выцвели, мебель и пол уже не сверкают, стекла грязные, замутненные пылью и сыростью. Лишь поблескивают на облупившейся стене изображения святых и подношения Огуну[1] — бронзовый ананас и золотая тыква, подаренные Родриго. Ты вспоминаешь и зла на него за жестокость, но сохраняешь благодарность за то, что он снисходил до тебя, за его тело и, может быть, поэтому не можешь или не хочешь признать, что в последние годы ты стала в этом доме чем-то вроде вещи, вроде одной из кошек, вроде побитой, но верной собачонки, стала ни на что не годной нелепой фигурой, появляющейся из дверей кухни или бесшумно и незаметно мелькающей в коридорах и прихожих, тайной сводней, смирившейся и молчаливой свидетельницей непристой-

[1] Огун, Шанго, Ойя — божества афрокубинского культа.

ностей выживающего из ума Родриго. Вот уже несколько месяцев он придирается к тебе, кричит, унижает и командует, а ты все сносишь, потакаешь всем его капризам и прихотям и даже чувствуешь некое удовлетворение от того, что ты снова нужна и что хоть как-то с тобой общаются. И ты смиренно прощаешь и понимаешь его, потому что, как говорила твоя крестная, он усыновлен Шанго́, а они все такие, кроме того, он был добр к тебе, по-своему, но добр. Ты качаешь головой. И вовсе не склонна поддаваться угрызениям совести или вздыхать, вспоминая, как ты трепетала перед ним. Целуешь пол перед Ойей. Склоняешься в мольбе к Огуну. И память уносит тебя на несколько лет назад, когда ты пошла навестить крестную в Реглу, в квартал Ла-Колониа и нашла ее, как обычно, ковылявшей на своей деревянной ноге по хибарке, увешанной травами, где стояло корыто с махой [1].

Увидев тебя, она сказала:

— Знаю, знаю, зачем пришла.

Моргнула левым глазом, прикрыв правый, и, подняв суковатую палку, провела ею в воздухе над твоей головой с востока на запад. Ты ей сказала:

— Крестная, там, в доме, где я работаю, жена хозяина — я живу с ним,— совсем полоумная, родила ему дочку. Девочка красивая, хотя сама хозяйка страшная — злющая и белая, как альбиноска.

Крестная посоветовалась со своими кокосовыми орехами и раковинами.

— Они говорят, что ты дочь Огуна. Говорят, что скорее огонь пресытится деревом и море — водой, чем ты этим мужчиной. Говорят, что ты должна царствовать над водой, которую он пьет, над его мужскими желаниями и над его постелью. Раковины говорят, что ты отберешь его у жены и сядешь сама в его повозку. Обещают помочь тебе. Но, говорят, когда дочь Огуна забирается в повозку такого мужчины, как он, слезать с нее нельзя ни за что на свете, потому что эта повозка окружена огнем или бездонными реками. Огун говорит, чтобы ты ложилась с этим мужчиной среди апельсинов, влажная, натертая медом, облепленная павлиньими перьями и пахнуть должна корицей. Огун просит у тебя один ананас и одну тыкву. И тогда ты привяжешь к себе своего мужчину на всю жизнь, и всегда у тебя будет еда и свой угол.

Сейчас ты поглаживаешь золотую тыкву, целуешь бронзовый ананас. Зажигаешь свечу. Целуешь кровать и пол и молишься, но не ведаешь, что шепот твоих молитв — это лишь шорох опадающих листьев.

Магда просыпается, как от удара. Открывает глаза и спрашивает:

— Который час?

— Пять.

— Сегодня рано придешь?

— Не знаю.

— Приходи пораньше. Мне кажется, я трачу жизнь впустую, когда тебя нет со мной.

— Ты все связываешь только с собой. Слишком много заботишься о себе и слишком мало о других. Мне ведь нужно работать.

Магда садится в постели и, отбрасывая волосы назад, спрашивает:

— Кофе хочешь?

— Нет, выпью на фабрике. Что ты собираешься делать днем?

— Думать о тебе. Другого ничего делать не могу. Ты не понимаешь меня, да я и сама не могу объяснить тебе, просто ты необходим мне. Все остальное мне претит.

[1] Крупная неядовитая змея.

— Подумай, о чем мы говорили.

— Да... Думай, думай. Тоска. Я теряю терпение, глядя на часы. Пустая комната, потолок, зеркала. Думай, думай...

— Хорошо, прими какое-то решение и действуй. Дело поможет.

— Любить — это тоже дело. Это действие в чистом виде...

Стук закрывающейся двери прерывает слова Магды. Она босиком соскакивает с постели и бежит к окну. Блеклый рассвет, повисший над морем, затушевывает линию горизонта, словно воздух наполнен мельчайшим пеплом, медленно оседающим на воду. Магда видит, как Маркос выходит из подъезда, и провожает его взглядом. Вдыхает воздух, насыщенный запахом рыбы и водорослей, облепивших камни. И только когда в небе зажигается заря, отходит от окна и направляется в кухню. Открывает кран и долго задумчиво смотрит на утреннюю игру журчащей воды. «Как легко мне теперь, когда он все знает. Когда выскажешь то, что невозможно было сказать, словно спадают с тебя оковы, словно ты заново появляешься на свет — возрождаешься...» Набирая в ладони воду, умывается, прохладная вода ласкает, как свежий ветерок. Неумело ополаскивает вчерашнюю посуду. Руки то попадают под струю, то погружаются в пену, и возникает удивительное ощущение, когда слышишь скрип чистого стакана, ощущение, подобное тому, что было вчера, когда, сидя на диване, ты штопала носок Маркоса. Старалась сделать как можно лучше то, чего никогда прежде не делала. Ты чувствовала себя в тот момент совсем другой и спрашивала: «Неужели это я?..» И вот теперь, погрузив руки в воду и пену, а мысли — во время и пространство, полные воспоминаний и надежд, ты думаешь о Маркосе, о его непреклонной твердости. И чувствуешь, хотя и не знаешь пока, а может быть и знаешь, потому что чувствовать — это, наверно, лучшая форма знать, что не все дороги ведут в никуда. Стряхиваешь воду со стаканов и тарелок. Вытираешь руки полотенцем, но, присмотревшись к нему, замечаешь, что оно совершенно грязное. И не вешаешь его, а выходишь во дворик и начинаешь стирать. Разворачиваешь на солнце белую, без единого пятнышка ткань и сама удивляешься, что способна своими руками создавать чистоту. И опять спрашиваешь себя: «Неужели это я?..» На соседнем чердаке видишь веревку с мокрым цветастым бельем, раздуваемым ветром. И в твоих глазах этот день приобретает необыкновенную красочность. «Неужели это я?!.» Твои мысли раскрываются в пространстве и времени. «Неужели это я?..» Взволнованная возвращаешься в комнату. Быстро вытираешь пол. Проходя мимо зеркала, останавливаешься: «Неужели это я?..» Удивляешься, открыв себя. Не можешь узнать: «Я ли это?..» Отраженная лучистой гладью зеркала, кажешься себе совсем другой. «Я — та, какая сейчас, или какая была? Нет, я все могу. Почему бы не попытаться?..»

Те, кто создал это, довольны. В своих синих комбинезонах переходят от машины к машине, все проверяя, уточняя, сгорая от нетерпения; скорее бы закончить установку и посмотреть, как пойдет работа. Маркос, Лукас, Мартинес и другие помогают завершить монтаж.

— Если поторопиться, завтра можно запускать.

Из динамика доносится голос секретарши:

— Товарищ директор, товарищ Маркос, вас ждут в приемной.

— Иди узнай, кто там. Если дело не очень важное, скажи, что я занят.

Кампос идет в свой кабинетик, чтобы связаться по селектору.

Старый Сальмерон замасленной рукой стирает пот с лица, подходит к машинам, ощупывает их, хлопает по станинам, словно представляя собственного сына.

— А кто выбрал для них такую красивую краску? — спрашивает Лидия.

— Правда хороши?

— Да. Цвет мне очень нравится. Машина не должна выглядеть безобразной, а у нас красивые — редкость.

— Если тебе так нравится, мы их все до единой покрасим в светло-зеленый, но, конечно, важнее всего, чтобы они работали.

Сальмерон гладит машину и улыбается.

— А я и не знала, что у нас на Кубе есть завод, где делают упаковочные машины.

Сальмерон посмотрел на нее и подошел ближе. Высокий, худой, он наклоняется, разговаривая с Лидией. Машет рукой, зовет остальных работниц и объясняет:

— Эти машины сделаны не на заводе, а в небольшой мастерской во дворе фабрики «Ранчуэло». Вы будете работать на них и должны знать, что на вашей фабрике никогда не было таких упаковочных машин. На 4-А, бывшей «Тринидад и братья», работали две американские. Но требовалось больше, и тогда Объединение поставило вопрос так: купить новые машины невозможно из-за блокады, значит, надо попытаться сделать хотя бы одну по имеющемуся образцу. Для нас это была очень трудная задача, думали, не справимся. А теперь вот мы эти машины видим, трогаем, даже самим не верится. В них вложены месяцы работы и тревог, вы даже представить не можете, чего нам стоили эти машины. А когда начали испытывать их и они заработали, мы даже удивились. Это почти новая модель, изобретенная нами. Американская давала сорок шесть пачек в минуту при двадцати рабочих. Наши производят пятьдесят две с восемью рабочими. И все детали мы изготовили там же, в маленькой мастерской. А уж как и на чем мы их сделали — не спрашивайте, так что это и в самом деле чудо.

Раздается звонок. Женщины быстро разбегаются по своим рабочим местам. Но Лидия успевает спросить старика:

— А все-таки кто это придумал их покрасить?

— Чего это тебя так интересует?

Лидия сердится. Сальмерон с добродушной улыбкой отвечает:

— Это ваш директор попросил. Когда мы пришли осмотреть место для их установки, он сказал, что тут есть одна девушка, очень симпатичная, так вот она говорит: нельзя, чтобы машины были безобразными, и вообще фабрика должна выглядеть привлекательно. Что ж, давайте доставим молодым женщинам удовольствие.

— Правда? — спрашивает Лидия.

— Может, правда, может, неправда,— все еще продолжая улыбаться, говорит Сальмерон, добрым взглядом провожая девушку, побежавшую к своему месту. Увидев, что она встала к маркировочной машине, на которой ритмично подпрыгивает букетик цветов, он от удивления широко распахивает глаза.

Родриго поглаживает большой золоченый сейф. Поднимает брови, и от этого морщины, бороздящие его лоб, становятся еще глубже. «Порой чувствуешь себя мертвецом. Стынет в жилах кровь. Но все же им не удастся...» Ворочается в кресле. «Даже смерть, если будет нужно...» Молодая белая кошечка, дремавшая на столе из красного дерева, прыжком спускается вниз и потягивается, распрямляя лапки и изгибая спинку. Подняв хвост трубой, секунду смотрит на Родриго, затем изящно, будто с подчеркнутым безразличием, пересекает зал, не обращая внимания на присутствие хозяина. Остановившись, словно передумав, оглядывается на Родриго и начинает тереться о ножки кресла, шаловливо играя хвостом. Прикинувшись покорной, растяги-

вается на полу, плутовски поглядывает на хозяина лживыми зелеными, как круглые изумруды, глазами. Родриго хлопает себя по коленям, и кошка с какой-то чувственной мягкостью и послушностью, словно подвижная тень, влекомая дуновением ветра, подкрадывается к нему. Вспрыгивает на колени, мурлычет, выгибая спинку от его ласки. Медленно закрывает глаза, сворачивается клубком. Родриго тоже прикрывает глаза, продолжая гладить мягкую и пушистую, теплую, наэлектризованную шерстку. Он чувствует на своих коленях мягкий клубок тепла, божественного тепла, проникающего в его склеротичные больные сосуды и растекающегося по ним подобно благотворному потоку, вливающему новые силы в сердце, возвращающему жизнь. Неожиданно кошка вздрагивает, приподнимается. Глаза вспыхивают зеленым огнем. Мускулы ее мгновенно становятся упругими. Она ловко выскальзывает из рук Родриго, стрелой вылетает из залы через окно. Хозяин встает, выглядывает на улицу и видит, как кошка мчится по саду сквозь бурьян, за ней следует проворный кот тигровой масти. Родриго с силой захлопывает окно. Снова садится. «Даже смерть. Да. Если нужно — смерть!..» Трогает кольцо на пальце, покачивается в кресле-качалке, в тишине слышится его дыхание — в тишине мучительной, болезненной, давящей, подобно засасывающему бездонному водовороту.

Маркос толкает кедровую с зеркальным стеклом дверь и вдруг видит ее. Она стоит, облокотившись на алюминиевую решетку, на лице — замешательство.

— Вот товарищ хочет вас видеть,— докладывает ему секретарша.

— Выпишите пропуск.

— Ваши имя и фамилия?

— Магдалена Кастильо.

— Из какой организации?

— Я уже сказала — по личному вопросу.

— Документ, товарищ, пожалуйста. Любой — удостоверение с работы или студенческий билет.

Магда непослушными руками — Маркос знает, что делает она это для отвода глаз, нет у нее документов — пытается открыть сумочку из змеиной кожи, а сама бросает на него молящие взгляды.

— Выдайте пропуск без документа. Под мою ответственность.

Он открывает перед ней алюминиевую решетку, распахивает дверь, и Магда в алом полотняном платье, с рассыпавшимися по плечам волосами проходит через контору. В глазах служащих любопытство, все глядят на нее так, словно видят огонь, вырывающийся из архивных бумаг.

Она разглядывает его кабинет.

— Садись.

— Нет. Я так.

Магда трогает полки шкафов, ощупывает кожу кресла. Смотрит на графики производства, селектор, на фотографию Хосе Марти с табачниками Тампы.

— Так, значит, это твой мир?

— Отчасти.

Она садится, скрестив ноги. В ярком свете кабинета Маркос рассматривает ее глаза такого бледно-коричневого цвета, что сейчас они кажутся желтыми с темными зрачками.

— Что привело?

— Ты не рад?

— Я не это хотел сказать.

— Мне плохо. Я неудачница. И ни на что не способна. Мне хорошо только тогда, когда ты со мной. А так я ни к чему не пригодна...

— Не впадай в истерику.

Магда вынимает из сумочки платок.

— Если бы ты знал, зачем я пришла к тебе! Если бы знал, что со мной творилось! После того как ты ушел, я думала о нашем разговоре и чувствовала себя отлично. Это было как-то необычно, но я прониклась такой уверенностью, что казалось, для меня нет невозможного. Пошла в город с мыслью преподнести тебе сюрприз. Нет, я не думала идти сюда, я хотела написать заявление, чтобы поступить учиться или работать. Пока я спускалась по лестнице, все мне казалось легко и просто. Но вдруг встал вопрос: а куда пойду? Я почувствовала себя чужой в нашем мире. Это было так странно. Просто не могу объяснить тебе. Не знаю, поймешь ли ты меня. Вот почему я здесь.

Магда нагибается, берет листок бумаги, рвет его на клочки и собирается бросить в пепельницу.

— Ты должна верить в себя. Неуверенность порождает страх, путаницу, а путаница в свою очередь приводит к еще большему страху и путанице. Иди домой и хорошо подумай, что ты должна делать.

— Гениальный совет! Иди домой, и думай, и думай, и разбирайся в своих делах в конце концов сама. А как ты полагаешь, я смогу в них разобраться? Едва принимаешься думать, сразу восстанавливается в памяти пережитое, мучает меня. Думай, думай... Когда я перестаю думать, все кажется лучше. Почему ты не хочешь пойти со мной?

— Мне нужно еще поработать.

Магда заполняет пепельницу обрывками бумаги. Опускает последний и говорит:

— Твое решение очень простое: иди домой, думай. А я не могу. Я задыхаюсь там. Прихожу в отчаяние, когда тебя нет.

Маркос задумчиво смотрит на нее. Сквозь стены доносится жужжание машин.

Людьми заполнены тротуары, все куда-то спешат. Проезжает новый автобус, похожий на огромную, ярко раскрашенную игрушку. Асфальт пышет жаром. Девушка, одетая в форму милисиано, регулирует уличное движение.

После ухода Магды ты остался в кабинете, размышляя, правильно ли поступил, отпустив ее. Она ушла разобиженная, в слезах. Чтобы заглушить собственное беспокойство, ты поднялся на третий этаж и снова занялся монтажом упаковочных машин. И в шуме машин тебе слышался голос Магды. Над тележками и ящиками виделось ее вытянувшееся, растерянное лицо, в котором читался молчаливый упрек. Ты опасался, что она может пойти на какой-нибудь необдуманный шаг. Например, выпить флакон таблеток. Или броситься с моста. Или повеситься на чулке. Вдалеке виднелись цветы герани, сотрясаемые вибрацией, словно их треплет сильный ветер. На монтаже ты пробыл около часа. Вернулся к себе. Попытался вчитаться в докладную Кампоса о низком качестве полученного сырья, но сосредоточиться не мог. Взгляд все время возвращался к клочкам бумаги, переполнявшим пепельницу, и ты видел судорожные руки Магды, длинные побледневшие ногти и не знал, что в это время на берегу моря ее руки сжимались с такой силой, что ногти впивались в кожу.

Сейчас ты слышишь запоздалый свисток девушки-регулировщицы вслед твоей удаляющейся машине. На площади под яркими лучами солнца ослепительно сверкает мрамор монумента. Нажимаешь на акселератор, чтобы как можно быстрее увидеть Магду. Но вот, проезжая междугородную автобусную станцию, замечаешь женщину с двумя детьми и сбрасываешь скорость. Останавливаешь машину, зовешь:

— Сильвия!

Она оборачивается. Глаза ее округлились. Крепко прижимает к себе детей и голосом, который, кажется, раздается не только в пространстве, но и во времени, восклицает:

— Маркос!

Они смотрят друг на друга, мгновенно окаменевшие от неожиданной встречи, пока его слова не начинают заполнять пустоту:

— Я так рад снова увидеть тебя! Как живешь?

— Хорошо. Очень хорошо. Вышла замуж. Работаю вон там, напротив. А ты переменился. Кажется, даже вырос.

В глазах Сильвии, похоже, блеснула слезинка.

— Ты тоже изменилась. Я едва узнал тебя.

— Мы все изменились, Маркос. Все меняется. А ты что делаешь?

— Назначен директором сигаретной фабрики. Ты чуть-чуть пополнела, но тебе идет. Кажется, что годы тебя не коснулись.

— Не преувеличивай. Жизнь другая. Ну ладно, Маркос, я опаздываю. Очень рада была увидеть тебя.

— Я тоже. Надо как-нибудь еще встретиться.

— Нет, Маркос. Лучше не надо.

Дети разглядывают тебя, ты тоже смотришь на них и в глаза Сильвии, которая прощается кивком головы и уходит, и ты видишь ее обновленной той силой возрождения, которая присуща любому существу и накладывает на него печать таинственности. А в памяти соединяются обрывки прошлого, всплывают подробности, далекие картины то становятся четкими, то, расплываясь, теряются и снова возвращаются, вырываясь из того трудного времени решений и сомнений; воспоминания прибывают, по мере того как Сильвия удаляется все дальше и дальше.

Трогаешь машину, но ведешь ее не к дому Магды, а опять на фабрику; правда должна быть сильнее жалости, и жизнь — чересчур сложный путь. Прибавляешь газ и въезжаешь в ту декабрьскую ночь тысяча девятьсот пятьдесят пятого. Тебе было семнадцать и ты жил один, когда познакомился с Сильвией...

В те времена я чувствовал себя скорей сиротой, чем сыном, а чтобы быть точным — сыном деда. И еще — любовником Сильвии. Все это случилось, когда я покинул дом деда и теток. Я был с ними, пока не лопнуло терпение: не мог видеть, как тетки обращались с дедом. Я так и не узнал, почему у них было столько ненависти к доброму и безобидному старику, но, казалось, они мстили ему за что-то загадочное и, видимо, ужасное. И вот однажды я открыл дверь и вышел на улицу, разом избавившись от гнетущей атмосферы. Конечно, я мог и дальше оставаться там, но зачем испытывать непонятный страх, лучше уйти.

И отправился в дом отца — нет, коммивояжера, комиссионера по продаже автомобилей, страхового агента, кого угодно, только не отца. Вернее, переставшего быть моим отцом с тех пор, как он развелся с моей матерью, а еще точнее — сделавшегося отцом своей новой жены, которая была почти такого же возраста, как и моя сестра. Увидев меня, он отослал жену в комнаты и тут же, в прихожей, сказал, что мне нельзя жить у него. Он огорчился, узнав, что я ушел от деда, дал мне пятьдесят песо и чуть ли не вытолкал из дверей. Это был последний раз, когда я его видел.

Потом я появился у матери, но сразу же понял, что каплей масла упал на белую гуайяберу отчима. Мой приход и перспектива, что я останусь у них, так напугали мамочку, что, несмотря на все свои раздоры с моими тетками и бабкой, она решила сходить и поговорить с дедом. И меня заставила пойти с собой. Между дедом и матерью существовало странное взаимопонимание. Как только мама пришла, тетки и бабка начали всячески поносить ее, а немощный и запуганный дед молча слушал. Я видел, как лицо его покрывается

потом, а глаза все больше расширяются, не знаю, то ли от страха, то ли от стыда за то, что говорилось о матери. Я никогда раньше не видел, чтобы он так потел, и, наконец, сделав над собой усилие, он решился заговорить, сказав, чтобы я оставался у них и что он подыщет мне работу. Но я не хотел оставаться. Тайком дед дал мне несколько песо, он умел понимать меня.

Некоторое время я жил у Арнальдо, которого знал еще по школе. Уже тогда он работал линотипистом. Его жилье находилось в старом и сумрачном квартале в районе улицы Рейны, неподалеку от редакции газеты «Паис». Внизу у входа был киоск, где торговали старыми книгами. Вскоре и мне удалось снять комнатку на чердаке этого же дома.

Живя в одиночестве, я отошел от тягостных семейных склок. Человек, торговавший книгами, часто беседовал со мной. Он рекомендовал или даже давал почитать книги писателей, мыслителей, революционеров. Арнальдо был горячим сторонником Чибаса [1], активно выступал против диктатуры Батисты. Вечерами мы собирались в маленькой типографии на площади Вапор, обсуждали политическую обстановку. Хозяин от нас не отставал. Там и началась моя революционная деятельность.

В тот день, тридцать первого декабря, мать через сестру передала мне записку, приглашая к себе на встречу Нового года. Я не пошел, предпочитая встретить его с Арнальдо. Что-то около одиннадцати мы пришли в кафе «Агила». Заказали два сандвича, две бутылки пива и две фаршированные тыквочки — чайоте. Из автомата-проигрывателя лилась песенка Элвиса Пресли, мне запомнилась высокая новогодняя елка, розовые бумажные колокольчики, искусственный снег, свинцовые сосульки и Санта-Клаусы с дырками на спинах для пожертвований. Когда мы заканчивали свой новогодний ужин, официант указал нам на какого-то старика, который пил в углу, и сообщил, что тот оплатил наш счет. И принес нам еще две бутылки пива. Мы удивленно переглядывались. Старик с улыбкой подошел к нашему столу, распространяя густой запах одеколона, и сказал: «Сегодня великая ночь. Пейте что хотите. Я угощаю». В это время по тротуару проходила девушка, он позвал и ее, приказал принести и ей пива. Девушка заколебалась, но старик сказал: «Не бойся. Ты хорошо проведешь эту ночь». У нее была бледная кожа, рыжие волосы, длинные ресницы, а лицо грустное и слишком накрашенное, губы — сердечком. «Как тебя звать?» — спросил старик. «Сильвия»,— ответила она, глядя на нас троих сверху вниз. Старик разговорился без меры. Спросил меня, сколько мне лет, и когда я ответил, что на следующий день исполняется восемнадцать, дотронулся до плеча девушки и воскликнул: «Какой возраст! Представляешь, какой возраст!» Он говорил без остановки и отпускал все более сальные шуточки. То и дело трогал девушку, поглядывая на меня, распространялся о том, сколько в мире наслаждений, спрашивал нас с Арнальдо, нравится ли нам Сильвия, а ее — нравимся ли ей мы. Пива он больше не заказывал, а потребовал сидр «Гаитеро» и коньяк «Фундадор». «Пламенную Испанию для этих пылких ребятишек!» Потом заявил, что его машина тут рядом и, мол, лучше всего поехать к нему домой. Девушке он обещал тридцать песо, нам тоже готов был отвалить приличную сумму, при этом пытался лапать и меня, но я его оттолкнул. Старик сказал, что не хочет скандала, лишь желает, чтобы все у нас прошло по-хорошему и все получили бы удовольствие, причем он тоже, естественно, рассчитывал получить свое. Если же мы не желаем ехать к нему, заявил он, зачем тогда принимали от него угощение? Он не дурак и в случае нашего отказа не намерен платить за всех.

[1] Эдуардо Чибас — кубинский демократический деятель, лидер Партии кубинского народа («ортодоксов»). Покончил с собой в 1951 году, застрелившись в теле-радиостудии в конце своего выступления против диктатора Батисты.

Но все-таки заплатил, взял девушку под руку и снова хотел подхватить меня, но я одним ударом вышиб ему вставную челюсть. В сумятохе короткой схватки на Арнальдо порвали рубашку, а старик с девушкой исчезли. Арнальдо ушел, потому что начиналась его смена в редакции.

Я остался допить то, что было в бокале. Пробило двенадцать, завыли клаксоны автомобилей, люди обливали водой друг друга с балконов, и тут на противоположном тротуаре опять показалась та девушка. Увидев меня, она улыбнулась, перешла улицу и, несколько смущаясь, спросила: «Угостишь меня?» Я объяснил, что денег нет. «Тогда угощаю я. Только вот что... Нет, ничего. В эту ночь я работать больше не буду. Такие ночи все равно проходят впустую. После двенадцати на улицах болтаются только пьяные, ты занимаешься с ними, а они потом не хотят платить, да еще облюют. Это время в нашей жизни самое мерзкое. Хотя когда оно не мерзкое? Потому что...» Было горько видеть ее, такую размалеванную и с таким грустным лицом. Она взяла меня за руку и сказала: «Значит, завтра, а лучше сказать — уже сегодня, тебе исполняется восемнадцать. Мы с тобой ровесники. Давай проведем эту ночь вместе». Я повторил, что у меня нет денег. «Не важно, я с тебя денег не возьму. Это будет мой подарок тебе ко дню рождения». Мы шли по почти пустынным тротуарам. Никогда мне не забыть той луны и звезд между электропроводами. Дешевенькая гостиница находилась за углом рядом с лавочкой, выдававшей напрокат свадебные костюмы. Сильвия, увидев манекен невесты в газовой фате и длинном белом платье, обронила: «Какая издевка...»

Она знала администратора. Я чуть-чуть приотстал, но слышал, как она сказала: «Беру спальню. На всю ночь». В комнате была всего одна кровать с выцветшим лоскутным матрасом, мутное зеркало, складной стул и таз для умывания в углу... Утром Сильвия разбудила меня. Она была очень ласковой и грустной. «Что ты будешь делать сегодня, в день своего рождения?» Я не знал и так и ответил ей. «Тогда я приглашаю тебя позавтракать». Я заколебался, ситуация была не из приятных, но Сильвия потащила меня. Когда мы пили кофе, она спросила: «Если я попрошу тебя об одном одолжении, ты сделаешь это для меня? Тебе не слишком будет неприятно сходить со мной в кино? Только под ручку. Я уже очень давно не была в кино с парнем, вроде бы с женихом». Я пожал плечами. Мы отправились в «Дуплекс», который был рядом, там шла «Фантазия» Уолта Диснея. В темноте кинотеатра Сильвия взяла меня под руку, положила голову ко мне на плечо и вздыхала, вздыхала, как настоящая невеста. Когда мы вышли, она сказала: «Это был незабываемый час. Я чувствую себя с тобой так хорошо! А почему ты не пригласишь меня к себе домой?» Я объяснил, что живу на чердаке, но мы все-таки пошли и там снова забылись...

Около восьми вечера я открыл глаза, и мне показалось, будто я проснулся совсем в другом месте. Даже растерялся. На полу не было окурков, на стенах — паутины. Белье выстирано. Все чисто, кругом порядок. Но Сильвии уже не было. Я позвал ее. Меня охватило отчаяние. Неужели она ушла не простившись, не сказав ни слова, и все, что было, останется лишь в моей памяти как виденье? Я выглянул на лестницу, вышел наружу — нет. Вернувшись в комнату, нашел на столике под книгой десять песо. Оделся и поспешил на улицу... Мне необходимо было встретить, отыскать ее, и, бегая как сумасшедший по улицам и закоулкам, я чувствовал словно толчок в грудь всякий раз, когда попадалась женщина, похожая на Сильвию. Она мне была так нужна. Уже не надеясь разыскать ее, я возвратился к себе. И вдруг увидел ее: она сидела на последней ступеньке лестницы у моей двери, в руках держала небольшой узелок с одеждой, утюг и кофеварку. «Я ходила к матери».— «А я разыски-

вал тебя».— «Правда?» И глаза ее светились радостью. Неделю мы прожили как в бреду. Я выходил в поисках работы, но возвращался усталым и отчаявшимся. И вот как-то вечером, придя домой, обнаружил под той же книгой, под которой Сильвия в прошлый раз оставила мне десять песо, бумажку. Это была записка, коряво нацарапанная крупными печатными буквами. Я долго стоял с этой бумажкой в руках, разглядывая ее, читая и перечитывая:

«Я люблю тебя, но быть вместе нам больше нельзя. Ты мне не позволяешь вернуться к прежней жизни, я и не хочу, чтобы ты мне это позволил, но у меня больная мать и две маленькие сестренки, и я должна содержать их, давать им деньги. Жить с тобой — значит приносить тебе страдания. Думай обо мне хорошо, если только можешь. Когда-нибудь мы снова встретимся, когда жизнь не будет такой паскудной. Никогда тебя не забуду. Сильвия».

И до этой встречи ты ее больше не видел. Маркос резко тормозит у фабрики. Дежурная в бюро пропусков удивилась, увидев, что он так быстро возвратился и широким, уверенным шагом направляется к грузовому лифту.

— Ты знаешь, что при поступлении на работу или учебу надо пройти собеседование. Мне будут задавать всякие вопросы. Как я смогу объяснить некоторые вещи? Я не знаю, что мне говорить.— Она присаживается на подлокотник кресла и гладит шею Маркоса.— Ты думаешь, мне это легко?

Маркос отстраняет Магду и поднимается.

— Мне думается, что ты еще не приняла настоящего решения.

— Почему?

— Иначе не спрашивала бы, что́ должна говорить. Правду ничем не заменишь. Как только начнешь рассказывать все как есть, сразу почувствуешь себя лучше, увереннее.

— Может быть. Когда я училась в монастырской школе и исповедовалась, то чувствовала себя лучше, словно очистившийся ангелочек. А потом ночью снова приходили греховные желания, и на следующий день мне опять было плохо.

Рыбы медленно плавают в аквариуме, проходят сквозь толщу воды, тычутся в стекло. Маркос проводит рукой по кромке стекла.

— Послушай, Магда, ты сама себя изолировала. Жила как эти рыбки. Ты думаешь, они могут узнать жизнь за этими четырьмя стеклами? Кроме того, мне кажется, что ты все время ожидала от жизни большего, чем она может дать. А теперь попытайся сама дать ей больше, чем ждешь от нее.

— Ладно,— произносит Магда хрипловатым, глухим, будто придушенным голосом.

Она проводит руками по лицу, наверное, чтобы освободиться от ненужных мыслей.

Маркос с закатанными рукавами, склонившись над письменным столом, читает:

«Чтобы добиться необходимой производительности и качества, табачные листья, поставляемые нам, должны обладать хорошими горючими свойствами, гигроскопичностью, правильной формой по диаметру листа, малой ломкостью и высоким коэффициентом набивки...»

Берет карандаш и подчеркивает. Задумавшись, постукивает резиновым кончиком по крышке селектора. Гладкие стены блестят свежей побелкой. Запах известки и краски смешивается с ароматом табака. Шторы сняты для починки, и солнце бьет в окна, придавая папкам,

подшивкам, запыленным полкам, телефонному аппарату, металлическим шкафам, кнопкам селектора необычные цвета. Маркос рукой смахивает со стола рыжеватую пыль. Нажимает на красную кнопку и просит Кампоса спуститься к нему.

Подходит к окну, оглядывает погрузочно-разгрузочную площадку, место, где обычно складывают распакованную ягуа. Теперь на площадку сгружают рулон бумаги. А в памяти всплывает выступление Отилио в пальмовой роще. Стук в дверь.

— Лидия из маркировочного цеха хочет пройти к вам.

— Кампос еще не пришел?

— Нет.

— Скажите Лидии, пусть войдет. А Кампоса попросите немного подождать.

Лидия появляется со своей обычной улыбкой. На ее коротко стриженные черные волосы падает одновременно электрический и солнечный свет. Она ставит на стол что-то завернутое в бумагу. После некоторого колебания разворачивает: в свертке карликовый кактус в глиняном горшочке.

— У вас тут все покрасили и почистили, вот я и принесла вам. В рабочих помещениях хорошо иметь цветы. Говорят, они ласкают взор, очищают воздух и радуют сердце. Этот кактус очень красиво цветет, цветок больше его самого, словно золотистая звезда с красными прожилками. Распускается всего на один день, но вы сами увидите, какой он приятный.

Она кусает ногти и, не дослушав слов благодарности Маркоса, с горящими ушами выбегает из кабинета.

В горшочке вокруг кактуса насыпан песок и уложены разноцветные камешки. Маркос берет один из них и катает между пальцами. В это время входит Кампос.

— Я позвал тебя, поскольку прочитал докладную.

— Ну и как?

— Хочу, чтобы ты объяснил кое-что. По-твоему, нельзя выполнить задание при теперешнем качестве?

— Если нам дальше будут присылать такой же табак, как в последний раз, задание не выполним. Мы знаем, что есть трудности с выращиванием и сортировкой. Понятно, что лучший лист идет на сигары, но с тем табаком, который поставляют нам, мы не выполним плана даже по производительности. Кроме того, меня беспокоит вопрос о клее. Вы посмотрели образцы, которые я вам послал?

— Нет. Но я хочу, чтобы ты разъяснил мне все, что касается диаметра листа.

Кампос подходит к стеллажу и берет из мешка несколько табачных листьев, кладет на настольное стекло, вытягивает и расправляет их, разглаживая ладонью. Потом достает из кармана сантиметр, измеряет длину и ширину.

— Смотрите, длина листа намного больше ширины. А длинные листья дают меньше продукции, поскольку черенок у них задеревенелый, толстый и не впитывает влагу, как остальная часть листа. Кроме того, длинный лист отличается от остального табака и по цвету и выглядит как бы посторонней примесью. После резки, продольной или поперечной — все равно, он сразу выделяется в общей табачной массе, словно это кусочки дерева, и делает массу неоднородной. Вот почему, чем короче и шире лист, тем выше выход табака и качество сигарет. Но дело в том, что почти весь табак, который к нам поступает, длиннолистный. А с ним мы не можем выполнить задание. Думается, это надо обсудить в Объединении.

— Обсудим.

— Когда сможете, поднимитесь к нам, я покажу вам то, о чем сейчас рассказал.

— Через полчаса буду наверху.

Кампос уходит. Маркос пальцами сжимает камешек, потом кладет его в песок и берет телефонную трубку. Набирая номер, смотрит на острые колючки кактуса.

— Иди и делай что тебе сказано. Оставь нас с Кастаньо.

Томаса идет, волоча распухшие ноги. Длинный желтый халат делает ее еще более тощей. В дверях оглядывается, вытаскивает руки из-под передника и, кажется, хочет что-то сказать, но потом снова прячет руки и уходит, опустив глаза.

Кастаньо раскрывает газету, которую держал под мышкой, и передает Родриго. Тот, полистав ее, бросает на пол и кричит:

— Мразь! Ублюдки! Попугаи! Схватят их, тогда будут знать, как распускать язык. Недоноски чертовы!

Упершись в подлокотники, поднимается с кресла и идет к столу из красного дерева. Побледнев, проводит пальцами по полированной поверхности. Испуганный Кастаньо замечает у него под кольцом сложенную бумажку.

— Наступили трудные времена, Кастаньо. Тебе надо поторопиться с поездкой в Гуантанамо. Не только из-за бриллиантов, но и для того, чтобы подготовить надежный уход. Неизвестно, куда нас заведут эти дела. И не забывай, Кастаньо,— у нас нет обратного пути. Нужно подумать еще вот о чем: если придется уехать, Магду я здесь не оставлю. Она тоже поедет с нами, волей или неволей. Так что ты там должен четко сказать: с нами будет женщина.

Ты слушаешь слова Родриго и не видишь, как блудливо забегали твои обычно бесстрастные глаза. Магда будет твоей! Должна стать твоей. Родриго умрет, и она будет принадлежать тебе, стройная, голая, розовая, сама ляжет с тобой — под угрозой ножа или пистолета, палки или пинков! Магда, покоренная, смирившаяся, растрепанная, визжащая от удовольствия в твоих руках. Ты вспоминаешь, как однажды Родриго при тебе подарил ей туфли и она поднимала то одну, то другую ногу, примеряя их. И ты не мог оторвать глаз от ее ног. Она заметила твой взгляд.

Родриго объясняет ему, что́ он должен делать и говорить, но, слушая старика, Кастаньо погружен в свои мысли.

На перекрестке, будто по волшебству, появляется огромный оранжевый грузовик и тут же с грохотом исчезает. Сносят старый дом, туча пыли заволакивает ветровое стекло автомобиля Маркоса. На фасаде мясного магазина мелом написано какое-то объявление. Он сворачивает налево и останавливается у бензоколонки. За бензином очередь. Заправщик еле-еле движется, как в замедленном кинокадре. Маркос выходит из машины, проверяет воду и масло. Просит работника станции дать ему что-нибудь протереть стекла. Тот равнодушно кивает на бак с водой. Наливая бензин, заправщик обильно расплескивает горючее по асфальту.

— Вы что, не знаете, что бензин делается из нефти, которую мы импортируем, и этот бензин — ваш, народный?

Заправщик пожимает плечами и зло бросает Маркосу:

— Народный, не народный, но если вы не заплатите, я не буду заправлять. Вот вам и мой, не мой. Бензин государственный, понятно? А мое — это жалованье, которое я получаю.

Маркос строго смотрит на него, но тот, взяв деньги, отворачивается и нехотя продолжает работу. Маркос рванул машину так, что едва не сшиб женщину, сошедшую с тротуара. Лицом этот тип похож на Селсо, а в остальном — полная противоположность ему. Такой же молодой, как Селсо в ту пору...

И ты шаг за шагом, движение за движением начинаешь вспоминать. Воспоминания словно проявляются в воздухе. Селсо из ку-

зова грузовика со смехом спрашивает, не взорвутся ли на колдобинах от тряски снаряды для базуки и ящик с патронами тридцатого калибра, на котором он сидит. Тогда их колонна уезжала, оставив позади городской шум, и все верили, что начинается новый, более значительный, хотя и полный неизвестности этап жизни. Селсо улыбался. Он говорил, что на Сьерре [1] был связным, но на самом деле участвовал в боях и, по рассказам товарищей, проявлял поразительную храбрость. Утверждали, что он был начисто лишен страха и в сражении под Сагуа-де-Танамо несколько раз чудом избежал гибели, а после боя улыбался как ни в чем не бывало, будто совершил какие-то очень смешные проделки. Его прозвали Сорвиголовой, и ему это нравилось,— он говорил, что ему удалось запугать смерть. Он замечал сразу, когда кто-нибудь из товарищей начинал тосковать по детям и дому, умел успокоить их, заражал всех своей жизнерадостностью. Завел себе девушку в соседнем поселке и носил ее фотографию как закладку в книгах, которые перечитывал много раз: «Панфиловцы» и «Волоколамское шоссе». Девушка была смугленькая, с восточным разрезом глаз и двумя короткими косичками. Вспоминаешь и тот день, когда прибыли грузовики и он, прощаясь со своей девушкой, подарил ей бумажную яркую хризантему и засушенные розы — где он сумел их раздобыть, никто понятия не имел. На глазах у всех поцеловал девушку и со смехом подергал за косички. В пути товарищи весело шутили над ним, а он отвечал: «А какого черта мне оставалось делать? Женщинам нравятся грубые ласки». Всю дорогу он шумел, смеялся, махал винтовкой, распевал гимн, подбрасывал вверх кепи, торопил: «Вперед, вперед!» — а его словно смазанное бриллиантином лицо сияло. Так и прибыли на Плайя-Хирон. Как только все соскочили с машин, поступил приказ продвигаться цепочками по обе стороны от шоссе. Селсо шел одним из первых. За обочинами дороги была сплошная грязь, настоящее болото. Когда стемнело, на головы обрушился свинцовый ливень. Вас обстреляли из пулеметного гнезда, устроенного посреди шоссе. Ты упал в грязь. От выстрелов стало светло, и ты видел, как Селсо вскочил, бросился на шоссе и выстрелил из базуки. Пулеметное гнездо взлетело на воздух, а Селсо согнулся пополам. Когда ты подбежал к нему, он пытался руками вправить внутренности в развороченный живот. Посмотрел на тебя. По побледневшему лицу его внезапно пробежала судорога, и он промолвил: «Оказывается, умираю... Но им не победить...» Он попытался улыбнуться и привстать, но тут же рухнул на спину. Ты его так и запомнил...

Солнечный блик на автомобильном капоте жжет глаза, как кислота. Ты останавливаешь машину, запираешь дверцу и шагаешь к зданию Объединения. По противоположному тротуару идет группа девочек, покачивая голубыми с белым юбочками, словно в такт немой музыке молодости.

Томаса слоняется по комнатам, не обращая на него внимания. Поглаживая бородавку, он проводит по лицу платком и наблюдает за ней, отмечает, как она меняется год от года, как портится ее лицо, покрываясь морщинами; цветочная клумба теперь заросла чертополохом. Его молчание должно угнетать ее, но она продолжает ходить и под тяжестью взгляда Родриго чистит золой кухонные краны, сметает паутину, стирает пыль с золоченого сейфа, обмахивает изображение Сердца Иисусова, изваяния святой Варвары и святого Хуана Боско. Сопровождаемая котами, бродит она по комнатам, в которых никто не живет. И Родриго неотступно следует за ней, пока их взгляды наконец не встречаются. Он подходит и впивается паль-

[1] Сьерра-Маэстра — горный хребет на Кубе, где с 1957 года развернулись боевые операции Революционного движения 26 июля во главе с Фиделем Кастро.

цами ей в плечи — кожа да кости, дряблое, вялое тело, как под полуденным солнцем скошенная трава.

— Что она тебе сказала? Как она выглядит?

Томаса вытирает руки о передник.

— Вроде бы снова принялась за книги.

Родриго морщится.

— Деньги взяла?

— Взяла.

— Это хорошо. А насчет того, чтобы прийти сюда?

— Придет.

— Что-нибудь рассказала тебе?

— О чем?

— Ну, о нем говорила? И вообще, ты заметила что-нибудь?

— Она показалась мне вроде бы более спокойной. Прихожу, а она читает. Потом принялась стирать. Кто бы мог подумать! Хотела помочь — не дала. И, знаешь, неплохо стирает. Сказала, что собирается учиться и работать.

— Учиться! Работать! Этот ублюдок забил ей голову всякой ерундой.

— Любовь. Она, похоже, влюблена в него и....

— Какая, к черту, любовь, никакой любви! Она не должна оставаться с этим типом!

— Может, это у нее как было с моей племянницей.

— А что с твоей племянницей?

— Она дважды была гусанос[1] и трижды — революционеркой. Смотря, с кем жила. Вместе с мужьями меняла и веру.

— Но Магда не твоя племянница. Она — человек думающий. В том и беда, что думает больше, чем нам кажется. Да и образованная — недаром деньги платил. Еще за несколько месяцев до знакомства с этим негодяем она заявила мне такое, чего забыть не могу. Знаешь, до чего додумалась? Что я должен, мол, со всем этим смириться, и, если бы она была из другой семьи, у нее все было бы сейчас иначе. Наговорила глупостей, всякой несусветицы. Ты ведь знаешь, какой она бывает, когда ей перечишь.

— Мне ничего не сказала.

— Для меня это была горькая пилюля. И все-таки я надеялся, что она остепенится, но теперь вот этот прохвост... Значит, стирает сукину сыну белье и собирается учиться и работать? Она его белье стирала?

— Не знаю. Не обратила внимания.

— Как это не обратила?! Говори, черт бы тебя побрал! Ну!..

В приливе бешенства он хватает ее за руки и трясет.

— Не допущу, будь уверена — не допущу! Если я сказал, то так и будет! Не позволю шутить с собой!

— Но, Родриго...

Он отпускает ее руки.

— Иди. Уходи. И обращай внимание на все, что меня интересует. И еще: не смей мне врать. Ты меня знаешь!

Магда останавливается посредине комнаты. «Я сделаю это!..» Срывает с ног туфли и, бросив, попадает в гитару. Жакет кидает на софу. «Сделаю так...» Распускает волосы. Заводит руки за спину, расстегивает молнию на темно-желтой юбке, юбка сползает к лодыжкам, отшвыривает ее к чучелу крокодила. Закуривает. Босиком ходит по комнате. Торопливо затягивается сигаретой. Движения нер-

[1] Гусанос *(исп.)* — черви. Так презрительно кубинцы называют контрреволюционеров.

возны. «Сделаю так!» Открывает окно. Немногочисленные автомобили плывут по авениде. Море затихло в сонном покое. В ночной тишине слышится лишь рокот набегающих на камни волн. Трижды звучит гудок парохода, и звуки эти кажутся в темноте мощными вздохами. Магда отходит от окна, снимает кофточку. Присаживается на софу, высоко поднимает колени и, оперевшись на них локтями, прячет лицо в ладонях. «Что я такое? Кто я? Для всех я та, кем была и что делала. Только для себя я уже не та...» Рыбы, отделенные прозрачной стеной, плавают в зеленовато-мутной тишине, тупо уставившись в стекло, беспрестанно раскрывая округлые рты, будто что-то жуют или собираются куснуть приманку. Магда стучит пальцами по стеклу, и рыбы бросаются врассыпную, сталкиваются друг с другом, словно золотые и красные огоньки. «Сделаю так!» Она выкидывает сигарету в окно, проходит в другую комнату и, будто охваченная безумием, лихорадочно вытаскивает из шкафа ящики, бросает их на пол. Флаконы духов разлетаются в мелкие осколки. Извлекает и разбрасывает по полу белье. Приглаживает волосы. Хватает ножницы и плашмя валится на софу.

Какое-то время лежит, потом рывком поднимается и в зеркале видит лицо, безжизненное, как икона. Так и стоит, спрятав лицо в ладони и крепко зажмурив глаза. Потом понемногу раздвигает пальцы и выглядывает между ними. Из зеркала за ней наблюдает девушка с ножницами в руках. Магда из зеркала и та, что напротив, смотрят в глаза друг другу. И каждая, кажется, чувствует присутствие другой. Магда приближается губами к зеркалу. Другая тоже вытягивает навстречу ей губы. Магда не хочет, но та, из зеркала, целует ее.

Собирает письма и фотографии. Возвращается в столовую и кладет все на стол. Одна карточка падает. И с пола на нее смотрит Хертрудис. Поднимает снимок матери. Испуганные глаза смотрят сквозь время с равнодушной бумаги. Берет другую фотографию: она с группой баскетболистов. Там она совсем другая Магда, с короткими стриженными волосами. Ножницами вырезает свою фигуру, и когда та Магда отделяется от фото, она кладет ее на хрустальное блюдо в центре стола. Еще снимок: присев на корточки, она играет на гитаре, вокруг в самых живописных позах — люди. Она поет. Окутанная туманом сигаретного дыма, волосы подобраны, лицо за дымом нечеткое. Вырезает и ее и тоже кладет в блюдо. Вот она с группой молодых людей на фоне яхты; ветер полощет платье и, как всегда, набрасывает волосы на лицо. «Это было в последний раз перед той ночью...» Еще на одной фотографии она как бы зависла в воздухе над лошадью, прыгающей через барьер. А здесь другая она — рядом с Ричардом, прикрыв глаза рукой, словно пытаясь приглушить солнце, лежит в полдень кверху лицом на песке возле моря... Вот они вместе с Сонией и Дианой в саду их дома в Варадеро... Наряженная пиратом, она курит под кокосовыми пальмами тонкую, длинную сигарету. А тут она рядом с цыганкой — гадалкой и знахаркой, появившейся однажды в Варадеро и сразу же исчезнувшей вместе с украденными курами и кроликами... И снова она — у олеандровой изгороди с теннисной ракеткой в руках... В длинном платье танцует с Ричардом... Сидит в кругу друзей и подруг у стола, заставленного бутылками... Ножницами вырезает отовсюду свое лицо и бросает в блюдо. Поверх многочисленных Магд кладет пакет с письмами. Идет на кухню и возвращается с бутылкой спирта. Плещет на блюдо. Чиркает спичкой, и взметнувшееся пламя освещает комнату так ярко, что кажется, горит все вокруг. Письма и фото вздуваются, сморщиваются, сворачиваются и бьются, будто время, хранившееся в кусочках фотографий, разрушив их, вырвалось на воздух. Ворох прошлого пылает, разбрызгивая искры, летающие подобно маленьким красным светлячкам, и крошки пепла плавают в дыму...

Пахнет ванилью и потом. Запах очень сильный, сладковато-острый, он тянется от пропиточного цилиндра, проникает всюду, заполняет все помещения, щекочет горло.

— Как тебе нравится это происшествие?

Разговаривают громко, напрягая горло, и звук голосов сплетается с шумом машин, очищающих табак от прожилок, безостановочно вращающейся сушилки. Слова, кажется, тоже тревожно крутятся в гуле, наполняющем воздух, в атмосфере, насыщенной паром, крепким запахом ферментации, который не могут ослабить даже большие вентиляторы и вытяжка. Жара невыносима, и работающие буквально исходят потом.

— Просто ошибкой трудно объяснить. Он работает на фабрике давно и знает, что и как надо делать.

Рабочие осматривают снаружи чан, разбирают его,— капли пота падают на связки табака,— ощупывают листья, нюхают их и переправляют на кондиционер, чтобы увлажнить и избежать ломки.

— Прежде за такие вещи выбрасывали на улицу.

— Но ему и так всыпали.

— Я бы ему еще больше всыпал. Мы, видишь, все наладили, чтобы линия работала нормально, а он по своей дурацкой халатности загубил двадцать фунтов клея. Это валюта, а ее в стране нет, кое-кто надеется, что фабрика вообще станет.

Стук работающих машин заглушает слова.

— Мне говорили, что Маркос уже не раз вызывал его к себе в кабинет.

— Точно.

— Он обслуживает третий клапан. Тут нужен глаз да глаз. А если он уйдет — другого не найдешь.

Табак подается по ленточному транспортеру к пропиточному цилиндру. Из отверстий его рабочих обдает паром и ароматизирующим составом. Кто-то из тех, кто складывает в ящик отходы, говорит:

— Маркос врежет ему как надо.

— Это да, только и Рауль найдет что ответить.

— Рауль — парень зубастый.

Двойные пневматические прессы формуют почти двухметровые блоки из табака. Рабочие перешагивают через лужицы жидкости, выделяющейся при прессовании.

— Ты знаешь, что произошло позавчера в столовой?

— Знаю, ну и что? Он сделал то, что должен был делать. Подошел к парням, в проходе занятым болтовней, и спросил, сколько времени положено на обед.

— Везде успевает.

— Что ж, его обязанность.

Пот катит градом. Кажется, даже у теней машин есть легкие, они пульсируют и дышат при каждом движении прессов и выпуске пара. Руки людей, работающих на пропитке, покрыты желтоватым налетом.

— Все-таки он дождется неприятностей. Мы не дети, и тут не школа.

В воздухе еще громче раздается шум шестерен, стук резаков и свист пара.

— Рауль затаил зло.

— А кто такой, черт возьми, этот красавчик Рауль? И чего он сейчас на рожон лезет? Ведь всем известно, какой он сукин сын и склочник. Раньше-то ходил, не хрустел, как табак зеленый, всем доволен был, только улыбался да лебезил перед хозяином-испанцем, который раздавал нам пинки под зад. Был даже мухалистом [1], а те-

[1] Сторонник Эусебио Мухаля, продажного профсоюзного лидера на Кубе в период с 1947 по 1958 г.

перь вот на какие дела идет. Нет, Маркос — человек слишком добрый. Я знаю что говорю.

Блоки разламываются, и табак попадает на линию резки. Сталь затачивается — наждачный круг и ножи работают безостановочно: режут и отбрасывают, режут и отбрасывают, а транспортер везет табак дальше, на вылежку. И слышатся равномерные скрипы, похожие на звуки бесконечно открывающихся калиток.

Ты видишь рассыпанный по скатерти и полу пепел, небольшую горку сморщенной обожженной бумаги, ворох изрезанных, изуродованных фотографий. В спальне все вверх тормашками, будто какой-то старательный вор тщательно перерыл все шкафы. А она на софе с ножницами на груди. Пытаешься разбудить, но она, едва приоткрыв глаза, закрывает их вновь. Трясешь ее за плечи, покрытые холодным потом. Ее тело совсем размякает в твоих руках, голова свешивается вниз. Придерживая за подбородок, приподнимаешь ее, она открывает глаза и еле слышно говорит что-то невразумительное. «Ты наглоталась таблеток?» — спрашиваешь ее. Она не отвечает. Свертывается клубком и прижимается щекой к подушке. Молча шевелит губами, но ты не понимаешь, что она объята сном, уносящим ее на своих волнах к дому Сонии и Дианы...

Ты смотришь на нее. Глубокое дыхание — единственное слабое доказательство, что она здесь, лежит, прижавшись к подушке, а не где-то в другой жизни.

Возвращаешься в большую комнату и принимаешься рассматривать изрезанные фотографии, пытаясь понять смысл происшедшего. Понять, что же она такое...

Резкое торможение вытряхивает его из утреннего полусна. Вокруг опухшие, заспанные лица, глядящие друг на друга покрасневшими, моргающими глазами. Автобус стоит, пропуская армейскую колонну: грузовики с солдатами, танки и артиллерия, замаскированные ветками альгарроб и эвкалиптов. А вслед за орудиями на лафетах движется вереница повозок с сахарным тростником, запряженных волами. Перед каждой повозкой — возница в куртке, накинутой на плечи, и женщина в платке. Кастаньо наклоняется к окошку, закуривает и смотрит на колючую проволоку, натянутую между стволами тополей, на далекие горы, вырисовывающиеся на туманном горизонте. Автобус снова трогается и менее чем за полчаса прибывает на маленькую станцию.

Уже утро, яркое, солнечное. Сойдя с автобуса, Кастаньо видит мужчину лет пятидесяти, высокого, плотного, с усами (такого, как описал Родриго), в темных брюках (таких, как сказал Родриго), в сомбреро (и это упомянул Родриго), беспрестанно попыхивающего длинной сигарой, а вот когда он снимет сомбреро, должен быть совершенно лысым. Мужчина снял сомбреро и действительно оказался лысым, как и говорил Родриго.

Кастаньо приближается к нему и говорит:

— Не могли бы вы сказать, где тут отель «Вашингтон»?

Мужчина разглядывает его с высоты своего роста и в свою очередь спрашивает:

— А у вас есть родственники здесь, в Гуантанамо?

— Есть. Двоюродный брат — Уркиса, сын Родриго.

— Тогда пойдемте.

Кастаньо идет за ним к черно-желтому «форду». Машина выезжает из Гуантанамо и, удалившись от города, сворачивает направо на грунтовую дорогу.

— Как поживает Родриго?

— Хорошо. Несмотря на свои годы, он полон сил.

— Тут надо быть очень осторожным. Хотя место, куда мы едем, надежное.

— Не беспокойтесь.

— Дела неважнецкие. Ходят слухи, что будут увольнять больше тысячи кубинцев, работающих на Базе.

— А разве там еще есть кубинцы?

— Больше двух тысяч.

— И что делают?

— Рабочие: токари, каменщики, электрики. Но большинство — обслуживающих.

— Небось революционеры?

— Хватает всяких. Однако американцев это не волнует. Они умеют обезопасить себя, а когда нужно, и наказать как следует. Тут в мае появился один тип, какой-то Россел, думал их провести, так через несколько дней его нашли в катере связанным, с дырками в голове и руках. Им все известно. А сейчас время очень напряженное. Старый поселок Бокерон будут относить от Базы на километр. Усиливают наблюдение. Поэтому действовать нам надо осторожнее. Нельзя не торопиться, но вредно и паниковать.

— Я уже сказал: за меня не беспокойтесь.

Машина съезжает с насыпи и движется по дороге, поднимающейся по откосу. Справа тянутся непроходимые колючие заросли кустарника марабу, слева — густой эвкалиптовый лес. Проезжают еще несколько метров, и Уркиса останавливается возле небольшого грузовичка под высоченной кроной альмасиго.

— Здесь.

Кастаньо идет за ним по каменистой тропинке, стараясь не поцарапать свои двухцветные ботинки и прислушиваясь к шуму собственных шагов по камням. Вскоре среди банановых и сливовых зарослей показывается дом. По одну сторону его — обнесенный проволочной сеткой двор, там всякие птицы, включая павлинов и попугаев. Какой-то мужчина поднимается с табурета и встречает их в дверях.

— Это тот друг, которого мы ожидали из Гаваны.

Мужчина пожимает Кастаньо руку и оглядывает его с любопытством и одновременно с недоверием.

Уркиса ведет Кастаньо на кухню. Возле очага что-то стирает женщина-мулатка. Она низкорослая, грудастая, с короткими и толстыми ногами.

— Дай кофе. И приготовь хороший обед. Это человек, которого мы ждали. Он из Гаваны.

Женщина оглядывается и смотрит на Кастаньо испытующе, почти испуганно. Здоровается с ним легким кивком головы и снова возвращается к стирке.

— Это Хулия, моя жена,— знакомит Уркиса.

— Жена! Твоя жена! Не верьте ему, сеньор.

— Помолчи, Хулия. Теперь не время для разговоров.

Она подает Кастаньо чашку кофе. От нее так и разит специями, дымом и потом. Движется она медленно: от усталости, или плохого настроения, или от того и другого вместе? Ей, должно быть, около сорока, лицо круглое, глазки маленькие, волосы короткие, слегка вьющиеся. Провожая ее взглядом, он замечает, что она босиком. Уркиса идет к дверям отнести кофе ждущему там незнакомому мужчине. Хулия замечает, что Кастаньо разглядывает ее необутые ноги. Садится на скамеечку и надевает грязные туфли. Потом улыбается и спрашивает:

— Сколько дней вы пробудете здесь?

— Не знаю. Смотря по делам.

Возвратившийся Уркиса говорит:

— Пока она приготовит обед, пойдем потолкуем.

Подходят к мужчине. Присаживаются на табуреты и некоторое время молча разглядывают друг друга. Кастаньо закуривает и начинает рассказывать о планах Родриго. Уркиса подается вперед и слушает его очень внимательно. Как только Кастаньо закончил, Уркиса усаживается поудобнее и, поглаживая блестящую в ровном полуденном свете лысину, не без ехидства замечает:

— Значит, он хочет прихватить с собой женщину. Хе-хе, старик еще балуется.

— Нет, не женщину, свою дочь.

— Ах, вон как, дочь! — Уркиса недоверчиво смотрит на него.

Кастаньо сплетает пальцы рук и опускает взгляд. Муравьи облепили кожицу от сливы. Незнакомый мужчина сверлит глазами Кастаньо так, будто хочет разглядеть его печенку.

— Значит, выходит, всего будет...

— Трое. Девушка, Родриго и я.

— Значит, его дочь.

— Точно, дочка.

— Посмотрим. Я думаю, что выйдет. Посмотрим.

Из двери с жадным любопытством выглядывает Хулия. Бросает взгляд на Кастаньо, а потом на свои грязные туфли. Уркиса бурчит:

— Сколько раз тебе говорить: когда мы разговариваем, не высовывайся из кухни.

Женщина, взглянув на заросли, удаляется, шлепая грязными туфлями и крутя толстыми ягодицами. В воздухе стоит запах слив, догнивающих на земле, так и не надкушенных человеком.

«Сафра [1] сейчас — это точка опоры для нашего движения вперед, к социализму,— сказал команданте Рауль Кастро, подводя итог собрания, на котором был создан муниципальный комитет партии в коммунальном центре Лино-де-лас-Мерседес-Альварес, Реаленго, 18, Гуантанамо, провинция Орьенте».

«Агенты ЦРУ, используя подводные взрывные устройства, подобные применявшимся во вторую мировую войну, подорвали торпедный катер Революционного военно-морского флота, который затонул у мола бухты Сигуанеа на юге острова Пинос. При взрыве мины погибло три моряка, восемнадцать ранено».

Родриго улыбается.

«Приговорены к высшей мере наказания агенты ЦРУ: Орландо Санчес Сороса, Хуан М. Милиан Родригес и Хосе С. Батонас Моралес, захваченные подразделениями Революционных вооруженных сил в момент попытки высадиться на побережье и проникнуть в нашу страну с целью выполнения заданий Центрального разведывательного управления США по диверсиям, шпионажу и другим подрывным действиям».

По лицу Родриго пробегает гримаса. Встает и отшвыривает газету. О его ноги трутся коты. Ходит по комнате, надрывно дыша. «Как у него там получится, у Кастаньо? Богу угодно, чтобы все сошло хорошо. Что это я — то слышу, как тикают часы, а то нет? Глохну, что ли? Нет, мир для меня не может исчезнуть. И все окончится хорошо — мною все предусмотрено...» Он потирает ладони, словно освобождаясь от слизи воспоминаний. Идет по коридору. Из комнат несет кошатиной, пылью, сыростью. Доходит до конца и останавливается перед дверью на винтовую лестницу, спускающуюся в сад. Дотрагивается рукой до холодной задвижки на двери комнаты, где умерла Хертрудис, а прежде происходило всякое. Дотрагивается, но не открывает дверь. Шаркая туфлями, возвращается в зал.

[1] Сбор урожая сахарного тростника.

В зеркале, этом отблеске тускнеющего заката, он видит свое отражение, бледную морщинистую тень, которая шевелится в глубине других неясных теней, будто размытых неспокойно текущей водой.

Коты скребутся на чердаке, ножки столов и стульев тоже издают тихие, словно царапающие скрипы.

Родриго валится в кресло и будто бы засыпает, но руки беспокойно шевелятся. Тигровый кот вспрыгивает ему на колени. Он мгновенно ловит его и гладит животное. «Нет, мир для меня не может исчезнуть. Кастаньо, наверно, уже все там уладил... А чем занимается сейчас Магда? Пожалуй, опять с этим ублюдком... Но со мной им не справиться. Не выйдет! Эту связь я прерву, чего бы мне ни стоило. Хотя прежде следует познакомиться с ним. Врагов надо знать лично. Обязательно познакомиться... Со мной у них ничего не выйдет!..» Кот беспокойно ворочается на коленях, но старик его крепко держит. Кот выпускает когти, тогда Родриго правой рукой сжимает ему горло. Кот внезапно вонзает когти в руку. Дернувшись, Родриго ослабляет хватку, и кот, сделав отчаянный прыжок, сбивая по дороге цветочную вазу, взлетает на золоченый сейф. Родриго встает, однако кот перемахивает на стол, старик — за ним. но теряет равновесие, падает. Кот прячется под часами. Родриго на четвереньках пытается схватить его, ползет, дрожащими руками опираясь о пол, с трудом поднимается на ноги и, тяжело дыша, возвращается в кресло. А кот, словно поддразнивая его, задрав хвост, носится из угла в угол. Обессилевший Родриго, слизывая кровь с пальцев, лишь следит за сверкающими в темноте глазами кота...

Ты так почти и не спал. Рассвет забрезжил в окне, но в комнате по-прежнему темно. Чувствуешь, как Магда шевелится, закуривает. Ты поворачиваешься. Ее лицо, освещенное огоньком сигареты, вырисовывается в потемках. Она курит с закрытыми глазами, волосы свесились на лицо. Убирает их, и теперь видны капельки пота вокруг губ. И ты думаешь: где, когда, в какой момент и почему кто-то начинает любить другого человека, до того незнакомого и чужого? Что-то происходит в нас, на что-то раскрываются глаза, так же как если бы сейчас открылся этот рот и сказал бы что-то совершенно неожиданное.

Магда нервно проводит рукой по влажному лицу и действительно заговаривает:

— Порой я делаю такое, что, наверно, заставляет тебя думать, все ли у меня в порядке с головой. Тебе может показаться странным мой поступок, но я чувствовала нестерпимую потребность совершить его. Вчера я ходила в школу. Я буду учиться, чтобы получить образование по новой программе. Экстернат. Некоторые предметы мне не придется пересдавать. А потом пойду работать. Я думаю, отыщется какое-нибудь дело, с которым я могла бы справиться.

— Но почему ты должна была?..

— Потому что позавчера я дала тебе свою фотографию, чтобы ты носил ее в бумажнике, а ты посмотрел на нее, потом на меня и сказал, что это не я. Я даже растерялась, ведь это была моя последняя фотография, года полтора назад снималась. Но потом, когда ты ушел, я тоже убедилась, что на ней я совсем не та. Это страшно поразило меня. Вот тогда мне и пришла эта мысль. Я уже не могла сдержаться. Глупость. Ты, наверно, не поймешь меня, но я должна была сделать...

Магда садится на краю кровати, волосы рассыпаются по плечам. Маркос начинает одеваться. Она встает, а он продолжает сборы, невидящими глазами уставившись в чуть синеватый свет утра за окном.

Заглянув в кухню, Магда возвращается с коробком спичек и, играя им, как детской погремушкой, улыбаясь, говорит:

— Слышишь, даже в этом коробке сегодня мне чудится радость. А с тобой что происходит? Почему ты такой серьезный? Сердишься? Тебе не нравится, как я поступила?

— Да нет, не в этом дело.

— А в чем?

— Всякое бывает на фабрике. Только успеешь решить один вопрос, сразу возникают новые.

Магда опять идет на кухню. Приносит кофе.

— Забудь обо всем. У тебя есть я. Забудь обо всем.

— Человек не может забыть того, что не должно забываться.

Из окна Магда видит, как он выходит на улицу. Она кладет голову на подоконник, и ее взгляд тонет в зеленоватом холодном море, подернутом легким туманом. «Если бы он знал, что я хотела сжечь даже свою одежду, белье, которое пропитано воспоминаниями — ткани, которые касались моего тела, тела той Магды, прежней, не меня...»

Слышатся раскаты орудийной пальбы. Грохот артиллерии сливается с оглушительным воем реактивных самолетов, поднимающихся с аэродрома Трес-Пьедрас в северном направлении, а потом через тридцать секунд меняющих курс на сто восемьдесят градусов и улетающих на юг. Сотрясается дом, всполошилось население птичника, а кроны сливовых деревьев и листья бананов трепещут, кажется, скорее от шума, чем от ветра.

— Уже начались учения. В прошлом месяце открыли стрельбу в субботу вечером, лупили всю ночь и закончили только в воскресенье в шесть вечера,— говорит мужчина с вытатуированной сиреной на предплечье.— Но отсюда можно покончить со всем,— он кивает в сторону базы Кайманера[1],— сровнять с землей, как говорит капитан. В нужный момент все будет стерто с лица земли.

— Он работает на Базе,— поясняет Уркиса.

— Точно. И чувствую себя там отлично. Меня уважают, со мной считаются и хорошо платят. Чего же еще? Работать — одно удовольствие, База огромна. Представьте себе — вмещает сорок два корабля. Вы даже вообразить не можете, что там есть. Каждый день прилетает и улетает столько громадных самолетов — не сосчитать. И каждый день приходят и уходят суда и подводные лодки. Даже атомные. Я вас уверяю, когда они захотят или решат, все сотрут с земли, как говорит капитан.

— Давно вы там работаете? — интересуется Кастаньо.

— Со второй мировой войны. Я токарь. Послушайте, если бы вы только видели: там есть все. Ветчину даже выбрасывают. Приезжают санитарные инспекторы, лезут в холодильники и пишут, что продукты испортились (на самом деле ничего подобного, это они сговариваются между собой и делают какой-то бизнес), а потом выбрасывают их в море. Уверяю вас, акулы, которые чаще всех в мире едят ветчину, живут как раз в бухте Гуантанамо. Во время второй мировой войны я проворачивал здесь потрясающие делишки! Уркиса мне уже рассказал, в бриллиантах я тоже разбираюсь. Занимался этим не раз. И с резиной для автомашин имел дело. Мы выносили шины с Базы, соскребали номера и отправляли в Гавану. Огромный куш срывали. Понимаете, я...

Уркиса прерывает его, обращаясь к Кастаньо:

— Тут у любого есть что порассказать. Мы люди отчаянные, этим живем.

[1] Военно-морская база Республики Куба, неподалеку от военной базы США в Гуантанамо.

— Что мы отчаянные, вы сами увидите. А за нами стоят моряки с Базы, ну а эти — матерые, пробы негде ставить. Не верят ни во что и никому. Когда захотят, переходят границу, врываются на кубинскую сторону и в свое удовольствие пакостят там, разбивают сторожевые будки, рвут ихние лозунги, растаскивают инвентарь. Даже мочатся на мачту национального флага. Не боятся ни бога, ни черта, а для нас — хорошие друзья, особенно когда подвыпьют.

— Я всегда говорил: у кого есть друзья, тот как за крепостной стеной,— вставляет Уркиса,— да если к тому же человек благоразумный и хваткий да умеет дела делать — деньги сами текут в руки.

— Можете быть уверены: все пройдет как по маслу,— говорит токарь.

— А с выездом как?

— Это забота другого человека. И не спешите, все надо делать не торопясь.

Во время обеда Хулия жмется в уголке, поглядывая широко раскрытыми глазами на троих мужчин, пока Уркиса не приказывает ей выйти за дверь и оставить их одних. Кастаньо замечает, что, уходя, она бросает на него многозначительный взгляд.

После обеда Уркиса говорит ему:

— Ну, мы пошли, а вы оставайтесь. Здесь хоть и надежно, но все-таки надо быть начеку.

Кастаньо провожает их до места, где стоят «форд» и грузовичок. Уркиса садится в свою машину и уезжает. Другой удаляется пешком через густой эвкалиптовый лес. Грузовичок остается под кроной альмасиго. Кастаньо возвращается к дому и видит Хулию, которая, опершись о косяк, ждет его в дверях.

Солнечные кинжалы врезаются в галерею между колоннами. Магда, не заметившая приближающейся Магали, застигнута врасплох, прижимает книги к груди и смущенно улыбается. Магали целует ее, восклицая:

— Магда, девочка, сколько времени я не видела тебя! Думала, что ты уехала. Да-да, была уверена! А твой отец тоже еще здесь?

Автобусная остановка в Виборе[1] как кипящий котел. В воздухе запахи людей, бензиновой гари, разогретого асфальта, толчея, солнце. Магда кусает губы, смотрит на Магали и, все еще не придя в себя от неожиданности, отвечает тихим, хрипловатым голосом:

— Нет.

— И живешь все там же?

— Да.

— А я думала, что после смерти тетки ты стала жить у отца. У него такой домище, немного старомодный, но очень большой, правда, Магда? Вот это действительно дом так дом.

— Да, очень большой.

— Но я тебя, конечно, понимаю. Кто же оставит такую квартирку, как твоя, маленькую, но благоустроенную. Кроме того, имея жилье, ты можешь легче выехать из страны. Я знаю людей, которым сразу же разрешили покинуть Кубу, потому что они оставляли хорошие квартиры. И потом, вообще лучше жить одной, независимо, можно заниматься чем хочешь. Да-да, одной, конечно, лучше, но не такой одинокой, как я. Боже, злейшему врагу не пожелаю такой жизни, как у меня!

Магали нервно жестикулирует, волнуется, левый глаз дергается, как от тика, она все время странно шевелит руками, словно стирая что-то в воздухе. Лицо ее временами искажают гримасы. Магда находит, что она похудела, постарела, одета неряшливо. Магали, всегда выглядевшая такой свежей, элегантной и веселой, с блестящими голу-

[1] Район Гаваны.

быми глазами — теперь бесцветными, угасшими! Вспоминается и дом Магали на берегу моря, где Магда провела столько воскресений,— ярко освещенный, полный музыки дом на фоне кокосовых пальм и неба. И заросли карликовых пальм арекас в парке, кусты гардений и жасмина. А Магали, изящная блондинка, загорает в шезлонге, натирается кремами, листая журналы, слушая музыку, или прогуливается по саду, болтает на веранде с Орландо. Вспоминается тот зеленовато-синий пуловер, который она подарила Магали, вспоминается вся их компания: Маритса, Ричард, Милагритос, Сония, Диана, Лоли, Рамиро, Вилли, Маноло, Эдди, Альга, Джейн. И та яхта с выведенным зеленой краской названием — «Магали». На обоих белых бортах. Сколько раз она плавала на этом судне, гоняясь за рыбой-пилой, тунцом или бонито.

— Значит, и ты не уехала. Я чувствую себя так одиноко. Со мной происходит что-то страшное. Да-да, Магда, просто ужасное.

По галерее проходит народ. «Кто последний? Это очередь в магазин или на тридцать седьмой автобус?» — «Мясо привезли?» — «Привезли, но дают по карточкам второй группы».— «Не задерживайся, мальчик, не задерживайся!» Люди толкаются, беспокойно двигаются. Какой-то продавец газет голосит: «Соединенные Штаты запрещают посылку лекарств на Кубу!»

— Да, происходит что-то страшное.

Магали, потеряв над собой всякий контроль, беспорядочно размахивает руками, говорит громко, трясет Магду за плечи. На них обращают внимание.

— Успокойся, успокойся же! И не кричи так громко.

— Все уже уехали, знаешь? Я получила письмо от Милагритос. Она живет в Корал-Гейблс [1]. Прислала мне цветные фото. Чудесные. На них виден «феррари», который они там купили. Милагритос пишет, что это «божественный конь». Адольфо работает на авиационном заводе. А что слышно о Сонии и Диане?

— Не знаю, я давно им не писала и от них ничего не получаю.

— Бедняжка. А ты знаешь, что произошло с их отцом?

— Нет.

— Ну, а Монтес-де-Ока? Не говори, что и о нем не слыхала. Он умер.

— Нет, не слыхала.

— Точнее, не умер, а утонул в бассейне. Ты ведь знаешь, что они имели дом с бассейном и все такое. А он занимался торговлей кофе, и деньги у него водились. И вот утром его нашли мертвым в бассейне. Наверняка напился к ночи и свалился в воду. Ты же знаешь, как он пил.

— А может, какая-нибудь другая причина? Трудно поверить. Он без моря жить не мог, прекрасно плавал, даже пьяный.

— Ну и что ты хочешь этим сказать, Магда? Ходили слухи, будто его шантажировали. Ведь Сония снималась в кино и выделывала просто чудеса бесстыдства! Говорят, она была его невестой, и он снимал ее на шестнадцатимиллиметровую пленку. Она тебе не писала о нем в своих письмах?

— Никогда.

— А ты что думаешь об этом, Магда?

— Может быть, покончил с собой, а может, его убили.

— Что ты говоришь, Магда! Вечно тебе мерещатся самоубийства. Ведь у них все шло так хорошо. Все у них было. Все заполучили. Бедные Диана и Сония. Говорят, в этих фильмах они вытворяли невероятные вещи. Жених совсем развратил Сонию. Бедняжка, как бы хотелось увидеть ее! И скоро увижу. Потому что, сама понимаешь, при первой возможности тоже уеду. В Испанию. По «воздушному

[1] Курортный городок в штате Флорида (США).

мосту»[1] или иначе, но уеду. Не выношу всего, что делается здесь. Ничего нет. Одна нищета, грязный сброд, мерзость, мерзость, мерзость! Ты знаешь, что я развелась с Орландо? Он уехал на «Магали» и увез детей. Собственно, вина моя. Ох, Магда, если бы ты знала, что произошло. На «Магали» перед их отъездом. Мне очень не повезло. Как мне хочется рассказать тебе об этом! У меня почти не осталось друзей, не с кем поговорить. Пойдем к моей сестре, это тут рядом, на Санта-Каталина. Мне просто необходимо рассказать тебе, что со мной произошло. Орландо был добр со мной, да-да, он был хороший. Но тут я сорвалась, потеряла голову из-за одного мерзавца. Это было ужасно, Магда! Ты помнишь, какой забавный и ласковый был Орландо? Ведь помнишь, Магда? Если бы ты только знала! Пойдем. Пойдем к сестре, и я все тебе расскажу.

Она тащит Магду за руки.

— Хорошо, пойдем, только успокойся.

Идут по улице Кальсада-де-Хесус-дель-Монте, Магали держит Магду под руку. Движутся в мягком шорохе тени вдоль застывших огромных колонн. Магда слушает всхлипывания подруги, смотрит на размякший асфальт — темную вязкую грязь со следами шин и подошв. Какая-то женщина гудит им из фиолетового «шевроле». Ослепительное солнце отражается от кузовов машин. Магали откашливается.

— Магда, ты даже представить себе не можешь, сколько я перестрадала! Какие ужасные вещи происходили со мной. По-настоящему ужасные, Магда! Почему ты такая серьезная? Что с тобой?

— Ничего. Абсолютно ничего, успокойся.

Проходят мимо церкви де-лос-Пасьонистас.

— А помнишь, Магда, как я выходила замуж? Ты намного моложе меня, но была почетной свидетельницей на свадьбе. Помнишь, какое чудесное украшение из цветов сделал Гойянес? А как мило выглядела ты в своем длинном терракотовом платье с желтыми хризантемами!

Магали дергает Магду за руку.

— Хорошей я была девушкой, красивой, и все тогда было иначе. Разве не правда? Ведь ты помнишь, Магда?

После ужина Хулия стала мыть посуду, а Кастаньо уселся в дверях. Какое-то время до него доносился звон посуды. Теперь все стихло. Женщина время от времени высовывается из кухни, посмотрит в одну сторону, в другую и, ничего не сказав, снова скрывается. Воздух стал прохладнее, влажнее, ароматнее. Кастаньо слышит, как Хулия нервно ходит там, внутри. Шаги то приближаются, то удаляются, он слышит ее то совсем близко, то опять в отдалении, будто ее носят по дому сквозняки. Наконец она показывается в дверях. Волосы у нее мокрые.

— Я боюсь. Уркиса не должен был оставлять меня одну.

— Чего боишься?

— Всего. Вы думаете, я ничего не понимаю. Больше не могу терпеть...

Она перестает отжимать волосы и впивается в Кастаньо своими раскосыми горящими глазами. Ветер шевелит листья сливы, и Кастаньо снова всем телом ощущает его дуновение, пахнущее влажной землей.

Родриго разминает сигару. Со звуком, напоминающим урчание домашнего животного, отхаркивает мокроту. «Дерьмо! Рвань вонючая! Разве так управляют? Недоумки! Думают, что деньгами можно играть. Святыми, чудесными, почтенными, благородными, вечными,

[1] Через несколько лет после революции американцы с согласия кубинского правительства организовали «воздушный мост» между Майами и Гаваной для эвакуации реакционных элементов с Кубы.

всемогущими деньгами. Вот и обанкротились. Надо быть круглым дураком, чтобы думать, будто народ станет работать за так, из любви к искусству. Добровольный труд! Бесплатный труд! Зачем вам деньги? Совсем ополоумели. Не знают, что рабочие все равно как-нибудь да возьмут свое. Они найдут способ получать плату за отработанное бесплатно. До чего довели своими глупостями эти правители нашу богатую землю, где всего было вдоволь, а уж денег-то всегда в избытке. И работают, и работают, пока не добьются со своей работой того, что этот пробковый остров затонет. Все идет прахом. Но они за это поплатятся. Кончат тем, что всех их перевешают, не хватит столбов в Гаване — хватит гуасимов[1] в стране...» Смотрит на фигуры святой Варвары и святого Хуана Боско и видит, что они покрылись беловатым налетом. Протирает глаза, чтобы лучше разглядеть. «Этот тип еще не знает, что его ожидает. Взлетит на воздух, как от бомбы. Не догадывается, что за первым углом его подстерегает хорошо подготовленная западня...» Закрывает глаза. Улыбается. «Можно сделать и так: ручеек зажженного бензина тянется к автомобилю, и тот взрывается, взлетает в воздух, рассыпаясь на куски...» И каждый мускул, каждый тончайший нерв своим легким подрагиванием выражает острое и жгучее наслаждение от сцены наказания — взрыва, который заполонит всю улицу и его мстительную душу. «Они еще увидят. Еще увидят, каков он, Родриго!..» И лицо его освещает подобие улыбки, словно тлеющий уголь в кучке золы.

Кастаньо, сидя на табурете, дремал, расслабленный жарой и покоем. Услышав шаги по каменистой дорожке, открыл глаза и увидел среди сливовых деревьев и бананов приближающегося Уркису, в синих брюках, в белой гуайябере нараспашку и с сомбреро в руках. Он показался более толстым и низким, более лысым и медлительным, чем раньше. Подошел к воротам, помахал Кастаньо сомбреро и, улыбаясь, спросил:

— Как провели ночь?

— Хорошо.

— А где Хулия?

— В доме.

— Она человек своеобразный, но хороший. Ну, вы сами понимаете — женщина. Я сейчас приду.— Оставив сомбреро на табурете, вошел в дом.

Возвратившись, Уркиса проводит рукой по усам, присаживается на табурет рядом с Кастаньо и начинает:

— Сегодня поговорим с одним человеком насчет выезда. Время тяжелое, но я думаю, он сможет все уладить. Поедем после обеда. Хулия готовит рис с курицей. Вам нравится ее еда?

— Нравится, очень.

— Вкусно, правда?

— Еще бы.

— С бриллиантами все в порядке. И выезд устроим, вот увидите.

— Надеюсь,— отвечает Кастаньо. Уголком глаза он с удивлением замечает чье-то лицо, отпрянувшее от окна.

На середине стола для совещаний стоит ваза с цветами.

— Опять это ваши проделки? — говорит Маркос.

Лидия мгновенно зарделась, глаза ее начинают слегка косить — не так сильно, чтобы это сразу стало бы заметным, но вполне достаточно для того, чтобы ее лицо и взгляд приобрели лукавую миловид-

[1] Высокое ветвистое тропическое дерево. Родриго на свой лад переиначивает факт из истории Кубы периода национально-освободительной войны в XIX веке: тогда патриоты на сучьях гуасимо обычно вешали предателей.

ность, ту удивительную привлекательность, которая порой появляется именно из-за маленького несовершенства.

Когда в зал вошли все члены руководящего совета, Маркос садится и начинает:

— Я собрал вас сегодня, чтобы проинформировать о том, что Объединение обещает поставлять нам черный табак лучшего качества. С сортами «Вирджиния» и «Брулей» проблем нет, а с черным табаком, как вы знаете, у нас были трудности. Кажется, все должно уладиться уже при ближайших поставках. Помимо этого я хотел бы от имени Объединения поздравить вас с принятым решением выпускать одновременно черные и светлые сигареты. Главная заслуга в этом принадлежит Кампосу и товарищам, работавшим с ним. Вместе с тем не могу не сказать, что в последние дни для меня было, конечно, очень неприятно сделать замечания ряду товарищей из-за нарушения дисциплины. Никому не нравится выслушивать в свой адрес замечания, но и делать их — тоже не удовольствие. Однако иногда нельзя проходить мимо. Я предлагаю созвать общее собрание, чтобы поговорить об этом.

Мартинес поднимает руку:

— Сомневаюсь, нужно ли это делать — случаев нарушения дисциплины не так уж много. К тому же нарушители оправдываются тем, что норму они выполняют.

— Что толку в том? — отвечает Маркос.— Любую задачу решать надо в строго определенный срок. Если запланированное время используется как следует, будет расти производительность и качество продукции не пострадает. Но если много времени тратится впустую, пусть нормы и выполняются, страдает качество, а этого никому не позволено делать... Мы живем в осажденной крепости. Враг использует все средства, чтобы ослабить нас. Он не просто установил блокаду Кубы, он намерен довести нас до полного истощения, до гибели от голода. Мы работаем, не жалея сил, чтобы не остановилась ни одна мастерская, ни один завод, однако порой пренебрегаем мелочами. А мы, товарищи, не можем позволить себе такой роскоши. Если сложить все эти мелочи вместе, станет видно, насколько велик ущерб стране...

Слушатели серьезны. Лицо Маркоса становится еще более строгим и жестким, еще резче обозначаются скулы. Страстность, с которой он говорит, делает его мимику настолько красноречивой, что лицо выражает мысли даже более доходчиво, чем слова.

— Дело не только в выполнении нормы. Мы должны посвятить свою жизнь выполнению нашего долга. И не можем позволить, чтобы, в то время как весь народ борется, не щадя себя, какая-то группка делала что ей заблагорассудится. Мы должны зорко следить за состоянием оборудования. Если, к примеру, кто-то из наших рабочих получит увечье или погибнет из-за несоблюдения правил безопасности, это все равно как если бы его ранили или убили в бою. Если по невнимательности или халатности сломается машина, это все равно как если бы ее нам взорвали в бою... Выполнять план обязательно, но жизнь рабочего для нас еще важнее. Нельзя забывать, что для Революции главным является человек, а не план.

В зале наступает тишина, звоном отдающаяся в ушах. Мартинес чертит по стеклу карандашом. Лукас, заложив руки на затылок, откинулся на стуле, закрыл глаза, задумался. Лидия, по своей привычке, обкусывает ногти. Кампос барабанит пальцем по обложке записной книжки. Наконец Лукас просит слова.

— Я думаю, что общее собрание надо созвать и поговорить об укоренившихся вредных «навыках» в работе. Нужна твердая дисциплина, не навязанная сверху, а сознательная. Подлинная дисциплина. Маркос прав, прежде всего — выполнение долга. Случаев нарушения дисциплины немного, но надо пресекать каждый такой случай. Кро-

ме того, следует расширить сеть кружков политического самообразования и постараться, чтобы занятия в них не были скучными...

Пока Лукас выступал, Лидия машинально взяла цветок. Забыв об этом и вертя цветок в руках, она тоже просит слова.

— Что ты хотела сказать? — обращается к ней Маркос.

— Извините... я только... я хотела сказать, что неплохо было бы создать драматический кружок. Но... может, это не так важно...

— Еще как важно,— говорит Лукас.— Театр воспитывает. Если нам удастся вынести на сцену вопросы, о которых мы говорили, это будет очень полезно. Одна театральная постановка, бывает, стоит более тысячи бесед и политкружков. Я думаю, мы все должны помочь тебе.

— Хорошо,— подводит итог Маркос.— Все согласны? Завтра созывайте общее собрание.

Ты проводишь пальцами по оконной раме и ощущаешь, как изъедено солью дерево. Выглядываешь в ночь, в затянутое тучами небо. Дождя еще нет, но в воздухе очень много влаги. Низкие, тяжело громоздящиеся облака едва пропускают свет молний сквозь толщу своих рваных наслоений.

Маркос возвратился поздно, усталый, и тут же лег спать. А ты не можешь уснуть. И не хочешь принимать снотворное. Ты дала себе слово забыть о таблетках. Встреча с Магали и то, что она рассказала, так взволновало тебя, что стало не до сна. Все сказанное ею было просто глупо, страшно, жестоко и в то же время — если здесь подходит это слово — грустно. Ты вспоминаешь ее непроизвольные, полные отчаяния жесты, ее истеричные мольбы, ее странную, тягостную, нездоровую скрытую тоску, безысходность и скорбь по утраченному. Как она могла поступить так, как поступила? Образ идеальной семьи, счастливой пары — Магали и Орландо,— который сохранялся у тебя, исчез в болоте пошлой истории и невероятной глупости. И та Магали, что величаво ходила по пляжу, гуляла по саду, срывая гардении, та Магали, что носила, как казалось, на фоне цветущего жасмина, платья, сотканные из солнечных лучей, теперь тускнеет на глазах, мельчает.

Свет уличных фонарей проникает в комнату. Внизу — безлюдная улица, пустынный город, погруженный в задумчивую созерцательность, и тебе приходит в голову, что любой город не может выглядеть по-настоящему красиво, если его не заполняют движущиеся массы автомобилей и людей. Вереница фар мигает, гаснет и снова вспыхивает так же, как и в ту ночь, когда землю перечеркивали тени артиллерийских стволов...

Сперва раздался телефонный звонок твоего отца. Ты никак не могла понять его, голос звучал визгливо и резко, тон был возбужденный. Потом приехала перепуганная Томаса.

— Я за тобой.

— Это зачем еще?

— Пойми, доченька, разве ты не видишь, что наступает конец света? За углом машина, там ждет Кастаньо. Отец послал меня за тобой. Это место очень опасное. Тут скоро американцы высадятся, а у отца тебе будет спокойнее.

Ты до сих пор не знаешь, какой внутренний голос предостерег тебя, не дал уйти с ней, ведь ты чувствовала себя такой одинокой, а в моменты опасности одиночество давит, как тяжелый камень. Но ты Томасе ответила, что никуда не поедешь. Томаса комкала в руках платок и умоляла:

— Пойдем, дочка, ради всего святого.

А тебе хотелось лишь одного: лечь и забыть обо всем. Но ты не легла и не заснула. Все было так необычно. И сейчас ты думаешь,

что порой человек сам не знает, почему говорит или делает то или это. Ветерок освежает твое лицо, развевает волосы. Вдали мигают огоньки рыбаков.

— Пойдем. Не будь упрямой,— умоляла Томаса.

— Никуда я не пойду. Передай отцу, чтобы не беспокоился.

А та настаивала:

— Разве ты не видишь, что совсем рядом, внизу, стоят пушки, тебя здесь никто не понимает.

Умоляла поехать ради нее, пугала, что отец очень рассердится. Старуха так нервничала, что пальцами разорвала платок, и тебя удивило, что ее руки, на вид такие слабые, оказались столь сильными. Ты ей сказала, что все равно где умереть, здесь ли, там ли. И она ушла, тряся головой, с полными ужаса глазами.

Ты оглядываешь пустынную авениду и вспоминаешь, ты снова видишь заграждения, мешки с песком вокруг орудий, стволы которых глядят на север, посреди улицы — ящики с боеприпасами, прикрытые зеленым брезентом. На мешке сидит милисиано и смотрит в небо, такое же, как теперь, облачное и серое, без луны и звезд. После ухода Томасы ты надела джинсы, кофточку и спустилась на улицу. Милисианос ходили между заграждениями. Ты спросила, можно ли пройти вдоль набережной, они с удивлением посмотрели на тебя и ответили: это твое дело. Ты смотрела на них как на людей из другого мира, старалась уловить в их лицах признаки волнения, или страха, или какое-то особое выражение, которое, как ты думала, должны иметь заведомые герои, готовящиеся к смерти. Но видела лишь спокойных людей, куривших, разговаривавших, обстоятельно делавших свое дело.

Теперь асфальт кажется покрытым броней. Начинается дождь. Огоньки рыболовов исчезают за плотной дымчатой сеткой дождя. Слышна дробь капель, бьющих по черному пустынному асфальту. Ты отходишь от окна. Берешь плюшевого мишку и ложишься на софу. Легкий, неслышный и убаюкивающий танец рыбок в зеленоватой воде усыпляет тебя.

Проснувшись, замечаешь, что проспала несколько часов. Снова высовываешься в окно и чувствуешь в голубоватом воздухе рождение утра. Над чуть просветлевшей водой с криками носятся чайки. Одна подлетает почти к твоему лицу и скользит так близко от окна, что, кажется, собирается влететь над твоей головой в комнату. В лужах от ночного ливня играют блестки утреннего света. Волны пенятся у прибрежных камней. В горловине бухты тренируется команда гребцов на каноэ. Парни уверенно и ритмично вскидывают весла. Вдалеке, подернутые дымкой, несколько судов ждут своей очереди, чтобы войти в порт. Туман, повисший над морем, скрывает его рассветную ясность. И почти неприметная сетка дождя ложится на воду, на туман, на пену, на парапет набережной, на лужи и автомобили, уже начавшие свой бег, на пешеходов, выходящих в утро. Ты чувствуешь влагу даже на своих руках, и в это время у тебя за спиной раздается голос Маркоса:

— Что ты там делаешь в такую рань?

— Ничего. Просто так, думаю.

Уркиса рукавом гуайяберы вытирает рот, зажигает сигару и смотрит на наручные часы. Ветерок, истома, шелест листвы так убаюкивают Кастаньо, что у него смыкаются веки. Уркиса трогает его за коленку:

— Пошли.

Пересекают банановую рощу. Кастаньо оглядывается и видит Хулию в дверях, оперевшуюся о косяк. Сворачивают с каменистой тропинки и несколько метров идут по высокой траве. Оттуда видны

стоящие под навесом «форд» и грузовичок. «Непонятно, чей это грузовик и зачем он здесь...» Уркиса ныряет в эвкалиптовую заросль и оглядывается, чтобы убедиться, что Кастаньо идет за ним. По мере того как они углубляются в лес, земля становится мягче, а растительность гуще и непролазнее. Кастаньо ступает осторожно, оберегая от грязи свои двухцветные туфли.

— Надо поторапливаться,— напоминает Уркиса.

— Боюсь, попорчу туфли.

— Не придумали ничего лучшего, как надеть их. Если замечу, что отстаете, заставлю идти босиком.

— Уверены, что это вам удастся?

— Почему же не уверен? Здесь командую я. Здесь и там, в доме.

Уркиса и его спутник пробираются под плотным сводом листвы. От земли исходит прелый дух. Здесь не только эвкалипты, но и другие деревья — баконао, аканы и густолиственные манговые. И тишина, особенная лесная тишина, когда шорох шагов тонет в монотонном и торжественном поскрипывании сучьев и стволов. Уркиса приостанавливается и свистит, подражая птице. Ответа нет. Пересекают заболоченный участок. Уркиса снова свистит, и в ответ раздается такой же свист. Спускаются по заброшенной тропе, похожей на черный шрам, слишком заросший и узкий, чтобы называться дорогой, и слишком мелкий и петляющий, чтобы быть канавой. Выходят на небольшую поляну. В середине ее — болото, покрытое осокой и папоротником. По другую сторону, на краю болота, стоит мужчина с вытатуированной сиреной на предплечье и еще один, в светло-коричневом пиджаке и серых брюках. Поджидая их, он похлопывает веткой по голени.

— Вот этот человек,— говорит Уркиса.

Кастаньо подает ему руку, но мужчина ограничивается лишь тем, что протягивает ветку и касается ею руки Кастаньо, потом сплевывает в зеленоватую воду. Присаживается и бьет веткой по воде, взбаламучивая ее. Кастаньо смотрит на Уркису. Незнакомец продолжает поигрывать веткой, будто их тут вовсе нет. Потом, не поднимаясь и не прекращая своего занятия, говорит, не глядя на них:

— На Базу попасть нелегко. Главное, очень трудно выйти отсюда. Но мне сказали, что особой спешки нет. Это верно?

— Старик хочет, чтобы все было готово, но дело это действительно не срочное.

— Это усложняет работу, потому что сегодня условия одни, а завтра другие, не говоря уж о послезавтра. Во всяком случае, посмотрим, что можно сделать. А с женщиной еще сложнее.

— Это его дочь.

— Знаю.

Мужчина продолжает сидеть на корточках и, не глядя ни на кого, крутит ветку в помутневшей воде.

— Передай ему, что уход будет стоить две тысячи песо за каждого человека. Это только прямые расходы. Когда вы сюда вернетесь?

— Примерно через месяц.

— Тогда и договоримся окончательно. Чтобы уехать с гарантией, лучше подождать. Через Базу это почти невозможно. А чего вы тянули столько времени? До исключения Кубы из ОАГ [1] могли бы запросто укрыться в любом посольстве. И даже после того, ведь в уругвайском посольстве при хороших деньгах еще долго принимали людей.

Он поднимается и постукивает мокрой веткой по брюкам. Впервые в упор смотрит на Кастаньо и говорит:

— Договорились?

— Договорились.

Мужчина исчезает в зарослях.

— В общем, все вышло неплохо,— говорит Уркиса.

---

[1] Организация американских государств.

— Странный тип.
— Зато надежный.
Возвращаются той же дорогой. Подходят к навесу. Уркиса садится в свой «форд» и говорит:
— Значит, через три часа я приеду за тобой.
Кастаньо приближается к дому по каменистой тропинке и видит ожидающую Хулию; она стоит в дверях, оперевшись о косяк, будто и не шелохнулась с тех пор, как они ушли.
— Я приготовлю тебе кофе.
Кастаньо идет вслед за ней на кухню.
— Когда ты уезжаешь?
— Через три часа он приедет за мной.
Хулия заваривает кофе. Кастаньо смотрит на нее.

Он закрывает двери и окна. Смотрит на потолок: штукатурка потрескалась, но пока еще не осыпается. Пальцами вытирает гной на глазах. Тишина заполняет сырую полутьму, в которую погружается дом. Поправляет на шее махровое полотенце. Костяшками пальцев стучит по дереву изваяний святых, прикладывая ухо, чтобы послушать его звучание. Испуганно оглядывается, когда входит Томаса. Ее лицо — клубок морщин.
— Что с тобой? Почему вся съежилась?
— У меня кровь идет.
— Кровь?
— И болит в животе. Пила отвар тамариндового корня — не помогает. Надо бы показаться какому-нибудь врачу из твоих друзей.
Родриго подходит к ней и замечает в ее взгляде отрешенность очень больного человека. Положив руку на ее костлявое плечо, говорит:
— Врач из друзей... Уже никого не осталось.
— А тот, с Фабричной улицы?
— Умер. Ты думаешь, люди вечны.
— Кому-нибудь другому.
— Никого я больше не знаю. Деньги у тебя есть?
— Немножко.
— Вот возьми и постарайся сама найти доктора.
Томаса прячет за вырез платья пачку купюр, полученных от Родриго.
— А с тобой что? Почему не снимаешь это полотенце?
— Замерзаю.
— Да ведь не холодно.
— А мне холодно.
— Тебе тоже надо бы показаться врачу.
— Я никого не хочу видеть. Отправляйся. Оставь меня в покое.
Томаса уходит, волоча ноги. Она так худа, что в своем желтом халате напоминает ржавый гвоздь. Родриго поправляет на шее полотенце. «Жизнь перевернулась. Сколько всего пропало — как ветром сдуло. Холодно. Никогда не думал, что одиночество так холодно...»

— А теперь объявляется перерыв на пятнадцать минут. После него продолжим собрание. У Маркоса очень важные сообщения для нас.
Поднимается шум. Люди двигают стулья, скамейки, слезают с кип табака, с бочек, стальных цилиндров, с груды пустых ящиков. Говор, крики переполняют фабричный двор. Из репродукторов звучит «Марш 26 июля». Людской гомон переплетается с музыкой, царит атмосфера шумного беспокойства.

Живо обсуждают выступление Рауля, его понимание вопроса о дисциплине, ответ Маркоса, поддержанного Лукасом, Кампосом и Лидией. Многие вопросы обсуждают — и о возможных переменах в руководстве, о серьезных трудностях с импортом бумаги, говорят о том, что некоторые фабрики выпускают сигареты только из черного табака, а другие — лишь из светлого. Кое-кто поговаривает, что часть фабрик придется закрыть и переоборудовать, часто слышится слово «раздраконить».

Присутствие на собрании профсоюзных руководителей с других предприятий, из общенационального совета профсоюзов, а также сотрудников Объединения и министерства порождает множество предположений, усиливает напряженность. Армандо, Маркос, Лукас, Мартинес и другие занимают места с президиуме, собрание продолжается.

Маркос подходит к микрофону, окидывает присутствующих спокойным взглядом и ждет, когда установится тишина, которая уже через несколько минут делается такой глубокой, что можно слышать поскрипывание ягуа, обертывающей кипы табака.

— Товарищи, я должен сообщить вам, что в стране изменены все марки сигарет.

Зал отвечает глухим гулом голосов. Маркос, переждав, пока стихнет шум, продолжает:

— Вам известно, что мы выпускали очень много разных марок и типов сигарет, это усложняло и тормозило производство, а также препятствовало более полному использованию наших ресурсов, кадров и оборудования. Такое разнообразие имело смысл при капиталистическом строе, когда царила конкуренция, но сейчас это мешает. В нынешних условиях нашей промышленности, учитывая ограничения, продиктованные блокадой, и при возрастающем спросе необходимо признать целесообразность упорядочения марок и типов сигарет. Это позволит нам производить сигареты одной и той же марки на разных фабриках и удовлетворить таким образом спрос. Существующее многообразие упаковок, форм, расцветок вызывает серьезные трудности. В министерстве промышленности несколько месяцев занимались этим вопросом. Новые марки сигарет были выбраны в результате опроса на широкой выставке. В опросе принимали участие представители всех слоев населения страны. Таким образом, сам народ избрал оформление и названия новых марок.

Маркос показывает карточки с названиями разных марок, написанными особыми шрифтами, и продолжает:

— Мы не доставим удовольствия нашим врагам, которые уже объявили, что на Кубе вынуждены продавать сигареты в кульках. Такой мерой мы сорвем планы врагов парализовать наше производство и создать хаос в торговле. До сих пор мы вынуждены были работать с более чем сорока типами сигарет и более чем с пятнадцатью видами упаковок, включая пачки и этикетки. В ближайшее же время мы будем иметь дело только с пятью марками и шестью сортами сигарет. Вот и выход, товарищи, и мы должны отнестись к этому с должным пониманием.

Просят слова с задних рядов.

— А какую марку будем выпускать мы?

— Пока еще неизвестно. Вопрос этот изучается, но не исключено, что будем производить «Популярные».

Поднимается еще рука.

— А что будет с «Овальными»?

— «Овальные» упаковываются вручную. Но спрос на сигареты настолько возрос, что его невозможно удовлетворить без того, чтобы не увеличить число рабочих. Мы не можем заниматься ручной упаковкой, и поэтому «Овальные» больше выпускаться не будут. Однако

женщины, занятые на этой работе, не должны беспокоиться, они перейдут на другие упаковочные или маркировочные машины.

— С той же заработной платой?

— Да, с той же. И еще хочу сообщить вам, что в спичечном производстве также будут изменения. Хотя вы прямого отношения к нему не имеете, но спичечные фабрики входят в наше Объединение. А выпускаемые ныне спички имеют серьезные недостатки. Они дают искры и прожигают одежду, головка прилипает к пальцам. Дело в том, что получаемое сейчас сырье отличается от того, которое мы использовали раньше, закупая его в капиталистических странах. Будет начато производство нового типа спичек по другой технологии. В общем-то, я рассказываю вам об этом в порядке дополнительной информации. Главное — изменение марок сигарет и их упаковок. Всем ли понятна необходимость этих перемен? Хочет кто-нибудь что-либо сказать? Может, есть еще вопросы? Нет. Значит, все согласны?

Поднимаются руки голосующих «за».

— Вот видишь, Кастаньо, я всегда говорил, деньги всем распоряжаются, открывают или закрывают дороги. Деньги — великая сила: одинаково могут быть и ключом и запором. И все имеет свою цену. Две тысячи песо за человека — это не дорого, если они обеспечат полную безопасность. А как тебе понравился Уркиса? Как он тебя принял? Мне он многим обязан. Благодаря мне он нажил в Гуантанамо большие деньги. Продавал спиртное, потом подался в азартные игры и приехал ко мне в Гавану. А я, как всегда, помогал людям. И ему помог, очень помог. А Хулия? Ты видел ее? Все такая же? Да, она еще не так стара, я ее знавал, когда она была почти девчонкой. Худенькая, маленькая, мясцо только там, где нужно, и хорошо прилажено. Волосы длинные, иссиня-черные. А теперь, говоришь, короткие? И растолстела? Жаль, жаль! Все в этой жизни пошло псу под хвост. Ну ладно, судя по тому, что ты мне говорил о бриллиантах, кажется, все идет хорошо. Я знал — это дело верное. Теперь тебе нужно увидеться с Лорие и предупредить его, чтобы он все подготовил. А Уркиса точно такой, как ты рассказываешь. Готов собственную мать отдать любому, если на этом можно подзаработать. А раз нынешнее правительство не платит Уркисе, то ему можно доверять. Понимаешь, каковы правила в нашей игре? Надо знать людей. Уркиса, он... Знаешь, одно мне только не нравится,— это отъезд другим путем. Через Базу надежнее. Что они там, думают, не смогу заплатить? Скажешь им, что даю пять тысяч за человека, если уход будет через Базу... Уркиса — прохвост, но я тебе уже сказал, что за деньги он служит верно. А вот чего лезет не в свое дело тот, другой, с которым Уркиса свел тебя и который спросил, почему мы так затянули с отъездом? Какое ему дело? Я уезжаю когда захочу и за это плачу деньги. Хотя, может быть, нам и теперь не надо уезжать, потому что все это может кончиться с часу на час. Все зависит от того, как сильно зажмут их американцы. Сейчас народ уже говорит, что эту их революцию сметет генерал Нехватка. А это мужественный генерал, от него никуда не спрячешься. Нет мяса. Нет зубной пасты. Нет бритвенных лезвий. Нет мыла. Нет масла. Нет риса. Нет лекарств. Нет одежды. Нет обуви. Ничего нет. Ни чертовой матери, Кастаньо! Кто отсюда уехал, конечно, спас приличную часть своего добра, но не знаю, как они смогут возвратить себе обратно то, что оставили здесь и что уже захватили другие. Будет хорошая катавасия. Лучше остаться, перетерпеть, переждать, посмотреть, чем это кончится. Но надо быть предусмотрительным и подготовить надежный выезд. Нет-нет, это не значит, что я сомневаюсь. Как ты только мог подумать? Ты меня знаешь, Кастаньо, я не сделаю ошибочного шага. Какую ерунду тебе болтал тот дружок Уркисы насчет уругвайского посольства? Я всю эту историю знаю

лучше его. Я знаю почти все, Кастаньо. Все, что он тебе сказал, верно, но будто я и сам этого не знал. Послушай, Кастаньо, в том посольстве служили два или три человека, которые заработали огромные деньги. У них были специально арендованные дома, они приняли столько желающих найти убежище, что в посольском здании все не поместились. Вот для этого они и снимали дома в городе. Пепин, например. А, хотя нет. Ты его не знаешь. Но помнишь, как-то раз ты высадил меня на Пятой авениде, у бара «Аэровиас». Там я встретился с Пепином. Мы с ним проворачивали приличные делишки. Он занимался драгоценностями, валютой и еще наркотиками. Продавал их тем, кто прятался в посольстве. Многим из них нравилась марихуана и даже кокаин. Был там еще такой Уртиага, который руководил всеми этими делами. Этому-то Уртиаге люди, бежавшие от теперешней дерьмовой жизни, временно задаром уступили свои роскошные дома. Они думали, что таким образом спасут их от «городской реформы»[1], но ошиблись. Да, так вот, Уртиага создал видимость, что оставленные ему дома арендованы посольством для размещения желавших получить убежище, огромные же деньги, переводившиеся уругвайским правительством на аренду, прикарманивал. Это были люди высокого полета, симпатичные и добрые. Тебе еще многому предстоит научиться. Думаешь, я такой, какой есть, по своей доброй воле? Эх, сколько тебе всего еще надо понять, Кастаньо. А теперь давай уточним, что ты должен сделать. Увидишься с Лорие и разъяснишь ему все, что я тебе сказал. Дальше. Томаса, как я говорил, заболела. Бедняжка уже ходила к врачу, и я хочу, чтобы ты занялся и ее делом. Можешь пользоваться моей машиной, чтобы ездить по врачам, покупать лекарства и все такое прочее. Вот деньги. Займись ею. Ты знаешь — хоть я очень огорчен, но не выношу больных в своем доме. И еще вот что учти — это очень важно,— я хочу познакомиться с мужчиной, с которым живет Магда. Хочу видеть его и знать о нем все. Вообрази, что Магда — рыбка и мне нужно знать, до каких пор она будет плавать в этой водичке. Ты меня хорошо понял, Кастаньо?

(Окончание следует)

[1] «Городская реформа» — передача трудящимся после победы Революции домов бежавших с Кубы богачей.

ПАВЛОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский переводчик латиноамериканской прозы и поэзии. В его переводе публиковались романы Мануэля Кофиньо Лопеса (Куба) «Последняя женщина и близкий бой» («ИЛ», 1973, № 1, 2), Хоакина Гутьерреса (Коста-Рика) «Умрем, Федерико...» («ИЛ», 1976, № 2), повести Гильермо Атиаса (Чили) «...и потекли деньги» («ИЛ», 1973, № 7), «Против течения» («ИЛ», 1978, № 1—2), Антонио Скарметы (Чили) «Восстание» («ИЛ», 1982, № 11), стихи Пабло Неруды, Ариэля Бадано, рассказы.

TOTENTANZ IN POLEN

Станислав Гроховяк

Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ

СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК — STANISŁAW GROCHOWIAK (1934—1976)

Польский поэт, прозаик, драматург. Автор стихотворных сборников «Рыцарская баллада» («Ballada rycerska», 1956), «Менуэт с кочергой» («Menuet z pogrzebaczem», 1958), «Раздевание ко сну» («Rozbieranie do snu», 1959), «Избранные стихотворения» («Wybór wierszy», 1965), «Охота на тетеревов» («Polowanie na cietrzewie», 1972), антифашистской повести «Тризм» («Trismus», 1963). Творчество Станислава Гроховяка не раз отмечалось литературными премиями. Поэма «Totentanz in Polen» («Пляска смерти в Польше») опубликована в 1969 г. (Warszawa. Państwowy Instytut Wydawni- czy, 1969).
Wydawniczy, 1969). В данной публикации использованы элементы оформления польского издания.

Предлагаемая читателям поэма явилась следствием совсем иного литературного замысла. Уже порядочно лет назад, намереваясь написать повесть-апокриф об эсэсовце («Тризм)», я стал собирать всякого рода иконографический и печатный материал, небесполезный для моего намерения,— гитлеровские журналы, модные в третьем рейхе фотоальбомы, портреты фашистских главарей и разные мелкие предметы тогдашнего обихода.

Среди мрачного этого хлама оказался альбом с набросками некоего Вильгельма Петерсена, изданный в Гамбурге в 1940 году под зловеще претензиозным названием «Totentanz in Polen» («Пляска смерти в Польше»). Петерсен, по-видимому, военный корреспондент и к тому же талантливый рисовальщик, вступил вместе с немецкой армией в Польшу в сентябре 1939 года. Этот его «поход» породил нечто вроде претендующего на поэтичность репортажа-дневника, впервые публикуемого мной в польском переводе, а также более двадцати рисунков, выполненных талантливо и с отменным знанием графической техники.

Смею полагать, что это единственный в своем роде феномен в изобразительном искусстве, когда правда изображаемого столь резко расходится с намерениями художника, а недоумочная спесь мецената предоставляет возможность распространить зарисовки в виде роскошного издания. Нет ни малейшего сомнения, что Петерсен стремился своими рисунками осрамить поляков, что мученичество народа нашего ж а ж д а л представить всего лишь как истребление гнезда насекомых, несколько приправляя свои намерения философической грустью. Карандаш, однако, лгал намерениям, тяготея к непостижимой для гитлеровца правде. И эта самая правда пульсирует в глухих пропастях Петерсенова произведения точно так же, как под пеплом фашистского образа мыслей дотлевает еще слабый уголек совести.

В моей поэме, являющейся чем-то вроде подписей к иллюстрациям, я попытался выявить всю драму этого творческого феномена, где сквозь сытое чванство то и дело пробивается ноормальное человеческое потрясение, а ощущение превосходства и связанное с ним понятие о п р а в е приводят к неотчетливым предчувствиям собственного позора. Поэма, таким образом, задумана как в т о р о й г о л о с Петерсена, сперва триумфаторский и саркастический, затем обнаруживающий признаки усталости, обычно овладевающей палачами, и, наконец, снизившийся до шепота, каковой всегда бывал уделом кающихся. Не знаю, не оказал ли я чрезмерной услуги Петерсену, заподозрив его в смелости мышления, не знаю, жив ли Петерсен, и, если жив, какой он сделал теперь выбор. Задача художника — искать остатки человечности даже там, где пробудились демоны. Поэму же без ведома п о д л и н н о г о Петерсена, избавляемого мной как бы от ощущения вины, я посвящаю памяти его жертв: женщин, детей и мужчин, полегших на полях и дорогах польского Сентября.

Оставленная польская позиция.

ДНЕВНИК

День ужасно жаркий.
Шоссе на Лодзь окутано густой бело-желтой пылью; с бешеным рычанием и лязгом проезжает мимо транспорт. Мотоциклисты, связные облеплены глиной до неузнаваемости. Одинокий ездок! — мгновение — и снова проглатывает его клубящаяся белая туча. Наша группа глотает пыль: мы идем в колонну по одному... пытаемся затянуть песню Шлезвиг-Гольштейна, но глотки наши пересохли, а грохот моторов заглушает любые звуки.
Навстречу начинают попадаться беженцы, навьюченные своими пожитками... По шоссе идти невозможно.

. . . . . .

Мы движемся вдоль межи.
На обочине канавы лежит мертвый поляк, тут же, рядом с ним, лошадь с раздувшимся брюхом.
На догорающем пепелище стоит женщина.
Она глядит на нас пустым взглядом.
Уцелела лишь печь, воздымающая трубу к знойному дрожащему небу, беспомощная, голенастая и черная.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

I

«Polnische Wirtschaft» — польское хозяйство
Оно от века так нагромождалось
Истлевшей костью Давленым железом
Рваной хоругвью на дорожном крыже

А в край прийти тот — в гноище явиться
Могил на пашнях Лемехов пробитых
Здесь от лентяйства пастырь сам подставит
Свою овчарню бойне пулемета

О вы славяне Лежебоки смерды
Наседок в шлемы вы сажать привычны
Ребяток малых в гробиках баюкать
Покойников пораскидать по полю

Верушов

У страны этой нет ни начала ни конца, а мы так мало знаем о том, что вокруг. Но что-то внутри нас взывает: вперед! Мы перебежали поле и лежим, окопавшись. В небе кружат немецкие самолеты. В лучах солнца они подобны серебристым чайкам...
...а ночь августовская, когда я получил повестку, кажется сейчас такой далекой, хотя и была несколько суток назад, но в сутках этих много-много часов.
Сейчас из многих «я» возникло единое «мы». Соратники по первой мировой, старые друзья-товарищи, целый батальон — а ручной пулемет оттягивает те же плечи, что и двадцать лет назад, и манерки издают знакомый, старый, глухой и чистый звук.

. . . . . .

Пить хочется невыносимо.
Несколько наших отправились в наполовину уцелевшую крестьянскую усадьбу и бегут обратно — стальные каски полны яиц. Попалась также и неприятельская курица и, надо думать, не одна. Один из наших — лесничий — достал охотничий нож, и вскоре ощипанные по всем правилам до последнего перышка голые птицы лежат на зеленой траве. Выглядит это весьма соблазнительно, словно на фламандском натюрморте Яна Фейта.

ВДВОЕМ В РАЗВЕДКЕ

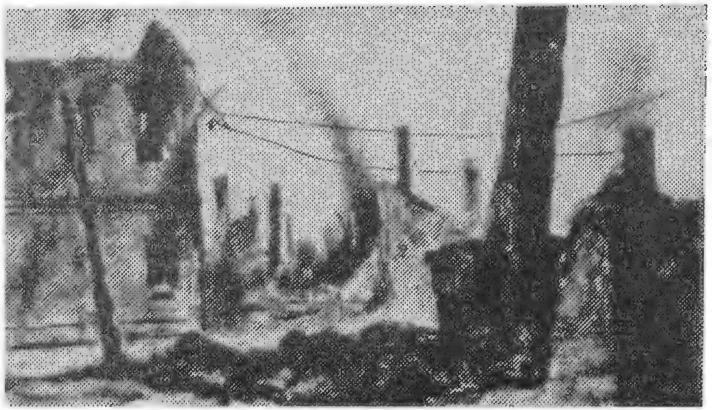
С хозяйственными постройками монастыря уцелел и костел; ничего примечательного; покрытое серой известью строение с бесстильной башней. Здесь, однако, он кажется вкраплением культуры какого-то нереального мира, высящимся на грудах праха и развалин. Обугленные деревья тянут к небесам ветки, подобные тонким диковинным пальцам привидений.

II

Гостеприимцы — где ж гостеприимство
Придешь к ним в гости — домы побросают
Ни крова не найдешь у них ни пищи
Лишь на обоях лишаи пожара

Как тут не вспомнить о семье немецкой
Где срам любой застелят скатертями
Любую кровь стенной покроет коврик
Жена — улыбкой — мужа грех пустяшный

Ну да — мещанство Но хотя б коснулись
Блаженств уюта домовитой пары
Ведь сладко видеть как солдат усталый
Подставит руки для мотанья пряжи



Верушов

На мостовой плита вместе с горшками, сковородками и протухшими остатками варева. Тощая черная свинья, повизгивая, роется в отбросах.
Нищий оборванец с деревянной ногой и висящим на животе лотком осторожно несет в стариковских ладонях почему-то горящую керосиновую лампу.
Возле покойницкой, среди засохлых, увядших венков учинили драку здоровенный желтый кот и черная лохматая дворняга. Белесо-желты и ярко-багряны последние цветы лета под ветхой, заросшей плющом стеной кладбища. Вокруг огонь и дым.
Перед нами серо-голубой фасад, кажущийся бутафорским; сквозь обугленные по кромке провалы окон послеполуденное солнце бросает последние лучи.
Зной буквально плавит мозги. По толстому слою пыли на наших лицах текут ручейки пота. Во рту вкус чего-то горько-соленого.
Из вонючих нор, темных, как ночь, вылезают евреи. Толстенная старуха с ноздрями принюхивающейся крысы и вероломным взглядом изучает ситуацию.
Нечисть выползает из щелей и гнездилищ.
Одетые в лапсердаки и маленькие черные ермолки, под которые убраны заколтуненные пейсы, эти коварные убийцы стоят, словно невинные овечки, у разрушенных ворот уничтоженного кладбища.
Их уводит полевая жандармерия.
Подходят саперы вместе со строительным батальоном и наводят временный мост над заваленной обломками рекой.
Недалеко от часовни, на холме, встречаем ребят из подразделения Бермана, с которыми мы не виделись уже много дней. Краткое приветствие — по глотку из бутылки,— и мы бодро вспрыгиваем на велосипеды.
И снова мы у костела. Необходимо, наконец, узнать, что там внутри.
Перед нами унылое, пахнущее плесенью помещение, забитое гипсовой лепной дешевкой.

III

Но их стихия — хамское уродство
Вон как охотно нам в глаза пихают
Убожество своих разбитых кухонь
Кладовок где из мяса только крысы

Не жди тут бережливости высокой
Чтоб грош к грошу Чтобы к зерну крупица
Эй вы Транжиры Эй Стрекозье племя
Из-за угла б вам пулями плеваться

Из-за угла б вам пулями плеваться
Приходит лето — вам бы только петь бы
Свои бы реки кровью братьев полнить
Плести бы свясла из дымов пожара

Польские женщины

На скамье сидит старик с водянистыми вытаращенными глазами.
Уставился на нас — и не шевелится!..
За амвоном зияет дыра подпола.
Мы спускаемся в темный, холодный, сырой и заплесневелый ход.
В слабом свете еле различимы человеческие фигуры.
Тесно сбившись, сидят на корточках старые женщины, похожие на мумий, меченных болезнями Востока.
Меж гробов с покойниками, возле нищенских узелков с одеждой еще прямой, оцепенелый,
с бледновосковой кожей,
обтягивающей острые кости,
сидит среди умирающих
труп женщины
с провалившимися глазницами.
Из бокового хода появляется хромой горбун в белом платке, стеариново светящемся во мраке вокруг скорбного личика. У горбуна мисочка в дрожащей желтой ладони. «...Солдат — я говорить по-немецки — я работал в Германия — был молодой — поляки заражать — заразная палата — против немцев... здесь запирал —всё больное— дать хлеб!..»

. . . . . .

Настала ночь. Мы жмем на педали. Нас окружает лес, какой-то ужасно дурацкий лес, который никак не может кончиться.
Где же мы все-таки находимся?
Поваленные деревья.
Внезапно — резкий запах падали.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

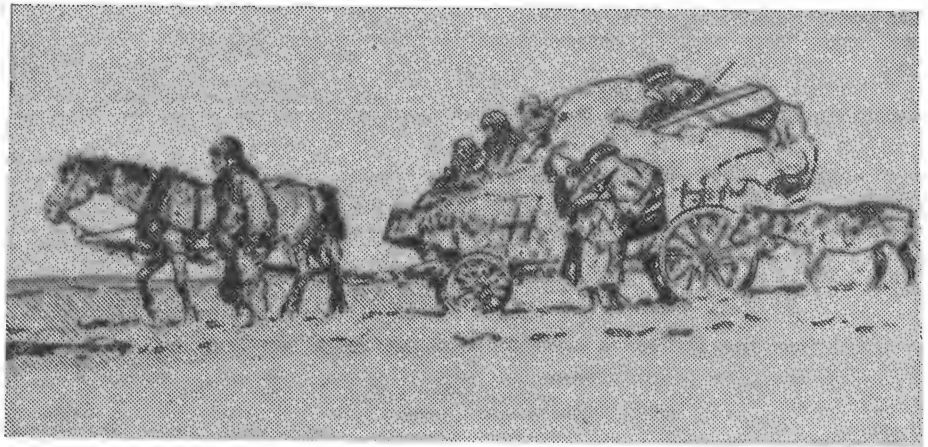
IV

Вот и портрет вам Их немало будет
Взгляни в провалы этих лиц угрюмых
Кокетки польки — резвые котятки
В солнцах волос В веночках земляничных

Но что за жвачка в их губах отвислых
Роса какая выела им очи
О не ходи в те гроты Талиарх[1] *мой*
Они горох свой там лущат в мученьях

Ты выучен телам помытым Пышным
Розовым губкам Ямочкам на щечках
А здесь уродство по щекам нас хлещет
Не потерпи же — бей в ответ наотмашь

[1] Друг Горация, к которому обращена одна из его од. Лицо, возможно, вымышленное. *(Здесь и далее прим. перев.)*



Беженцы

Слышно только наше сбитое дыхание. Вот когда поневоле начинаешь сравнивать. Мысли проносятся молниеносно. Хочется, чтоб донесся хоть какой голос — или шорох. Или что-нибудь. Послушай, но ведь ничего особенного не происходит... ну что может сейчас случиться?.. Вспомни самое страшное в твоей жизни — я имею в виду первую мировую!

Но это было так давно. И может ли вообще быть сейчас страшным? Ведь мне тогда было только восемнадцать...

Сейчас мы, ведя свои велосипеды, идем тесной группой.

Меж вершинами деревьев обозначается на небе дорога — путь на восток.

...не знаю, можно ли это назвать страшным, ведь ничего не произошло. Все было словно в море, когда внезапно стихает буря и вода становится густой и тяжелой, как масло. Волна бьется о корабль — а он стоит на месте...

...все ждут бури, которая вскоре снова обрушится, нервы напряжены до крайности. Но винт перестает работать, посудина тонет... нет, ничего такого не происходит. Отчего старина не спускает шлюпки?.. Чувствуешь себя в огромном склепе. Возможно, это громкие слова, но время перестало быть обычным... время стало пустым провалом в просторах вечности. Знаешь, я лежал под ржавой путаницей колючей проволоки. С нее свисали обрывки мундира. Рядом из земли торчало полсапога... есть ли внутри нога? — промелькнуло в мыслях... И тут — вззз-буух... земля разверзлась в двух метрах от моего носа.

Граната зарылась буквально подо мной. Я долго лежал и не помню, было ли мне жарко или холодно; я ждал, ждал... вот-вот неминуемо взлечу в воздух, буду разорван в куски... И, знаешь, все обошлось.

Я лежал оцепенелый и, можно сказать, недовольный миропорядком...

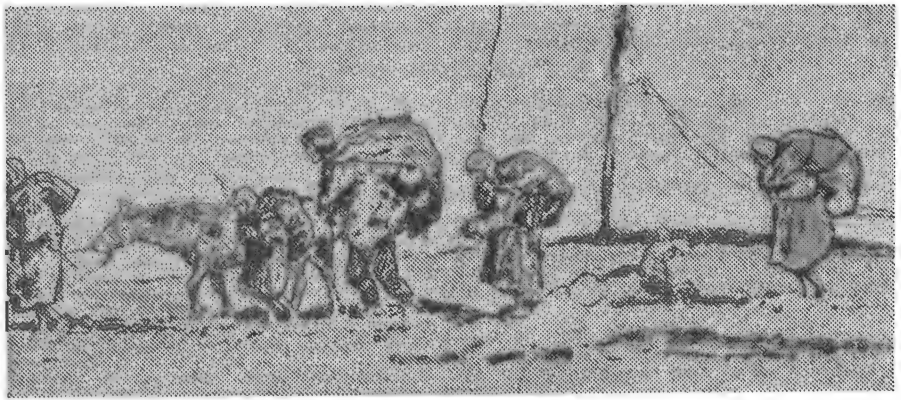
ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

V

Детишки Кляча На шнурке скотина
Поверх поклажи гроб хитро прилажен
Землица тоже не бог весть какая
А небеса в грачах как в черной туче

Поляк уносит все свое богатство
Что ему Гёте Что смычок Моцáрта
Молитвы шепчет — не Пречистой Деве
В сучкастом древе выдолбленной Бабе

Чувствительность овладевает нами
Когда мы входим в глубь сего пейзажа
С чего бы это Заори ж на смерда
Пусть загрохочут на повозке кости



На дороге

...порой я вскакиваю среди ночи — хочется убежать!.. Зачем я не встал сразу и не бросился бежать, как хочу это сделать сейчас, когда мои вспотевшие ладони судорожно стискивают простыню...

. . . . . .

Стой — друг! — вот он, дорожный указатель... перевернутый!..
Мы подпираем сломанный столбик.
Вспыхивает карманный фонарик!..
Лютутов 18 километров!

Дорогие Эльке и Марен!

...сегодня играл прямо-таки «Батавию в Шликхютте» — но я не про историю с рождественским карпом. а про сны в «Золотом Якоре», когда Батавия говорит: «Будь эта корона настоящей... как думаете, что бы я мог на нее купить? Целую жареную свиную голову, розовую, как марципан, густую горчицу и горошинки перца... а ко всему еще лоснящуюся бутылку сивухи». А потом являлись ему в задымленной комнате постоялого двора шпигованные свиным сальцем зайцы и гуси, и в глазах бедного Батавии стояли трогательные слезы. «Жирные каплуны,— сказал он,— каких ест в гареме султан, с лавровым листиком и сладким турецким вином...»

И нас порою тоже отвлекает от изнурительных трудов ратных какой-нибудь пустячок из сказочного царства — во всяком случае с нами так бывало. Двери отворяются в темноту — сверкает огарок свечи и рисует на стенах какие-то фигуры...

Поздним вечером мы вернулись из разведки. В темноте трудно было найти незнакомый постой. Все, у кого ни спрашивали, тоже недавно прибыли.

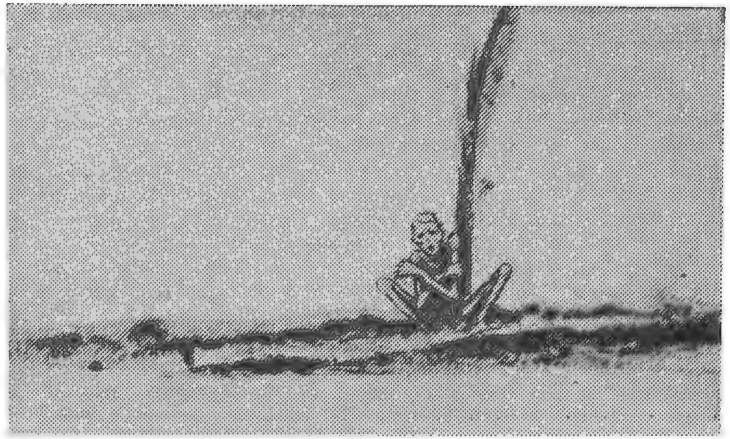
Но вот на разбомбленной площади стоит человек — его лицо знакомо еще по родному городу: сержант из третьей роты. Рукопожатие! И мы волочим усталые ноги на соседнюю улицу, где находим кирпичный темный дом.

VI

Один упал Прошли Не задержались
Сердца их терпки как земля вот эта
И ты — мой мальчик — из своей винтовки
Его пристрелишь пулей милосердья

Мой бедный мальчик — где же заплутал ты
Как уберечь свою невинность сможешь
Когда тебя обяжет милосердье
И кровь пускать И петли мылить шеям

О добродетельный достойный немец
С войны вернувшись — как на пианино
Возложишь пальцы — и чело какое
Подставишь губкам девы истомленной



Сумасшедший под телеграфным столбом

Мы голодны и очень хотим пить; полевая кухня не появлялась весь день—наши кишки под ремнями играют марши.
Часовой радостно скалит зубы. Не-е-е — жратвы нету!..
Ругаемся на чем свет стоит, перетрясаем дом, крича и шумя, рыщем по темным помещениям.
«В салоне мест нет»,— рычит чей-то сытый голос.
С верхнего этажа доносятся постанывания.
Откройте немедленно!
За длинным столом сидят наши. Старая керосиновая лампа без стекла тускло освещает лица; чавкая, вгрызаются ребята в гусиные ножки, истекающие жиром.
Они погружают зубы в хрустящих цыплят, и жир стекает по подбородкам. Из бутылок льется в чашки, трéснутые стаканы и походные кружки искрящееся вино.
Мы тянемся к большой миске. Все происходит молча. Безмолвное сборище изголодавшихся.
Кто знает, когда снова чем-нибудь поживимся — говорит себе солдат и больше не может противостоять искушению.
На два ночных часа забываешь обо всех мерзостях, всё становится таким нереальным...
Воители валятся на соломенные постели — фитилек утонул в лужице жира,— и с рассветом оживает слабое воспоминание, которым делимся друг с другом: а помнишь?
И мы радуемся, вспоминая, как выглядели перемазанные жиром ребята,— и снова утираем губы тыльной стороной ладони.

В НОЧНОМ КАРАУЛЕ

Мы на постое в прилично сохранившемся доме. В северном направлении тянется наш редут, составленный из повозок; возле разрушенной конюшни стоит полевая кухня.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

VII

Не угрызайся Вот твои резоны
Четыре кости Черный рот разинут
Явись пред Микеланджело такое —
Спиною к нам бы встал Христос на фреске

Когда бы это мог прозреть Петрарка
Лаура б стала плакальщицей старой
А пышный бы гарем свой Питер Рубенс
В склад превратил просаленного мяса

О ты Искусство Ты — шумящий ветер
Крыл человечества К тебе взываю
Взгляни под шлем походный благосклонно
И мужа укрепи чтоб мразь извел он

Умирающие

Посверкивает угасающий огонь.
Вечер спокойный, голубой. Зажигаются первые звезды. В пятидесяти шагах — шоссе, по которому мы приехали. По нему тянутся беженцы.
Слышны возгласы и громыхание...

. . . . . .

Из темноты появляется нечто ползущее, звероподобное, непонятное. Окрик остается без ответа. Вспыхивает фонарик. Измазанное глиной человекообразное существо, голое — без лоскутка одежи, худое — настоящий скелет.
С уплощенного, в черной щетине, серо-желтого черепа, из гноящихся ям глядят безумные глаза. Скелет сплошь покрыт отвратительными язвами.
С полевой борозды встает еще одно создание с чудовищно раздутым животом, с черепом, похожим на кокосовый орех. Ноги, как у эмбриона, тоненькие, слабые, худые, кривые, напоминающие клещи.
С канавы слышны нечленораздельные звуки. Нечто цвета серой земли скачет, точно монстр из инфернального цикла моего обожаемого Питера Брейгеля.
Какой-то поляк бежит, словно одержимый дьяволом, хлеща лозиной. Возле него прыгает писклявое существо, похожее на лягушку, скалит зубы, обтянутые остатками выеденных губ... Поляки, отступая, открыли двери сумасшедшего дома. Сотни умалишенных, в зависимости от степени безумия и болезни, пугают, беснуются, стонут и воют на растерзанной польской земле.
Они ползают по лесу. Вот один колотит кулаками раздутое брюхо дохлой лошади. Парадный тамбурмажор, выбивающий ритм пляске бесноватых...

. . . . . .

Звезды сверкают, ночь ясная и голубая; серп месяца опрокинут спинкой книзу.
Развевающийся тюль тумана волочится по земле, вьется, опутывая колеса обозных повозок, висит нарядными одеяниями на ягодных кустах.

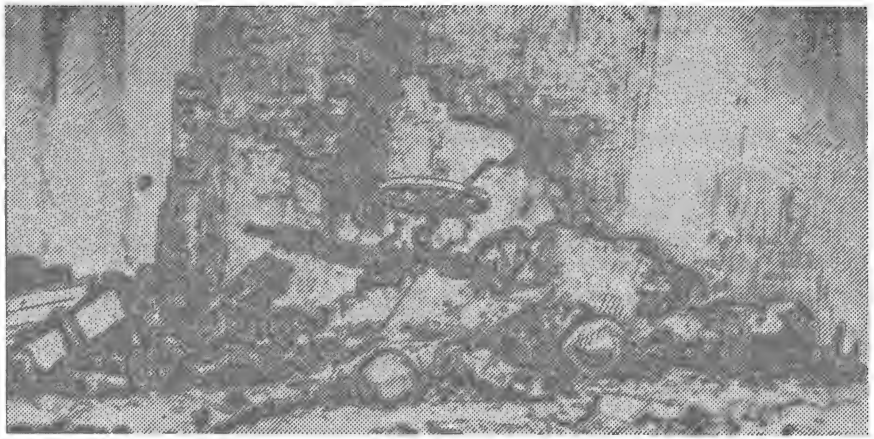
ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

VIII

И пусть их плачут Даже и не плачут
Молчанье смерти в их жилье немеет
Стекает сырость по стенам подвальным
Свеча стреляет отголосным эхом

Вниманье Сговор Что-то замышляют
Поляк ли полька посидят у гроба
А после встанут — надо быть готовым
Утроить зренье Ощутить винтовку

Непостижима дьявольская гордость
С какою траур польских стягов плещет
О если бы взломать ворота пекла
И всех прикончить по второму разу



На подступах к Пабьяницам

По шоссе все тянется серая вереница беженцев, неисчислимая армия теней.
Откуда-то долетает пение, меланхолическое, непрерывное.
Рыча, с резким светом фар проезжает автомобиль, раздается крик, полный отчаянья и ужаса.
Он замирает в бормочущей жалобе, подстроенной к ритму всего этого парада нищеты, звоном, лязгом и стоном наполняющего ночь позднего польского лета.

. . . . . .

Светает. Вуали тумана превратились в искрящиеся хрусталины и сверкающий жемчуг.
Разбитый попаданиями телеграфный столб, словно измочаленное кнутовище, замахивается на раскаленный обод солнца.
Пение переходит в скулеж — последнее бессильное повизгивание, исторгаемое безносой обглоданной головой упыря.
Это — пока еще живой — скелет помешанного, сидящий на корточках под расщепленным столбом, на котором в утреннем холодном ветерке дрожат и позванивают сорванные провода...
У канавы в Вольниках...

. . . . . .

Отдельные образы застряли в моем мозгу заодно с видениями наступившего утра; после ночной вахты рисую не думая, уточняю рисунок, прорисовываю наброски, сделанные на марше.
Кровь и пламень!
Бледновосковое молодое лицо, притененное стальной каской.
Мертвецов, переставших быть людьми!
Костлявую руку, судорожно возносящуюся к небу!
Трупы животных, наполняющие воздух сладковатым омерзительным смрадом падали, похожие на бесформенные ядовитые пузыри.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

IX

Ведь Польша снится этому вот слева
Честь и отчизна — этому вот справа
Сны варваров всегда густы как туча
Таящая до времени перуны

Не зная яви почитают сонник
Страною княжить призывают мертвых
И — что ни полночь — в каждом польском доме
Густава[1] *призрак крест кладет на стенку*

Тут нету блеска Тут в тумане сгинешь
В полях дымит он — в дуплах — в ульях пасек —
Железо сплющишь Камни жаром стопишь
Тебе навстречу встанет Скирд гниющий

[1] Герой поэмы Адама Мицкевича «Дзяды».

Польские крестьяне

ПИСЬМО К Ц.

Дорогой Ц.
Что такое эта война? Убийство и пожары. Не по нашей вине. Еще до нашего прихода поляки вели себя ужасающим образом. Они учиняли резню, убивая здешних немцев, мучили их и зверски калечили.
Они жгли хозяйства, чтобы сдержать наступление наших войск. Опустошали дома. Обрекали на изгнание собственных земляков. Подстрекаемые и обманываемые, удирали те за сотни километров на своих жалких разбитых телегах.
Однако описать можно разве что часть этих мерзостей. Всё новые позорные дела становятся явными. Необычайно сильны и удручающи наши впечатления за несколько дней, проведенных тут, в этой стране, с которой я познакомился двадцать лет назад, когда служил вольнонаемным. Тогда нам приходилось иметь дело с повстанцами...
Мы за это время многое успели позабыть. В последние годы мы ведь думали так: Польша такая же страна, такое же государство, как и другие. Только что рядом со мной упал мой товарищ — выстрел из укрытия! В ответ стреляют солдаты роты боевого охранения. В тылу, на биваке, в любом темном углу затаилась смерть, затаился коварный убийца...

. . . . . .

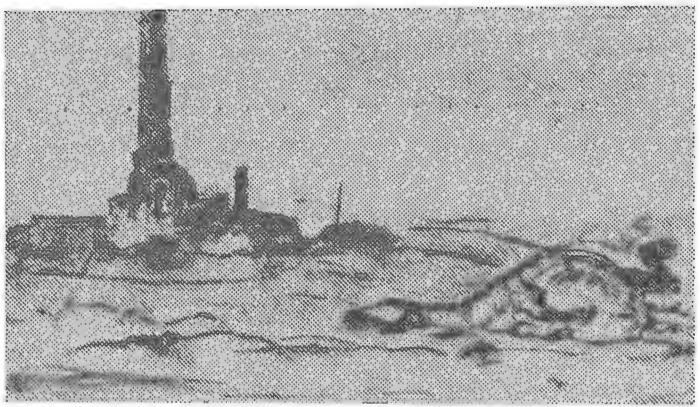
Скажи, пожалуйста, что слышно дома? Почта все время заставляет себя ждать. У меня до сих пор нет никаких вестей. Ни у кого нет! А мы все ждем.
Шлезвиг-Гольштейн так далеко отсюда.
И когда мы тут беседуем, нам кажется, что мы одна семья. Каждый каждого знает досконально, как бывает меж соседей...

X

А говорят они: Паны́ч — за что ж ты
Чего тебе худого я соделал
Корова у меня Злосчастье Жёнка
Считать детишек — смерть и та собьется

Кума — Косая Сивуха — сеструха
Доля — недоля За сараем — непашь
Я ж панычок хоро́м твоих не гвоздал
Не наступал те на мозоль больную

Вот и держись от клунь моих подале
Ведь я просить да и прибить умею
Мой шурин — шкворень Крестный — ножик вострый
А за топор возьмусь — затмятся звезды



На обочине

Всего лишь несколько дней мундир казался чем-то непривычиым, сейчас он уже сросся с телом. Мы распознаем друг друга издали. Возвращаясь из разведки, мы знаем, какая из фигур цвета хаки заговорит на нашем диалекте. Вот ноги лесничего — это же не кто иной, как «пан» Пингель, Паульсен, Уль, а там вон «пан» Шписс. Но вот появляется из-за угла лейтенант Карстенсен. Все сбегаются. Мы уже предчувствуем, что будет. Снова выступаем. Рысью присоединяемся к своей колонне.
Готовы!

. . . . . .

Меткое попадание в угол дома. Польских пулеметчиков засыпает битый кирпич.
Трамвай, сброшенный с рельсов.
Горожане.
Занимаем фабричное здание, расставляем часовых. Подъезжают новые подразделения. Среди ночи крик. Топот по двору. Пришла рота Бермана с пленными. Теперь у нас полно работы. Надо устроить их на ночь. Кишмя кишат солдаты в шинелях цвета серого мха. Изголодавшиеся, они разевают бледные, опухшие от жажды рты.
Среди них есть и подразделения здешних немцев. Паршивая амуниция. Ноги обмотаны тряпками. Некоторые босиком.
Наша полевая кухня все время топится. Горячий суп — чтобы заткнуть все пасти. Жадно хлебают они теплую еду из старых консервных банок, из бутылок с отбитыми горлышками, даже из шапок. Куча хлеба, которую мы смогли собрать, исчезает в мгновенье.

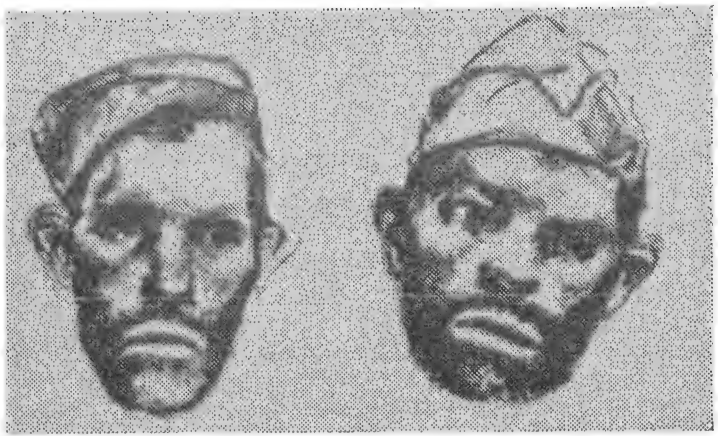
. . . . . .

XI

Теперь пастелью труп коня рисуем
Оденем мягким абрисом как платьем
На сонный колорит возложим руку
Художника И вверим пульс бумаге

Хочу покоя Ликом искаженным
Хочу прижаться к тихомолчной смерти
Животных настоящих К натюрмортам
Вину Плодам Серебряным шандалам

Пусть я займусь полутонами Светом
На сферах одомашненных материй
Вновь — словно в детстве — ногтем пусть намечу
На мягком меле все соотношенья



Польские солдаты

Сейчас у нас несколько часов передышки. Я мечусь с моим блокнотом, жаль терять время. Мы на подступах к Лодзи!

. . . . . .

Внезапный приказ! Выступаем против разбитой польской кавалерии. Десять часов вечера. Через полчаса. Пока что все усердно хлопочут, скатывают шинели, заряжают оружие. Я сижу рядом с моим пулеметом и пишу тебе эти строки. Вокруг удивительно тихо. Слова произносятся только в случае необходимости. Мы тщательно и многократно проверяем каждую мелочь. Не знаю, сможешь ли ты представить себе подобную ситуацию. Нет, это не страх, хотя поглядываем мы друг на друга украдкой. Кому сегодня что назначила судьба? Есть ли еще что-нибудь, что обязательно следовало бы сказать товарищу?
Но уже нет времени, чтобы привести в порядок что-либо за пределами нашего дружества...
Ах, друг,— вот и пробил час...

. . . . . .

Сегодня мы прочесали город, втроем патрулируя каждую улицу,— задержали более двухсот поляков. Население ведет себя беспокойно и вызывающе, они думают, что свои вернутся, а мы отступим. Ночью слышно, как стреляют. Узнаём, что снова убиты часовые.

. . . . . .

XII

Вот-вот наступит ночь За ней — тружденье
Прокличут стражи И спустившись с башни
Сквозь пленку пота Сквозь свинец оконниц
Банко двулицый посетит Макбета

Как освинел ты Банко Как злонравно
В щетине скрыт Как скулы обтянулись
Вгдь мог бы раной просиять в глаза мне
Но упыриный рот разит махоркой

Где плащ твой Банко Где свалились перстни
С придворных пальцев Где твоя личина
Банко Где сцена Где орхестра Хоры
Что с занавесом стало милосердья?

Страдание

Лодзь. Мы вошли туда после Кутно, и был я в ней часа два, ночью, когда разыскивал своих. Город огромный, но некрасивый. Грязь и беспорядок. Целыми кварталами тянутся деревянные хибары и жилья нищих, а рядом возвышаются большие импозантные здания, увы, лишенные какого бы то ни было стиля. Главная улица сбивает с толку современным внешним видом — да, но что скрывается за ее домами?

И конечно, евреи — во всевозможных разновидностях, каких мы до сих пор нигде еще не видали.

Отбросы человечества наихудшего разбора — на каждом лбу начертано преступление. Каждый негодяй дышит заразой из мрачных нор. Ночью, повсюду на палаческую скамью, исчезали тут бесследно солдаты, разыскивающие свои сборные пункты.

Кровавые дни, кровавые ночи!

Можно, конечно, думать, что в дни войны ненависть к немцам прорвалась пароксизмом бешенства. Но ведь эта борьба преступного мира взбунтовавшихся фанатичных поляков, идущих на поводу у евреев, не утихала со времен, когда здесь стали селиться немцы; неминуемо обращалась она против внутреннего очага чистоты всевозможными способами, пока обворованный человек не падал с пробитой головой, истекая кровью, в сточную канаву.

. . . . . .

КРАКОВ

Итак, я как бы снова окинул взглядом все места боев. От Гдыни и Гданьска, с севера на юг я пересек широкий польский край на самолете и автомобиле — был в Быдгощи, в Познани, в Гнезно; был я еще и под Кутно, там, где...

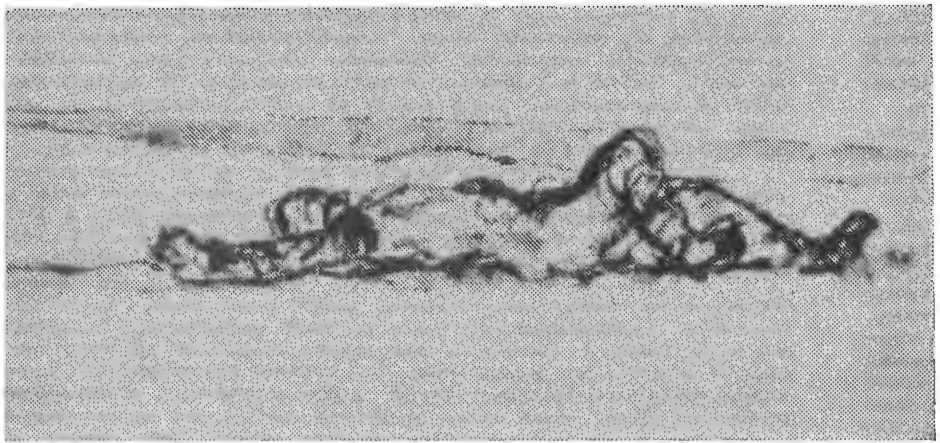
ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

XIII

Так и оставят нам навет ходячий
В жилищах наших — в поколеньях наших
На вечных циферблатах из фарфора
В кофейных мельницах И в колыбелях

Коль немец глянет — коли отмахнется
Смеясь глазами — быть глазам пустыми
Куриной слепотою пусть их выест
Росою ранней Звоном повечерним

Коль немец глянет — пусть ему морщины
На лоб ложатся Клейма и короны
Тяжкой поковки И пускай таскает
А свалит с плеч — пускай стопы расплющит



Убитый

на обочине шоссе меж белеющих березок поставили столько крестов и где огонь неприятельского фланга выкосил роту ребят из Шлезвига.
Свежие могилы, убранные охапкой осенних цветов.
Там в знойные дни я искал своего брата.
. . . . . .

Варшава — город, который сам себе вынес приговор!..
Через Люблин в Радом!..
Растянувшиеся колонны, одинокие пункты связи!..
Подразделения саперов и строительные батальоны, которые под низким осенним дождливым небом без устали строят в польской грязи мосты и шоссе!..
И все еще тащатся беженцы, горбясь на дребезжащих польских повозках, под рогожами, мокрыми от дождя,
по ночам
и в тяжелые серые дни.
Меж тем солнце пробивается сквозь тучи, и я вижу крестьянина-пахаря, тянущего свои борозды под молодыми деревцами, кое-где еще сохранившими листья.
Увидев нашу машину, он поднимает руку, стоит с минуту, выпрямившись...
И снова конь берет с места. Появляется новая борозда — тут же рядом со свежим холмиком — солдатской могилой.
Это последнее, что я видел в Польше.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПЕТЕРСЕН

XIV

«Polnische Wirtschaft» Хоть свежа могила
А нам в нутро ее залезть неймется
Извлечь костей разъединенных кучку
Обмотки Польшу Капусту и Знамя

Бить их по ребрам По Орлам Шопенам
Чесать как лен — все позвоночки выгресть
Чтоб вычесать рубаху из могилы
Для нашего иззябшего позора

И побредет позор в льняной рубахе
Под тыном заиграет на лозине
А мы оставим только горстку праха
Ныне и присно присно и отныне...

ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский поэт, переводчик. Переводит в основном польских, а также итальянских, немецких и англоязычных поэтов. Пишет для детей. В «ИЛ» в его переводе напечатана поэма К. И. Галчинского «Ниобея», подборка рассказов Ю. Тувима и др. материалы.

TOTENTANZ IN POLEN

Зловещий автопортрет

Лев Гинзбург, известный советский писатель и поэт-переводчик, написал эту статью незадолго до своей смерти, познакомившись с первыми вариантами перевода книги С. Гроховяка. Рукопись из литературного архива писателя печатается без изменений.

Поэма Станислава Гроховяка — не просто поэтический комментарий к рисункам и записям, сделанным во время гитлеровского вторжения в Польшу немецким военным корреспондентом, неким Вильгельмом Петерсеном. Это — попытка проникнуть в подкорку автора: Гроховяк словно восстанавливает в своих стихах то, о чем думал и что ощущал Петерсен, когда брался за карандаш и фиксировал события.

Известно, что фашисты не стыдились своих преступлений потому, что не считали преступлением убийство людей «низшей расы» или тех, кто мыслит не так, как обучали мыслить их самих. Одни любили фотографировать сцены экзекуций и казней, другие вели дневники. Генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк писал, что поляков, украинцев и все, что копошится вокруг, надо превратить в фарш. Потом эти строки на Нюрнбергском процессе зачитывали прокуроры, и, слушая выдержки из собственного своего дневника, Ганс Франк, расслабившись, плакал.

Рисунки и записи Петерсена — тот же дневник Франка, хотя Петерсен и не предстал перед судьями в мантиях. Он предстал перед судом искусства. В стихах Гроховяка Петерсен, может быть, гораздо подлинней, чем в своих документальных материалах: поэт внимательно всмотрелся, вчитался в них и уличил, а затем и разоблачил нациста...

Более тридцати лет Европа не знает войны, но было бы по меньшей мере неразумно, празднуя юбилеи Победы, посреди мира предать забвению то, что произошло и что не должно более произойти никогда, нигде. Человеческая мысль вовсе не исчерпала проблему фашизма, то есть исследование всего сложного комплекса социальных, идеологических и прочих явлений, которые привели к гибели миллионов. Не исчерпано и тщательное исследование психологии фашиста, хотя петерсены могут под различными именами, в разном обличье возникать то здесь, то там...

В Польше, живой и чарующей, на самом деле нет такой точки, которая бы не была болевой, нет места, которое не сохранило бы следы пожаров и крови, нет подворотни и закоулка, где не притаилось бы эхо далеких выстрелов, когда людей убивали, расстреливали тысячами. Мемориальные доски почти на каждом варшавском доме — память народа, его боль, его клятва.

Что же представляет собой фашист, овладевший профессиональными навыками репортера и рисовальщика, своеобразным мастерством (Гроховяк называет его, как рисовальщика, талантливым, а знание им графической техники — отменным),— обстоятельство, которое делает Петерсена объектом, достаточно интересным для социально-психологического исследования?..

Действительно: записи его лаконичны, он отличается прямо-таки кошачьим зрением, умея даже из темноты выхватывать впечатляющие детали пейзажа, портреты людей, у него обостренный слух. И все же при всей кажущейся тщательности его зарисовок, при всей правильности «пропорций» перед нами глубоко извращенная, сдвинутая картина мира.

Петерсен «хорошо видит», однако у него — полнейшая слепота совести, ледяное равнодушие к тем, чьи страдания он наблюдает, потому что все это для него не люди. Даже те страницы дневника, которые содержат в себе всего лишь описания походного быта, поражают каким-то мелким эгоизмом («мы голодны и очень хотим пить») при полном, патологическом безразличии к чужому горю, к тяжким мучениям чужого народа. Петерсену жарко, Петерсена мучает жажда, Петерсена обволакивает дорожная пыль, Петерсену страшно при виде «неопрятных» жертв, обреченных на издевательства и смерть. Петерсен проходит мимо них с брезгливой неприязнью к чужим — людям, лицам, пейзажам, запахам. В расисте, охваченном национальной спесью, дотла выжжено осознание взаимозависимости, взаимосвязанности людей и народов. Осмеяно, оплевано утверждение: «Все люди — братья», национальная вражда входит в плоть и кровь, а извращенная и превратно понятая любовь к собственной нации приобретает характер уродливого в своей жестокости и пошлости шовинизма.

Гроховяку удалось извлечь притаившуюся между строк смесь свирепой злобы и сентиментального жеманства, надменности и той самоуверенной тупости, которой не в состоянии помочь никакая эрудиция. В полных трагизма стихах Гроховяка закономерно присутствует сатира...

В чем-то дневник Петерсена, который наверняка считал себя интеллигентом, совпадает не только с дневником Ганса Франка, но и с предсмертными записками бывшего коменданта Освенцима, мрачного уголовника Рудольфа Гесса, для которого истребление миллионов чужих людей имело значение лишь постольку, поскольку он был обязан отвечать за то, что составляло его «службу».

Предвкушая расправу над непокорным городом, Петерсен записывает: «Варшава сама подписала себе приговор». И еще: «Население ведет себя вызывающе»... У Станислава Гроховяка были все основания для соответствующей трактовки и «внутреннего» истолкования этих слов: фашисты считали всякую попытку оказать им сопротивление коварным, злодейским преступлением, бандитизмом, разбоем, они искренне возмущались, что в захваченных странах их встречают не розами, а выстрелами из-за угла, бомбами, взрывами на дорогах. Они говорили о «фанатической жестокости» подпольщиков, о беспощадности партизанских «банд». В письме к некоему Ц. художник и журналист Вильгельм Петерсен всерьез пишет о польских «зверствах». Впрочем, это ли не доказательство того, что Петерсен безусловно принадлежал к своре официальных исполнителей гитлеровских заказов на изделия «культуры», замечательно научившихся лгать прежде всего самим себе, чтобы с еще большим рвением обманывать других, выдавая отъявленную ложь за чистейшую правду?..

Среди стихотворений Гроховяка есть строки: фашист призывает Искусство со всеми его Рубенсами, Микеланджелами, Брейгелями, Моцартами и Бетховенами на службу человекоистреблению, чтобы фашистский солдат, приобщившись к вершинам духа, «мразь извел» — под «мразью» подразумеваются «унтерменши», неарийские расы. Надо помнить, что фашизм не только сжигал книги и уничтожал картины. Было и другое, не менее гнусное. Многие ли знают, что на лицевой стороне лауреатской фашистской медали была изображена свастика, а на оборотной — профиль не Гитлера, а Гёте?.. Хотели эстетизировать свою кровавую политику, подчинить ей все, включая (правда, выборочно, с купюрами) и мировых гениев.

И все-таки в записях Петерсена так или иначе сквозит страх перед ответственностью. Это понял Гроховяк, у него в стихах Петерсену мерещатся тени поляков-мстителей, он шепчет: «Надо быть готовым — утроить зренье...»

Верный законам гуманистической литературы, Станислав Гроховяк хотел бы «найти человеческое в человеке», имея дело даже с такой фигурой, как Петерсен. Но материал не поддается этому намерению, стихи расшифровывают рисунки и записи, и возникает страшный образ гитлеровца, одержимого расовой ненавистью, рычащего, изрыгающего брань и угрозы: «Бей наотмашь!..», «Заори на смерда!.. Пусть загрохочут на повозке кости!..» — и т. д.

Надо сказать, что альбом Петерсена — не только хроника. Он смакует ужасы и когда рисует, и когда ведет свои записи: бледновосковая кожа, меж гробов труп женщины с провалившимися глазницами, хромой горбун в белом платке... «Пляска смерти» Петерсена — нечто вроде «маршей смерти», «танго смерти», которые играли в лагерях уничтожения, вроде эсэсовских кокард в виде черепов и перекрещенных костей — эстетика и «мистика» фашизма, которую можно было бы назвать «дешевой», если бы она так бесконечно дорого не обошлась человечеству. В бесстрастных порой записях Петерсена Гроховяк обнаруживает сладострастие фашистского убийцы и заставляет его в стихах высказаться до конца: «О, если бы взломать ворота пекла и по второму разу их прикончить!»

В своем предисловии Станислав Гроховяк все же допускает, что, возможно, «под пеплом фашистского образа мыслей дотлевает еще слабый уголек совести», ищет, как уже было отмечено, «остатки человечности там, где пробудились демоны», хотя опыт учит, что в большинстве случаев «остатки человечности» у «демонов» появляются лишь тогда, когда их припирают к стене, заносят над ними меч возмездия, лишают власти.

Нам неизвестна дальнейшая судьба Петерсена, которому, судя по его дневнику, в то время было около сорока лет. И все же хочется представить себе, что́ мог бы сказать Петерсен, будь он сегодня жив и попади в его старческие руки поэма Гроховяка. Ужаснется ли он, вспомнив, как и что он думал тогда, в те страшные дни, в Польше, какими глазами смотрел на мир, что рисовал, что писал? Побледнеет ли от чувства стыда, от ненависти к себе прежнему? Или, напротив, прошепчет, что и сейчас остается тем же, каким был тогда, десятилетия тому назад? А может быть (что вероятнее всего), разведет руками и холодно скажет: «Что поделать? Мы почти все тогда думали так... Время было такое...»

Всей логикой своей поэмы Станислав Гроховяк доказывает обратное: потому-то и было ужасным время, что слишком многие думали так, как рядовой военный корреспондент германского вермахта и рисовальщик Вильгельм Петерсен.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

ДРИСС ШРАЙБИ

Расследование на месте

РОМАН

Перевод с французского ВАЛЕРИЯ ОРЛОВА

Спустя примерно час после своего ухода (и часа два-три — по оценке начальника полиции, исчерпавшего все свое терпение и способности к монологу) инспектор Али вернулся, окруженный победным ореолом. С небрежно засунутым под мышку одеянием цивилизованного человека — ботинками, завернутыми в костюм,— обутый в бабуши и облаченный в *гандуру*[1], какую носят кочевники Сахары, вид он имел донельзя горделивый. Бросив на начальника быстрый взгляд, он сложил свою одежду в уголке пещеры и дипломатично начал:

— Вот и я, начальник. Эти синтетические ткани удобны, спору нет, но только у итальянцев, американцев, в Париже и, вполне возможно, в самых развитых наших городах. Здесь же, в средневековом краю, они ничего не стоят против жары. Один попавшийся навстречу Аит Яфельман уступил мне эту *гандуру* за несколько монет. Почти что задаром. Как подумаешь о том, что туристы рвут такие вот кустарные изделия друг у друга из рук, сражаясь чековыми книжками! Ну ладно. Итак, я подступился к этой деревенщине со следственным поручением, которое...

— Доклад,— прервал его начальник.

Он произнес это слово без всякого эмоционального заряда. Гнев его успел взметнуться ввысь и улечься на протяжении тех часов, когда вся его начальственная прыть томилась в пещере, загнанная в худший из тупиков: в одиночество. Безработица, простой власти. Да, ярость свою он к этому времени уже проглотил вместе с желчью и желчным пузырем, и теперь все мельчайшие детали собраны одна к одной в пухлом досье на дне его памяти. Решение им уже принято, и оно бесповоротно. Но это — позже... позже, через один-два дня, когда эта миссия...

— Где подследственные? — Он спросил это голосом ровным и таким же гладким, как его прилизанная шевелюра.

В звуках этого почти дружеского голоса инспектор тотчас учуял опасность. Вот почему, взяв за образец правительственные сообщения по телевидению, он набросал идиллическую картину экономического и социального положения, которое оправдало надежды, возлагавшиеся на уголь и дрова: 1) дела идут хорошо; 2) они могли бы идти еще лучше, если бы не повышение цен на нефтепродукты... и т. д.

— Дела идут хорошо, начальник,— сказал он.— Чувство долга дало мне силы перебороть солнце. Раз надо, так надо, поскольку приказ есть приказ. Я спустился аж до деревенской площади. Машина

Окончание. Начало см. в № 10.

[1] Халат без рукавов *(арабск.)*.

по-прежнему там. Шины спущены — вероятно, от жары. Я забросал их соломой, чтобы они не превратились в смолу. Каучук, как ты знаешь, плавится. Ну и дома́ по-прежнему там, но пустые. Я заходил внутрь: никого там нет. Эти крестьяне по своей дикости забиваются в норы в горе, в то время как у них есть еще вполне крепкие полуразрушенные лачуги, некоторые даже со стенами.

— Где подследственные? — повторил начальник, и слова эти прозвучали словно эхо.— Где Рахо? Где Хаджа, Бургин?

Инспектор послал в свою голову срочный телефонный вызов за счет вызываемого. Он уже был готов пуститься в сложные, но четкие и ясные рассуждения, подобные тем, с какими выступал недавно по телевизору министр юстиции, который на протяжении доброго часа ни разу не потерял нить своей выдающейся мысли в чащобе цифр и запятых. Министр «полностью не отвергал уточненную поправку № 2-21-бис, относящуюся к параграфу 7-А проекта Закона об уголовной ответственности, каковым предусматривается заменить статью 165 Уголовного кодекса в пунктах, из коих он, министр, вполне согласен на третий, но уж никак не на пятый, который, на его взгляд, дублирует статью Л-267 Кодекса здоровья, не так ли, но...» Да, ещё чуть-чуть, и инспектор Али, вдохновляемый авторитетным примером, ударился бы в столь же убедительные разъяснения, но тут он увидел глаза начальника — и к тому же телекамеры здесь все равно не было. Поэтому он избрал вполне прозаический стиль:

— Тридцать три минус двадцать — это будет всего лишь тринадцать. Да, начальник. Вчера вечером я пересчитал этих крестьян. С нами всех было тридцать пять. Сегодня же мы имеем семь взрослых и полдюжины детей. Жара стоит, время бежит, и я боюсь, как бы мы очень скоро не остались на этой горе одни, с нашей официальной миссией на руках.

— Где они? — повторил свой вопрос начальник, восхищаясь собственной выдержкой.— Я говорю о Хадже, Бургине и капитане Филагаре, а не о всякой там мелкой сошке.

— Не здесь,— сказал инспектор.— Ничего похожего на них — ни вблизи, ни вдали. Правда, я слышал, как Рахо трубит в свой старый коровий рог, но ни самого его, ни его осла нигде нет. Может статься, эти люди отправились на поиски чего-нибудь съестного для нашего пропитания. Гостеприимство священно.

Наступила пауза. Солнце продолжало палить, грудная клетка выслушавшего сей ответ наполнилась жарким воздухом и исторгла его вместе с выхлопом отработанной ярости. Затем последовал вкрадчивый, чуть слышный вопрос:

— Вот что я хотел бы узнать: какая разница между тобой и болваном?

Инспектор Али мигом оценил расстояние, отделявшее его от руководителя, и не раздумывая ответил:

— О, самое большее в полтора метра.

И мигом присовокупил:

— Поэтому болван и спрашивает тебя: уж не попали ли мы впросак?

— В какой еще *просак?* Никакого тут *просака.* Нет главарей? Ну и что? Куда им деваться, к вечеру вернутся, тут-то я их и прищучу, устрою им допрос с пристрастием. А пока приведи-ка мне одного из этих придурков.

— Понял, начальник,— ответил инспектор.— Это я мигом. Только вот есть одна вещь, начальник, которая не укладывается в мои представления, потому что у меня, по правде говоря, нету никаких представлений. С тех пор как телефон разбудил меня вчера в шесть часов утра, когда я преспокойно спал под боком у супруги, я так и пребываю в неведении относительно всего этого дела. Какова цель нашей миссии, начальник? В самом-то деле?

— Это государственная тайна,— изрек начальник.— А государственные тайны не доверяют безответственным пустобрехам вроде тебя.

— А-а! — широко улыбаясь, заключил инспектор.— Теперь я понимаю. Тут должно быть что-то очень важное, раз ты согласился терпеть превратности судьбы, антисанитарию, неудобства и вообще полное отсутствие удобств. Понятно, начальник. Я иду.

7

— Ну ты! Давай входи! — обратился инспектор к тени, что следовала за ним по пятам.— Будь как у себя дома, осчастливь нас своим присутствием.

Воздав господу краткое благодарение, он ввел в пещеру нечто напоминающее тополь, изогнутый у самой вершины чуть не под прямым углом. Неотесанного крестьянина, чрезвычайно длинного и тощего, с исполненным значительности лицом. У него была короткая черная борода и выбритый до синевы череп.

Он поплевал на руки, потер их одна о другую, приговаривая: «Во имя господа!» — потом уселся.

— Встать! — рыкнул на него начальник полиции.— Что это еще за манеры?

— Э?

— Поднимись!

— А-а, хорошо,— молвил горец.— Согласен.

И, снова помянув создателя гор и людей, он выпрямился, точно складной метр. Стоя с опущенной головой, едва не подпирая потолок плечами, он как бы навис над начальником. Больше он не сделал ни жеста, не добавил ни слова. Философский взгляд его с размеренностью маятника переходил с одного представителя власти на другого.

Начальник поднял на него глаза — вертикально вверх — и произнес:

— Нет-нет, это не годится. Что-то тут не так.

— Э?

— Сядь снова.

— А-а, хорошо,— отозвался крестьянин,— согласен.

И спокойно сел. Тем временем у входа в пещеру собралось с полдюжины детей всех возрастов: кто в лохмотьях, а кто и вовсе голый. Один из них решился войти, и остальные последовали за ним. Все расселись вокруг в ожидании представления. Несмотря на яростные жесты, которыми начальник пытался их разогнать, они сгрудились вокруг него, приготовясь слушать.

— Пошли вон,— сказал начальник, постепенно возвышая голос.— Пошли вон! Вон отсюда!

Никто из детишек не пошевелился. Глаза их цвета угля и доверия горели в предвкушении зрелища. Инспектор помахал рукой, словно отгоняя мух, и сказал:

— Кш-ш! Кыш-ш! Валяйте отсюда, идите играть!

Однако никто из них, начиная с самого юного карапуза и кончая почти взрослым подростком, не прореагировал на вызванные словами и криками колебания воздуха, если не считать одного тщедушного мальчугана, который принялся чесать под мышкой.

— Я сейчас рассержусь,— прорычал начальник.— А уж если я рассержусь, кому-то худо придется. Шутки в сторону. Пшли вон!

Горец легонько кашлянул, после чего заметил:

— Они очень любят всякие истории. Ведь это дети.

— Это твои? — спросил начальник.

— Есть и мои. Вон те трое. Они ж не шумят, верно?

— Шумят они или нет, прикажи им выметаться!

— Э?

— У нас будет мужской разговор,— пояснил инспектор.— Можешь ты им сказать, чтоб они уносили отсюда ноги со своим детством в придачу?

— Могу.

— Ну так чего же ты медлишь?

— А-а! — ответил бородач. (Послышалось нечто вроде спуска паров у локомотива — то была его манера смеяться.) — А-ах! В этом мире, мосье, полно всякой стыдобы. Дела взрослых им известны лучше, чем самим взрослым. Ах-ха-ха!

— И все же скажи им, чтобы они выметались.

— А, хорошо. Согласен, с позволенья божьего.

Даже не обернувшись в сторону юных зрителей, он обратился к ним полным сожаления голосом.

— Завтра,— сказал он им.— Сегодня историй не будет.

Те неторопливо поднялись и ушли — безмолвно и ни разу не обернувшись. Будто их тут и не было.

— Вот и славно! — сказал начальник.— Наконец-то мы можем приступить к дружеской беседе, чтобы познакомиться поближе. Хороший нынче выдался урожай?

— Что ж, мосье, бог сделал все, что было в его силах.

— Так, значит, урожай хорош?

— Мосье, лучше бы тебе воротиться назад на равнину вместе со своей душой, если она у тебя имеется. Да, наверно, так.

Начальник, который до сих пор словно стелился по земле вертлявым ужом, вновь обратился в ядовитого гада, напружинившегося перед смертоносным броском. Рука его сомкнулась в грозный кулак, которым он принялся водить перед собой, как молотком, нацеливаемым для удара по загнувшемуся гвоздю.

— Что ты хочешь этим сказать, будь я неладен?

— Только то, что сказал,— невозмутимо отвечал горец.— Аллах — он и с нами, и ни с кем из нас. Земли нет, дождя нет или почти нет, семян от государства нет — так откуда же, мосье, могут взяться все эти радости жизни, о которых ты тут толкуешь, если не из твоей набитой пустотою головы? Может, ты иностранный турист? Однако, судя по обличью, ты такой же араб, как и я. Поди разберись!

Задохнувшись от несказанного изумления, начальник призвал в свидетели инспектора:

— Нет, но... нет, ты слышишь, что он говорит?

— Уж это да,— сказал крестьянин,— он меня слышит. Язык-то у меня один. Я вижу, что он царапает по бумаге карандашом, записывает мои слова, а я что сказал, то и сказал.

Создатель полицейской симфонии не мешкая перепрыгнул от так и оставшейся без завершения первой части допроса прямиком к финалу: пещера сотряслась от децибелов брани — средства выражения подлинных человеческих взаимоотношений в нашей последней четверти двадцатого века. Долой эвфемизмы! Крепенько же он припечатал дремучий Восток...

— Фамилия, имя, да поживей!

— Э?

— Как тебя звать?

— А-а! Но зачем же так кричать, мосье? Мое имя — твой брат.

— Нет у меня никаких братьев! Как тебя звать?

— Ну, что ж, мосье, ответь за меня сам, и твой ответ будет верным. Уж это точно.

— У-у, сволочь! Будь проклят, твой отец! Ты знаешь, кто я? А? А?

Тут горец впервые улыбнулся. Улыбка вышла бесхитростной, очень медленной и бесконечно терпеливой.

— О да, мосье! — молвил он.— Ты тот самый человек, который кричит и поносит давших ему приют.

И, упершись в землю ладонями, он начал было вставать.

— Ты куда! Сидеть! Это приказ.

— Мосье, время — оно питает жизнь, и моя жизнь того и гляди умрет от истощения.

— Я... я...— прорычал начальник, вне себя от ярости,— я... правительственный служащий.

— Это же самое говорила мне и Хаджа. Может, оно и так.

— Я... я начальник полиции... го... го... государственной полиции.

Крестьянин рассмеялся, словно при виде неожиданно распустившегося посреди безжизненных камней цветка.

— Это же самое говорила мне и Хаджа,— повторил он.— Сейчас это известно любому в окрестностях. Ну и что из того? Дождя-то все равно нету.

Не тратя больше слов, которые его высочайшее волеизъявление превратило в ненужную шелуху, начальник одним молниеносным движением открыл свою сумку, извлек оттуда револьвер и выстрелил куда попало, не целясь. «Начальник!» — вскричал инспектор. Пуля просвистела возле самого его уха, и он продолжал твердить: «Начальник! Начальник!» А потом дым рассеялся, эхо выстрела утихло, и единственное, что осталось,— это несколько любопытных у входа в пещеру. Убедившись, что никто не корчится в агонии, они неспешно удалились, влача за собой свои тени. Один лишь крестьянин попрежнему восседал посреди пещеры, с черной бородой и отливающим синевой черепом. Гласом судьбы он рек:

— Несколько лет назад там, далеко отсюда, в одном городе между равниной и горой сотряслась земля. Город этот назывался, кажется, Агадир, если верить тому, что рассказывали кочевники Сахары. Ах, мосье, одни люди там погибли, другие остались жить. Но то были не одни и те же. Велик господь в своей справедливости — что для одних, что для других.

При первых же словах крестьянина револьвер нацелился в его голову, в рот, откуда извергалась неслыханная дерзость.

— ...В следующий... в следующий раз я не промахнусь. Я тебя кокну и буду в своем праве, собачье ты мясо!

— А-а, хорошо, согласен. Значит, такова судьба! В небесах все записано, мосье. Даже ты.

— Паскуда! Шелудивый сукин сын! Ты арестован! Тут же, на месте! Бумаги!

— А-а, мосье,— не повышая голоса, отозвался горец.— Одному богу известно, отчего тебя так расперло, но не нужно дуть на людей. Это бесполезно, никто от этого не опрокинется.

В этот-то миг инспектор и вмешался, будто противопожарной полосой пролег в ту самую секунду, когда начальник созрел для всамделишного убийства. Боевой опыт инспектор приобрел, участвуя, переодетый в штатское, в многочисленных манифестациях, и он знал, как пускать в ход кол или железный прут против блюстителей порядка. После этого не составляло никакого труда выявить вожаков и за собой увлечь их в западню. Каждую улочку *медины* он знал до последнего камня, ведь тут он родился, вырос, тут вступил в мужскую жизнь. Все было при нем: запас жаргонных словечек, от которых у всякого добропорядочного марокканца волосы на голове встанут дыбом, потрепанный костюмчик, обличье последнего оборванца. Он одинаково хорошо мог спеть и «Интернационал» по-арабски, и гимн палестинцев или бойцов ПОЛИСАРИО. Когда он тузил своих коллег, он испытывал удовольствие, правда, без примеси гордыни или чего-нибудь подобного. Но и когда в его кабинет вводили задержанных с наручниками на запястьях, он тоже был доволен. Да и в чем, собственно, была разница? Эх, да что же это за работа такая? И что это за начальник, напрочь лишенный чувства юмора? С ходу вклинившись в манифестацию с двумя участниками, инспектор обратился

к своему руководителю по-французски, являя тому до приторности угодливую физиономию:

— *Дак это ж мелюзга, шеф!*

Начальник, открывши рот, остолбенело воззрился на инспектора. Дыхание клокотало у него в груди, как в кузнечном горне.

— *Самая что ни есть мелочная рыбешка, шеф!* — продолжал частить инспектор.— *Сардина, сардина тухлявая!... Ты-то рыба во какая здоровущая, а? Ну же!*

И, не дожидаясь дальнейшей реакции, он повернулся к крестьянину. При этом лицо его моментально обрело свое выражение «для толпы». Голосом завзятого рыночного горлопана он принялся выкрикивать:

— Ну, ты там, с выскобленной черепушкой и с господом на языке! Прикрой свою пасть и прочисти пальцем свои немытые уши! Мой начальник, которого ты видишь перед собой,— персона очень важная, такой важности, что некоторым субчикам приходится ждать по три, по шесть месяцев, а то и больше, прежде чем он соизволит их принять и взглянуть на их досье. И видел бы ты, как они перед ним трясутся! А ты кто такой есть? Ведь на тебя даже досье не заведено! Разве можно быть таким упрямым ослом с коровьим навозом в ушах и повсюду?

Горец слушал и во все глаза глядел на этого уличного зазывалу, силясь правильно истолковать все его усиленные подмигивания, ужимки и гримасы, всю эту шутовскую пантомиму, разыгрываемую инспектором и придающую его словам иное, верное звучание. И по мере того как до крестьянина доходил подлинный смысл словоизвержения, лицо его все шире раздавалось в улыбке. Он сказал:

— Вот тебя я понимаю. Тебя я прекрасно понимаю. Ты говоришь по-арабски, то есть вежливо.

— Тогда заткнись и слушай, что я тебе говорю. Что ж получается? Уважаемый человек, государственный и полицейский деятель взял на себя труд подняться к твоей дыре, а ты вот как его принимаешь? Да не вмешайся я сейчас ради твоего же блага, ты на веки вечные покрыл бы себя позором. И ты заслужил бы этого, вы бы все этого заслужили, шайка недоумков! И подумать только, ведь начальник приехал сюда вам помочь!.. Так что давай-ка сплюнь на землю!

— Да, уж ты-то обычаи знаешь,— молвил крестьянин.

И сплюнул. Инспектор тоже смачно харкнул, перед тем как обернуться к начальнику, вновь придав лицу выражение «дружба дружбой, а служба службой».

— *Так я пощекочу за жабры эту тухлявую сардину, шеф? А ты потом поймаешь на крючок во-от такую громадейную рыбину, целого кита. Уговорились, шеф?*

Обессиленный яростью, которая уже понемногу сходила на нет, со взмокшей спиной и пересохшим языком, начальник кивнул. Дважды.

— *Вот и ладненько, шеф. Ну, так я починаю потрошить эту пташку. Сейчас поглядишь настоящую работу, шеф.*

И то правда! Кто он такой, этот начальник? Вознесенный на вершину в первые же дни Независимости, когда требовалось наспех заделывать бреши песком и известью, а чаще всего пробивая бреши новые,— чем, в сущности, мог обладать этот человек, кроме обостренного чувства собственной значительности? Как и все прочие начальники в многочисленных администрациях, он на протяжении вот уже многих лет никак не мог опомниться от изумления перед тем, что выполняет столь важные функции и облечен властью, то есть наделен полномочиями блюсти закон и исполнять его. Повсюду в других канцеляриях восседали ему подобные: религиозные деятели, произведенные в судьи благодаря тому, что они знали наизусть или близко к тексту две-три главы из Корана; неудавшиеся актеры и переписчи-

ки священных книг, заправляющие теперь прессой, радио, телевидением, искусством, семинариями и ассоциацией писателей; генеральные секретари, директора... Целое сонмище начальников, образующее стальную конструкцию, незыблемо прочную в обоих направлениях: вертикальном и горизонтальном... «Захлопни свой ящичек с мыслями,— раздраженно приказал себе инспектор.— Иначе не сегодня завтра ты начнешь выражать их вслух, и тогда... Да и потом, что это тебе дает, а? Кто ты такой есть, как не приводной ремень? Властелинчик и подневольный в одном лице — самая серединка, вот что!.. Словно палец между шляпкой гвоздя и молотком, так ведь? Тебе тычут кулаком в рожу, и ты суешь свой кулак парням, что ходят под тобой... Вот что такое полиция».

— Ты разговариваешь с ним на *руми?* — осведомился крестьянин, кивнув на начальника полиции.— Такая у вас работа?

— А? — отозвался инспектор.— Да, я разговариваю с ним на языке римлян, а тебе-то что до этого? Так мы с ним понимаем друг друга, это официально. Это все равно как правая рука и левая рука. Понимаешь?

— Нет.

— Ну да это неважно. Поговорим о другом, брат. Начальник спрашивал у тебя бумаги. Есть у тебя бумаги?

— Когда-то были,— ответил горец.— Но Хаджа пустила их на растопку. Старые такие картонки.

— Это не то,— нетерпеливо перебил его инспектор.— Слушай меня: в городе у людей карманы набиты всякими бумагами.

— Мы не в городе, сынок.

— Сейчас я тебе объясню. Дай-ка мне руку, старина. Вот они, бумаги и удостоверения, которые у них есть, понимаешь?

— Нет,— ответил крестьянин.— Твои слова не доходят до моей головы.

— Сейчас я тебе объясню,— повторил инспектор, не сдавая своих позиций.— Они бывают розовые, голубые, всех цветов. Например, чтобы водить машину, их нужно две: серая карточка — на право владения машиной и розовая — на право на ней ездить. Это просто.

— Но у меня нет машины, послушай! Тут всего-то одна мулица да осел, сам посмотри. Да попробуй сунуть им под нос какую-нибудь бумагу, чтобы заставить их сдвинуться с места! Смешной ты, право слово..

— Впусти в свою душу терпение, брат,— принялся увещевать горца инспектор, утирая лоб.— Ну ладно! Водительских прав у тебя нет, машины тоже, тут уж я ничего не могу поделать. Но в городе-то они есть, знай себе снуют туда-сюда, сам посмотри! Поговорим о другом. Подойди сюда. Слушай.

— А-а, хорошо. Согласен.

— Есть полно всяких других бумаг. Например, карточка избирателя, а?

— О чем ты толкуешь? Я не понимаю *руми.*

— Ну хорошо. Голосовать ты тоже не голосуешь. Оставим это. Ох и жаркий будет денек!

— Не жарче вчерашнего. Лето ведь. Зимой-то попрохладней.

— Да. Ладно. Пропустим аят про социальное страхование и суру[1] о пособиях многосемейным, поскольку ведь правительство ничего тебе не дает как отцу семейства, не так ли?

— Я не знаю никого из правительства. Зато есть пара сынов Адама, они приходят сюда раз в год, забрать у нас за налоги животных.

— Да знаю я, знаю! — поспешил успокоить крестьянина инспектор.— Не серчай. Больше они не заявятся, ведь вам больше нечего им дать. Но скажи мне: есть еще свидетельство о браке. Ведь ты женат?

[1] Коран состоит из сур (глав), каждую из которых составляют аяты (стихи).

В снисходительной улыбке крестьянин обнажил зубы до самых десен.

— Смотри, куда ставишь ногу и роняешь слова,— ответил он.— А как же, по-твоему, я смог бы в одиночку соорудить троих мальчуганов, которых ты давеча видел?

— Совершенно справедливо,— поддакнул инспектор.— Я и забыл. Тут без женщин не обойтись. Они выполняют свой долг и доставляют удовольствие. Раз надо, так надо. Здоровья тебе, брат. Счастья и изобилия! Желаю тебе еще пяток таких. Я вижу, ты сейчас в самом соку. В таком случае где-нибудь да записано, что ты женат, а? В книжечке с каракулями нотариуса... в свидетельстве о браке, как называют это при нынешнем правлении?

— О мосье, да нет же! — отвечал горец.— Здесь горы. Каракули были ни к чему. К тому же никто их здесь и не знает. Мы все прочли стих из Корана, после того как по обычаю совершили омовение лица и рук. Попели, поплясали, а потом покушали. И тогда, прежде чем войти в шатер (в то время у меня был шатер), я сказал своей жене: «Зохра, я беру тебя в супруги. Клянусь». И она ответила, потупив взор, как подобает: «Али, ты будешь моим мужем. Я тоже клянусь».

— О аллах и пророк его! — вскричал инспектор, чьи глаза зажглись радостью.— Так ты зовешься Али, как и я?

И он заключил своего собеседника в дружеские объятия, похлопывая того по спине и называя «дорогой брат». В порыве ликования он обернулся к начальнику:

— Его зовут Али, как меня, начальник! Ты только представь себе!

О его-то, начальника, присутствии он и думать забыл! Да и кто он такой, этот начальник? Убивать людей еще до начала расследования — о да, это он может! А после в своем кабинете напрягать извилины, чтобы изложить на официальном языке, отстукивая двумя пальцами на дряхлой пишущей машинке многие и многие страницы, то, что сказал бы или мог бы сказать добровольный покойник, прежде чем окончательно потерять голову и применить насилие к офицеру полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Ведь именно это — самое тяжкое, самое нечеловеческое в их профессии: писать, творить, пускать вскачь воображение по саванне слов и Сахаре идей. Нет, ну конечно, кошмарная эта мозговая скачка в конце концов вознаграждается. Закончив работу на последнем дыхании и бросив в изнеможении поводья, вы получаете удовлетворение, взвешивая в руках объемистую рукопись — четкие шеренги строчек, напечатанных через полтора интервала на листах формата 210 на 297, которые вы потом ровняете по краю стола, легонько постукивая. (До недавнего времени печатать полагалось через два интервала, с широкими полями и большим отступом — «в целях лучшего восприятия», как уточняло Наставление. Но потом рост уровня образования и профессиональной подготовки вторгся и в полицию, в результате чего отпала необходимость транжирить столько пространства между двумя строками и между двумя глазами... Вдобавок разве в памятке, вывешенной в каждой канцелярии, не провозглашается новая политика правительства — политика жесткой экономии?)

— Он Али, начальник,— повторил инспектор.— Отведи ему как другу местечко в своей программе помощи крестьянам, находящимся на пути развития. Али — вот как его зовут, начальник. Он вполне заслуживает маленький бакшиш.

Начальник не удостоил его даже взглядом. Он положил револьвер в пределах досягаемости следующей вспышки гнева и весь ушел в перечитывание только что сделанных им пометок, водя карандашом по словам и строчкам и беззвучно шевеля губами. Наконец, не поднимая головы, он сказал:

— Ты слишком торопишься, мне за тобой не угнаться.

— Понял, начальник. А ты,— обратился инспектор к горцу,— тоже угомонись. У нас впереди целый день. Спешить некуда.

У сына гор, который какое-то время и так уже таращил глаза, теперь они и вовсе полезли на лоб. Он отверз уста, чтобы выразить свое недоумение:

— Как же это так, о небо? Сначала этот человек стреляет в меня, а теперь говорит, чтоб ты меня утихомирил?

— Да пойми же, не в тебя он стрелял! Не думай так, брат Али! Поразмысли, Али! Это просто чтобы размять пальцы. Он проделывает это каждое утро. Он должен убедиться в исправности своего оружия. Понимаешь?

— А? — сказал крестьянин, один глаз у которого был сощурен, а другой — широко открыт.— А-а, хорошо. Коли так, я согласен. Может, теперь он и сожалеет о своем поступке?

— Он? Сожалеет?! Да не о чем ему сожалеть, баранья твоя башка... брат мой! Говорю тебе... говорю же тебе, что он бы в любом случае выстрелил, даже если б тебя тут не было.

— Но я-то был тут.

— Это все равно как если б тебя тут не было. Это просто. Забудь.

— А? А-а, хорошо. Согласен с тобой. Так ты говоришь, он даст мне денег?

— Если получится. Гм-м, если получится.

— Тогда пускай он даст их мне немедля, и на него в тот же миг сойдет благодать господня. Скажи ему, что уже много-много лун я не видел ни желтой, ни белой монетки. Да скажи на *руми,* так до него быстрее дойдет.

И крестьянин протянул вперед сложенные лодочкой ладони.

— Нет-нет,— поспешно сказал инспектор.— Опять ты рассуждаешь по-крестьянски. Если бы это я раздавал манну небесную, то не случалось бы столько всяких историй. Так вот, это не я,— продолжал инспектор.— Сейчас я соскребу козлиную шкуру, что покрывает твой черепок, и вложу тебе в голову понятие о том, как действует администрация. Ты хоть знаешь, что такое администрация?

— Нет.

— Ну это неважно. Вообрази себе большущий дом в городе, полный хорошо одетых и сытно накормленных людей, живущих в окружении гор бумаги. Им нужны бумаги. А у тебя нет ни единой. Поэтому для них ты не существуешь. Такие вот дела. Ты не был рожден, ты не живешь, ты даже не мертвый. Печально, правда? Как нам поступить? Есть у тебя на этот счет какая-нибудь идея или хотя бы зачаток идеи?

— Нет,— вылупив глаза, ответил крестьянин.— А у тебя?

— У меня тоже.

— Ну тогда,— заключил крестьянин,— не будем больше говорить об этом богатстве. Это для богатых, не для нас с тобой. Есть чугунки́, которые только и знают, что варят да варят, а есть такие, что вечно пусты. Уж так оно устроено. Спокойного тебе дня, брат. Я ухожу.

— Погоди, останься,— сказал инспектор.— Жена и до вечера подождет. Времени у тебя полно. Дай ей маленько передохнуть от тебя!

Внезапно раздался голос начальника, идущий из недр официального пуританства:

— Ты вульгарен, инспектор Али! И вдобавок ты отклоняешься от пути.

— Не думай так, начальник,— запротестовал инспектор.— Все пути ведут в тюрьму. И потом, я знаю кратчайшие из них.

— Довольно! — рявкнул начальник.

— Но, начальник, это просто один из способов достигнуть цели. Есть автострады, и есть вьючные тропы. Когда вопросы становятся отвлеченными, то есть расслабленно повисают в воздухе,— что ж,

совсем неплохо их немного взбодрить. Ну чтоб снова встали торчком, так?

— Я же сказал: довольно.

— Да, начальник, ты так сказал. Я тому свидетель. Но я-то знаю наших крестьян. Я и сам такой же. И вот, если меня возбудить — ну, ты знаешь чем,— язык у меня развязывается. Поди узнай почему. Видимо, это заложено в человеческой природе. А теперь взгляни на этого парня. Единственная деятельность, которой ему еще можно свободно заниматься в нашей стране,— это то самое. Не так ли, брат?

— А-а! Так,— расцветая в улыбке, подтвердил крестьянин.— Ты понимаешь душу.

— Более-менее,— согласился инспектор.— Да, это помогает пройти по жизни. Не будь этой штуки, брат, не знаю, чем бы жила коммерция. Есть даже такие, что эмигрируют, единственно чтоб...

— Хватит! — проревел начальник, наливаясь черной кровью.— Гони его в шею!

— Но, начальник, допрос ведь толком и не начался. Я был всего лишь на стадии подготовительных работ, платонической любви, как пишут в стихах поэты. Еще чуток времени, и занавес подымется, из шляпы выскочит кролик.

— Избавь меня от присутствия этого быдла немедленно... тотчас же, черт побери! Иначе, клянусь всеми турками и греками, я... Вон!

— Ты слышал? Он сказал «вон»!— вмиг посуровел инспектор.— Так что убирайся, быстро. Проваливай ко всем чертям, кобель беспаспортный! Смойся с глаз, прежде чем два плюс два превратятся в четыре. Двигай к своей бабе.

Долгим взглядом крестьянин оглядел поочередно обоих полицейских. Потом неспешно поднялся и удалился, длинный и тощий как жердь, взывая под солнцем к создателю всех блаженных и безумных этого мира.

Начиная с этой минуты начальник полиции всерьез задумался над этим чертовым расследованием — будь оно неладно,— а заодно и вообще над смыслом жизни. На протяжении двух часов он, мысленно загибая пальцы, рассматривал создавшееся положение, сидя при этом с закрытыми глазами и отчаянно борясь с дремотой, застилавшей его взбудораженное сознание. В течение этих двух часов инспектор Али трижды — с большими промежутками — пытался с ним заговорить. Говорил он вот что:

1) если б я хоть знал, что именно мы расследуем в этой богом заброшенной дыре;

2) ну ладно. Пойду-ка я совершу небольшую прогулку, пока суд да дело;

3) ты спишь, начальник?

Заблудившийся в хаосе своих мыслей, которые ему надлежало поднять из руин и восстановить, скрепляя единственным находящимся в его распоряжении цементом — собственной волей, начальник полиции не соизволил ответить своему подчиненному даже взглядом.

Паузы между вторым и третьим своим замечанием инспектору с лихвой хватило на то, чтобы спуститься в деревню и поболтать с кем-нибудь — да с любым божьим созданием о четырех конечностях, двух ушах и языке! Нет, но он и правда сыт всем этим по горло — всему должен быть предел, даже в комиссариате. Он, инспектор, проведет свое собственное расследование начиная с нуля, и тогда посмотрим! Пускай начальник держит при себе сведения, которыми он располагает,— все эти почему, и как, и вокруг да около! Пускай ими подавится! Он и ему подобные большие начальники во всех администрациях и даже в футбольных федерациях ведут одну и ту же политику: держат все при себе, носятся со своим начальничеством как с писаной торбой. Инспектора же вроде него, Али, всякие там заме-

стители-помощники, все это среднее звено — о нижних же ступеньках лестницы и говорить не приходится! — не может и не должно делать ничего другого, кроме как быть у начальников на побегушках, зашнуровывать им башмаки, внимать им, поддакивать, восхищаться, таскать их чемоданы. Французы ушли, но остались рабы: портье, слуги, секретари. Да, именем аллаха и пророка, он, Али, раскрутит под палящим солнцем собственное расследование — да хоть для того, чтобы познакомиться с жителями деревни. Ведь за тридцать часов своего здесь пребывания ни одному из представителей закона не удалось почерпнуть сколько-нибудь стоящих сведений об их жизни, их желаниях и нуждах. Не ради удовлетворения полицейского любопытства, а чтобы знать, чем народ дышит. Именно в этом, и ни в чем ином, инспектор Али видел смысл своей профессии. Ну и что же в конечном счете известно ему об этих горцах сейчас? К чему привела эта бумагомарательская тактика? К выявлению малозначительного совпадения, на какие натыкаешься на каждом шагу,— что крестьянина зовут Али, как и самого инспектора. Ха-ха! Хо-хо! С такими темпами понадобится не меньше двух-трех лет для завершения этой официальной миссии, о которой ему так ровным счетом ничего и не удалось выведать...

Нет, *аллах акбар* [1], как говорит имам Хомейни, настоящее расследование, достойное своего названия, должно быть *устным*, подобно культуре здешних мест. Негоже подступать к людям с блокнотом в руке! Счастье еще, что начальник не додумался притащить сюда пишущую машинку! Инспектор ухмыльнулся, представив себе, как тот пристраивает машинку новейшей модели на обломке скалы и обращается к одному из сынов *джебеля:* «Побудь в мире со своей душой, брат! Погоди маленько, пока я вставлю в машинку два листа бумаги и копирку. А теперь валяй, я тебя слушаю. И будь краток, бумаги у меня не густо».

Он от души расхохотался и тут увидел Хаджу. Вот уж случай так случай! Она была здесь, на расстоянии оклика от пещеры, и на вид ничем особенно не занималась, как будто поджидала его, чтобы перекинуться несколькими словами. Он почтительно ее поприветствовал, облобызал ей руки по старой традиции, ничего общего не имеющей с эдиповым комплексом, приговаривая: «Матушка, голубушка». Ведь он был так рад ее увидеть! Это было куда приятней, чем лицезреть официально-чугунное рыло своего начальника. Правда, на какой-то миг он вспомнил о долге и дисциплине и чуть было не поволок Хаджу к своему руководителю — ведь она числилась среди главарей. А окажи она хоть малейшее сопротивление, ему бы ничего не стоило «скрутить» ее, всего-навсего подав ей руку. Но, видать, тесто еще не успело подняться. Упаси бог потревожить начальника Мухаммеда, когда тот погружен в омут своих размышлений. Рано или поздно начальник обязательно выудит оттуда какую-нибудь идейку — на худой конец, хоть дохлую кошку подцепит за хвост. Как говорится, имей терпение — и камень прорастет, надо только уметь ждать. Французы — те еще со времен крестовых походов считают, что главное свойство арабского характера — терпеливость. Эту черту они называют даже так: фатализм. И инспектор Али — он араб по отцу и по матери, араб в бесчисленных поколениях, а вовсе не один из тех лихих американских детективов, героев нескончаемых телекомиксов! «Послушай,— сказал он себе,— это не твое расследование. Ты даже не знаешь, в чем суть дела. Все, что от тебя требуется,— сидеть сложа руки с умным видом, чтобы выйти сухим из воды. Вот когда начальник со своими столичными методами сядет в лужу — а к этому все идет,— ты и возьмешь расследование в свои руки, поведешь его по-своему. А пока тяни резину. Ведь ты истинный араб. Пускай на-

[1] Аллах велик *(арабск.)*.

чальник распутывается сам со своими мыслями и своим револьвером!»

Как ни странно, выражение глаз у Хаджи было совсем не такое, как накануне, и даже не такое, как утром, когда он выторговывал у нее пуговицы от мундира. Ему показалось, что она отводит взгляд. Скорее всего из-за солнца, бившего ей прямо в лицо. И обычного желания поболтать у нее что-то тоже не замечалось. Она оставила его посреди фразы, длинной, как питон, чьи кольца ему никак не удавалось размотать. И ушла, не сказав ни «до свидания», ни «до встречи за завтраком».

«Ба! — сказал себе инспектор.— Видно, она просто ломает голову над тем, как лучше употребить в дело оставшиеся от вчерашнего кости. Что бы ей обратиться ко мне! Я бы поделился с ней кое-какими рецептами моей матушки. Временами она ухитрялась приготовить в печи из одних очистков такую вкуснятину — пальчики оближешь! Эх, хорошие были деньки...»

Он испустил долгий вздох, натянул на голову капюшон, чтобы не получить солнечный удар, и начал спускаться по извилистой тропке, что вела к деревенской площади.

Рахо работал мотыгой, стараясь выдолбить яму в жесткой, как современная цивилизация, земле. Терпеливо так долбил, не спеша, без единой капли пота на лбу. Как он умудрялся оставаться сухим? Инструмент он держал обеими руками, заносил его над головой и повторял: «Аллах!» — как иной приговаривал бы: «Хак! Хак!» — в странах без столь устоявшихся религиозных традиций. «Аллах!» — рубил он, и острие мотыги вонзалось в земную твердь, и разлетались в стороны при каждом ударе искры и каменные брызги.

Остановившись, инспектор долгое время наблюдал за работой Рахо, потом заговорил:

— Тебе бы отбойный молоток, дедушка. Это такая штука, которая бьется в руках и рычит. Ну, которой дырявят асфальт и барабанные перепонки. Есть такие современные землекопы, они-то и работают этими штуками в городах, особенно летом, в сезон туристов-американцев. Чтоб американцы видели, что их оборудование не пролеживает без толку и что мы тут вкалываем будь здоров. И что арабы — это совсем не то, что индейцы с перьями или затюрбаненные статисты Голливуда. Эх и надорвал же я животики, сиживая в свое время на ихних фильмах! Это же обалдеть можно было, глядючи на наших экранных братьев: денег полны карманы, а рожи как у висельников! И к тому же лопотали они на таком тарабарском наречии, что даже я ни бельмеса в том не понимал, знай себе ушами хлопал. Так вот, руки у тех ребят, про которых я тебе толкую, дрожат не переставая, даже ночью. Это все от отбойных молотков. Похоже, что спать их женушки перебираются в соседнюю комнату, потому что супружеское ложе трясется без передыху. Это бывшие крестьяне, которые спустились со своих гор, чтобы прогуливать в конце недели свое семейство по супермаркетам и в конце концов заработать на телик. Хотя, бьюсь об заклад, ты не знаешь, что такое телик, ведь так?

— Аха! — ответил Рахо, разгоняя перед собой весь этот поток слов махом мотыги сверху вниз.

— Да,— сглатывая обильную слюну, пустился в дальнейшие объяснения инспектор.— Я по-братски побеседовал кое с кем из этих парней — ну там спросил паспорта, трудовые книжки и всякое такое. Еще проверил, состоят ли они в профсоюзе, как положено. Ты небось не знаешь, что такое профсоюз? И потом, перед официальной процессией всегда надобно быстренько расчистить улицу — чтобы никаких землекопов или там нищих. И еще скоренько замаскировать дыры — когда брезентом, но чаще флагами. Для этих надобностей дежурный фургончик всегда стоит поблизости, за углом, перед автобусом теле-

визионщиков. Ты ведь не знаешь города, папаша, вот я тебе и объясняю. Хочешь верь, хочешь нет, дедушка, но эти сыны полей начисто забыли, что такое плуг и с какого боку к нему подходят! Хорошо это или плохо? Мне это невдомек: упаси меня боже заниматься политикой. Но ведь что такое политика, ты, верно, тоже не знаешь? Кстати, мой начальник, который сейчас там, наверху... Хотя ладно, не будем об этом. Так ты считаешь, что выдолбишь что-нибудь киркой в этой скале, да еще под таким сатанинским солнцем?

— Не знаю,— ответил Рахо.— Надо копать.

— Да, разумеется. Если не копать, ямы не получится. Ты собрался посадить здесь финиковую пальму?

Рахо взглянул инспектору прямо в глаза и с великой простотой сказал:

— Я копаю могилу.

— Могилу? О аллах и пророк его, неужели в деревне кто-нибудь умер, пока я преспокойно спал?

— Охо, нет. Пока нет.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Человек рождается, живет, сколько ему отпущено, а потом умирает,— терпеливо объяснил горец.— К смерти, как и к рождению, надо быть готовым. Потому-то я и копаю могилу для того, кто умрет.

— А кто умрет, кто?

Рахо не спеша вопросил взглядом горизонт на востоке, на западе, затем небо, где записаны людские судьбы, и землю, на которой он стоял. Потом он поднял вверх три пальца, которые принялся загибать один за другим по мере своих неторопливых разъяснений:

— Точно я не знаю. Может, один человек. Может, два. Может, третий человек. Одному богу это известно.

— Да, конечно,— вставил инспектор, у которого, видно, от жары по телу внезапно пробежали мурашки.— Само собой. Лета твои преклонные, и ты заблаговременно готовишь себе последнее пристанище. Но...

Добрых четверть часа распинался он о целительном горном воздухе, здоровой пище, об отсутствии электрогитар и рок-н-ролла в исполнении панков, о натуральном кальции, что содержится в костях у крестьян, и т. п. Он не добился ни одного слова одобрения, ни единого заинтересованного взгляда. В конце концов он отступил или, вернее, оставил Рахо в божественных руках творца, который один знает на все ответ. И в тот самый миг, когда он уже собрался было философски удалиться, он вдруг вспомнил. Тоном, каким беседуют промеж собой давнишние приятели, он спросил:

— Ты, часом, не видел ружье — оно где-то тут валялось?

Старый горец дал мотыге передышку и переспросил, видимо удивленный таким поворотом разговора:

— Ружье?

— Ага,— игриво подтвердил инспектор Али.— Знаешь, такая штука с прикладом и дулом.

— Ружье? — повторил Рахо, словно вторя инспектору.

— Да, оно самое. Эта штука стреляет, делает больно, она отнимает дарованную господом жизнь. Ты не припрятал ее, часом, в укромное местечко — из опасения, как бы она не заржавела или какой-нибудь неискушенный мальчуган — без всякого, конечно, злого умысла, просто чтобы позабавиться — не принялся бы палить из нее по взрослым из правительства и полиции, как они это делают иногда в городе?

— Аха? Значит, они так в городе забавляются?

— Бывает,— сказал инспектор,— бывает. И тогда их приходится сажать в кутузку. Они не ведают, что творят. Начинают с *кифа* — нашего гашиша,— а потом развиваются: комиксы, кун-фу, ЛСД... А родители их просиживают у телика. Жрать им нечего или почти не-

чего, зато у них есть их чертов телик. Поэтому им, конечно же, совершенно некогда раздавать своим оболтусам добрые средневековые подзатыльники, благодаря которым нам с тобой удалось продержаться в жизни: мне — в правительстве, тебе — в горах. Ну, в общем, выходит так: ты, зная цену смертоносным ударам и оружию, запрятал это старое ружье подальше от отцеубийц. Ведь так?

Рахо, похоже, призадумался. Он оглядел мотыгу, потом лицо инспектора и могилу, уже начинавшую обретать форму, после чего с ноткой печали в голосе спросил:

— Ружье на куропаток?

— Вот-вот! — возрадовавшись, воскликнул инспектор.— Так где оно сейчас?

— Там.

— Где это там?

— Там.

— Где? Протяни руку и укажи мне место, хотя бы приблизительно.

— Это далеко,— молвил Рахо.— Я отдам его тебе сегодня вечером. Время еще есть.

— А почему не прямо сейчас?

— Еще не вырыта могила. Работы хватит до конца дня.

— Но ты правда отдашь мне его вечером? Обещаешь? Именем аллаха и пророка?

Рахо шмыгнул носом и со всей возможной добротой, какую только мыслимо вложить в голос и во взгляд, сказал:

— Вчера ты попросил у меня божьего гостеприимства. Так что можешь верить моему слову. Оно не изменилось.

И все. Тяжко, словно изнемогая под бременем судьбы, поднялась вверх мотыга и обрушилась на скальную породу, дробя таинство смерти на осколки камней и мыслей. Несмотря на учиненный горцу допрос, весьма придирчивый, хотя и услащенный миндальным мармеладом и медом, инспектор Али не выудил из него ни единого слова ни по поводу могилы, которую тот методично углублял, ни по поводу личности ожидаемого покойника.

Вылущенные из лона кормилицы-земли, в воздух взмывали осколки щебня — металлически свистящий рой однообразных кратких ответов. Обнаружив, что в строительном мусоре он утопает уже по щиколотку, инспектор решил-таки уходить. Преисполненный сиротской печалью, он начал взбираться по горной тропе. И когда он вскарабкался уже довольно высоко, его вдруг пронзило некое подобие предчувствия: за ним словно кралась какая-то зловещая тень — она и угрожала, и вместе с тем пыталась предупредить его о неминуемой опасности.

Тот, кто чутко уловил тревожный сигнал, был уже не инспектором Али, закаленным в уличных потасовках и скрывающим под личиной простодушия свое полицейское хитроумие, а Али-шпаной из предместья, перебывавшим в силу необходимости вымогателем, базарным воришкой, карманником, способным углядеть в толпе шпика в штатском, а в очереди у дверей кинотеатра — туго набитый бумажник. С проворством шимпанзе он нагнулся, выпрямился и развернулся назад, держа в каждой руке по камню,— и все это одним молниеносным движением. Дыхание его стало учащенным, губы приоткрылись.

Увидел он лишь собственную тень, неподвижную и настороженную, как и он сам. А вокруг него, куда только хватал глаз, от вершин *джебелей* до высоких плато на западе, все дышало благостным покоем. В небе все так же стояло солнце, укрывая землю саваном тишины, а оттуда, снизу, казалось инспектору, старый Рахо доброжелательно ему улыбался, скрестив ладони на ручке мотыги и положив на них подбородок. Действительно ли ястребиный взгляд горца был

прям и остер, как черная стрела, готовая прошить разделяющее их пространство и вонзиться инспектору в лоб прямо меж глаз? Или то был всего лишь обман зрения?

«Послушай, ты! — сказал себе инспектор Али, по одному выпуская из рук камни.— Это всего-навсего мираж».

Неподалеку от него, на расстоянии оклика, меж двух кустарников, выгоревших за три-четыре месяца солнечного неистовства, восседал крестьянин, неторопливо перебиравший пальцами по длинной пастушьей свирели. Однако он не извлекал из нее ни единой ноты. Инспектор Али с радостью исполнил бы вместе с ним какой-нибудь из тех старинных напевов, под которые плясали в прежние времена, хлопая в ладоши, и которые ни в жисть не отыщешь в теперешних музыкальных автоматах. И уж по крайней мере он бы охотно завел с ним беседу о саранче или даже о политике, но глаза горца были закрыты, а рот открыт навстречу июльскому свету — может, он решил вздремнуть, поди-ка узнай!

Но тут в поле зрения Али очутились две молодые хохотушки — они шли бок о бок, согласно виляя бедрами, и каждая несла на перевязи по барабану. С тыла у них вырисовывались безупречные полукружия, груди были как островерхие холмики, а кожа — о аллах и пророк его! — как раз того коричного оттенка, который был больше всего по вкусу инспектору Али,— в этом он готов был поклясться Вельзевулом и всеми демонами животного тепла! Проходя мимо, они с детской непосредственностью обратили на него любопытный взгляд влажно заблестевших глаз — взгляд наполовину женщин, наполовину подростков, нечто среднее между простодушием и желанием, между амброй и имбирем. Слегка приоткрытые губы смачивал, неторопливо шествуя от одного уголка рта до другого, кончик обольстительного язычка.

— О аллах,— пробормотал себе под нос инспектор,— приди скорей мне на помощь! Не вводи меня в искушение. Под этим-то адским солнцем, да еще когда я по уши погряз в расследовании по милости этого треклятого правительства.

О чем-то воркуя промеж собой, газели ускорили шаг и удалились, легкие и счастливые. Их жемчужный, пряный смех еще долго тянулся за ними. Ошарашенный, инспектор застыл на месте, шумно прогоняя воздух через расширившиеся ноздри.

Минут десять спустя, несколько успокоившись и более чем когда-либо ощущая себя сиротой, он возобновил свое восхождение к пещере, к казенному рылу своего начальника и к долгу. Брел он на полусогнутых, еле волоча бабуши. Объяснялось все просто: лично для него расследование завершено, все кончено на веки веков. Он подает в отставку по полной форме, то есть устно, через час или два, а может, через день или два, самое большее через неделю — да и что значит время перед лицом бытия?

При виде физиономии начальника он вмиг забыл о принятых решениях. А ведь они казались ему бесповоротными — само воплощение его подлинных устремлений и чаяний. Он произнес:

— Гм-м! Гхм-м-м-м!

Прочистив горло, он деревянным голосом осведомился:

— Ты спишь, начальник?

8

Нет, начальник не спал. Ни в коей мере. Если он и смежил веки, то лишь из-за ослепляющего света, да еще чтоб лучше думалось. В отсутствие своего подчиненного, которое, впрочем, прошло для начальника незамеченным, он пытался хоть как-то определиться, под-

вести итог. Иначе говоря, перестроиться. И если перестройка эта шла рывками, а именно — включала в себя большой шаг вперед, за каковым последовало два или три шага назад, которые привели, в свою очередь, к блистательному прыжку в будущее мимо уютных забегаловок, куда норовила юркнуть его притомившаяся мысль, то результат его потогонных умственных усилий был тут, налицо: именем главных начальников полиции всех государств, включая страны Востока, расследование более не может так продолжаться. Что-то тут не так, что-то хромает на обе ноги. Откуда взялась та песчинка, которая застопорила великолепно отлаженную административную машину, обильно смазанную законом? Ведь до сих пор, черт побери, она работала безукоризненно! Всем всегда было прекрасно известно, что закон внушает страх. Неужто в том, что расследование застряло на мертвой точке, повинны эти некооперированные крестьяне и полнейшее отсутствие у них цивилизации? Но тогда... но тогда получается, что они нечувствительны к закону и к... к страху? Выходит, вот в чем состав преступления?

«Странно,— сказал себе начальник.— Действительно, очень странно».

Мысленно он начертал красным карандашом жирный вопросительный знак и сдал его на хранение в один из уголков своего обширного мозга — авось пригодится. А потом немедленно, тотчас же, не задерживаясь перешел к следующей главе. Он спустился в глубь себя. Для этого ему не понадобились ни канаты спелеологов, ни скальный крюк. Он назубок знал собственное досье, свой curriculum vitae[1], как говорили его латинские коллеги задолго до рождества Христова.

Господи, до чего ж занятно — и захватывающе — исследовать путь человеческой судьбы! В особенности если человек этот — начальник из плоти и крови и его судьба — конечно же, личная, но насыщенная, концентрированная, как томатный соус в банке,— точка в точку и десятилетие за десятилетием повторяла экономический и культурный взлет всей нации. Эволюция цен и умов? «Превосходная! — мысленно одобрил он.— Великолепная». Уровень безработицы? «Только не у меня,— сказал он себе.— Только не в полиции. Напротив, набор идет полным ходом». Тогда, может быть, дефицит во внешней торговле? Начальник издал короткое:

— Ха-ха!

Недурная вышла шуточка! Потому что, будь дефицит платежного баланса хоть умопомрачительным, ему на это ровным счетом наплевать! Это не по его части. Это другое ведомство, ведомство *бумагомакак*. Другое начальство — все равно что другой мир. Пускай его коллеги из департамента экономики и финансов выкручиваются как хотят, раз уж они годны только на то, чтобы пересчитывать груды банковских упаковок да надписывать деревянные бирки на мешках! Пускай сами разбираются в своих напрочь запутанных делах, понять что-либо в которых не под силу даже экспертам МВФ[2]. Алгебру-то изобрели арабы, разве не так? И что же? Именем господа и царицы наук, математики, пускай вся эта крупная и мелкая казнократия хоть потонет в болоте своих расчетов и перерасчетов! В их распоряжении прекрасные кабинеты, секретарши в облегающих джинсах, электронные калькуляторы, работающие на батарейках HP 41-C! Что, они не умеют всем этим пользоваться? Тычут пальцами мимо кнопок и клавишей? В таком случае им не остается ничего иного, кроме как заточить карандаши, словно в прежние времена, и вылавливать ошибки, складывая и вычитая в столбик. Но это их дело, их возок, пускай сами и тащат!

Что же касается его, начальника, вышестоящего руководства, то

[1] Жизненный путь *(лат.)*.

[2] Международного валютного фонда.

оно здраво — крепко и здраво. Кто посмеет в том усомниться? Да-да, кто осмелится заявить, будто полиция не есть единственный государственный организм, обладающий железным здоровьем? Ну а что до ее международных сношений, то они на голову превосходят все прочие культурные обмены. Как объяснить, откуда берется этот общий знаменатель, благодаря которому тесно и дружески сотрудничают между собой большинство полиций цивилизованных государств? Быть может, составные их элементы свободны от гнета национальных культур? В нашей последней четверти двадцатого века, когда не составляет труда выстроить в затылок друг другу с десяток людишек и прошить их всех с первого до последнего одной-единственной пулей из «магнума-35», технология властно вытесняет собой идеи и всякие там книги. А технологический прогресс — по месту и почет — как начинается с полиции, так в ней и расцветает самым пышным своим цветом.

Начальник Мухаммед всегда с умилением вспоминал золотые денечки стажировки для повышения квалификации, которые он провел в Париже. Французские коллеги встретили его тепло, чуть ли не по-родственному. Пиво, свинина, автомобиль со специально закрашенными надписями «Полиция», бдения над досье в архиве, сдобренные пикантными анекдотами. Ни тени отчужденности между бывшим «протекторантом» и его экс-колонизаторами, нет-нет, ни малейшего следа! Просто существовали кое-какие профессиональные уловки, хитрости ремесла, коими вчерашние колонизаторы с ним поделились — человечно, квалифицированно и, разумеется, снабдив подробным руководством по эксплуатации. Не преминул он посетить и достопримечательности, составляющие предмет законной гордости французской столицы: Эйфелеву башню, музей Гревена[1], Полицейский музей, тюрьму Флёри-Мерожи, которые именно в таком порядке убывания значимости числились в программе стажировки — и международных обменов. Его даже познакомили с очаровательной миниатюрной блондинкой для увеселений (официально она именовалась сопровождающим лицом), и он исполнил свой долг, как подобает начальнику. Расизму конец! Этому он стал одновременно судьей, свидетелем и одной из тяжущихся сторон. Времена разительно изменились по сравнению с той эпохой — и близкой, и далекой,— когда он, романтический подросток, обуреваемый стремлением походить на человека западного мира и тем самым заслужить звание мужчины, дерзнул подкатиться на пляже к одной туристочке из Европы, по виду макароннице, и нарвался на «Пошел отсюда, черномазый!». Вдохновенно же трудясь много лет спустя в ярком свете гостиничного плафона, он упоенно фиксировал в сознании трепет и вскрики послушной его ритму белокурой прелестницы, и сердце его переполнялось гордостью. Да-да, господи, передача власти от одной полиции к другой прошла без сучка без задоринки! В тот вечер начальник Мухаммед осушил свой первый в жизни бокал виски одним глотком, точь-в-точь как Джон Уэйн[2].

А впоследствии, как один из самых достойных в своей пирамиде начальников, он совершил еще более далекое путешествие на борту «Боинга-747». Назначение: «Ю-эс-эй». Стажировка по дальнейшему усовершенствованию близ города под названием *Сен-Циннати* для овладения методами и технологией налетов, применяемыми Бригадой по борьбе с террористами.

Простой вопрос: путешествовал ли когда-нибудь отец начальника — да упокоит господь его душу! — иначе чем на своих двоих, или на спине осла, или на велосипеде, или, в крайнем случае, на трамвае?

---

[1] Музей восковых фигур, созданный в 1882 году Альфредом Гревеном.

[2] Псевдоним М. Моррисона, популярного голливудского актера.

Ответ: no comment![1]

Коронный вопрос: что бы он сказал, доведись ему увидеть своего сына пассажиром международных авиалиний, переносящимся из одной цивилизации в другую и не теряющим при этом ни капли своего человеческого достоинства?

Ответ: а? Ах да! Он сказал бы следующее: «Ох, несчастье нищеты нашей, не забирайся в эту сатанинскую летающую машину, сын мой! Оставь это христианам. Времени у тебя хватает...»

— Shoot again! — гнусавым голосом бросил ему инструктор.

— А?

— Shoot again! Get a move on![2]

Стоя перед штуковиной под названием «Space invader» («Покоритель пространства») — чем-то вроде напичканного электроникой здоровенного игрального автомата с бесчисленным множеством кнопок и экраном,— начальник полиции изо всех сил старался держать в узде свои нервы. Ему надлежало одновременно:

1) понимать, что долдонит инструктор в рубашке с засученными рукавами: тот говорил не по-английски, а по-американски;

2) разобраться в этом чертовом агрегате, прежде чем браться за его рукоятки;

3) мысленно продолжать нескончаемую беседу с создателем дней своих.

Тяжкая задача, тяжелей не придумаешь.

— Shoot again!

Что же тут *shootануть?* И как? С головокружительной быстротой (то есть опережая, если это вообще возможно, даже его, начальника, стремительную мысль) на экране светящимся всплеском возникала из небытия летающая тарелка. Она не стояла на месте, а шла на бреющем полете и исчезала как по волшебству, едва начальник успевал перевести для себя на марокканский язык ее появление. И вновь выскакивала на старт, словно дразня его. Требовалось сконцентрироваться, решить абстрактное уравнение: «Тарелка=коммандос городской герильи», предугадать, где эти негодяи совершат нападение, в мгновение ока нейтрализовать их мыслью и оружием. Пулеметы были тут же, под рукой,— их гашетки имитировались тремя кнопками. Начальник шепнул отцу: «Погоди маленько» — и открыл огонь. Тарелка на экране рассыпалась красными искрами.

— Roger![3] — сказал инструктор.— Вмазал наконец. Вма-зал, правильно?

Да, roger, папа. Видишь ты своего сына, скажи, видишь, а? Позже, в конференц-зале, одна из стен которого была сплошь увешана картами генерального штаба с воткнутыми в горячие точки арабского мира цветными булавками, начальник Мухаммед усваивал американскую тактику и хорошие манеры и за этим занятием не переставал давать пояснения покойному отцу. С тобой эти сыны сверхдержавы, клянусь честью, нипочем не стали бы разговаривать. Ты еще не стал независимым, не носил форму и не обладал никакой властью. Ты был ничто. Точно так же и все наши братские страны были ничто — о, совершенное ничто! — пока в один прекрасный день нефть не выдала им удостоверения на право существования. Roger? А ведь кое у кого из коллег-начальников еще оставались отцы, бывшие очевидцами ушедшей эпохи несуществования! Сыновья устроили их как полагается: на роскошных виллах со слугами, ванными комнатами и всем прочим! Все очень просто, отец: при первой же возможности немедля, без проволочек, я добьюсь через высокие инстанции, чтобы тебя посмертно наградили полицейской медалью.

[1] Без комментариев! *(англ.)*

[2] Давай снова! Да пошустрей! *(англ.)*

[3] Есть! *(англ.).*

Справедливость наконец восторжествует! Достаточно подготовить проект указа. Много нас таких сирот...

Тут в самый разгар воспоминаний начальник снял рубашку и, не разлепляя век, отшвырнул ее в угол пещеры. Было жарко. Даже очень жарко. Оставшись в уставных трусах, он, пошевеливая пальцами ног, схватил американский эпизод и засунул его в ad hoc[1] гнездо мозаики, какую представляла собой его наполненная самовосхищением жизнь. А потом... А потом он решил заняться вопросом о происхождении людей и вещей.

Вопрос: какая гримаса судьбы, какой сбой в поступи Истории привели к тому, что такой выдающийся человек забился в эту гнусную дыру, точно крыса, спасающаяся от преследования этих ничтожеств, этого деревенского быдла, а расследование продолжает топтаться на месте? Но раз так... но раз так, то незыблемым, выходит, нельзя считать ни центральное руководство, ни конституцию, ни форму правления?

Ответ: сейчас. Не могу же я отвечать с ходу. Я должен подумать, и подумать серьезно. Тихо!

Заплутавший в беспорядочно наваленных обломках своих мыслей, весь запорошенный пылью, что поднялась при их крушении, начальник полиции Мухаммед призвал на помощь всемогущий устав. Тот не откликнулся. Видимо, не мог добраться до этого захолустья. Да, наверно, и не хотел добираться. Сгорбившийся на дряхлом ящике, начальник вдруг ощутил себя нагим — нет, не как сейчас, в трусах, а совсем голым, беззащитным, крохотным, с таким же представлением об окружающем, с каким он когда-то был извергнут из материнского чрева в этот невообразимо сложный мир. Он поочередно перебрал в памяти Оперативно-розыскную бригаду, ЦРУ, Скотленд-Ярд, Шерлока Холмса... Как орудовали они, все эти парни? Как поступили бы они в подобных обстоятельствах? Ни одного телефона на много лье вокруг; шины спущены; крестьяне безграмотны и враждебны, за исключением блаженных идиотов; инспектор силен только жрать, спать да зубоскалить... а главное-то, главное — растреклятое расследование, в котором ему до сих пор так и не удалось хоть за что-нибудь уцепиться.

— О всемогущий аллах! — взмолился начальник, доведенный до крайности.— Помоги мне. На будущий год я совершу паломничество в Мекку. Отныне я буду ежедневно возносить положенные пять молитв и никогда в жизни не притронусь ни к свинине, ни к спиртному. Все это было для отвода глаз. Одним словом, я стану истым ревнителем ислама, коим я по недомыслию своему раньше пренебрегал. Да вот послушай: сейчас я прочитаю тебе стих из Корана...

И он действительно прочитал один аят, усердно шевеля губами. Если начальник и подмешал туда несколько слов из *сабира*[2] или из одному ему известного иностранного языка, то вышло это вполне естественно. Разве черенок западной цивилизации не привился на древе арабо-мусульманского мира, чтобы дать рождение одному из наипрекраснейших гибридных плодов нашего века? Но поскольку аллах, судя по всему, придерживался на сей счет иного мнения, начальник полиции вынужден был принять в конце концов волевое решение. Капитальное решение. Он дал полный назад. Все имеет свое начало, свою *альфу*.

И он нашел эти истоки всего: тот близкий и вместе с тем далекий день, когда одновременно с дипломом, неразборчиво подписанным тремя министрами (в том числе сельского хозяйства — видимо, в порядке моральной поддержки) и тремя различными печатями удостоверяющим реальность его полномочий, он получил наиважнейшее качество: официальность. Это было нечто особенное, неопреде-

[1] Здесь: соответствующее *(лат.)*.

[2] Средиземноморский портовый жаргон.

лимое, оно пропитывало голос, взгляд, осанку, даже одежду неким подобием елея с высоким содержанием нематериальности. Удостоившийся этой благодати вмиг становился инопланетянином, которого сразу распознавали в серой массе, стоило ему только по неосторожности открыть рот. Он по-прежнему употреблял те же слова, слова своего племени, но они сходили с его языка как бы обмазанными некой жироподобной массой.

В полицейском корпусе официальность не столь явная, там она меньше бросается в глаза. Лицемерие обязывает! Но как ее ни маскируй, вот она, издали приметна невооруженному глазу, без всякого радара, хотя и в различной степени. В зависимости от того, на какой ступеньке иерархической лестницы вы находитесь. Обыкновенный постовой выступает величественно, всем своим видом показывая, сколь тесны ему масштабы улицы; когда же он *агрессуется* к вам — например, чтобы спросить документы,— он делает это официально, дуя вслед словам, чтобы сделать их летучими, наподобие разносимых ветром семян чертополоха. На верхушке пирамиды начальник, достойный этого звания, протомит вас пару часиков на жесткой скамье в приемной, а когда наконец удосужится допустить вас в свой кабинет, вы первым делом прикроете за собой дверь, стараясь сделать это бесшумно, чтобы, не дай бог, не побеспокоить государственного мужа; вы присядете на краешек стула и будете пребывать в благоговейном ожидании; тем временем он будет изучать чье-то досье — возможно, ваше,— делая в нем пометки; зазвонит телефон, и он тусклым голосом обронит в трубку пресыщенное «алло!», сопровождаемое несколькими слогами, выстроить которые в осмысленные слова вам явно не хватит компетентности. Он положит трубку, соблаговолит перевести взгляд на вашу персону, словно недоумевая, каким ветром и из какой дыры вас сюда занесло.

— А, это вы, имярек? — процедит он.

— Да, господин комиссар. Прошу прощения.

— Завтра. Мне некогда. Приходите завтра.

— Да, ваше превосходительство.

Как рады вы будете уйти, обрести свободу! А ведь он вам вовсе не угрожал. И правда, что́ он в самом-то деле сказал (если ваша взопревшая память не осталась в кабинете, а вырвалась оттуда вместе с вами)? Всего лишь: «Это вы? Приходите завтра». Ну точь-в-точь ваша благоверная, когда та говорит вам: «Нет, дорогой. Только не сегодня». Вы ее, конечно же, понимаете — по одному лишь тону ее ответа. Вы даже улыбаетесь, исполненный снисходительности с толикой смущения. Произнесенные ею слова не содержат ничего официального. Они вас не *превзошли*. Они вас не пугают.

В других государственных сферах все по-иному. Там уже нет надобности изменять голос, как это приходится делать рядовому полицейскому. По мере приближения к чистой политике официальность предстает во все более рафинированном и жестком виде. Подмешают в речь несколько ученых фраз, пересыплют ее словечками, выдернутыми из технологического лексикона, приправят кое-какой компьютерной цифирью, чтобы шагать в ногу со временем,— короче, снабдят всеми теми атрибутами, благодаря которым вашего собеседника распирает собственная значительность и он воспаряет ввысь, в стратосферу, словно шар-зонд. Появляется такое вот официальное лицо, так называемый специалист, на голубом экране и без малейшей оглядки на время мобилизует все телебашни страны, чтобы поразглагольствовать, к примеру, о сельскохозяйственных неурядицах.

— Во имя аллаха, милостивого и милосердного! — начинает он безапелляционным, напыщенным тоном.

Спустя примерно три четверти часа:

— ...следуя в этом экономическому либерализму Милтона Фрид-

мена[1]. Об этом американце я расскажу вам на будущей неделе. Как бы то ни было, Совет министров только что принял решение о том, чтобы фонд накопления сельскохозяйственных продуктов питания был восполнен незамедлительно, то есть через несколько месяцев, если это будет угодно всевышнему. Во-первых, склады переориентируются на селективный прием злаковых культур в зависимости от их качества, что потребует установки дополнительного оборудования. Во-вторых, с целью предотвращения ущерба, наносимого скотоводству, было решено, что новые силосные башни должны строиться непосредственно на местах потребления злаковых животными. Все эти меры дают основание утверждать, что сельскохозяйственное производство может избежать надвигающегося спада. Более того, можно даже надеяться — да придет нам на помощь всемогущий аллах! — на чувствительную прибавку уже к концу будущего года...

Телезрители, понимания в которых нет ни на грош, восклицают, преисполненные восхищения:

— Да, вот это ученый, сразу видать. Вот у кого котелок варит!

Бесчисленные «уравненные в правах» — то есть те, кому удалось поймать на ладонь хоть каплю влияния из щедро бьющего источника,— слоняются по коридорам власти и ее узким закоулкам. В самой различной степени, но все без исключения перенимают тон и осанку больших начальников, их лексикон, манеру прикуривать сигарету и рявкать на подчиненных. Даже спортивные комментаторы и те, ведя репортаж о футбольном матче, ухитряются между пенальти и голом верноподданнически лизнуть Верховного правителя. А еще процветает письменное творчество: простые печатные буковки на листе бумаги, то есть там, где официальность в принципе не должна бы проявляться. Но это если не учитывать блестящую находку: кавычки, в которые загоняют все больше и больше слов, чтобы выдернуть их из привычного словарного строя. Заурядные, банальные термины, топорные выражения обретают таким образом некое благородство, бьющую в глаза выпуклость. Чтобы постичь тайный их смысл, предстоит выбирать из двух одно:

а) либо тупо спрашивать себя, какого черта самое обычное слово вроде *справки* или *быка* взято под стражу кавычками-телохранителями;

б) либо вооружиться толковым словарем — если есть желание разобраться во всех прямых, кривых, переносных и стационарных значениях закавыченного словечка.

Возможен и третий вариант: скрестить руки на груди — и гори оно все синим пламенем. Что я сейчас как раз и делаю.

Но начальник — он оставался начальником. Ни одна малость не пропадала у него в том синем пламени. Проявляя завидное упорство, он придал мыслям совершенно иное направление. Теперь они были просеяны, рассортированы в порядке важности, разложены в папки разного цвета. Что надо, то надо: порядок. А чего не надо, того не надо: анархии. Достигнув этой стадии обобщения, начальник Мухаммед почел за долг поставить перед собой действительно серьезную проблему: каково же здесь и сейчас, в 1980 году, предназначение такого человека, как он, из костей и мяса? Когда обстоятельства складываются так, как получилось с этим расследованием, трижды проклятым аллахом, нужно брать быка за рога, то есть в данном случае поднять дискуссию на должную высоту и придать ей образцовый характер. И нечего тут юлить. Вопрос формулировался у него в голове мучительно медленно — видно, шарики прихватило жарой. Но он сжал зубы и ответил: нация, судьба нации. В погоне за дополнительными сведениями он воспарил над бескрайней Историей, оседлав вначале родной язык, потом французский, дабы придать фило-

[1] Милтон Фридмен — американский экономист, специалист в области теории и практики денежного обращения.

софскую (под Декарта) направленность своим собственным идеям и книжным воспоминаниям. История... История...

Сначала были дикари — поди узнай, что они собой представляли на самом деле! Затем пришли римляне: из самого Рима верхом на слонах, со своими легионами и акведуками. Они сделали что смогли: страну надо было орошать. Но они говорили на латыни, а этот язык веселым не назовешь. К тому же он был мертвый. А потом они оставили после себя одни развалины. Впоследствии они стали фашистами со своим Муссолини, а начиная с семидесятых годов — террористами. Красные бригады. Незначительная с виду, но весьма примечательная деталь: мог бы он, Мухаммед, стать начальником полиции во времена римлян?.. Конечно же нет!

Потом были вестготы... или остготы? Что-то вроде этого. Дикие орды, никакой полицией там и не пахло. Перейдем к арабам. Генерал Абдаррахман[1], генерал Тарик[2] — тот самый парень, который построил порт Гибралтар. Шейхи ислама, святые отшельники, каиды, все так; только вот История не сохранила ни одного имени араба-полицейского. Феодализм, чего уж там! Затем пришло время колонизаторов-французов. Если они и снисходили до некоторых туземцев вроде его отца, то уж в самую последнюю очередь. Тогдашние местные шпики были обыкновенными прислужниками империализма. Но вот, хвала всемогущему аллаху, арабы стали свободными и суверенными.

Здесь, препроводив вереницу веков в дожидавшуюся их могилу, начальник Мухаммед углядел первый указатель: кто правил страной с незапамятных времен? Немедленный ответ: горстка, элита в кавычках. Она угнетала безропотное большинство и выжимала из крестьянина все соки.

Начальник полиции широко улыбнулся и принялся за современную эпоху, эпоху пробуждения сознания. Теперь нация сама хозяйка своей судьбы. Она представлена в ООН, в ОАЕ, иногда (при случае) — в Лиге арабских стран, в Исламской конференции, что не в пример лучше, поскольку в необъятном мире мусульман больше, чем арабов. Страна осенена даже международным правом! Внутри же народ повсюду массмедиатизован телевидением. Культура для всех. Самый непритязательный, но up to date[3] американский телесериал в рекордные сроки проецируется на малый экран. Второй указатель бросается в глаза: кто приобщен к власти, а? Люди скромного происхождения, среднего уровня во всей своей простоте — прочный цемент между фундаментом и верхушкой. Что, они не папашины сынки? Эко дело! Они не оканчивали университетов, ни знаменитых, ни даже провинциальных? Ха-ха! Сыновья маленьких людей без обременительных родословной и багажа — вот кто нынче на командных высотах во всех администрациях, от благородного корпуса полиции до совета по радио-телевизионным программам. Каждый из них на полную катушку использует доверенную ему крупицу власти. А у всех у них, вместе взятых, власть более чем реальная. Каждый новый опрос общественного мнения свидетельствует об укреплении правовых норм. Какой прогресс со времен Авиценны и ибн Хальдуна[4]! От наивно-сказочных колыбельных, что напевали невежественные, замшелые бабки, до экономической реальности, которая

[1] Абдаррахман (Абд ар-Рахман) — арабский военачальник, правитель Андалусии (был разгромлен и убит майордомом Франкского государства Карлом Мартелло под Пуатье в 732 г.).

[2] Тарик ибн Зияд — берберский военачальник. В 711 г. пересек Гибралтарский пролив и разбил короля вестготов Родерика. Его именем назван Гибралтар — по-арабски Джебель Тарик (Гора Тарика).

[3] Здесь: новый *(англ.)*.

[4] Абд ар-Рахман ибн Хальдун — арабский мыслитель (1332—1406), автор обширной исторической хроники, предваренной «Пролегоменами», где он излагает свою философскую концепцию истории.

составляет мощь закона... Какое же это великое счастье — взять в свои руки власть!

У него, Мухаммеда, сына своего почившего отца, есть голова на плечах, власть и кипы досье. На протяжении всей своей карьеры он собирал сведения о самых разнокалиберных личностях. Вооруженный таким образом, он внушает глубочайшее к себе почтение. Через пять, самое большее десять лет он сможет претендовать на самые верхние ступени. И это будет более чем справедливо! Судите сами: откуда вышел он, кто он был, тот Адольф бен Гитлер,— всего-навсего маляр, весьма, в общем-то, посредственный, сын простолюдина. И невзирая на это, мало-помалу, как птица свивает гнездо, он пробился на вершину Готы (это по-немецки государство) собственным горбом, в поте лица своего, и овладел всей Европой, опираясь на себе подобных, то есть на безымянную серую массу! Эх, если бы у него хватило здравого смысла избрать полицейскую карьеру! Но нет, он недальновидно предпочел политику, и власть ударила ему в голову... В отличие от полиции в политике прохлаждаться не приходится. Политика самую прямую мысль изовьет ужом, она вызывает бессонницу, если не менингит. И потом, карьера любого политика изначально отмечена печатью бренности, никто не может с уверенностью гарантировать ее продолжительность. Тогда как полиция...

«Стоп! — вдруг приказал себе начальник.— Останови свои мысли и замри...»

Только что его пронзила током чудовищная идея, до того крамольная, что он даже открыл глаза навстречу слепящему солнечному свету. Ошеломленный, перетрухнувший, он не осмелился додумать эту мысль до конца — даже в самом глухом закоулке мозга. Если б он это сделал, то, наверно, схватил бы свой револьвер и тут же пустил бы себе пулю в лоб. А вместе с ним рухнула бы, как карточный домик, и вся система, что было бы, разумеется, великим несчастьем. Вот что значит думать, уподобляться паршивым *инфектуалам!* Шлюхино отродье эта философия! Мысль — это пережиток прошлого, ведь так? Она бесполезна, а значит — вредна. Да и то — к чему иному она может привести, если не к искажению фактов и ненужному беспокойству? Погружение в потемки человеческой натуры может свести с ума даже такого здравомыслящего и уравновешенного индивида, каковым является он, начальник. Но в его мозгу, благодарение аллаху, царят методичность и порядок...

— А? Чего ты там бормочешь?

— Ты спишь, начальник? Времени-то немало прошло.

Окончательно проснулся начальник полиции в этот день, 12 июля 1980 года, примерно в 13 часов 14 минут по его электронным часам. Он всхрапнул и решительно выкорчевал свои мысли, и следа не оставив от них ни в клетках своего серого вещества, ни на своем цвета отварной печени лице. Уж больно нехороши были. Вот что жечь каленым железом! Раздувая слова, начальник произнес:

— Инспектор Али, слушай меня внимательно.

— Да, начальник. Я тебе вроде уже задавал пару вопросов. Ты наверняка маленько взд...

— Слушай, и точка. Пока ты отдыхал...

— Это кто, я? Я отдыхал?

— Именно. Пока ты предавался мыслеблудию, я хорошенько обдумал вопрос. Я рассмотрел создавшееся положение во всей его совокупности. И я пришел к выводу sine qua non[1], то есть ясному, очевидному и математическому. Слушай внимательно: мне невозможно, немыслимо вести это расследование в таком пекле. Это ни моя со-

[1] Здесь: непреложному *(лат.)*.

цио-культурная среда, ни... ни... Погляди, в каком я состоянии! — вдруг вскричал он.— Нет, ты только погляди!

— Да, начальник,— послушно вытаращившись на начальника, согласился инспектор.— Я и сам уж давненько поглядываю. И что я вижу, клянусь честью? С тебя пот льет градом. Это бесчеловечно. Хочешь, я тебя вытру?

— Что ж, если хочешь, давай. Нет-нет, только не полой своей *гандуры*. Открой мою сумку и достань оттуда полотенце. А знаешь, инспектор, нам надо было приехать сюда весной. Или, по крайней мере, отложить расследование до сезона дождей.

— Каких дождей? — спросил инспектор.— Да тут сушь стоит уже лет сто или двести — достаточно взглянуть на валуны этого грандиозного пейзажа да на рожи горцев.

— Осенью или зимой здесь должно все-таки ощущаться дуновение ветра. Что-то свежее и цивилизованное. Иначе просто быть не может. У меня в сумке найдешь флакон одеколона. Вылей его мне на голову.

— Да, начальник. Слушай, а здорово пахнет!

— Это освежает и облегчает. Я чувствую себя совсем другим человеком. Разум уже одерживает во мне верх. Видишь ли, инспектор, это вопрос окружающей среды. Одно дело — работать в моем директорском кабинете, и совсем другое — потеть в этой норе.

— Да, начальник. Я ухватил с пол-оборота. Значит, я пошел накачивать шины, и мы сматываемся, так?

— Нет, не так. Ни в малейшей степени. Ты бредишь.

— Ты только послушай меня, начальник! Мы могли бы добраться до цивилизации за несколько часов с опущенными стеклами и включенным радио для услады ушей. Погоди, начальник, дай я тебе объясню. Колеса сами катят нас с горы к прохладной долине и супермаркетам — туда, где можно свободно достать еду и питье. Подумай о своем комфорте, начальник! Как говорили во времена халифов: «Человеческое благородство и достоинство». Это существенно.

— Гм-м! — промычал начальник.— Гм-м!

— Неизбежно,— продолжал инспектор Али с сокрушительной логикой доморощенной диалектики.— Неизбежно. Благородство кресла определяет человеческое достоинство того, кто в нем сидит, точно так же, как изысканное кушанье вызывает достоинство желудка.

— Гм-м! — повторил начальник.— От твоего рассуждения разит кухней, но какие-то рациональные зерна в нем есть. Скажем, пара зерен на ведро шелухи. Но скажи-ка мне: а подозреваемые?

— Ты про эту деревенщину? Да с ними проще некуда, начальник: если пророк отважно отправился к горе, то к тебе гора спустится сама, на грузовике. Мы ж все-таки в двадцатом веке, а?

— Как это? Что-то я не совсем улавливаю.

— Быстренько послать за этими крестьянами. Наши коллеги из армии запихнут их в военный грузовик. Для них это дело привычное — сколачивать при надобности толпы ликующих крестьян. А как только они окажутся в городе, расследование пойдет само по себе. Никакой тебе жары, никаких неудобств, никаких арабских головоломок.

Начальник с минуту помолчал. Потом спросил:

— Что, разве слово «простофиля» вытатуировано у меня на лбу? Ты действительно, дей-стви-тель-но считаешь, что я не рассматривал это нелепое решение? Нелепое и вдобавок совершенно нереальное?

— О аллах и пророк его! Ты его рассматривал? И что же? К чему это тебя привело?

— К начинающейся мигрени. Только к начинающейся, потому что я отказался от него тотчас же, с ходу, немедленно. У меня нет никакого желания глотать аспирин, я категорически против всех

этих снадобий. Когда меня посещает какая-нибудь неуместная мысль, я просто-напросто отбрасываю ее. Вот как я устроен, чтоб ты знал!

— Везет же тебе тогда! — воскликнул инспектор, округлив глаза.

— Мне уже осточертело вдалбливать тебе эту очевидную вещь! Слушай меня внимательно: мне был дан приказ провести расследование здесь. Здесь, а не в городе, в моем кабинете. И уж тем более не в супермаркете. Здесь, в этом жарком, словно баня, захолустье. И довести мою официальную миссию до заключительной точки в досье. Улавливаешь?

— Нет,— ответил инспектор.— Нисколько. Если я правильно понимаю, ты не можешь вести расследование здесь, на месте, по причине адского пекла. И я сочувствую твоим физическим и моральным страданиям. Не можешь ты и переправить этих крестьян домой, я имею в виду — в город, чтобы допросить их там как следует. Во всем этом что-то явно хромает. Ясно одно — расследование топчется на месте, увязает и...

— Никогда не следует вязнуть в подробностях,— назидательным тоном провозгласил начальник.— Нужно окружить, схватить проблему сверху, как с борта разведывательного самолета. Такова логика. Тогда все ее составляющие будут перед глазами. Не знаю, отдаешь ли ты себе в этом отчет, но мы демократизировались. К концу нынешнего столетия все мы станем равны. Количество перейдет в качество. Ты следишь за моей мыслью?

— Нет. Ни на вот столько,— ответил инспектор.— Я никогда не занимаюсь политикой.

— Я говорю тебе не о политике, а о реальности. О социальной реальности. Да вот тебе простенький примерчик: кто в данный момент находится здесь, в этой злосчастной пещере?

Инспектор окинул взглядом голые стены и придурковато доложил:

— Только мы двое, начальник. Больше я никого не вижу.

— Кто это мы двое?

— Ну... ты, начальник. И я.

— Правильно,— подтвердил начальник.— Только мы двое. Разложим на составляющие: имеются начальник и подчиненный. Начальник, каковым являюсь я, наделен большой ответственностью. В силу обстоятельств начальник тотчас же, на месте, продемонстрирует тебе самую суть демократизации. Подойди поближе.

— Да, начальник. Дело важное?

— Садись рядом со мной. Еще ближе. Слушай: я соглашаюсь разделить с тобой свою ответственность за проведение этого расследования.

— О аллах...

— Да, инспектор Али. Товарищ мой, друг мой. Это демократичнейший акт моего к тебе доверия. Я надеюсь, я даже уверен, что ты сумеешь оказаться достойным его. Итак, слушай: в высокие сферы поступили top secret[1] сведения, из которых явствует, что опасный подрыватель устоев, подданный нашей страны, долгое время проживавший в Европе, на прошлой неделе нелегально перешел границу. Он находится здесь, в этой деревне.

— О аллах и пророк его!

— Да. Государственная полиция не может ошибиться. У нее повсюду глаза и уши, она тесно, рука об руку сотрудничает с полициями трех десятков стран. Инспектор, необходимо во что бы то ни стало выловить этого преступника и взять его в самое ближайшее время.

[1] Совершенно секретные *(англ.)*.

Инспектор мысленно перебрал всех членов клана Аит Яфельманов, начиная с Рахо и кончая парой двойняшек цвета корицы.

— Это мужчина? — спросил он с некоторой опаской.

— Я же сказал: «подрыватель устоев». Я не говорил: «подрывательница». Грамматику я пока еще не забыл.

— Хвала всевышнему! — воскликнул инспектор.

— Почему «хвала всевышнему»?

— Не обращай внимания, начальник. Это просто частное дельце между мной и самим собой. Сколько лет этому террористу?

— Лет тридцать — тридцать пять.

— Выходит, как тебе?

— А? Да, если хочешь. Хотя я и не понимаю, что общего ты мог углядеть между мной и подрывателями устоев. Имени его мы не знаем. Но он уроженец здешнего захолустья. И потом, он должен уметь говорить по-европейски. Постарайся подловить его на этом. Ты болтлив, в какой-то степени даже хитер. И потом, в силу своего пролетарского происхождения ты ближе, чем я, к этим голодранцам — среди них ты как рыба в воде. Исходя из всего этого, я официально возлагаю расследование на тебя. Временно. Что ты на это скажешь, инспектор?

Инспектор всерьез призадумался, одним духом взлетая по ступенькам возможностей и махинаций. Подумав, он вмиг напялил на себя личину слабоумного и произнес:

— Не знаю, как и осмелиться, начальник...

— Осмелься, осмелься! Не дрейфь. Ты да я, мы с тобой равны.

— Видишь ли, начальник, я буквально раздавлен этой честью, свалившейся мне на голову. Это для меня чересчур.

— Я же уточнил, кажется, что это всего лишь временно.

— Я слышал. Но, хоть и временная, эта честь угодила мне прямо под дых. Не знаю, чем это объяснить, начальник, но у народа что-то нет никакого желания брать на себя всю полноту ответственности. Боязно ему. И так повелось уже давно.

— Что ты там мелешь? Объясни!

— Охотно, начальник. Это очень просто: видел ли ты хоть раз, чтоб кто-нибудь с улицы стал вдруг королем или президентом?

— А кто говорит здесь о «Тысяче и одной ночи»?

— Никто, начальник. Ей-богу, никто. Вот почему я делаю совершенно логичный вывод, что это невозможно. На сегодняшний день волшебные сказки покупать никто не желает. Ими все прилавки завалены. Зато комиксы!.. Я вынужден с сожалением сообщить тебе, любимый начальник, что я отказываюсь от твоего великодушного и бескорыстного предложения.

Начальник чуть было не поддался вспышке гнева — третьей или четвертой за этот день,— но сдержался.

— Ты отказываешься выполнить приказ?

— А что, предложение вдруг превратилось в приказ? — с простодушным видом осведомился инспектор.

— Это предложение, конечно... только окрашенное некоторой... э-э... Пожалованное соизволение — вот, наверно, самое точное определение.

— Я не могу принять его даже завернутым в подарочную обертку.

— Но почему?

— Потому что начальник — это ты, начальник. Это тебе поручена официальная миссия. Я всего лишь подручный. Ответственность — это не по моему жалованью. Ты не устаешь твердить мне, что мое дело — исполнять. Исполнять, и точка. Устав есть устав. Я не могу и не хочу его нарушать.

Мозговые извилины начальника давно уже судорожно дергались, подобно разболтанным шатунам. Прошлое было таким безоб-

лачным: сколько на славу удавшихся дел, сколько арестов, сколько благодарностей! Будущее рисовалось угрожающим: для начала полное фиаско на этой чертовой горе, и... и притом по милости этих темных крестьян и этого сына хранителя печи, которого он презирает до глубины души!

— Брат мой,— молвил начальник,— прости мне нанесенную тебе обиду. Если по недоразумению я и вел себя в чем-то неправильно, не нужно на меня за это сердиться. У меня вспыльчивый характер средиземноморца, и потом сейчас такая жара. Ты же знаешь, как я тебя люблю.

— Аминь! — заключил инспектор.— Сколько ты мне отвалишь?

— А? — не понял начальник.

— Что ты собираешься мне предложить, если я, допустим, соглашусь вести это дохлое расследование вместо тебя?

— Но от тебя же не требуется вести его вместо меня! Об этом и речи нет.

— Тогда ничего не решено, начальник. Я верный слуга государства. Или ты соблюдаешь устав, или ты его не соблюдаешь. Тебе решать. Ты у нас начальник.

— Послушай,— заговорил начальник.— Само собой разумеется, что протокол расследования мы подпишем вместе. Твоя фамилия будет приведена полностью. В результате ты будешь незамедлительно повышен в чине. Такое на дороге не валяется.

— Я араб, начальник, и вдобавок африканец. Если цивилизация и вошла мне в голову, то только конкретными своими сторонами. Например, теперь я знаю, что «рынок» означает «базар». И наоборот. Что до отвлеченных понятий, то они для меня все равно что дуновение ветра.

— Чего ты добиваешься, в конце-то концов? — вскричал начальник.

— Не надо кипятиться, начальник. Мы просто беседуем — дружески, демократично. Так, говоришь, чего я добиваюсь, начальник? Совсем немногого. Устав специально оговаривает...

— Идет! — прорычал начальник.— Ты наделяешься всеми полномочиями. Тебе предоставляется полная свобода действий на все время, пока продолжается расследование.

— Весьма тебе признателен, начальник. Но мы уже вышли из средневековой эпохи, когда давали и держали честное слово. Мы живем, увы, в железном веке, когда все пишется на бумаге.

— Моего слова тебе должно быть достаточно, черт побери!

— Мне — да. В пятнадцатом веке или даже в девятнадцатом я принял бы его не глядя, как золотой слиток. Но сейчас время неустойчивое, курс постоянно плавает. Поэтому по примеру валют слово в наши дни тоже стало плавающим. Да еще этот проклятый устав, который уточняет как раз для той ситуации, в какой мы с тобой находимся, что все должно совершаться на бумаге: статья 3, параграф VII. Следовательно, приказ на проведение расследования мне нужен письменный и подписанный твоей рукой начальника. Все необходимое должно найтись у тебя в сумке: ручка, бланки, печать и всякое такое.

Еще долго они полемизировали и просто препирались по всем мыслимым поводам, дошли чуть не до рукоприкладства. Но инспектор Али неколебимо стоял на своем, не уступая ни на йоту: он знал закон, а не эрзац-закон, не его кузину и не его консьержку, и в его намерения никоим образом не входило посягать на его честь — хотя по части посягательств на честь обитательниц *медины* он был в полиции первым; под конец, видя, что спор вянет на корню, так и не принеся плодов, он уже собрался было плюнуть на это дело и оставаться тем, кем он был,— простым инспектором без полномочий и

без будущего... Однако его требования неожиданно были удовлетворены.

— Вот она, твоя вонючая бумага,— проговорил начальник осипшим от препирательств голосом.— Теперь ты доволен, крокодилья твоя башка?

— О аллах и пророк его, и ты еще спрашиваешь?!

— Тогда по рукам!

Они пожали друг другу руки. Ладонь начальника была влажной.

В полном молчании они по-братски поделили меж собой горячие, как от лихорадки, бутерброды, кофе из термоса, липкую кашу, которая еще недавно называлась шоколадом, апельсины, из которых инспектор Али первым делом живо высосал сок, закусив под конец кожурой. Жуя, инспектор полным ходом размышлял: ей-богу, здесь, в горах, не так уж плохо. Свалившееся с неба продвижение по службе только приближало его к двум будущим женушкам, при одном воспоминании о которых у инспектора начинало покалывать в пояснице. Словно лиса, он будет лавировать по обстоятельствам, плести интриги вместо добывания улик. Начальник пока что нейтрализован, точнее, заблокирован в этой дыре со своей неудачей на руках. Да продолжит аллах в несказанном милосердии своем раскалять солнце добела и низвергать на горы адский зной! Спасибо тебе, господи! Хвала тебе!.. Что до самых больших полицейских начальников, то, пусть они и вправду сумели прочесть и без ошибок расшифровать закодированные сведения на терминалах компьютера в Центральном бюро, все равно найдется средство околпачить и их. Инспектору хорошо известны веревочки, за какие надо подергать. Да и потом, что это вообще за бред? Террорист здесь — *здесь,* среди богобоязненных горцев? Странно, очень странно!

В его, инспектора, распоряжении еще полтора дня гостеприимства, то есть целых тридцать шесть часов. Уйма времени, слава аллаху. Он поведет расследование по-своему: спустится по ступенькам иерархии, вместо того чтобы карабкаться вверх по головам других. Осла можно тянуть за веревку, но уж никак не толкать. Нельзя и заставить его пить, если сам он не желает. С бонзами, засевшими там, наверху, инспектору не по пути. Уж кого-кого, а их забавными не назовешь. Сплошь приказы, сплошь принуждение и страх. И потом он, инспектор, ведет происхождение не от последних олухов. Обвалять его заживо в муке, словно морского угря? Ему прекрасно известно, что́ у начальника на уме, он, инспектор, знает это доподлинно. Этот чванный индюк сказал себе в убогой своей хитрости, что, пока он завяз среди этих крестьян, от которых сам он в состоянии добиться разве что охапки сена, его подчиненный потрудится за него и, подобно иммигранту, выполнит всю самую грязную работенку, а потом, едва расследование завершится, он, начальник, накатает на него такой рапорт, что того вывернут наизнанку и вышвырнут. Начальники — они все такие! Им — всё, другим — шиш, а их слово не стоит даже свинячьей отрыжки, хоть устное, хоть письменное.

Завязалось жестокое единоборство, как между Хомейни и Картером. Кто победит? Средневековый ислам или технология американцев? Инспектор, не раздумывая, поставил на патриарха из Кума. Тот сказал, что разделается с шахом,— и разделался. Значит, одолеет и президента. А он, инспектор, побьет начальника Мухаммеда его же собственными козырями. Его зовут Али, как каждого третьего, он сын бедного хранителя печи и служанки, у которой в этой жизни не было ни радости, ни покоя. Теперь он среди своих, в родном племени, да еще облечен неограниченной властью.

— *Аллах акбар!* — зычно провозгласил он.

— Правильно,— подтвердил начальник,— да убережет тебя всевышний в твоей опасной миссии. Не посрами честь твоего начальника.

Инспектор поднялся — величественно, как аятолла — и вышел, на ходу воздавая почести аллаху. В глазах его стояли слезы.

9

Ближе к вечеру инспектор уже знал в деревне каждый камешек. Кто мог бы сказать, что он тут не родился и не провел всю свою жизнь? Не теряя времени, он поспешил к Хадже — душа нараспашку, на языке теплые слова истинно человеческого общения.

— Хаджа! О Хаджа! — обратился он к ней, исходя обильной слюной.— Как я рад, что снова вижу тебя и с четверть часика могу с тобою поболтать! Дотемна, если того пожелает господь, хорошо? Хочешь, я разожгу твой очаг? Я умею замешивать тесто и выпекать хлеб, как в старые времена. Хаджа, матушка, приключилась одна дьявольская история. Взрослый дядя по имени Мухаммед и по прозванию Начальник с самого своего рождения малость с придурью. Так вот, сегодня он заявил мне, будто бы здесь, прямо по вашей деревне, шатается опасный государственный преступник. Что ты об этом думаешь, а, Хаджа?

— Что ты городишь?

— Это не я горожу, бабушка. Это он городит, своим неуемным языком.

— Что за дурацкие небылицы! И названия-то этому не подберешь.

— Это начальник. Равнина — это равнина, город — это город, там творятся самые невероятные вещи. Должно быть, цивилизация этих *руми* отняла у него рассудок, это ясно. В нем ничего уже не осталось от коренного жителя вроде меня или тебя. Ты говоришь, что это вранье, и я тебе верю. Да и то: каким чудом царя Соломона можно подорвать устои этой исполинской горы, а?

— Что это такое, подорвать устои?

— Одни говорят, что это дверь, ведущая к свободе, другие уверяют, что это дверь тюряги. Поди тут разберись! Послушай, матушка, давай лучше поговорим о серьезных вещах, ведь мы с тобой не малые дети и тем более не чокнутые. Во имя господа, милостивого и милосердного, скажи мне их имена.

— Какие имена? Перестань засыпать меня шелухой вопросов, от которых у тебя у самого кривится рот, а не то у меня голова закружится.

— А ты думаешь, у меня сейчас сердце не кружится? Вот какая история, Хаджа: поднимаюсь это я недавно по тропинке, после того как мирно побеседовал с Рахо, ни о чем не думаю, внутри у меня все дремлет. И вдруг... что же я вижу прямо перед собой, вот как тебя сейчас? Двух... двух гурий, сошедших из рая, красы ну просто неописуемой. Скажи, они мне только пригрезились?

— Жасмине и Жасмина? Мои внучатые племянницы?

Инспектор тотчас схватил Хаджу в объятия и, оторвав ее от земли, принялся целовать в щеки, в волосы, в лоб. От нее хорошо пахло гвоздикой, неведением и правдой. Хаджа, смеясь, слабо отбивалась, счастливая в свои-то почтенные годы.

— Жасмине и Жасмина! Жасмине и Жасмина! Ей-богу, это мои самые любимые имена! Других у них просто быть не могло!

— Пусти меня!.. Да перестань же!..

В смехе Хаджи журчали свирели и звенели кимвалы.

— Это день моей радости,— вскричал инспектор.— Я благословляю господа, я благодарю его за то, что он их создал, я до последнего своего вздоха не устану воздавать ему хвалу. Диву даюсь, как ему удалось их так... гм-м... вылепить, с таким совершенством, своей августейшей рукой! В бытность мою арабом-бродягой мне пару раз доводилось любоваться жасмином в цвету. Хорош, не спорю. И пахнет

одуряюще. Но с этими созданиями Эдема он не идет ни в какое сравнение, поверь мне. Глаз у меня верный. И это твои внучатые племянницы! Дай мне облобызать твою руку, как она того заслуживает! Где были мои глаза вчера вечером, как я мог их не заметить? Правда, было темно, но их красота должна была осиять все вокруг.

— Вчера ты был слишком поглощен едой,— заметила Хаджа.

— Это было восхитительно, Хаджа! Но вот какая история: мне никак невозможно выбрать одну из двух. Они одна другой краше. И потом, мне не хотелось бы их разлучать. Ты понимаешь, матушка?

— Нет,— невинным тоном отозвалась Хаджа.

— До сих пор я жил так себе, просто-напросто прозябал, ни господин, ни слуга. Что-то вроде того свободного и суверенного араба, про которого сейчас везде трубят. Но ты не занимаешься политикой, ведь так? И правильно делаешь. Я даже женился, чтобы скрасить одиночество. Когда-то моя жена была юной, свежей и естественной, как молодой овес. Клянусь честью, Хаджа, город калечит людей. Никогда туда не перебирайся. Он делает женщин паршивыми снаружи и иссохшими внутри, если ты понимаешь, что́ я хочу сказать,— но ты не мужчина и вряд ли поймешь. Родившаяся, как и ты, в деревне, моя жена в один прекрасный день очутилась в городе, в крошечной квартире из бетона (это искусственный камень), где она только крутится, крутится и ждет. А чего ждет? Поди узнай. Все очень просто: завтра же я прогоняю ее, отправлю ее в родное селение... О да, лучше уж мне жить со своим одиночеством. Терпение — добродетель Корана, так или нет?

— О чем ты толкуешь, сын мой? — медленно проговорила Хаджа.

Один глаз у нее был полуприкрыт, другой — раскрыт так широко, словно хотел выбраться наружу.

— О своей пропащей жизни! — вскричал инспектор из бездны отчаяния.— Я проклят. Что пожал я после долгих лет работы и жизни с этой славной женщиной? А работа моя? Хочешь, я скажу тебе, Хаджа? Хочешь узнать, в чем заключается моя работа для правительства? Сплошная гнусность. Выслеживать и хватать людей. Людей, которых я знать не знаю и которые лично мне ничегошеньки не сделали. Ах, пакость, пакость! А когда я возвращаюсь к себе, то там даже жратвы нет или же она такая, что с нее воротит. А теперь начальник притащил меня сюда, чтобы сцапать одного из ваших! Он просто псих. Того и гляди я выслежу собственную тень и арестую себя самого! Бедный я сирота.

Каких-нибудь три минуты назад энтузиазм и вожделение буквально приподымали инспектора над землей — сантиметров на тридцать. Теперь же лицо его было искажено страданием, изборождено слезами. В его искренности не смог бы усомниться даже глухой.

— Успокойся,— выговорила Хаджа, сама пребывая в смятении чувств.— Успокойся на минуту, сын мой с равнины.

Но инспектор, одеревенев, глядел сквозь старую женщину, как если бы она была из стекла, и нараспев читал суру из Корана, которую с превеликим трудом заучил в раннем детстве.

— Не буду я клясться этой страной — Совсем уйду я из этой страны — Покину я предков своих и потомков — Человек здесь так... так несчастен...

— Аминь! — заключила Хаджа, целуя инспектора в левое плечо.— Остановись, сынок. Напрасно ты будишь халифов в их могилах. Господь тебя прощает.

— Это единственное мое наследство, Хаджа. А я смешал его с цивилизацией и полицией. Счастье еще, что я ничего не смыслю в хард-роке [1]! Скажи «да». Сотвори добро, верни мне мою радость. Скажи «да» немедленно.

[1] Хард-рок (тяжелый рок) — одно из направлений в современной поп-музыке.

— Да,— машинально откликнулась Хаджа.— А что да? О чем ты теперь говоришь?

— О моей помолвке с Жасмине и Жасминой. У меня немалое состояние, мебель из «формики». Это такое современное блестящее дерево, голубое, как небо наверху, у нас над головой. Тебе я подарю кресло из «скаи». «Скаи» — это кожа, которая лучше, чем кожа животных. Ты увидишь. Ты преудобно расположишься в нем, как ты того заслуживаешь. А остальное я распродам на базаре: кастрюли, плитку «бутагаз», раковины, биде, двери и окна, телевизор, ванну. Я распродам все, получу по книжке в сберегательной кассе и закрою счет в банке. Тогда у меня будут *мани,* и я буду спокоен. Не считая выходного пособия, если правительство не забыло еще, что такое милосердие. Потому что я собираюсь сделать вот что: подать в отставку и переселиться к вам. Я крестьянин, по ошибке забредший в полицию. Как говорит Коран, не буду я больше клясться этим гнусным городом, я покину это сволочное общество...

— Прекрати! Ты богохульствуешь.

— Ты не знаешь города, Хаджа. Иначе ты богохульствовала бы ничуть не меньше. Дома́, что на деревенской площади, я куплю. Это не сложно, когда у тебя есть бумажки да кругляши. Ты скажешь, что они в развалинах и торчат лишь обломки стен? Но послушай, у меня же целых две руки, и на каждой по пять пальцев. Один дом для тебя, один для Рахо, и один для меня и моих двух женушек. Так мы составим одну семью. На твоем месте, матушка моего прошлого, я не колебался бы ни секунды перед будущим, сверкающим, как это солнце. И потом, я молод и хорош собой. Скажи «да».

Хаджа потупилась, будто решила сосчитать камушки меж своих босых ступней. Без всякого выражения она проговорила:

— Эх, если б ты сказал мне все это вчера вечером... или хотя бы сегодня утром...

— А что? Мои невесты уже просватаны?

— Нет-нет! Охо!

— Тогда в чем же дело?

Какое-то время Хаджа хранила молчание, опустив очи долу и шевеля ступнями. Потом она произнесла:

— Тебе надо будет сказать все это вечером Рахо. На совете деревни.

Прерывающимся от волнения голосом она добавила:

— Сегодня будет большой праздник.

— А-а, так вот почему Аит Яфельманы вытащили сегодня барабаны и другие инструменты?

— Д-да,— ответила она чуть слышно.

Инспектор стиснул Хаджу в объятиях, поцеловал в голову. От нее пахло раем.

— Да будет славен творец! Этот день — первый в моей жизни, клянусь аллахом и пророком! Помолвка, крутой перелом в судьбе, достойный Пантагрюэля ужин, что ожидает меня вечером, песни и пляски... Дотроньсь до моего сердца, Хаджа: оно раскалилось и готово лопнуть. Правильно я сделал, что пришел сюда, уж поверь мне. Это перст судьбы. Именем аллаха, милостивого и милосердного, владыки миров и вершителя страшного суда, я прошу у тебя, я у вас всех прошу гостеприимства навсегда. На веки вечные.

Рыдая, Хаджа поставила одну ногу впереди другой и, переступая медленно, как сомнамбула, двинулась напрямик. Инспектор нисколько не сомневался, что плакала она от радости.

— А она чувствительная,— сказал он себе.— Пожалуй, я перегнул палку. Я и быка вогнал бы в слезы.

А расследование? Ах да, расследование...

Доклад:

— Дело движется, начальник. След горячий, намылен черным мылом, все идет своим чередом. До скорого. Не бери в голову.

— Как тебе удается?

— А?

— Как тебе удается выдерживать в этаком пекле? Ты что, деревянный?

— Все определяется дубленой кожей и душевным равновесием, начальник. Это же очевидно. И потом, сегодня вечером мне предстоит набивать пузо. Понимаешь?

— Нет.

— Это дает мне крылья, чтобы жить, и профессиональное сознание на все сто, чтобы работать. Всякий труд заслуживает оплаты — и какой еще оплаты в перспективе! Ладно. До скорой встречи, начальник. Четверть часа на все про все. Самое большее час. Не нервничай.

Инспектор по-военному отдал честь и повернулся кругом. С легкостью. Этот начальник не стоил уже и гвоздя, даже ржавого. Еще вчера, окруженный блистающим, сродни недолговечному фейерверку, ореолом власти, это был молоток. Да что там молоток — целый набор стучащих, пилящих и туго завинчивающих инструментов, унеси его нелегкая. А что он такое теперь, а? Спущенная камера, лопнувший бурдюк, рваный лоскут. Аллах свидетель, инспектор Али сейчас скажет ему: «Мухаммед, возьми-ка свою рубашку да вытри мне ноги». Распаленный бредовыми мечтами, инспектор, путешествуя в поисках задушевной беседы с очередным представителем клана Аит Яфельманов, принялся рассказывать себе современную сказочку, приправленную соусом Харун ар-Рашида, фантазируя по прихоти своей переполненной великодушием натуры: а что, если?.. Что, если палящие лучи солнца расплавят в истуканах крепящие их болты? Не будет болтов, не станет и истуканов. Разве не случается, что посередь дороги отвинчиваются болты на колесах и падают в пыль? Машина летит вверх тормашками, и История резко меняет курс, ведь так? «Ну-ка»,— сказал он себе. И разразился смехом.

Ну-ка вообразим на минутку без смеха, что эти начальники, большие и маленькие, все, сколько их там есть, вдруг в силу обстоятельств (дорожное происшествие, какое-нибудь технологическое волшебство, крутой зигзаг Истории) лишатся болтов с гайками и прочего крепежа и не сегодня завтра окажутся здесь, в пещерах этой горы. Что они будут делать? Чем они станут и что скажут? Само собой, они начнут бить себя в грудь и кричать, что это *они,* из плоти и крови. Но никто им не поверит, не примет всерьез. Хаджа — та наверняка скажет им: «Топайте отсюдова. Идите чесать языки куда-нибудь в другое место, а мне ваши басни без надобности». Инспектор роготал и хлопал себя по ляжкам. Нет, они не добьются уважения ни у одного из крестьян, даже у самого доверчивого,— те их просто не признáют. Те их знать никогда не знали и плевать на них хотели.

Тень его за это время сместилась вместе с солнцем. Теперь она тянулась слева, незаметно удлиняясь, пока он шагал. Он ошарашенно уставился на нее. О нет, никто и никогда не видел даже крохотного истукана, низринутого со своего пьедестала, по крайней мере в здешних краях, где и слова-то такого, «революция», не слыхивали. «Али, они были слепые или ненормальные, те парни, что затащили тебя в полицию? Как ты до сих пор умудрялся выходить сухим из воды?» Дьяволово ты семя, что ты замыслил непутевой своей башкой? Революция? Это в одиночку-то? «Мне было так спокойно,— сказал он себе.— У меня была приличная работенка — шпика. Штука надежная, с чеком в конце каждого месяца. Продвижение, правда, медленное и томительное, да ведь и до старости мне еще далеко. Работал через пень колоду, в согласии со своей натурой. Случалось, конечно, что внутри у меня все клокотало, слишком многое меня бесит. Но я не

думал. Я НЕ ДУМАЛ. Начальник Мухаммед тысячу раз прав, когда говорит, что у всех *инфектуалов* не в порядке с головой».

Он встал как вкопанный. Приложил ладонь ко лбу. Лоб горел. Будто в лихорадке. Еще миг — и он треснет. Слишком много противоречивых мыслей схватилось в безжалостном кетче у него меж бровями и корнями волос; центробежные, центростремительные и прочие силы, названия которым он не знал, подняли в его черепе бузу почище шайки уличных хулиганов: Жасмине и Жасмина, возвращение к земле, расследование, которое только-только началось, его распрекрасная женушка, начальник и вся его полиция, вместе взятые... и долг, долг, что хватает вас за горло в самой захолустной, богом забытой дыре, и государство, которое наверняка не даст себя одурачить как пацана, и его собственная, инспектора, шкура. Как он собирается ее спасти? Кто укажет ему путь? Кто напоит его, жаждущего, правдой и избавлением? Одним словом, где она, та единственная и неповторимая махинация, которая разом бы решила все проблемы?

Инспектор Али обладал редким умением по мере надобности опорожнять мозги. Что он тотчас и сделал. То есть он запустил руку в карман, нащупал там монету и, призвав в свидетели аллаха и пророка, порешил так покончить с затянувшимся единоборством с самим собою:

1) орел — он возвращается на прямую дорогу, со всем тщанием ведет расследование, пока это будет возможно... Лучше синица в руках, чем журавль в небе;

2) решка — он пребудет в мире и любви до конца дней своих. Вернее, до тех пор, пока это будет возможно.

Зажмурившись, он подбросил монету в воздух. Больше он никогда ее не видел, несмотря на отчаянные поиски на четвереньках под прицелом квадратных от изумления глаз четырех-пяти мальчишек, застывших в неподвижности чуть поодаль. Могло ли случиться, чтобы один из них оказался проворней, чем западная мысль? Но, может быть, во всем виноват песок — рыхлый и глубокий, не поддающийся никаким археологическим изысканиям? Обстоятельства вынудили инспектора рассмотреть третье решение: запрыгнуть в машину со спущенными колесами, махнуть на ней вниз до ближайшей телефонной кабины и срочно запросить нового начальника, который был бы в состоянии глазом не моргнув вынести высокую температуру и крестьян, прямиком вышедших из средневековья. Что до начальника Мухаммеда, то, во имя аллаха, милостивого и милосердного, пускай за ним вышлют вертолет. Пускай привезут носилки и все необходимое для реанимации! И поскорее! Он, бедняга, обезвожен и в полном упадке. В нем все отказало к чертям собачьим: и мозги, и селезенка, и государство.

«Вот это придумано толково!» — похвалил себя инспектор.

Ухмыляясь от уха до уха, он потер руки, будто мыл их с мылом. И заключил in pètto[1] твердо: «Завтра. А может быть, сегодня вечером, после обеда. Времени у меня полным-полно. В шею никто не гонит. Всему свой срок».

Кифеш ничего не понимает. Ему сказали... *Кто* сказал ему, чтобы он замолчал? Никак не припомнить. Слишком много всего в голове. И что именно ему сказали? Ах да! Послушай... «Послушай, Словарь. Захлопни коробочку. Не говори ни слова, пока эти двое чужаков не уберутся... Послушай, Словарь. Захлопни...» Ну да, не глухой же он. Он запомнил эту фразу наизусть. Ему повторили ее десять раз. Нет, двенадцать. Он считал на пальцах.

Но почему его так кличут: Словарем, Ученым? Его имя Кифеш, насколько он помнит. Конечно, знает он много. Почему он должен

[1] Здесь: про себя *(итал.)*.

держать все это про себя? Это несправедливо. Тот человек, который заходит во все пещеры и выходит из них измочаленный, что-то ищет. Это ясно. Он высматривает, выспрашивает. Он хохочет и разговаривает сам с собой. Кифеш мог бы ему помочь. У него большой жизненный опыт. Он жил в городе, работал там. На всяких временных работах. И отовсюду его прогоняли. А за что? Ведь он не делал ничего плохого.

Швейцар в гостинице, в красивой форме. Единственный костюм в его жизни. И всего лишь неделю. Нет, десять дней. А раньше... Да, то было хорошее времечко, у него в *медине* была лавчонка, он торговал лимонадом. Чтобы привлекать покупателей, он купил радиоприемник. Размерами чуть ли не со шкаф. С рассветом он поворачивал ручку по часовой стрелке до отказа. Куда как просто. А назад возвращал ее лишь поздним вечером, совсем поздним, когда он и впрямь уже валился с ног. Господи боже мой, до чего ж они были веселые, эти народные песни! Тамбурины, лютни, свирели, дудки и подхватываемый хором, с хлопаньем в ладоши, припев. В такт музыке подпрыгивали в металлических ящиках бутылки с лимонадом, подпрыгивал и Кифеш, воодушевленно горланя повторы. За что соседи грозили ему кулаком? Им что, не по душе музыка? *Их* музыка? А послушать — что извергалось из их глоток! Еще чуть-чуть — и они разбили бы его приемник камнями. Но он его спас. Взгромоздил в один прекрасный день на плечи и, даже не заперев лавчонку, зашагал прочь из города, прямиком к родной горе. Люди равнины явно не любят радоваться. Даже опрокинув стакан лимонада, они почему-то морщатся. Так как же он сумел пронести свой музыкальный ящик по полям, дорогам, рельсам и горам? Он уже не помнит. Это было так давно. Как бы то ни было, приемник с тех пор здесь, в пещере, где живет он, Кифеш, со своими родителями, братьями и сестрами. Но музыки больше не слыхать, даром что он крутил все до одной ручки. Иногда целыми днями напролет. Может, эта штука оживает только в городе?..

А разве не работал он раньше на почте? Попробуй упомни все подробности такого наполненного существования! Ему говорили... ему объясняли («Я знаю,— тотчас отвечал он.— Я знаю»), для него тщательно подыскивали подходящие слова, чтобы втолковать ему его задачу: накануне в горах бушевал ураган («Да, я знаю, я его слышал»), а поскольку он, Кифеш, сам горец, то места ему хорошо известны («О, я знаю. Я там родился. Я знаю») и он может пройти вдоль телефонного провода через овраги и кедровый лес («Я знаю, это легко»); возможно, провод где-то оборвался, и вот на этот случай необходимые инструменты, чтобы его срастить. «Я знаю»,— заключил он. И вприпрыжку отправился в путь. Еще долго после этого связь не работала. А ведь Кифеш крепко связал оборванные концы бечевкой...

Кифеш не понимает людей. Почему Аит Яфельманы живут подобно затравленным животным? Почему они от всего отказываются? Можно подумать, они скрываются, но от кого или от чего? Сколько он помнит, ему видится одно нескончаемое бегство, вздымающие пыль босые ступни. Почему, проходя мимо него, Хаджа поспешно подносит палец к губам? В чем тут секрет? Господи боже, чего он не должен говорить?..

Поодаль и от детей и от взрослых, чтобы без помех разыграть решающую партию, Бургин пальцем начертил на песке некое подобие окружности, уселся внутри нее, словно уединившись для медитации, и буквально из ничего извлек колоду карт.

Бургин стасовал карты. Сейчас начнется испытание. Никогда оно ему не удавалось. Обычно, когда он играл в покер с самим собой (против искусного alter ego, каким он был), он делал это по всей

справедливости: правая рука была собственная, а левая — его партнера. Чаще всего выигрывал он сам, помимо воли, без жульничества. А ведь он обеими руками владеет одинаково. Иногда, правда, и тот, *другой*, огребал банк. Бургин отдавал ему деньги безропотно — в левый карман. Игра есть игра. Случай тоже. А вот Судьба — не таит ли и она в себе толику случайности? Стоило проверить. Испытать ее, Судьбу. Он думал об этом со вчерашнего вечера, после того как получил от Рахо указания. Одна сдача карт — себе, к правой руке. Вторая же предназначалась для... да, для господа. Конечно, это неслыханное богохульство: всевышний — не прожигатель жизни. Он строго-настрого запретил азартные игры в своей Священной книге. Но этот городской туземец — симпатичный малый. Подкупает своей простотой. В нем не гнездится зло. Он даже попросил руки его, Бургина, сестренок. Хаджа уверяла, что он вполне искренен. А уж она-то разбирается в человеческой натуре. Но Рахо — тот доверяет только звездам. Они куда более постоянны, чем человеческие существа.

Две совершенно одинаковые, идеально выровненные стопки карт. В одной из них таится смерть. Если первая карта черной масти выпадет со стороны господа, то одному ему вершить Судьбу, как ведется испокон веков. В противном случае придется подчиниться приказам Рахо. Старый горец испросил совета у звезд. Он знает, что делает.

Медленно, словно бы с сожалением, Бургин поднял первую карту и открыл ее: десятка червей. А что там, со стороны Провидения? Туз бубей. Такого еще не бывало, чтобы Рахо ошибся. Откровения он черпает в седой древности. Это целая наука, о которой он иногда рассказывал Бургину. Единственное, что досталось ему в наследство от далеких предков. Теперь все зависит от третьей карты. Красное или черное?

Внезапно на него пала тень, и жизнерадостный голос произнес:

— Привет, Бургин! А я-то тебя обыскался.

Не успев ни обернуться, ни даже вздрогнуть от неожиданности, Бургин уже знал, что очередная карта означает смерть. Он приподнял ее за самый уголок. Да, уж так предначертано. Жаль.

— Привет, брат мой,— ответил он.

Инспектор Али уселся, скрестив ноги, и повел себя так, будто продолжал разговор, прерванный на минутку каким-то незначительным происшествием. Будь то с Хаджой, Бургином или с кем иным, видит аллах, разговор был все тот же. Что, говорит он больше, чем слушает? Правда? Али нисколько не походит на начальника Мухаммеда, ни вблизи, ни издали, и потому он не собирается задавать глупые вопросы вроде: есть ли поблизости какой-нибудь завод или хотя бы небольшая фабричка? Если пособия по безработице не достигают деревни, то на что же тогда тут живут? Ты говоришь, брат, что на сегодняшний день есть от чего не помереть с голоду и этого, хвала всевышнему, вполне достаточно? Согласен, да славится создатель, пекущийся о пропитании для своих пташек, но завтра? Подумал ли ты о будущем, которое вовсе не видится светлым в наш железный век? Я знаю, что после лета придет осень, это неизбежно. И с нею, быть может, даже сезон дождей... А-а, в таком случае люди вспашут несколько арпанов[1] земли, чтобы их засеять, а потом? Посреди тирады об интенсивном выращивании кукурузы инспектор Али внезапно закинул удочку:

— *Ты говоришь по-французски, бывал в заграница? Хабла спаньоль португьеза ю спик ламирикан Куба яволь найн?*

— У тебя запершило в горле, брат? — участливо осведомился Бургин.

— Это не ты! — заключил инспектор, испуская вздох облегчения.— Я очень рад. Я то же себе и говорил...

---

[1] Арпан — старинная французская земельная мера.

И он, не мешкая более, перешел к основному блюду. Вот ведь какая напасть: закатилась куда-то монета — может, в этот чертов песок, а может, в карман одного из этих пострелов, что с утра до вечера гоняют лодыря. Поди узнай! Вдобавок ему, инспектору, совершенно неизвестно, какой стороной она упала. Орлом или решкой? Разве угадаешь? Дабы избежать нешуточной мозговой встряски, которая его подстерегает, он берет в свидетели своего брата Бургина. Человеческие отношения так просты, когда вкладываешь в них что-то свое, личное. С нотками теплого дружелюбия и с толикой прямоты инспектор поведал Бургину свою историю, начиная с печи его детства, непроглядно темного, и кончая этим бессмысленным расследованием, приведшим его сюда, в деревню, а потом к жаркой любви, которая разгорелась в его сердце при первом же появлении Жасмине и Жасмины. Когда же инспектор вспомнил, что Бургин приходится им старшим братом, он не сумел сдержать своей радости и позыва к откровенности. Он выложил шурину все. Абсолютно все условия головоломной задачи, не пренебрегая ни малейшей подробностью, даже окурком воспоминания или идеи. Ему необходимо услышать авторитетное мнение. Как сделать правильный выбор? Мир вокруг него заметно сужается, стягивает его голову железным обручем. Вернуться ли на равнину в полицию и по-прежнему затаиться внутри своей шкуры, отправляя людей в кутузку? Или же никогда не спускаться с гор и в этом случае затянуть на расследовании петлю — как именно, он еще не знает, но наверняка додумается, он готов поклясться в этом аллахом, пророком и уже связавшими собеседников родственными узами...

С непроницаемым лицом Бургин выслушал все до последнего слова, терпеливо проследовав за инспектором по прихотливым извивам его повествования. Потом он перетасовал карты и сказал:

— Сними.

Они сыграли партию в покер, которую выиграли оба. Мухлевали они с равной силой. Бургин не знал, что и подумать. Он бы с удовольствием отделался от нескольких козырей, чтобы изменить злую участь, уготованную этому городскому туземцу...

— Начальник, ты точно знаешь, что не ошибся направлением? Нам бы надо было отправиться с расследованием на север или куда-нибудь еще, но только не сюда. Ты уверен, что там, в верхах, тебе не наплели с три короба, чтобы посадить тебя в лужу?

Начальник не ответил. Он был раздавлен. Всем: жарой, событиями, словами.

— Как можно вообразить себе хоть на миг, будто кто-нибудь из этих горцев ухитрился обзавестись паспортом? Да у них даже штанов приличных нет, как у тебя или у меня.

Начальник не проронил ни слова. Это было бы бесполезно. Все бесполезно: и разум, и время, и пространство...

— Ты уж прости меня, начальник, но я должен тебе это высказать. Эти официальные деятели — я не скажу, чтоб они в большинстве своем были буйно помешанные или даже просто психопаты. Нет. Скажу только, что в них гнездятся такие широко распространенные недостатки, как чванство и тупость. Одно то, что они послали нас сюда, уже верное тому доказательство — такое же верное, как если сказать, что безработный сидит без работы.

Начальник открыл рот и изрек:

— Они не могут ошибаться. Это математически невозможно. Ты — можешь ошибаться. Даже я в самом крайнем случае. Но не они. И знай, что они далеко не такие, какими ты их выставляешь, вбей это хорошенько себе в башку. Иначе, будь они тупыми, они не были бы там, где они есть.

— Начальник, да я бы с радостью почитал их за гениев. Но пускай тогда они сами попробуют словить черную кошку ночью в темной комнате, особенно когда ее там нет. Где я, по-твоему, должен искать подрывателя устоев среди этих темных крестьян?

— Большие начальники не могут ошибаться. Ты меня утомляешь. Разбирайся сам.

— Что ты хочешь этим сказать, начальник?

— Послушай, ты: они сказали, что разыскиваемое лицо здесь. Значит, оно здесь. И точка.

— Но, начальник...

— Я знать ничего не желаю. Отыщи виновного.

— А-а! — воскликнул инспектор.— Вот, значит, как дело-то оборачивается!

— Я сказал «виновного», что означает: «того самого виновного», а не «какого-нибудь виновного». Другого тут нет.

— А-а...— с сомнением протянул инспектор.

— Не хочешь ли ты, часом, чтобы мы гнили тут веки вечные?

— Нет.

— А может, ты хочешь загубить официальную миссию, которую я тебе доверил, и представить большим начальникам рапорт о провале операции?

— Не хочу.

— Тогда тридцати решений быть не может. Иди арестуй этого мерзавца, который вынуждает нас терять драгоценное время и вводит меня в состояние, в каком я сейчас нахожусь. Исполни свой долг. А через две, самое большее через три недели ты получишь новое назначение, сам станешь начальником. Это я тебе гарантирую.

— А досье?

— Не забивай себе голову мелочами. Оружие у тебя при себе?

— У меня? Никогда. У меня есть это,— смеясь, проговорил инспектор.

Он вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. Уходя, он спрашивал себя, каким законным или незаконным способом он задушит начальника — и так, чтобы комар носу не подточил. Мимо с понурой головой прошествовал осел, устало волоча ноги. Был он цвета пыли. Инспектору показалось, что он узнал животное. Но, насколько он помнил, у Рахо осел был огненно-рыжий, как пламя ада.

— Ба! — сказал он себе.— Это он катался в пыли, чтобы выгнать блох.

Хаджа переживает мучительное раздвоение между яркой зеленью воспоминаний и окружающей ее великой сушью. Человек, с которым ей довелось поговорить, пробудил в ней нечто большее, чем жалость: желание отдать ему все. Но дать она уже ничего не в состоянии, даже тем, кто вышел из ее чрева. По мере того как к годам прибавляются годы, кажется ей, на много лье вокруг — а круг этот неуклонно расширяется — хиреют стада, скудеют урожаи, все трудней становится людям подыскать себе работу. Когда-то давно Аит Яфельманы спускались с гор, они были поденщиками, дровосеками, угольщиками, носильщиками. У них был заработок, они приносили домой продукты и даже одежду. То-то устраивалось пиршество, песни и танцы — праздник встречи. А чем заниматься им теперь, кроме как бродить и ждать? Такова жизнь, все предопределено свыше. Может, господь и сам обеднял? Кто знает?

Эти обломки стен, между которыми она сейчас бродит, когда-то были домами. Один из них был ее, Хаджи, родным очагом. Здесь рождались ее дети, здесь они смеялись и плакали, здесь росли. Тут стояли кувшины с маслом, медом, мукой. Но однажды все это пришлось продать кому-то, кого она и в глаза не видывала. Государству.

Оно из года в год требовало уплатить то, что оно называло поземельным налогом. Может, таков теперешний обычай?

Рахо сказал ей: «Жди. На всякий случай приготовься». Еще он добавил: «Будь в мире со своей душой, ни о чем не тревожься». На слова он всегда был скуп. Тратил их ровно столько, сколько нужно, чтобы рассеять сомнения в умах людей и сумерки в их существовании.

Стояла палатка, но вход в нее был закрыт. Перед ней — циновка, на которой расположились женщины. Они занимались приготовлением кускуса — с полдюжины щебечущих, радующихся жизни созданий. Когда инспектор Али без особых церемоний пристроился в их кружок, закатал рукава и осведомился, не может ли он им помочь, один за одним стихли их голоса, увяли улыбки и утихомирились жесты. Он не придал этому никакого значения. Все так естественно: они его стесняются. Не мешкая, он отшвырнул социальные преграды и свернул шею застарелой фаллократии, этому глупейшему пережитку, почему-то укоренившемуся на арабской земле и извращающему смысл отношений между противоположными полами. Противоположными? Да кто выдумал такую чушь? Какой убогий, глухой к голосу плоти женоненавистник? Да ведь они дополняют друг дружку и в буквальном и в переносном смысле: один пол возбуждает желание другого (и наоборот) и в полнейшем согласии ведет его к райскому блаженству, о каком повествует Коран в одной своей потрясающей главе, от которой в памяти инспектора сохранились лишь жалкие обрывки. Зачерпнув горсть крупы и отведав ее, инспектор только и сказал: «М-м-м-м!» — голова его при этом была склонена набок и слегка запрокинута, как у петуха, чутко внимающего зову весны. И он принялся с усердием готовить кускус вместе с женщинами — словно всю жизнь только и занимался этой женской работой.

Все это время он без устали исторгал из себя нескончаемый поток слов, лишенный всякой последовательности, высыпал на незадачливых слушательниц ворох самых разнообразных сведений. А-а, вы не знаете города? Считайте, что вам крупно повезло, оставайтесь в горах! Никогда не спускайтесь вниз, несчастные! Внизу вас подкарауливают потемки слов и дел. И доказательство тому — что в городе живут только домашние животные. Тех, в ком остался хоть намек на рычание, загоняют в зоопарк. Так вот, с людьми та же история. И он начал рассказывать.

Рассказывал он пространно, нимало не заботясь о правдоподобии. Он выскреб закрома своей памяти, вывалил вперемешку все, что знал. Сведения были непроверенные и сомнительные, а значит, подозрительные с точки зрения полицейского, зато в народе имели больший вес, нежели подлинные факты. Кое-какие из них он почерпнул из официальных бумаг, и их он по-африкански приукрасил: уж больно они были сухи. Им надо было придать всю возможную звучность, чтобы они дошли до его аудитории.

Видит аллах, мало сказать, что его истории оказались с перчинкой,— они были поперчены так густо, что от них горело во рту, горели глаза и уши. От инспектора не ускользнуло, что его слушательницы то и дело отворачиваются или стыдливо опускают очи долу, но ему и горя было мало. Любая правда — она на то и правда, чтоб быть голенькой. Привирая, фантазируя, копируя самых разных людей и персон, вызывая смех (и прежде всего свой собственный), инспектор в этот предвечерний час превратился в весельчака-затейника, едкого сатирика, неугомонного гриота[1]. В ходе словоизвержения он

[1] Бродячий поэт, музыкант и колдун в Западной Африке.

и сам сумел — благодаря тому, что уши его помимо его воли жили своей независимой жизнью,— получить кое-какие отрывочные сведения: что вон та крестьянка напротив, которая так пронзительно поглядывала на него из-под ветхой соломенной шляпы с обглоданными кем-то полями,— мать Жасмине и Жасмины и, значит, в ближайшем будущем его теща; что вот эта рядом, которая сейчас краешком передника утирает слезы смеха и толкает его локтем в бок: «Перестань! Да перестань же, ох, господин, хватит!» — Зинеб, его, инспектора, тетка; и что эта тощенькая девчушка, которой еще не представилась возможность посмеяться, по причине ее полной глухоты,— похоже, его двоюродная сестра, если только не троюродная племянница... Целый клан с могучими, как у кедра, корнями, простирающимися столь же далеко, сколь и глубоко, и черпающими соки в необозримой толще веков.

Когда он умолк, сердце его колотилось от волнения, а горло напрочь пересохло. А умолк он потому, что ему, увы, уже нечего (или почти нечего) было сказать, а еще потому, что его неприятно подтачивало далекое и смутное воспоминание о каком-то расследовании. Он поднялся опустошенный, более чем когда-либо в этой последней четверти двадцатого века чувствуя себя сиротой. Когда он усаживался на пару минут поболтать с женщинами о своей жизни, те встретили его с некоторой настороженностью. Расставался же он со своими собеседницами, довольный и ими, и самим собой: совпадение во взглядах оказалось полным, как пишут в официальных коммюнике. Ну, а теперь? Куда податься ему теперь со своей грустью и своей радостью?

Первая барабанная дробь раздалась в тот самый миг, когда инспектор Али ступил на тропинку, ведущую к пещере. Глухая, тяжеловесная, мерная, она прокатилась до самых вершин. С отрогов первому отозвался еще один барабан, потом начали вторить другие где-то между небом и горами. Идущее отовсюду мрачное бормотанье, сливаясь, будто ткало пространство и время; и напоминало это щемящий душу глас одиночества.

«Не робей, Али,— сказал себе инспектор.— Это всего лишь барабаны. Просто эти крестьяне стучат на них не так, как в современных диско-студиях. Потому-то ты и насторожился. И потом, как раз сейчас ставят на огонь кускус. Так что радуйся!»

Внезапно над горой вознесся пронзительный стон свирели, словно надвое разорвавший барабанную дробь. И тотчас утих — на время рождения или смерти. Когда он зазвучал снова, не было ему ни конца ни края, он объял все вокруг от горизонта до горизонта и на веки вечные: поднимался в тональности до крика и тут же спускался в другую октаву, превращаясь в столь же могучий хрип. Подала голос еще одна свирель, и еще, и еще, словно свора одичалых собак. Этот речитатив, казалось Али, ему уже знаком, его он уже когда-то слышал. Дрожь пробежала по его позвоночнику, и он, сам того не замечая, ускорил шаг.

«Ведь это просто дудки,— выговаривал он себе.— Всего лишь средневековые наши горцы, воспевающие прелести загробной жизни. Не наложишь же ты в штаны от писка деревянной трубочки? Пускай прекрасен потусторонний мир, о котором говорится в Коране. Ну так и что из того?.. Сказал же аллах: «Мы соберем воедино ваши кости, где бы вы ни были; мы дадим вам новую жизнь... Мы ближе к каждому из вас, чем его яремная вена...»

Инспектор почти дошел до места. Оставалось каких-то двадцать метров... вот уже шагов шесть. Сейчас он войдет в пещеру, вооружась принятым решением, немногословно объяснится со своим бывшим начальником, вернет ему свое предписание, нет, разорвет по-

полам, сложит половинки и снова разорвет... на мелкие кусочки. Теперь ему ровным счетом наплевать что на это дурацкое расследование, что на полицию с государством, вместе взятые.

«Да нет же, ничего такого я не сделаю. Я иногда побазарю, это правда. Повыступаю, подеру глотку, но и только. Говорю я много, даже слишком много, дальше-то дело не идет».

Все это он сказал себе в каком-то холодном отчаянии. Потому что теперь он знал, что, потеряв человеческую сущность, он превратился в рядового исполнителя, соломинку в куче навоза. Намертво встряв телом и душой в гигантский государственный механизм, он сделался неспособным ни на что иное, кроме как продолжать хватать и дубасить людей. Чтобы выжить. Он замедлил шаг и остановился.

Почему, обернувшись, чтобы почерпнуть толику надежды в великолепии закатного багрянца, именно в этот миг подумал он о слепых? Если им неведомо дневное светило, не считая исходящего от него тепла и того представления о нем, какое может у них сложиться (черное солнце), то и способности созерцать мир они тоже лишены. И тем лучше для них. Да, тем лучше!..

— Слепой,— вдруг пробормотал инспектор.— Был тут вчера один.

Он тотчас припомнил его имя: Басфао. И мелкие, незначительные подробности разом ожили в его памяти: огненно-рыжий осел, который брел, покрытый густым слоем пыли; Хаджа, за какие-то сутки неизвестно где потерявшая свой музыкальный смех; ее слезы и тягостное замешательство, когда он попросил у нее гостеприимства навсегда; взгляды, убегающие в сторону, и голоса, умолкающие при его появлении; Бургин, говорящий: «Сними»; могила, которую копал Рахо, кирка в его руках и его колючий взгляд... Целая гигантская паутина, которую сплели первобытные горцы для посланцев последней четверти двадцатого века. Все имело, оказывается, свой потаенный смысл! И заунывная песнь свирели, грохочущие словно из глубин веков барабаны обрели иное, зловещее звучание... Одним прыжком инспектор Али преодолел расстояние, отделявшее его от входа в пещеру, где лежало оружие.

Острие ножа с роговой рукоятью встретило его на уровне сонной артерии, и возникший из ничего голос Бургина произнес:

— Иди, брат мой. Рахо желает тебя видеть.

Нет, сделать хоть малейшее движение не стоит и пытаться. Да, впрочем, это было бы и невозможно: руки инспектора уже схвачены намертво полудюжиной горцев. Нет, о нет, ни к чему спрашивать, что сталось с начальником.

— Иди, брат мой! — заключил Бургин.

А от горизонта до горизонта свирели тянули «Песнь усопших», в то время как барабаны били, вторя один другому, хором испрашивая своими глухо рокочущими голосами прощения у бога и людей.

10

Заступ стоял на земле: ручка устремлена в небо. Кирка же острием была воткнута в стенку зияющей могилы, как если бы инструмент готов был снова вгрызться в неподатливый грунт, чтобы углубить ее насколько понадобится. Вокруг, куда ни глянь, щебень и скалы. За могилою — палатка из шкур. У входа в палатку, скрестив под собою ноги, сидел Рахо. Смоляные факелы отбрасывали на его лицо бронзовые отблески. Он промолвил:

— Я не судья тебе.

Он замолчал. Потом проговорил:

— Решать будет совет. Все мы. Мы все одна семья.

Никто не добавил ни слова. Все ждали, сбившиеся в плотные

кучки: Аит Яфельманы и окрестные горцы. Не смолкали только свирели и барабаны. Темп их звучания был сродни терпеливой медлительности упрямства.

Рахо поднял руку, и утихли и они. Он произнес:

— Возьми заступ и похорони своего товарища. Он умер. Завтра будет жарко.

Вновь забухали барабаны, гортанно моля всевышнего отпустить умершему его грехи. Али не был связан ни по рукам, ни по ногам. И держать его никто не держал. Он был свободен в своих движениях, но инстинкт подсказывал ему, что сейчас для него нет ничего опасней, чем удариться в бегство. Не стал он и лишний раз смотреть на покрытый куском брезента продолговатый предмет, из-под которого выглядывали носки сапог. Обливаясь горючими слезами, инспектор проговорил:

— Да упокоит господь его душу там, где она есть! — От волнения он даже начал заикаться: — В-вы... вы...— И закричал, в то время как гул барабанов стихал до извиняющегося бормотания: — Вы сошли с ума! Вы, наверно, думаете, что *они* про это не узнают? Но *они* узнают и придут за него отомстить! Эх, клянусь аллахом и пророком, сразу видно, что вы никогда не высовывали носа из своей средневековой дыры!

Не повышая голоса, не придавая своим словам ни малейшего оттенка приказания, Рахо произнес:

— Опусти своего друга в яму и засыпь его камнями и землей.

Потом он добавил:

— Могила вырыта. Положи его головой в сторону Мекки. В детстве он был мусульманином.

Пришедший откуда-то сверху, ястребом пал голос:

— Твой черед придет.

Ропот барабанов примолк, уступая место плачу свирелей. Едва заслышав эту душераздирающую жалобу, Али понял, что он должен заставить ее замолчать. Немедленно, во что бы то ни стало. Пока хоть один барабан подавал голос, можно было надеяться. Но теперь властно возобладали свирели, и уже сновали какие-то тени, неразборчивые обрывки фраз долетали до ушей инспектора.

Все это неясное бормотание вокруг него. Перемещающиеся дымные факелы. Земля, на которую он рано или поздно рухнет. И холодный, словно металл, безжалостный свидетель — небо. Пронзительный, колющий стон свирели, загоняющий его в безысходный страх, несмотря на всю его кошачью живучесть. Потому что страх тут, рядом, он в тысячу раз реальнее, чем сама жизнь. Не умереть страшно, нет — умереть ни за что ни про что. Не раздумывая более, инстинктивно обращаясь к Рахо, к которому он подступил на расстояние разделяющей их могилы, инспектор произнес:

— Ты обещал мне... Мое ружье... Ты...

— Да,— ответил Рахо.

— Ты обещал отдать его мне сегодня вечером. Ты сказал: сегодня вечером.

— Да,— молвил Рахо.— Я обещал.

Он погрузился в глубокое раздумье. И когда он наконец заговорил на фоне стихающей песни свирели и приглушенного барабанного боя, голос его шел издалека, словно ниоткуда:

— Этот человек, он из наших, мой внук. Его зовут Басфао. Сначала он жил здесь. А потом спустился туда, по ту сторону горы, в страну алжирцев. Зрение у него всегда было слабое, это правда. Немало лет он проработал на заводе удобрений. Не знаю, что там есть, в этих удобрениях, но они сделали его совсем слепым. Тогда он возвратился к нам. Этого-то человека вы и приехали разыскивать со своим автомобилем, своей полицией и своим оружием. И я точно знаю: если б вы его нашли, гнить бы ему сейчас в одной из ваших

тюрем. Держи, вот оно, твое ружье! Оно заряжено, патроны все до одного на месте.

Он пошарил позади себя, взял ружье в обе руки и, занеся над головой, бросил через могилу. Али поймал его на лету, оттянул затвор, высыпал патроны себе под ноги и отшвырнул ружье в сторону, как ненужный хлам. В рокоте барабанов и тотчас поднявшемся гаме он сумел различить голоса надежды: краткое суждение стоявшего рядом Бургина: «Это брат»; благословенный голос Хаджи: «В нем нет зла, он не ведает, что́ творит, но по-настоящему зла в нем нет»; другие, одобряющие его мужество...

Страх по-прежнему гнездился в нем, только уже застарелый, привычный, когда он заговорил вновь:

— Я ничего этого не знал. Ни того, что он работал у наших братьев-алжирцев, ни того, что его за что-то там разыскивают. Все это хранилось в голове у начальника, а он мертв. Как же я могу быть свидетелем того, о чем знаю меньше всех на свете?

Он продолжал, бурно жестикулируя и проворно поворачиваясь на пятках, чтобы быть лицом ко всем четырем сторонам света и к любой опасности, из какой бы точки земли или неба она ни исходила, но конец каждой фразы неизменно адресуя Рахо:

— Всего только два часа назад, а может, три — у меня нет чувства времени, несмотря на все наручные, настенные и прочие часы цивилизации... каких-нибудь два или три оборота сделала часовая стрелка с тех пор, как из его уст я узнал, в чем же тут, в конце-то концов, дело! Да и то! Какие-то обрывки... Эх, не знаете вы начальников! Они все держат при себе, даже мысли у них по большей части тайные. А этот — он был самый скупердяй из всех, он теперь мертв, да упокоит господь его душу там, где она есть, чтобы она не преследовала меня больше днями и ночами! Иначе я окончательно свихнусь. Ну что я был такое, а? Слуга, холуй, не больше. «Али, сукин сын, подай-ка мне рубашку... Али, запиши-ка, что́ я тебе сейчас скажу, да слушай хорошенько, крокодилья твоя башка...» Все было очень просто: я лежал себе в своей постели и мирно спал. Ни сном ни духом не ведал о существовании этой деревни и ее жителей. Истинную правду говорю. А когда я узнал, что́ намеревается сделать начальник, у меня в голове тотчас же созрел свой план, клянусь аллахом и пророком! Так что же, начальник умер? Умер. Значит, он, бедняга, так никогда и не узнает, что́ готовил я за его спиной. А он-то держал меня за слабоумного!

— Ну, и что за план такой созрел у тебя в голове? — раздался зычный голос.— Расскажи.

— Клянусь аллахом и пророком, я собирался обтяпать вот что: вернуться вместе с ним в город и заговорить зубы полицейским шишкам с помощью слов и бумаг. А бумаг на него у меня полным-полно, ведь так? Не так уж я прост, как ему казалось. Я бы сказал им: настоящий преступник, подрыватель устоев, которого вы разыскивали аж в горах, так вот, это он, он, начальник,— что, съели? Теперь вот что: поверили бы они мне? А черт его знает. Но такие вещи случаются. Надо вам сказать, что, начиная с некоторой ступеньки могущества, на начальников посматривают косо: как бы они не забрали всю власть себе. Так и позыркивают один на другого, подмечают да подсиживают — вы понимаете, о чем я говорю?

Если раньше толпа глухо роптала, то сейчас она разгалделась не на шутку, заглушая свирели и барабаны.

— Да врет он все.

— Небылицы плетет.

— Он просто запутался,— увещевала Хаджа.— Он не ведает, что́ говорит. Никак не угонится со своим языком.

— Он нас за простофиль принимает.

— Дайте ему высказаться,— проговорил Рахо.— Ночь впереди длинная.

Всю ночь напролет инспектор без устали ворочал языком, ворочал мозгами, пока они окончательно не встали у него набекрень.

До рассвета инспектор чего только не наговорил, кем только не перебывал — и все совершенно искренне. Самым трудным было проникнуть в голову Рахо и убедить его, что нет, он, инспектор, не предавал закона гостеприимства и что, если обстоятельства сложились против него и обрели силу родового закона, что ж, в таком случае он готов умереть немедля и раз и навсегда. Ружье — вот оно, достаточно подобрать с земли патроны и зарядить его. Или тот нож с роговой рукояткой, который так достойно проявил себя в Алжире, а теперь навеки угомонил неуемного начальника, или та кирка, что бездельничает сейчас в могиле, да любой режущий или дробящий инструмент.

Рахо был упрямо прост, медлителен и терпелив: по его разумению, если сын Адама и Евы попросил божьего гостеприимства, это означает, что он душой ручается вести себя по чести. Тут он был неколебим.

— Честь? — горячился Али.— Где, интересно узнать, место для чести в такой организации, как современное общество? Подите-ка поищите...

Упорно стоя на своем, он принялся объяснять им, что он, прозябающее в городе жалкое подобие араба и ошметок мусульманина, с течением лет превратился в собаку в большинстве сфер: в работе, в отношениях с людьми, даже в жратве... Собаке, естественно, понятие чести неведомо. Но после одного-единственного дня и одной-единственной ночи, проведенных в этой деревне среди Аит Яфельманов, он, Али, осознал всю суетность и глупость своего прошлого существования. Он решил отринуть все и поселиться вместе со своими братьями-горцами, ведь так, Хаджа?.. И Хаджа привела свое волнующее свидетельство, слово в слово изложив то, что говорил ей Али и что отвечала ему она, и добавив от себя, что он всего только бедный сирота, заброшенный богом и людьми и мнящий себя умным, но что она прощает его и верит ему, несмотря ни на что. Благоговейно внимавший ей Али почувствовал, как на глаза его наворачиваются слезы, а в сердце поднимается против самого себя черная ярость. Он облобызал руки старой женщине, направился к одному из барабанов и отбил на нем ритуальный ритм.

— Я как вы,— заключил он.— Горемыка, заблудившийся в цивилизации и в созданной ею *шпикарне*.

Внимательно выслушав его, Рахо изрек голосом судьбы:

— К рассвету, если так порешит совет, от тебя, от твоего товарища, от ваших вещей и вашей автомашины не останется и следа. Ничего.

Тут уж Али по-настоящему засуетился. Он стал доказывать старику, пошел доказывать от группы к группе, нескончаемо многословный, подпрыгивающий, проворный, вездесущий, что это будет самая большая ошибка в их жизни: ведь существует картотека Центрального бюро. Ладно, согласен, пускай эту старую железную клячу разберут на мелкие детали и распродадут их аж до Судана, это будет изящное решение! Пускай их трупы, его и начальника Мухаммеда, захоронят в адской пропасти, пусть так, он согласен! О господи, да он согласен! Но как они собираются уничтожить бумаги Центрального бюро там, в столице шпиков и правительства? Предписания, приказы, вся эта бухгалтерия живет своей суровой жизнью...

— Делайте что хотите, парни из совета. О да! Вольно вам поступать согласно мудрости мудрейших этой деревни и окрестностей! Но через три дня, самое большее через неделю, вам придется иметь дело уже не с парой ротозеев вроде нас... потому что нужно сказать,

и я осмелюсь сказать вам это: замкнувшийся в своей начальниковой скорлупе, начальник вообразил, будто вы всего-навсего деревенщина с бараньими мозгами, простофили, которых он обведет вокруг пальца, едва только покажется вам в своем пестром мундире. Потому-то он и сыграл в ящик, поганец, да упокоит господь его душу там, где она есть — среди миллионов и миллионов поганцев, правивших на этой земле! Ну нет! Клянусь аллахом и пророком, правительство не упустит случая выслать сюда броневики и бомбардировщики... Делайте что хотите. Лично я умываю руки.

Али живописал катастрофические последствия нашествия броневиков и бомбового удара, наглядно изобразил, как будут рушиться остатки деревенских стен, как взорвется гора, словно невиданный вулкан. А потом сел. Мозги у него были не настолько свободны, чтобы он мог пораскинуть ими насчет своего будущего, даже самого ближайшего. Может, он грезил о том, что могло бы быть: две райские гурии по бокам, вечерами и утрами, а главное — ночами, до скончания времен, вечно такие же прекрасные, неподвластные старости. Как бишь их там?..

В конце концов он задремал...

Его растолкали, поставили на ноги, подвели к палатке. Барабаны смолкли, свирели тоже. Единственное, что оставалось от окружающего мира,— два десятка людей с факелами в руках. Они обступали его плотной стеной. И говорили поочередно, не давая ему ни секунды передышки. Как он собирается уничтожить правительственные бумаги? Какое решение он предлагает? Нет, это не пойдет: труп его товарища должен быть захоронен на месте, так велит обычай. Али сражался с ними словом против слова, аргументом против аргумента, лицом к лицу с каждым из них в отдельности, а временами — со всеми вместе, когда они принимались говорить все разом и нужно было если не отвергать, то переиначивать каждое их слово. Он, такой весельчак в жизни, такой неисправимый фантазер в обиходных разговорах (и в мыслях), сумел оказаться тем, кого в нем хотели увидеть: человеком серьезным, здравомыслящим, решительным. Настоящим начальником.

Он объяснил им, он разложил по полочкам и расписал во всех регистрах соответственно степени понятливости каждого из его собеседников, что нет, так не пойдет, что нужно, наоборот, положить останки начальника на заднее сиденье автомобиля... Нет, он не знает, были ли у покойного родственники или друзья, но дело совсем не в этом. Живой или мертвый, этот человек должен быть возвращен своей настоящей семье: полиции. Государству, если хотите... Полиция заменила в нем все, даже душу. Это так же ясно, как то, что четыре да три будет... Каким образом он собирается затушить пожар и повернуть дело так, чтобы ни одна стрела, не говоря уж про бомбы, не упала на деревню? У него есть бумаги, предписания на выполнение задания, вот смотрите. Ах да, вы же не умеете читать, так он сам прочтет, слушайте. Вот такая история: primo, шишки всегда правы, они и тут попали в точку — в этой мирной и благонамеренной деревне действительно скрывался подрыватель устоев, опасный преступник. (Вы не беспокойтесь, он, Али, наделит его именем, подробным описанием и всевозможными дополнительными сведениями, чтобы досье разбухло на много-много страниц, те это любят...) Secundo: начальник Мухаммед уже намеревался его арестовать, но тут произошла жестокая схватка. К его, Али, великой скорби, его любимый начальник и друг пал от многочисленных ударов ножом (говоришь, от одного?), а тот негодяй удрал в Алжир. Вы устремились за ним в погоню — вы все, сколько вас есть, и он, Али,— но мерзавцу повезло. Пускай теперь они разбираются промеж себя, пускай, если понадобится, создают дипломатический инцидент!.. Но нужны доказательства. Письменные доказательства.

К утру Али составил длиннейший протокол. Рахо и юноша в очках умели подписываться, и они старательно вывели свои подписи. Трое или четверо нарисовали по звезде. Остальные члены семейства Аит Яфельманов ограничились тем, что приложили к бумаге большой палец.

Шум мотора стихал на горизонте — и вставало солнце нового дня. Рахо и Хаджа, оставшиеся одни на горе, сидели лицом к лицу.

— Ведь ты не поверил ему? — спросила Хаджа.

— Нет.

— И все-таки сохранил ему жизнь?

— Его час еще не пришел.

Рахо долго молчал, и глаза его омывались светом зари. Потом он сказал:

— Теперь они знают, где мы. Я хотел бы немного поразмыслить.

Хаджа поцеловала его в лоб и поднялась. Ничто и никогда не могло поколебать ее безграничного к нему доверия.

11

Начальник полиции Али прибыл в деревню ранним сентябрьским утром. Небо меж плоскогорьями и отрогами Атласа являло собой великолепное буйство красок изумруда, бирюзы и рубина, и по всему этому с ревом ползал вертолет.

Начальник приехал в «лендровере», оборудованном рацией. Он прибыл сюда с официальной миссией и выполнял ее открыто. Над ним высилась целая пирамида начальников, в большинстве своем неизвестных ему даже по фамилии. Но приказы оставались приказами. Спускаемые вниз по иерархической лестнице, они достигали его в виде безличных пометок, небрежно начертанных красным карандашом и сопровождаемых неразборчивой подписью.

Начальник остановил машину на каменистой площади посреди деревни, выключил зажигание, испустил вздох, закурил сигару и двинул локтем своего спутника, инспектора Смаила, голова которого безмятежно покоилась на передней панели.

— Проснись,— гаркнул он.

Инспектор Смаил встрепенулся, зевнул и явил начальнику свои словно запорошенные пылью глаза.

— Я не спал, начальник,— отозвался он.— Я размышлял.

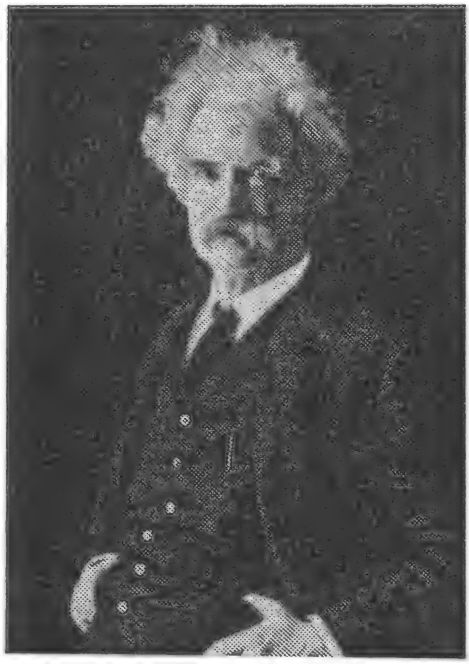
— Ах, так? — спросил начальник.— Ты размышлял? Так вот, инспектор Смаил, от тебя так много не требуется! И потом, сейчас не время. Открой дверцу, выйди и заряди автоматы.

До самого вечера прочесывали они деревню, пещеру за пещерой и на много лье вокруг. Но везде было пусто. Ни души.

◆

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ МАРАТОВИЧ (род. в 1949 г.)

Советский переводчик с французского. В его переводах опубликованы рассказы Пьера Буля, Жоржа Сименона, повесть Буало-Нарсежака «Белая горячка».



МАРК ТВЕН

Три тысячи лет среди микробов

История жизни микроба с примечаниями, сделанными той же рукой семь тысяч лет спустя

Перевод с микробского Марка Твена, 1905 г.

ФРАГМЕНТЫ ПОВЕСТИ

Перевод с английского
ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Марк Твен прожил семьдесят пять лет. С тех пор прошло еще семьдесят пять. Таким образом, на нынешний, 1985 год приходится две памятные даты, связанные с его именем: 150 лет со дня рождения и 75 — со дня смерти. Сам Твен, будь он жив, вероятно, обыграл бы эту «арифметику» со свойственным ему остроумием. Но то Твен... Мы же отнесемся к его памяти с полным уважением и серьезностью.

Нужно ли говорить сегодня о значении творческого наследия Твена? Он — признанный классик американской и мировой литературы, выдающийся художник-реалист, чье значение в истории американской словесности огромно и непреходяще. Вспомним знаменитое изречение Хемингуэя о том, что вся современная литература США «вышла» из «Гека Финна». Книги Твена давно уже стали общим достоянием читающего человечества. Вот уже более сотни лет они переводятся и издаются миллионными тиражами во всех концах земли. На сочинениях Великого Мастера воспитываются все новые и новые поколения читателей, и сегодня выражение «наш Твен» по смыслу своему не ограничено национальными рамками. Он не только «наш американский», но также «наш всечеловеческий».

Жизненный и творческий путь Твена, невзирая на всю его огромную популярность, никак нельзя назвать безоблачным. И дело здесь не только в личных обстоятельствах его биографии, в больших и малых войнах с общественным мнением, официозной критикой, где он то одерживал победы, то терпел поражения.

Главная трагедия жизни Твена-художника сопряжена с разрушением идеала и утратой веры. Он родился в эпоху «джексоновской демократии», когда мыслящие американцы, уже начинавшие осознавать органическую порочность собственной социальной организации, все еще сохраняли оптимистические надежды на благотворность и дееспособность ее основных принципов. Идеал не был достигнут, но представлялся тогда достижимым. Умер же Твен в ту пору, когда американский капитализм, поправ демократические идеалы, стал на путь откровенно империалистического развития.

Молодой Твен верил в жизнестойкость американской демократии. Старый Твен не верил ни во что. Ему не дано было оценить возможности и мощь новой историче-

ской силы — пролетариата. Единственное, что уберегло Твена от полной мизантропии,— это смутная надежда на трудовой люд, на «Едоков Соленого Хлеба». Соответственно и в творчестве Твена — неутомимого борца против своекорыстия, ханжества, лицемерия, политической нечистоплотности, коррупции, демагогии, фальши — полосы светлых надежд сменялись полосами сомнений, неверия, страстного негодования и безнадежного пессимизма.

Особенно трагичным был финальный этап жизни Твена. Тут, как говорится, сошлось все: прискорбные обстоятельства личной жизни (смерть жены и двух дочерей, тяжелое сердечное заболевание самого Твена), ожесточенная борьба с издателями и прессой, а главное — горькое чувство невозвратной утраты веры в демократическую Америку, вызванное внешней и внутренней политикой правящих кругов на рубеже веков. Деятельность администрации У. Маккинли и Т. Рузвельта, «подвиги» американской военщины в Китае, на Филиппинах, на Гавайских островах, на Кубе, расистские расправы с цветным населением и расстрелы рабочих демонстраций на родине — все это приводило Твена в неистовство. Он задыхался от ярости и бессилия, чувствуя, что теряет веру в Америку, Христианство, Демократию. Все чаще ему приходила в голову мысль о «ничтожестве людей вообще» и, следовательно, о бесплодности любых попыток установить на земле разумный и справедливый порядок.

Однако Твен не сложил оружия: один за другим из-под его пера выходили свирепые памфлеты, такие как «Человеку, Ходящему во Тьме», «Соединенные Линчующие Штаты», «В защиту генерала Фанстона», «Военная молитва» и др. Все они имели явно антиимпериалистическую направленность и давали Твену полное основание заявить: «Я антиимпериалист».

Наряду с памфлетами Твен написал в это время несколько крупномасштабных сочинений социально-философского характера, представляющих собой в некотором роде итог невеселых размышлений об Америке и американцах, человеке и человечестве: «Человек, который совратил Гедлиберг», «Что такое человек?», «Таинственный незнакомец», «Таинственный незнакомец в Ганнибале».

Многие из сочинений, созданных Твеном в начале века, обладали столь мощным критическим зарядом, что писатель не решился публиковать их при жизни. В письме к Уильяму Д. Гоуэлсу, знаменитому прозаику, критику, редактору, он как-то заметил: «Я не брошу литературную работу... но печататься почти не буду (ибо у меня не больше желания быть оскальпированным, чем у всякого другого)». Остается лишь прибавить к этому, что некоторые из поздних произведений великого сатирика все еще дожидаются публикации. К их числу относится и предлагаемая читателю повесть «Три тысячи лет среди микробов» — сочинение своеобразное, странное и, по-видимому, не совсем законченное.

Судя по имеющимся немногочисленным сведениям, Твен начал работать над повестью в 1904 или 1905 году и трудился с большим увлечением. Биограф Твена А. Б. Пейн полагает, что мы имеем дело с вполне завершенным произведением. Однако существуют два обстоятельства, заставляющие в этом усомниться. Первое — это письмо Твена к пастору Твичелу, другу писателя, где он сообщал, что забросил работу над рукописью. Второе — состояние текста самой рукописи. Твен был взыскательным художником. Все его романы, повести, рассказы, памфлеты отличает высокая и жесткая организация материала, строгая последовательность и логика в развитии идеи, четкое сюжетное построение, экономность в использовании выразительных средств, целенаправленность смысла. Все эти моменты присутствуют в публикуемой повести в ослабленном виде, а временами отсутствуют вовсе. Отсюда мы вправе заключить, что писатель завершил первый вариант повести и намерен был продолжить работу над текстом, но по разного рода причинам не сумел этого сделать.

«Три тысячи лет среди микробов» — сочинение яростное, злое, жестокое, язвительное, пропитанное смертоносным ядом иронии. Против чего же направлен гнев писателя? Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку объекты твеновской сатиры здесь многочисленны. Попробуем назвать некоторые из них. Это монархические и республиканские государственные системы, политика колониальных захватов, буржуазная «цивилизация» в целом и в частностях, политическая демагогия, социальная психология, христианские догмы и религия как таковая, преклонение перед ложными авторитетами, современная историография, милитаризм и военные доктрины империализма, американская демократия и буржуазная Америка, представленная в облике Скоробогатии, преклонение перед Европой и европейцами, шовинизм и национализм, иммигранты (как социальная категория), президент Теодор Рузвельт, валютная система, толковые словари, судьба национального языка, этические теории буржуазного общества, научно-технические достижения и даже сам автор повести. Этот перечень можно было бы продолжать, но сказанного достаточно, чтобы понять, что переизбыток «объектов» потребовал от Твена особого способа повествования, нетривиальной формы, выработка которой давалась ему, видимо, с большим трудом.

Решая эту задачу, Твен вооружился не только собственным богатым опытом сатирика и памфлетиста, но и опытом великих предшественников. А. Б. Пейн сравнивал повесть о микробах с «Путешествием Гулливера». Это справедливо, хотя если уж вспоминать в этой связи о Свифте, то следовало бы в первую очередь назвать его памфлеты. Некоторые эпизоды повести Твена напрямую восходят к свифтовскому «Скромному предложению» и к «Письмам суконщика». Странно, однако, что никто не вспомнил о национальной традиции, имеющей самое непосредственное отношение к мемуарам микроба. Речь идет, конечно же, о Фениморе Купере и его повести-памфлете «Моникины» и о фантастических новеллах Эдгара По.

Эдгар По был основоположником научной фантастики. Это знают теперь все. Но мало кто помнит, что он был также мастером «околонаучной» фантастики — особого жанра, где «научные данные» употребляются в качестве инструмента социальной сатиры, с полным пренебрежением к логике и здравому смыслу. Блестящими образцами этого жанра являются «Разговор с мумией» и «Тысяча вторая сказка Шехерезады». Именно к этой традиции и принадлежит сочинение Твена.

Мир микробов в повести — это аллегорически представленный мир людей, но аллегория здесь не эзоповская, не лафонтеновская и даже не свифтовская, а именно твеновская. Тут все перепутано и сдвинуто. С одной стороны, перед читателем некая сказка о таинственной жизни микробов в человеческом организме, образующем как бы «микробскую» планету. Здесь свои особые порядки, свои законы, свое исчисление времени, при котором один год равен десяти «человеческим» минутам, а три тысячи лет, стало быть, соответствуют примерно двадцати дням. Вместе с тем мы воспринимаем этот мир как иносказание, как аллегорическое изображение человеческой, и прежде всего американской жизни в ее социальных, исторических, нравственных аспектах. Но Твен не сохраняет четкого разграничения между реальным миром и иносказанием, отражающим эту реальность, как того непреложно требовала классическая аллегория. У него все перемешано. Читатель никогда не может быть уверен, то ли микроб — аллегория человека, то ли человек — аллегория микроба, то ли неизвестно что, например, микроб Екатерина Арагонская с кораллами на шее и браслетами на руках, крутящая ручку «мыслефона». Невольно вспоминается знаменитое твеновское интервью, где выясняется, что его дает писатель, которого во младенчестве перепутали с его братом-близнецом, и один из них утонул в ванне, и этот утонувший был именно он, писатель, который теперь дает интервью.

В постоянном смешении «микробского» и «человеческого» взгляда на все сущее, в алогичности «околонаучной» фантастики, подчиненной задачам сатирического иносказания, в двойной и тройной аллегоричности повествования можно и должно видеть не только художественный смысл, но еще и смысл историко-литературный. Едва ли вызывает сомнение то обстоятельство, что «переворот», учиненный в современной американской литературе Куртом Воннегутом, Джозефом Хеллером и «черными юмористами», восходит до некоторой степени к позднему творчеству Твена.

Картина жизни, представленная Твеном в повести о микробах, поражает своей беспросветной мрачностью. В ней почти нет светлых пятен, и ничто не вызывает сочувствия. Единственное, пожалуй, исключение — это тягостная судьба «неболезнетворных микробов», под которыми следует понимать, говоря словами самого Твена, «трудовой, забитый, неимущий, презираемый люд». Они-то и есть «Едоки Соленого Хлеба» — соленого, потому что каждая крошка его облита потом. Они не заражены болезнями буржуазного мира. В них, и только в них, сохранилось еще истинное нравственное начало. Однако судьба их, как кажется писателю, лишена надежды, во всяком случае в ближайшем будущем.

Ю. КОВАЛЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Произведение, предлагаемое вниманию читателей,—труд исторический, тем не менее я вполне полагаюсь на его достоверность. Каждая его страница — убедительное доказательство того, что автор излагает голые факты, не приукрашивая их вымыслом. Такая манера изложения, возможно, утомляет читателя, но зато дает пищу уму; я испытываю удовлетворение при мысли, что просвещенная публика, давно пресыщенная фантазиями на исторические темы, не подкрепленными ни единым фактом, будет наконец вознаграждена.

Я сохранил в переводе не только суть, но и стиль автора. Сначала я исправлял и то и другое, но потом отказался от этой затеи. Создавалось впечатление, будто я обрядил портового грузчика в смокинг и заставил прочесть лекцию в колледже. Щегольской наряд сковывал его; безупречно правильный, изысканный английский язык в устах простолюдина звучал натянуто и неестественно и, пожалуй, неприятно — холодно и безжизненно, я бы даже сказал, отдавал мертвечиной. И тогда я решил оставить автора в привычной для него одежде — рубашке и комбинезоне,— пусть лучше, по своему обыкновению, путается в словах. Пишет он неряшливо и многословно, все время отклоняясь от темы, с самодовольством, какого я доселе не встречал, а его неграмотность может вызвать разрыв сердца. Ничего не поделашь, принимайте его таким, каков он есть.

Переводчик

Маг допустил ошибку в эксперименте — в те далекие времена было невозможно добыть настоящие чистые реактивы — и в результате превратил меня не в птицу, как собирался, а в микроба холеры.

ПРИМЕЧАНИЕ (семь тысяч лет спустя).

Я пробыл микробом три тысячи лет (микробо-лет), когда приступил к этой повести. Сначала я намеревался для экономии времени зафиксировать ее на механическом мыслефоне, но потом раздумал: а вдруг захочется коснуться чего-то личного? Впрочем, хочешь не хочешь, а это придется сделать. Так не все ли равно, обнародовать свою тайну в печати, и дело с концом, или доверить машине, которая раскроет ее любому негодяю, стоит ему повернуть ручку,— негодяю любой национальности, говорящему на любом языке? И я решил: напишу книгу на родном языке. Не так уж много суфласков сможет ее прочесть, если она попадет им в руки. К тому же я начинаю забывать родной английский язык, и работа над книгой, несомненно, поможет мне освежить его в памяти.

Сначала я был недоволен своей судьбой, но это быстро прошло. Я заинтересовался тем, что меня окружало, мне захотелось поскорее все познать и освоиться в новой обстановке. По неведомой причине я был прекрасно подготовлен к новому существованию и сразу же прижился в новой среде. Во мне заговорили инстинкты холерного микроба — его восприятие жизни, взгляды, стремления, тщеславие, привязанности. Я так ревностно и страстно исповедовал идеи микробохолеризма что превзошел в этом самих микробов холеры. Я уподобился нашим американским девушкам: не успеют выйти замуж за европейского аристократа, как за неделю утрачивают свой демократизм, а за вторую — и американский акцент. Я обожал весь микромир бацилл, бактерий, микробов, я отдал им жар своей души — какой они могли вынести, разумеется. Мой патриотизм был горячее их патриотизма, агрессивнее, бескомпромисснее. Короче говоря, я стал всем микробам микроб. Отсюда ясно, что я судил о микробах с их собственной точки зрения. В то же время я мог судить о них с человеческой точки зрения, и это обстоятельство вызывало ко мне особый интерес. И еще: я сохранил представление о человеческом исчислении времени, о человеческом периоде жизни и вместе с тем хорошо чувствовал микробное время, представлял себе их период жизни. В человеческом исчислении десять минут означало десять минут, а в микробном год. В человеческом исчислении день означал день, в микробном же сто сорок четыре года. В человеческом исчислении неделя была неделей, в микробном—тысяча восемь лет. В человеческом исчислении год был годом, а в микробном — пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать лет. Пользуясь летосчислением микробов, я мог увидеть в колыбели нежное юное существо и проследить его судьбу до самой старости — секунду за секундой, минуту за минутой, час за часом. Крошка расцветает, превращаясь в прелестную девушку, сочетается узами брака с боготворимым ею юношей; достойная мать семейства, она взирает с любовью на миллионы своих малышей, воспитывает в них честь и благородство, оплакивает миллионы деток, умерших в раннем возрасте, ликует на миллионах свадеб своих более удачливых детей; вот и приближающаяся старость дает о себе знать дряхлостью и морщинами, и наконец ее, освобожденную от печали и бремени жизни, опускают в могилу на вечный покой, и я провожаю ее слезами прощания — все это за сто пятьдесят лет по микробному времени и за двадцать четыре часа по человеческому.

Незадачливый маг ввел меня в кровь старого, опустившегося бродяги. Зовут его Блитцовский, если он не врет. Он прибыл в Америку на пароходе, родом он из Австро-Венгрии, но Австро-Венгрия устала от него. Летом Блитцовский бродяжничает и спит в поле, а зимой побирается в городах и ночует в тюрьме, если спать в канаве слишком холодно. Он был трезв всего лишь раз в жизни, но не помнит, когда это случилось, он никогда не бреется, не моется, не расчесывает свалявшиеся патлы, торчащие вокруг плеши. Блитцовский — невероятный оборванец и грязнуля, он злобен и жесток, мстителен и вероломен, он родился вором и умрет вором, он богохульник, каких свет не видывал; его тело — сточная труба, помойка, свалка гниющих костей, в нем кишмя кишат паразиты-микробы, созданные на радость человеку. Блитцовский — их мир, их земной шар, владыка их вселенной, ее сокровище, ее диво, ее шедевр. Они гордятся своей планетой, как земляне — своей. Когда во мне говорит дух холерного микроба, я тоже горжусь им, восторженно славлю его, готов отдать жизнь за старого бродягу, но стоит человеческой природе взять верх, как я зажимаю нос. Не могу уважительно относиться к кладбищу старого мяса!

Прошло уже около трех недель с тех пор, как я стал микробом. По микробному времени — около трех тысяч лет. О, какие это были

века! Века радости, успеха, нищеты, надежд, отчаяния! Сколько горя и страданий я испытал за тягуче-медленное течение столетий. Миллиарды моих любимых и верных друзей покидали эту юдоль печали, чтоб не вернуться никогда. Какие мрачные и какие лучезарные дни я пережил!

Когда я стал микробом, превращение произошло так быстро, что я сразу почувствовал себя как дома. И неудивительно — не так уж велика разница между человеком и микробом. В мире микробов, как и в человеческом, существует великое множество разных наций и языков. Микробы полагают, что человек, в котором они обитают,— единственный разумный мир. Для них это огромный и удивительный мир, они гордятся им, будто сами его создали. Одинокий старый бродяга никогда об этом не узнает, очень жаль, потому что похвала для него — большая редкость.

Наш мир (Блитцовский) — огромный, величественный вызывает у нас, микроскопических существ, благоговейный трепет, как Земля у человека. В нашем бродяге есть горы, великие океаны, озера величиной с море, много рек (вены и артерии), шириной в добрых пятнадцать миль, а что касается длины этих рек, то она непостижима, Миссисипи и Амазонка по сравнению с ними — ручейки на Род-Айленд. Малым же рекам несть числа, и количество грузов, подлежащих обложению налогами,— заразы, которую они переносят,— ни одной американской таможне и не снилось.

А почему бы нашему бродяге и не казаться величественным крошечным существам? Представляете, какой жалкой пылинкой казался бы человек рядом с вертикально поставленным Американским континентом? Стоя на выпуклой нижней оконечности, большом пальце ноги континента— мысе Горн, человек, естественно, поднял бы глаза вверх. И какую же часть устремленного ввысь, скрытого дымкой колосса он охватил бы своим взором? От ступни до середины колена? Ничуть не бывало! Он не увидел бы и его десятой части! Колосс стал бы расплываться у него перед глазами и таять в небесах. С таким же успехом можно поставить одного из нас, микробов, на ноготь большого пальца Блитцовского и сказать: «Глянь-ка вверх!» Результат будет тот же.

На нашей планете свыше тысячи республик, а что до монархий, так их тысяч тридцать. История некоторых монархий восходит к глубокой древности. Пусть не к моменту рождения Блитцовского (человеческое дитя появляется на свет чистым, не зараженным микробами, и это состояние продолжается три-четыре часа, то есть восемнадцать—двадцать лет по микробному исчислению времени), но они ведут свое начало от первых микробных инвазий и нашествий. Монархии берегут неограниченную королевскую власть как зеницу ока, вопреки всем новейшим веяниям с тех давних пор и поныне, что охватывает период примерно в четыре с половиной миллиона лет. В одной из монархий династия, пришедшая к власти двести пятьдесят тысяч лет тому назад, удерживает власть и сейчас. Это династия Гной (Гной их фамилия, вроде царской фамилии Романовы), а полный титул монарха — Его Августейшее Величество Генри Д. Г. Стафилококкус Пиогенус Ауреус. Он — стодесятитысячный монарх династии Гной, сидящий на троне. Все монархи этой династии носили имя Генри. Латынь — Д. Г. (Deus gratias) означает «милостью божьей». Стафилококкус переводится как «резервуар гноя». Пиогенус в научном тексте переводится как «главный», в политическом — «верховный», а в просторечии означает «свой парень», «молодчина» и выражает восхищение. «Aureus» значит «золотой». По протоколу в правительственных сообщениях титул читается следующим образом: «Генри милостью божьей верхов-

ный гнойный резервуар», простой же народ зовет его ласково: «Генри — золотой парень».

Английская монархия существует примерно восемьсот сорок лет и насчитывает тридцать шесть царствований, каждое из которых длилось в среднем двадцать три года. Почти такую же картину мы наблюдаем и в мире микробов. По крайней мере так обстоит дело в великой монархии, о которой я упоминал,— она превосходит все страны Блитцовского и по населению и по амбиции. За три тысячи лет, проведенных здесь, мне довелось сто двадцать один раз брести с непокрытой головой в хвосте пышной похоронной процессии, искренне оплакивая очередного монарха достославной династии, а потом участвовать, с высочайшего соизволения, в празднествах в честь коронации его преемника. Этот суровый благородный королевский род, используя дипломатию и оружие, далеко продвинул границы своей державы. Каждый раз, лишая покоренную нацию свобод и религии, он навязывал ей взамен «нечто более ценное». И совершенно справедливо утверждение, что эта великая династия одарила благами цивилизации больше стран, нежели любая другая, облеченная верховной властью. Прославляя ее замечательные свершения, многие народы микромира стали говорить, что Гной и цивилизация неразделимы.

ПРИМЕЧАНИЕ (пять тысяч лет спустя).

Сами микробы величают себя суфласками. Издатели ПОЛНОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ наверняка прогорели бы, пытаясь исказить ВСЕ значения этого слова своими дотошными определениями и заставить читателя до конца дней своих шарахаться от него, как от пугала. О, эта бесполезная, никчемная книга! Как она осторожна, хитра, ненадежна, эта конъюнктурная книга, эта отвратительная, бестолковая книга — ПОЛНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ! Он преследует лишь одну цель — втиснуть в свой объем больше слов различных оттенков, чем у конкурента. В результате, когда ему удается затуманить всем хорошо известное, хорошее, нужное слово, оно впредь означает все вообще и ничего в частности. В бытность мою человеком мы, помнится, позаимствовали из другого языка слово «уникальный». Оно твердо и недвусмысленно значило «единственный в своем роде», «редкостный» — именно этот старший козырь в колоде, а не любой другой, один-единственный образец того, на что ссылался человек. Но потом этим словом завладел ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ и за волосы притянул к нему все значения, почерпнутые у не бог весть каких грамотеев, и вот полюбуйтесь теперь на бывшую девственницу! Я, разумеется, тоже не всегда проявляю должную разборчивость, но мне не хотелось бы появиться в обществе с этой дамой легкого поведения.

А теперь о слове «суфласк». Если его перевести буквально, оно означает на планете Блитцовского то же, что и слово «человек» на земле, а именно: Главное Существо творения, Божья Отрада, Избранник, Изумительное Существо, Венец Творения, Великая Сумятица, Старший Полковой Барабанщик, Глава Процессии, Суфласк — все это, вместе взятое, включая оттенки. Чрезвычайно трудно подыскать английский эквивалент, который вместил бы в себя упомянутые значения и не дал бы течи, но я полагаю, что по смыслу больше всего подходит Громила Стеклянный Глаз.

Я с самого начала величал так своих друзей-микробов, и им это очень нравилось. Отчасти потому, что слово красивое, иностранное, отчасти потому, что я намеренно смягчил перевод. Я объяснил микробам, что у меня на родине, в Главном Моляре[1], этим словосочетанием пользуются талантливейшие поэты, и оно означает «Радость Творца». Таким образом я ввел его в обиход в среде духовенства, писателей, знаменитых ораторов и других достойнейших представителей нашего народа. Они произносили «Громила Стеклянный Глаз» со странным, но приятным акцентом; слова эти звучали томно и зазывно в проповеди священника, отдавались раскатами грома и шелестом дождя в речи блестящего оратора и приобрели неслыханную популярность. Но, услышав сочетание «Громила Стеклянный Глаз» впервые с кафедры, я очень растерялся и едва справился с волнением.

Я часто употреблял слово «микроб» применительно к себе и другим, не находя в этом ничего обидного. Если б я раскрыл истинное значение слова «микроб» — жалкое, снисходительное, ничтожное, мне бы не миновать беды, но я проявил благоразумие и тем самым спас себя. Я сказал, что в Главном Моляре так называют «То Самое Существо с Нравственным Чувством», и это всего лишь сухой научный термин для описания Верховного Владыки Живой Природы. Порой пустая болтовня ценится выше фактов и оплачивается лучше. «То Самое» озадачило, ошеломило, сразило их наповал. Я знал, что так оно и будет. Даже словечко «тот» очень высоко ценится и человеком и микробом, а уж «То Самое» — такая приманка, против которой никто не устоит. Я привык рисковать, а привычка — вторая натура, вот я и подшутил над микробами, одарив их этим расчудесным титулом. И они, естест-

[1] Коренной зуб. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. перев.)*

венно, вели себя так, как и самый честный из нас в минуту растерянности,—взирали на меня с умным видом, без тени удивления, будто им давно все известно. Они, конечно, решили, что я почерпнул это сокровище из глубочайшего кладезя премудрости у себя, в Главном Моляре, и ни за что не выдадут своего невежества вопросом.

Я не ошибся, потому что наперед знал обычай людей и микробов — они не задают вопросов. По крайней мере публично. Но один из них все же задал мне вопрос с глазу на глаз. Микроб заявил, что хотел бы побеседовать со мной по душам, называя вещи своими именами, и надеется, что наша беседа останется строго конфиденциальной.

— Я буду откровенен,— сказал он,— и прошу вас ответить мне тем же. Вы, вероятно, полагаете, что понятие «То Самое Существо с Нравственным Чувством» не ново для нас, но вы ошибаетесь. Спокойствие, с которым оно было воспринято,— обман, мы никогда не слышали ничего подобного. Теперь это выражение стало банальным, его произносят умильно, им кичатся в равной степени и ученые и невежды. Так что..

— Дорогой сэр,— прервал я его с некоторым самодовольством,— я отнюдь не заблуждался на этот счет, я и сам немного притворялся. Мне ясно, что идея, будто Нравственное Чувство свойственно лишь Громиле Стеклянному Глазу, нова для вас и...

— Господь с вами,— воскликнул он, —идея вовсе не нова.

— Аа-а,— протянул я, несколько обескураженный,— так что же тогда ново?

— Как что? Тот смысл, что вы вложили в слова «То Самое». Нас потрясло что вы особо выделили эти слова, то, как вы произнесли их. Они вдруг прозвучали как высокое звание как почетный титул. Новизна в том и заключалась, что вы употребили их в похвальном значении. Мы никогда не сомневались, что Нравственное Чувство принадлежит лишь Высшим Животным. Помогите мне разобраться в другом. Мы считаем, что Нравственное Чувство учит нас отличать добро от зла. В Главном Моляре придерживаются того же мнения?

— Да.

— К тому же Нравственное Чувство помогает нам выяснить, что есть добро, и творить добро.

— Вы правы.

— Больше того, лишенные Нравственного Чувства, мы не могли бы постичь что есть зло. Понятие «зло» вообще не существовало бы. Все, что мы делаем, считалось бы добром — совсем как у низших животных.

— Согласен и с этим утверждением.

— Делаем вывод: назначение Нравственного Чувства — творить зло, ибо без него любой наш поступок расценивался бы как добро.

— Согласен и с этим.

— Значит, Нравственное Чувство помогает распознать зло и вдохновляет нас творить зло?

— Правильно.

— Следовательно, особая функция Нравственного Чувства — внушение, подстрекательство и распространение зла?

— А также добра, дорогой сэр, извольте признать и это.

— Прошу прощения, но добро мы могли бы творить и без Нравственного Чувства, чего не скажешь о зле.

— Истинно так. Но, дорогой сэр, способность творить зло — большая привилегия, она ставит нас на очень высокую ступень по сравнению с прочими животными. Вы не согласны с тем, что это очень большое отличие?

— Да, как между настоящими и игрушечными часами.

Он ушел сильно раздраженный. Но с моей легкой руки выражение «То Самое» вошло в употребление и укоренилось в языке. С тех пор все микробы с презрением смотрят на низших животных, не способных творить зло, и с самодовольством — на самих себя, потому что они на это СПОСОБНЫ. Мир микробов — мой мир, и как истинный патриот, я восхищаюсь своими соотечественниками и горжусь ими, но когда они начинают рассуждать, их логика ничуть не уступает в смехотворности человеческой.

(Еще две тысячи лет спустя.) Предыдущее примечание было ошибочным. Тогда я еще не продумал этот вопрос как следует. Теперь я прекрасно сознаю, что Нравственное Чувство — неоценимый дар. Без него мы не стали бы тем, кем мы стали. Жизнь была бы тоскливой и состояла бы лишь из еды и сна — ни возвышенных помыслов, ни благородных целей; без Нравственного Чувства не существовало бы ни миссионеров, ни государственных деятелей, ни тюрем, ни преступников, не было бы ни солдат, ни тронов, ни рабов, ни убийц,— одним словом, не было бы цивилизации. Цивилизация не может существовать без Нравственного Чувства.

Мне часто доводилось бывать на приемах у императоров Генриленда. Порой они даже снисходили до беседы со мной. Такой чести не удостаивался ни один иностранец моего ранга за весь огромный

промежуток времени, что владычествует нынешняя династия. За все предшествующие века иностранец удостаивался такой милости лишь однажды. Это событие произошло почти три миллиона лет тому назад. В память о нем воздвигли монумент. Он обновляется каждые пятьсот лет за счет добровольных пожертвований, взимаемых государством. Так повелел император, живший в незапамятные времена и отличавшийся благородством и великодушием. Я очень горжусь тем, что этой высокой чести удостоился мой соплеменник — микроб холеры. Помимо упомянутого факта о нем ничего неизвестно. История умалчивает, из какой страны Блитцовского он был родом и за что был так обласкан императором.

Местные жители не испытывают ненависти к иностранцам, я бы сказал, они не чувствуют к ним даже неприязни. Отношение к иностранцам здесь вполне терпимое — вежливое, но безразличное. Сами того не сознавая, местные жители смотрят на них сверху вниз. Всюду под небом Блитцовского иностранцы считаются существами низшего порядка. Редким исключением является самая большая республика Скоробогатия. Там любая захудалая знаменитость, прибывшая из-за рубежа, считается на голову выше первоклассной местной знаменитости; иностранец везде встречает столько восторженных поклонников, что диву дается, шампанским его угощают чаще, чем пивом в родных краях.

В монархиях Блитцовского все наоборот — там первоклассная знаменитость из Скоробогатии приравнивается к захудалой местной. Но знаменитость из Скоробогатии с удовольствием променяет славу у себя на родине на грошовый успех за границей.

Как я уже сказал, иностранец считается существом низшего порядка повсюду, кроме могучей республики Скоробогатии, снискавшей всемирную известность величайшей из демократий. Она занимает огромную территорию. Ее флаг реет над всем желудком Блитцовского — самой богатой, промышленно развитой территорией планеты, обладающей к тому же самыми разнообразными материальными ресурсами в мире микробов. Республика Скоробогатия — одна из двух-трех значительных торговых центров планеты. Товарооборот Скоробогатии, внутренний и внешний, достиг колоссальных масштабов. В стране — прекрасно развитая транспортная система. Это делает республику распределительным центром всемирного значения. По валовому продукту Скоробогатия превосходит все страны планеты Блитцовского. Она импортирует сырье с севера, а ее суда экспортируют продукты производства во все великие державы юга. Веками Скоробогатия демонстрировала свой эгоцентризм, проявляя заботу лишь о довольстве и процветании собственного народа и категорически отказываясь предоставить помощь нуждающимся малым странам в отдаленных частях Блитцовского. Лучшие люди страны стыдились этой политики. Они видели, как великая Сердечнососудия посылает живительную кровь своей добросердечной цивилизации темным, отсталым народам, погрязшим в порочной лености и восточной роскоши на окраинах планеты, не требуя взамен ничего, кроме безоговорочного подчинения и национального богатства; они видели, как империя Генриленд, расположенная на пустынном севере, неуклонно и последовательно расширяет свои владения вниз по равнинной Плечевой Области до возвышенности на дальнем юге, именуемой Великими Холмами, и одаривает все народы на своем пути счастьем и гноем, ничего не требуя от облагодетельствованных ею народов, кроме того, что у них есть; лучшие люди Скоробогатии видели все это и краснели от стыда за свою страну.

Движимые стыдом, они восстали против эгоцентризма внешней политики Скоробогатии, дали ей бой на выборах и заменили ее более высокой и благородной, которую стали именовать «великодушной ассимиляцией». Это было эпохальное достижение. Скоробогатия вышла

из своей эгоистической изоляции, заняв подобающее положение среди Великих Пиратских Держав. Это произошло совсем недавно — каких-нибудь триста пятьдесят лет тому назад.

Очень далеко, посреди необозримых просторов Великого Уединенного моря, затерялась группа островов, населенных безобидными бациллами. Ими кормятся неистовые hispaniola sataniensis, чья миссия — распространять болезнь в человеческом trigonum. Этот архипелаг был великодушно ассимилирован могущественной республикой. Сначала земли хитроумно отторгли у владельцев с помощью самих владельцев, ничего об этом не подозревавших, потом земли скупили за большую цену у разгромленных и выдворенных за пределы страны иностранных завоевателей. Эта акция придала титулу Пиратская Держава совершенства и даже элегантности. Богатство и прочие знаки отличия, принятые на планете Блитцовского, позволили ей отныне именоваться Великой Державой.

Новая Великая Держава на самом деле была не больше, чем раньше, присоединение к ее владениям нескольких кучек песка выглядело как присоединение колонии луговых собачек[1] к горной цепи. Но видимость расширения владений была так велика, что появились понятия «до» и «после», как с парижским аэростатом. Когда оболочка аэростата плоско лежит на земле, прохожий ее не замечает, но тот же аэростат, поднявшийся в воздух,— шарообразный, огромный, наполненный газом,— вызывает удивление и восхищение изумленного мира.

Бациллы — аборигены крошечного архипелага — принадлежат к тому виду, который ученый-блитцовчанин назвал бы неболезнетворным. Они не возбуждают болезней. Я видел несколько крошечных бацилл. Они не более пяти футов, если, разумеется, смотреть на них глазами микроба. Человек видит обычную бациллу при увеличении в сто — сто двадцать раз, но разглядеть аборигенов с островов Великого Уединенного моря позволит лишь значительно более сильный микроскоп.

Миллион бацилл на кусочке стекла — всего лишь пятнышко для невооруженного человеческого глаза, я сомневаюсь, что он вообще заметит маленьких островитян. Но, послушав разговоры о присоединении архипелага к республике Скоробогатии, можно было подумать, что она аннексировала четыре кометы да еще созвездие в придачу.

Первый император, которого мне выпала честь лицезреть, был Генрих Великий. Не первый носитель этого имени, нет, мой государь был восемьсот шестьдесят первым Генрихом Великим. По закону и обычаю его именовали Seiner Kaiserlichedurchlaustigstehochbegabtergottallmächtiger 861 des Grossen[2]. Звучит по-немецки, но это отнюдь не немецкий язык. Многие из восьмиста шестидесяти Генрихов Великих заслужили завидный титул, произведя на свет наследников, когда в них ощущался дефицит; некоторые получили его за руководство военными действиями и прочими формами резни и кровопролития, кое-кто — за блестящие достижения по линии «великодушной ассимиляции», за то, что продавались, точно шлюхи, церкви, за то, что одаривали аристократов государственными землями, деньгами из государственной казны, назначали им огромные пенсии; остальные получили титул за то, что с умным видом помалкивали, отдавая должное великим достижениям своих министров иностранных

[1] Грызуны семейства беличьих.

[2] Иронический титул, пародирующий длину немецких составных слов.

дел и НЕ ВМЕШИВАЛИСЬ в эти дела. Последних благодарная нация причисляет к героям, память о которых бессмертна. В их честь воздвигаются монументы. Воздвигаются народом на добровольные пожертвования. И когда памятник разрушается со временем, народ его восстанавливает.

Как я уже отметил, мой Генрих Великий был восемьсот шестьдесят первым по счету. Когда я впервые появился в мире микробов, мне выпала неслыханная честь — предстать перед императором, событие почти невероятное, ведь я был иностранец, к тому же неблагородного происхождения.

Мой септ (племя, клан) — микробы холеры — принадлежит к болезнетворным микробам, поэтому знать часто ведет свое происхождение из моего септа, но сам я незнатный и даже не был принят в высшем свете. Когда мне приказали явиться ко двору, это вызвало сенсацию. А поводом для приглашения явилось следующее. Некогда при загадочных обстоятельствах яйцо американской блохи попало в кровь Блитцовского, и появившаяся на свет блоха затонула. Ее останки превратились в окаменелость. Это произошло почти четыре миллиона лет тому назад, когда бродяга был мальчишкой.

В бытность свою человеком я занимался наукой и остался ученым в душе и после того, как меня превратили в микроба. Палеонтология — моя страсть. Вскоре после появления на Блитцовском я занялся поиском окаменелостей. Я обнаружил несколько окаменелых останков, и эта удача сделала меня членом научного общества. Пусть общество было скромное, малоизвестное, но в сердцах его членов горела та же страстная любовь к науке, что и в моем собственном.

ПРИМЕЧАНИЕ (семь тысяч лет спустя).

Многое стерлось из памяти за семь тысяч лет, прошедших с тех пор, но я все еще помню самые незначительные происшествия, связанные с моим вступлением в это славное братство. Как-то мы устроили пирушку, очень скромную, разумеется, потому что все мы были бедны и зарабатывали на жизнь каким-нибудь нехитрым ремеслом. Пирушка удалась на славу. Я не преувеличиваю, в те годы мы чаще голодали, чем пировали. Угощали нас красными и белыми кровяными тельцами. Из них приготовили шесть разных блюд — от супа и ростбифа с кровью до пирога. Красные были с душком. Но Том Нэш рассмешил всю компанию, остроумно заметив, что это не имеет значения, ибо счет невелик. Что он сказал дальше, я позабыл, но до сих пор считаю, что это была самая остроумная шутка, которую я когда-либо слышал. И главное, он сострил так небрежно, будто походя бросил какую-то незначащую фразу. Том... А может быть, не Том? Пожалуй, сострил Сэм Боуэн, или Джон Гарт, или Эд Стивенс — во всяком случае, кто-то из них. Да, это было памятное событие для таких ребят, как мы. Нам и в голову не приходило, что мы творим историю! Мог ли я предвидеть, что о нашей скромной пирушке сложат песню, что она навеки сохранится в предании, что о ней напишут и в школьном учебнике, и в беспристрастной хронике! Мог ли я предвидеть, что случайно брошенные мной слова народ сохранит как сокровище и будет благоговейно повторять до тех пор, пока жив последний микроб. Пожалуй, самой удачной частью моей речи на этой пирушке было заключение. Отдавая дань восхищения ИСТИННЫМ аристократам науки, ее энтузиастам, я сказал:

— Джентльмены, в своем труде... в своем труде... Ладно, источник я проверю в каком-нибудь издании Всемирной истории. А впрочем, вспомнил! Джентльмены, в научной лаборатории нет места ни надутым титулованным особам, ни новоиспеченной знати. Наука — республика, и все ее граждане — равноправные братья, ее принцы Монако, ее каменщики Кромарти, равнодушные к созданным человеком побрякушкам и мишуре, все как один на высочайшем уровне!

Конечно, мои приятели не поняли, на что я ссылался, а я не стал утруждать себя объяснениями, но все равно концовка прозвучала великолепно. Мое красноречие привело их в восторг. Дар слова — вот главное, а отнюдь не содержание речи<...>

«За славу приходится расплачиваться, магистр!» О боже, с тех пор как я стал знаменитостью, я миллионы раз слышал эту банальную фразу. Каждый произносит ее с видом первооткрывателя, словно его осенила бог знает какая остроумная идея, и пыжится, будто открыл четвертое измерение. А ведь шутка лежит на поверхности, и до нее может додуматься каждый, у кого мозги не набекрень. Она

из ряда тех шуточек, что скудоумные остряки отпускают по поводу имен. Познакомишь такого остряка с человеком по имени Терри, остряк засияет, как солнце, вышедшее из-за тучи.

— Ах, вы Терри? А это — ваша ТЕРРИтория? — и кудахчет до потери сознания над жалким тухлым яйцом собственной кладки. Ему и невдомек, что с момента появления Терри на свет не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не снес при нем это яйцо. А Твен? Твен... Как же его звали? Майк? Да, пожалуй, Майк, хоть я слышал о нем очень давно, столетия тому назад, в том почти забытом мире, где я тогда обретался. Помню, я читал его книги, но не помню, о чем они. Впрочем, постойте, он был вовсе не писатель, этот Твен, а художник... художник или селекционер. Да, селекционер, теперь я вспомнил! Твен был родом из Калифорнии, и звали его Бербэнк, он творил чудеса — выводил новые, совершенно немыслимые виды цветов, плодовых и разных других деревьев. Получил всемирную известность, а потом был повешен, несправедливо, по мнению многих. Как-то раз Твен выходил из салуна. Ему представили некоего господина. Услышав фамилию Твен, тот засиял, точно солнце, вышедшее из-за тучи, и закричал:

— Ха-ха! Твейн! Ближний просит воду, а вы ему — глинТВЕЙН!

Твен при всем народе выстрелил в шутника пять раз, и он, скорчившись, упал на тротуар, к огорчению некоторых очевидцев. Весь штат единодушно требовал, чтобы смертный приговор Твену заменили сроком в Конгрессе или тюрьме — запамятовал где. Сам губернатор охотно пошел бы на это, если бы Твен покаялся. Но Твен заявил, что не может солгать, и кое-кто ему поверил: однажды он срубил вишневое деревце[1], потому что не мог лгать. И тут вдруг выяснилось, что Твен уже укокошил десятки таких шутников обоего пола за эту самую шуточку, но почему-то держал это в тайне, и тогда было решено оставить приговор в силе, хотя все вокруг и даже Россфелт [2], президент Соединенных Штатов Америки, признавали, что такие шутники — никчемные люди.

Да, что и говорить, а память — удивительная и на редкость капризная машина. Ни порядка, ни системы, никакого понятия о ценности — всегда вышвыривает золото и сохраняет пустую породу. Вот я с такой легкостью припомнил уйму пустяковых фактов, относящихся к тем далеким, туманным временам, а математику — хоть убей! — припомнить не могу. Я злюсь, хоть и понимаю, что память у всех на один лад и я не имею права жаловаться. К примеру, на днях произошел любопытный случай. Историк Узпргфски[3] рассказывал о старине, вдруг ни с того ни с сего в его памяти отвалилась нижняя полка, и оттуда вылетели все известные ему собственные имена. И пока историк пребывал в этом нестабильном состоянии, он не мог назвать ни одного генерала, поэта, патриарха, ни другой знаменитости, зато так и сыпал вымыслами, легендами, рассказами о битвах, революциях и прочих бесплотных фактах. А когда наконец вернулась память на собственные имена, отвалилась другая полка, и пропала целая охапка глаголов. Стоило ему начать: «И вот пришло время, и Гггммдв...»[4], как он садился на мель, потому что нужное слово вылетело из головы. Мне самому приходилось подыскивать подходящий глагол, чтоб Узпргфски мог продолжить свой рассказ, и я подсказывал: «хфснзз». Когда в этом слове «н» в ударном положении, оно означает «начал разлагаться», а когда в безударном, «хфснзз» — причастие прошедшего времени и означает «разложение уже завершилось», то есть микроб

[1] Твен пародирует хрестоматийный рассказ о детстве первого американского президента. Д. Вашингтон, срубив вишневое деревце, сознался в своем проступке отцу, добавив, что не может лгать.

[2] Твен намеренно искажает фамилию президента Теодора Рузвельта.

[3] Произносится Толливер *(М. Т.)*.

[4] Произносится как валлийское имя Ллтвбдвв (*М. Т.*).

уже умер. Но в действительности это не совсем так: на Блитцовском, как я уже упоминал ранее, такого явления, как смерть, не существует. Слово «хфснзз» с «н» в ударном положении употребляется лишь в поэтических текстах, но и в поэзии оно не означает, что жизнь прекратилась, нет, она «УШЛА». Мы не ведаем, к кому она ушла, но все равно она где-то здесь, рядом. Многие молекулы, составлявшие организм прежнего хозяина, разбрелись и соединились в новые формы и теперь продолжают свою деятельность в растениях, птицах, рыбах, мухах и других существах; со временем за ними последуют и остальные, и когда в отдаленном будущем последняя кость рассыплется в прах, освободившиеся молекулы опять отыщут себе подобных и продолжат свою нескончаемую работу. Вот почему у нас, микробов, нет слова, означающего, что микроб МЕРТВ в человеческом понимании этого слова. Нет, молекулы кислорода постепенно разбредутся и покинут прежнюю обитель группами и целыми компаниями, они определят темперамент хрена, тигра, кролика — в той степени, в которой это требуется каждому из них. Молекулы водорода (юмор, надежда, веселье) понесут дух радости тем, кому его недостает,— поднимут сникший цветок или другое существо, павшее духом. Глюкоза, уксусная кислота,— одним словом, все, что составляло прежнего хозяина,— будут искать новую обитель, найдут ее и продолжат свою работу; ничто не утратится, ничто не погибнет <...>

Я был целиком поглощен Историей Земли, которую записывал на мыслефон, опасаясь, как бы мои познания в этой области не стерлись в памяти. Я намеревался поскорей закончить свой труд, а потом серьезно поработать на раскопках. История Японии заключала это фундаментальное исследование; завершив ее на сегодняшнем сеансе записи, я мог бы со спокойной душой отправиться в шахту, где нашли останки окаменевшей блохи. Но мыслефон вышел из строя, и какое-то время уйдет на его починку. Если показывать Екатерине Арагонской, моей мыслеграфистке, как ремонтировать аппарат, времени уйдет больше, но все же я решил прибегнуть к ее помощи.

Екатерина Арагонская была очаровательная девушка, к тому же толковая, способная ученица. Дело в том, что хоть она и считалась «неболезнетворным» микробом, то есть вышла из народа, из самой гущи забитого трудового люда, малоимущего, угнетаемого, презираемого, что бескорыстно служит смиренной и покорной опорой трону, без чьей поддержки он развалился бы, как карточный домик (а он таковым и является),— хоть Екатерина Арагонская и вышла из этой среды и разумелось, что по природе она глупа как пробка, Екатерина, как я уже упоминал, была вовсе не глупа. Из-за давней авантюры ее прародительницы в Екатерине Арагонской текла капелька голубой вируснораковой крови, которая в силу происхождения должна была течь в ком-то другом, и эта крошечная капелька оказалась крайне важной для Екатерины. Она сильно повысила ее умственные способности по сравнению со средним интеллектуальным уровнем неболезнетворных микробов, потому что вирусы рака чрезвычайно умны и всегда отличались высоким интеллектом. И у других аристократов порой рождаются талантливые дети, но у вирусов рака, и только у вирусов рака, это в порядке вещей.

Екатерина была дочерью моих соседей. Она и ее Geschwister[1] были сверстницами и подружками младшего поколения семьи Тэйлор. Все они прилежно обучали меня местным диалектам, а я, в свой черед, учил английскому, вернее, ПОДОБИЮ английского, вполне подходящему для неболезнетворных микробов, сотни детишек этих двух семейств. Екатерина раньше других усвоила английский и стала в нем, как говорится, докой. Разумеется, она говорила по-английски

[1] Родня *(нем.)*.

с местным акцентом. Я всегда беседовал с ней по-английски, чтобы дать ей разговорную практику, да и самому не позабыть родной язык.

Имя «Екатерина Арагонская» выбрал ей не я. Мне бы это и в голову не пришло: оно вовсе не подходило такой пигалице. В земной микроскоп ее можно было разглядеть лишь при увеличении в тысячу восемьсот раз. Но, разглядев ее, земной исследователь не удержался бы от восторженных восклицаний, ему пришлось бы признать, что она удивительно хороша собой. Екатерина сама выбрала себе такое имя. Она услышала его случайно, когда мы записывали Историю Англии, и пришла в восторг от его звучания, заявила, что это самое очаровательное имя на свете. Она отныне просто не могла жить без него и потому стала называть себя Екатериной Арагонской.

До сих пор ее звали Китти Дейзиберд Тимплтон, и имя вполне гармонировало с ее маленькой изящной фигуркой, свежим цветом лица, беспечностью и придавало ей особую прелесть. Заменяя непроизносимые местные имена на легкие для произношения человеческие, я всегда старался, чтобы имя не вызывало предубеждения и злых насмешек по поводу разительного несходства с тем, кого я им одаривал.

Девушка хотела зваться Екатериной Арагонской, готова была разразиться слезами в случае отказа, и я решил: так и быть <...>

Уж очень ей хотелось, и я сдался. А услышала она о Екатерине Арагонской совершенно случайно. Произошло это однажды вечером, когда я записывал на мыслефон свои соображения по поводу Истории Англии. Понимаете, вы диктуете не СЛОВА, а лишь мысли, впечатления; они не проговариваются и не облекаются в слова, вы записываете одним махом, за секунду целую главу, и машина схватывает ваши мысли на лету, записывает их и увековечивает. Отныне им суждено сверкать и гореть вечно, они преисполнены блеска и наряду с этим предельно ясны и выразительны. По сравнению с ними членораздельная речь, даже самая яркая и совершенная, кажется невнятной, тусклой и безжизненной. О, если вы хотите узнать, что такое северное сияние интеллекта, когда все небо объято бушующим пламенем и на землю низвергаются ливни божественных многоцветных огней ослепительной красоты, включите мыслефон и послушайте одно из великих творений, которые вдохновенные мастера, жившие миллионы лет тому назад, передали в мечтах этой машине.

Вы сидите перед мыслефоном молча, машине диктует не язык, а душа ваша, но порой, увлекшись работой, вы, сами того не замечая, произносите какое-нибудь слово. Именно так получила новое имя Екатерина Арагонская. Я записывал впечатления о царствовании Генриха VIII и, разволновавшись при воспоминании о том, как жестоко он обошелся с первой женой, невольно воскликнул:

— Бедная Екатерина Арагонская!

Китти удивилась, что я разразился РЕЧЬЮ во время диктовки. Утратив самообладание, она перестала крутить заводную ручку мыслефона и сделала большие глаза. Царственное звучание и музыкальность произнесенного мной имени потрясли ее, и она с жаром воскликнула:

— О, как это мило, как recherché![1] О, я согласилась бы умереть за право называться этим именем! О, я полагаю, оно просто ОЧАГОВАТЕЛЬНО!

Улавливаете? Какая смесь жеманства и самодовольства таилась в прелестной крошке! Лексикон выдавал ее с головой. Даже слово «умереть» было не чем иным, как аффектацией. Китти была микробом и могла думать не о смерти, а лишь о дезинтеграции. Однако ей не пришло на ум сказать, что она готова дезинтегрироваться, лишь бы получить красивое имя, о нет, это звучало бы слишком естественно.

Спустя некоторое время мы записывали «Историю Англии от

[1] Изысканно *(франц.)*.

Брута до Эдуарда VII». Как только Китти явилась в то утро, я заметил в ней разительную перемену: она была серьезна, держалась уверенно и спокойно, даже величественно. Куда делось ее суетливое притязанье на успех, манерность, жеманство, глупые фальшивые улыбочки, куда подевались стеклянные «кораллы», латунные браслеты, дешевые побрякушки, искусственные волны прически, прислюнявленный завиточек на лбу! В темном платье, простом и опрятном, она была воплощением скромности, ее глаза излучали искренность и чистосердечие, искренность и чистосердечие звучали и в ее голосе. «Вот чудо,— подумал я,— Китти Дейзиберд Тимплтон больше не существует, подделки под Екатерину Арагонскую больше не существует, подделка превратилась в чистое золото, это подлинная Екатерина, достойная своего имени!»

Пока она возилась с мыслефоном, налаживая его под моим руководством, я осведомился о причинах столь разительной перемены, и Китти ответила без промедления — просто, откровенно, ничуть не смущаясь, я бы даже сказал, с радостью и благодарностью. Китти принялась читать книгу «Наука и богатство, с толкованием Библии»[1], намереваясь выяснить для себя, почему она так популярна в новой секте, которую в народе в насмешку величают «сумбуряне». Вдруг за какие-то десять минут она ощутила в себе перемену, одухотворяющую перемену — плоть ее будто улетучивалась. Китти продолжала читать, и процесс преображения продолжался; через час, когда он завершился, Китти стала воплощенным духом без малейших признаков телесной оболочки.

— Екатерина, ты не похожа на дух, ты заблуждаешься, — возразил я.

Но она была уверена, что это не заблуждение, и воспринимала все так серьезно, что у меня отпали последние сомнения — Китти верила в то, что говорила. Для меня ее слова были бредом, галлюцинацией, часа два тому назад я бы так и сказал. Чувствуя свое превосходство, я взирал бы на Екатерину с состраданием с недосягаемой высоты и посоветовал бы ей выкинуть из головы эту галиматью, явную несуразицу, и прислушаться к голосу рассудка. Сказал бы так раньше, но не сейчас. Час-другой тому назад и сейчас были две разные даты. За короткий промежуток времени я сам сильно изменился. Я наблюдал, как два незаурядных ума насмехались над тем, что я знал наверняка, называли мой рассказ галлюцинацией и бредом, а ведь предназначение ученых — скрупулезно и всесторонне исследовать явление природы, отделить факт от вымысла, истину — от иллюзии и вынести окончательное суждение, но именно талантливые ученые отмахнулись от моего рассказа о Земле — без малейшего колебания, без малейшего опасения впасть в ошибку. Они думали, будто знают, что это иллюзия, я же знал, что они неправы.

Перечень известного нам абсолютно точно не так уж велик, и нечасто выпадает удача пополнить этот перечень, но в тот день я его, по моему разумению, пополнил. Я понял, что очень рискованно выносить суждения по поводу чужих иллюзий, пока не узнаешь все сам.

В душе я был уверен, что Екатерина стала жертвой галлюцинации, но у меня язык не повернулся сказать ей, что я думаю. Мои собственные раны были еще слишком свежи. Мы вместе обсудили ее нынешнее состояние, и Екатерина изложила свои соображения весьма занимательно. Она заявила, что такой вещи, как материя, не существует, материя — выдумка Смертной Души, иллюзия. Забавно, ничего не скажешь! ЧЬЯ иллюзия? Да любого, кто думает не так, как она. До чего же просто — произносишь «иллюзия», и вопрос исчерпан! Все мы устроены на один манер. Каждый из нас знает все и знает, что знает все, а остальные для него — дураки или заблуждающиеся. Один

[1] Пародия на книгу «Наука и здоровье, с толкованием Библии» основательницы «Христианской науки» Мэри Бейкер-Эдди.

знает, что ад существует, другой — что его нет; один утверждает, что высокие тарифы — это хорошо, другой — что это плохо; один полагает, что монархия — лучший строй, другой — что отнюдь не лучший; в одном веке все считают, что ведьмы есть, в другом — что их нет, одна секта верует, что только ее религия истинная, а остальные 64 500 000 000 сект думают иначе. Во всей массе категоричных судей не найдется ни одного, кто превосходил бы по уму представителей и апологетов других воззрений. Но этот смешной факт не смиряет гордыни ни одного из судей и ничуть не уменьшает их непоколебимой уверенности в собственном всезнайстве. Ум просто упрямый осел, но должно пройти несколько столетий, прежде чем до него дойдет эта истина. Почему мы так уважаем мнение любого человека или микроба, жившего до нас? Клянусь, не знаю. Почему я так уважаю собственное мнение? Ну, это совсем другое дело!

Екатерина утверждала, что нет ни боли, ни жажды, ни заботы, ни страдания и все это фантазии, выдумки Смертной Души, ибо, лишенные материи, эмоции могут существовать только как иллюзии, следовательно, они вообще не существуют, коль скоро не существует материи. Екатерина называла эти выдумки «претензиями» и утверждала, что может в мгновение ока справиться с любой из них. Если это, к примеру, боль, то достаточно повторить формулу точно по книге «Научная формулировка бытия», сопроводив ее словами: «Боли не существует»,— и разоблаченная претензия тотчас улетучится. Екатерина заявила, что так называемых «болезней» нет и в помине, как и «боли», и в длинном перечне микробных болезней-претензий любую можно одолеть методом, описанным выше. Исключение составляет, пожалуй, лишь зубная боль. Это, конечно, выдумка, как и все остальное, но все же лучше показать больной зуб дантисту. В таком поступке нет ничего аморального, противного вере, ибо лечение у дантиста санкционировано самой основательницей секты «сумбурян», посещавшей клинику, где применяется обезболивающий газ, и таким образом освятившей отклонение от принципа.

Екатерина заверила меня, что приподнятое состояние души — реальность, а уныние — выдумка. В ее душе якобы нет отныне места заботам, горестям, волнениям. Судя по ее виду, так оно и было. Я попросил Екатерину изложить основные принципы ее секты простыми словами, чтоб я мог понять их и запомнить, и она охотно согласилась:

— Смертная Душа, будучи идеей Высшей Рефракции, проявленной и освященной в Бактерии в координации с Бессмертным Духом, пребывающим в неопределенности, каковой является Истина, Всеобщее Благо, проистекающее из необходимости, ускоренной сочетанием с элементами Добро-Добро, Больше Добра, Максимальное и Наивысшее Добро; грех, будучи выдумкой Смертной Души, действует в отсутствие Души, и иначе быть не может, ибо закон есть закон и действует вне юрисдикции, и результатом первостепенной важности является то, что наш дух, освобожденный от материи, является ошибкой Смертной Души, и кто бы того ни пожелал — может. Это — Спасение.

Екатерина спросила, принимаю ли я ее слова на веру, и я ответил, что принимаю. На самом деле я в это учение не поверил, и сейчас не верю, но ей было приятно, а мне ничего не стоит сказать пару приятных слов, вот я и сказал, что верю. Открыть ей правду было бы грешно, а грешить без особой надобности не имеет смысла. Следуй мы этому правилу, наша жизнь была бы чище.

Я остался очень доволен беседой. Она еще раз доказала мне, что человеческий ум и ум микроба во многом схожи. Люди и микробы способны мыслить, и эта способность, несомненно, ставит их выше всех остальных животных. Чрезвычайно интересно!

Последуют ли за нами в счастливую обитель наши бессловесные друзья — вот что всегда волновало меня, и я решил обсудить это с Екатериной. Я спросил ее, отправятся ли за нами в рай собаки, лошади и другие животные, чтоб там, в царствии небесном, вновь стать нашими баловнями и любимцами. Екатерина сразу же проявила интерес к этой проблеме. Полюбопытствовала, известно ли мне, что раньше она была прихожанкой Государственной церкви Генриленда и исповедовала одну из самых распространенных на Блитцовском религий, знаю ли я, что прихожане постоянно обсуждали тот же вопрос, когда поблизости не было духовных лиц, и удивилась — неужели не знаю?

Оказывается, и ее всегда интересовало, есть ли загробная жизнь у животных, и она имела вполне определенные взгляды на этот счет — РАНЬШЕ, конечно, и с удовольствием поделится со мной своими соображениями — нынешними, разумеется. Но она не вправе говорить своими словами на религиозные темы, ибо неумелое изложение может привести к ошибке. Потом Екатерина приступила к делу, да так бойко, что я понял: «книгу» она вызубрила наизусть.

— Что касается данного вопроса, то, как по наитию учит нас наша Основательница, верность первозданной Истине в сочетании и в зависимости от промежуточной и пролонгирующей, будучи неизбежно подчиненной ауто-изотермальной и ограниченной подсознанием в данном контакте, всегда спорадичном и доведенном до белого каления, вследствие чего мысли и поступки тех, кто возносится в Обитель Блаженных, ассимилируются под воздействием Истины, освобождающей нас, что иначе было бы невозможно.

Екатерина перевела дух. Очевидно, я слушал ее невнимательно и упустил какое-то связующее звено. Извинившись, я попросил Екатерину повторить все с самого начала. Она повторила — слово в слово. Речь вроде бы звучала просто и ясно, но смысла я не улавливал.

— Екатерина, а ты все понимаешь? — спросил я.

— Конечно,— кивнула она.

— Мне КАЖЕТСЯ, я тоже понимаю, но я в этом не совсем уверен. Как ты думаешь, кто вознесется в Обитель Блаженных?

— Нам не дозволено толковать текст, толкование искажает смысл.

— Ну, тогда не надо. Не стану притворяться, будто благоговею перед текстом, но все же я не хотел бы, чтобы с ним случилась такая неприятность. Но ты можешь сказать кое-что, не причинив ему вреда, можешь только кивать головой, я пойму без слов. Сформулируем вопрос иначе: кому не дано вознестись в Обитель Блаженных? Спорадикам или доведенным до белого каления? Спорадикам? Не произноси ни слова, лишь кивни. Кивни или отрицательно покачай головой.

Но Екатерина была начеку: а вдруг кивок расценят как толкование текста, что категорически запрещено?

— Речь идет о животных? Уж это ты можешь сказать?

Екатерина была готова повторять формулировку снова и снова, сколько мне будет угодно, но строгие правила секты не позволяли ей что-либо добавить или выпустить, изменить порядок слов, ибо откровение божие, им же облеченное в слова, свято.

— Послушай, Екатерина,— продолжил я,— начни-ка все с начала, но медленно. Ты знай говори, а я буду засекать время. Как только я решу, что хватит, иначе мне не управиться без посторонней помощи, я дам знак, ты остановишься, а я, подхватив конец фразы, наведу порядок; потом ты выдашь еще одну часть и так далее и так далее, пока не доберемся до самого конца. Такой товар лучше всего продавать в рассрочку. Но помни: никакой спешки, медленно и внятно. Готова? Вводи мяч в игру!

— Какой мяч?

— Есть такое выражение. Начинай! Еще раз: готова? Ну!

Екатерина сообразила, что к чему, и прекрасно справилась со своей задачей. Однотонным металлическим голосом — так звучит молитва, записанная на фонографе,— но, по крайней мере, отчетливо Екатерина вещала:

— Что касается — данного вопроса — то — по наитию — как учит нас наша Основательница — верность первозданной Истине — в сочетании и в зависимости от промежуточной и пролонгирующей — будучи неизбежно под...

— Стоп! — сказал я,— на первый раз хватит. Посмотрим, что у нас на руках. Увы! Карты хорошие, но нет пары одной масти. Впрочем, партия не безнадежна. Промежуточная — пролонгирующая — чем не пара?

Ободренный успехом, я сказал:

— Валяй дальше, Екатерина! Беру прикуп. Кидаю три карты!

Она не поняла меня, и немудрено — с ее-то образованием!

Я уклонился от объяснения, заявив, что объяснения запрещаются законами культа. Яд не возымел действия. Я часто жалил Екатерину ядовитыми шуточками только потому, что знал, как она устойчива к яду: он не причинял ей ни малейшего вреда. Я острослов по природе, а когда человек устроен таким образом, ему доставляет удовольствие слушать самого себя. А если окружающие поощряют его искусство, трудно сказать, каких высот он может достичь. Полагаю, что своим высокоразвитым чувством юмора я обязан почти исключительно дядюшке Эссфолту. Он любил меня слушать, и это побуждало меня оттачивать свое мастерство. Однажды я рассказывал ему про корову, которая... Я уж позабыл эту историю и не помню, что она вытворяла, эта корова, но что-то очень забавное, дядюшка Эссфолт едва не помер от смеху. Колики начались, по полу катался.

— Не ломай себе голову над прикупом, Кэтти,— сжалился я,— это тоже специальное выражение. С первой попытки нас постигла неудача, используем вторую. Пошла!

Но и вторая попытка кончилась неудачей. Она смахивала на снег в теплый день — снежинки, совершенство сами по себе, таяли прежде, чем ты успевал скатать из них снежок.

— Испробуем другой способ,— предложил я.— Порой глянешь на трудное предложение в иностранном тексте и сразу понимаешь смысл, а начни копаться в деталях — ты пропал. Будем действовать этим методом. Так вот — никаких запятых, тире или пауз; выпаливаешь все заклинание одним духом — в общем, Эмпайр экспресс — дуй без остановки в Олбани! Раз, два, три — в путь!

Вот это было зрелище! Издалека слышится шум экспресса, мгновение — и он показался вдали, мчится по рельсам с неистовой скоростью, как черт за христианином, еще мгновение — и он с ревом и грохотом пролетает мимо, выдыхая черный дым, еще одно мгновение — и он стремительно скрывается за поворотом, лишь носятся в воздухе листья, клубится пыль да сыплется сверху зола. Вскоре все успокаивается и уж ничто не напоминает о происшедшем.

Когда мебель перестала кружиться у меня перед глазами и вместо целого хоровода Екатерин я увидел перед собой одну, я признал, что готов сдаться, если мне позволят сохранить личное оружие. Потом я ощутил горечь поражения и чуть было не ляпнул, что Основательница действительно подарила миру идею — бредовую идею, но вовремя сдержался. Зачем причинять боль Екатерине? Она беззащитна, бедняжка, потому что лишена чувства юмора; с моей стороны это было бы просто невеликодушно. На ее месте я бы мигом нашелся и язвительно отпарировал:

— Это у тебя бредовая идея!

Но такое немногим приходит в голову. Большинство сообразит, как надо было ответить, лишь на следующий день. Вот вам и разница между талантом и подражателями — талант дает ответ вовремя.

Я заметил, что Екатерину раздосадовала неудача: девушка искренне любила свою новую веру и с огорчением поняла, что она вовсе не имеет триумфального успеха, на который Екатерина рассчитывала. Выражение лица бедняжки было красноречивее слов, и у меня не хватило духа признаться, что я потерпел фиаско, пытаясь найти нефть в этой геологической формации, и тогда я слукавил: сказал, что когда-нибудь на досуге я торпедирую скважину, и фонтан, по моим подсчетам, даст не меньше тысячи баррелей в день. Лицо Екатерины озарилось такой радостью, что я немедленно увеличил выход нефти в четыре раза при тех же затратах.

Потом я предложил Екатерине записать заклинание на мыслефон, что она не преминула сделать. Я объяснил ей, что, на мой взгляд, заклинание надо ДЕЗАРТИКУЛИРОВАТЬ, то есть разложить на первоначальные фонемы, ибо слова лишь искажают суть, нарушают ход мысли, вносят полную неразбериху в содержание. Мыслефон же превратит словесную руду в кашицу, совсем как драга — золотоносную руду<...>

Я вздохнул, и Екатерина тут же пожелала узнать, что меня тревожит, она стала очень отзывчивой, потому что новая религия освободила ее от бремени размышлений о собственных бедах. Впрочем, собственных бед у нее теперь не было.

— Мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь о животных, последуют они за нами в мир иной или нет,— начал я.— Видишь ли, Кэтти...

— Графиня! — крикнула Екатерина, подбежав к окну.— Вон там, у пожарного крана, дремлет брат Пьорский. Подойдите к нему, попросите его, пожалуйста, зайти сюда на минутку!— Екатерина объяснила: — Пьорский с удовольствием побеседует с вами на эту тему. Он очень славный. Помните, он как-то заходил сюда, собирал пожертвования? Не помните? С тех пор, правда, прошло несколько лет, но я думала, у вас на памяти этот случай. Пьорский — вроде священника, только называется по-другому, в его секте священников нет, а есть братья — так их прихожане называют. Он был моим духовником до того, как я стала прихожанкой Государственной церкви, или еще раньше... нет, пожалуй, до того или примерно в это время.

— Почему ты не ведешь учет?

— Учет ЧЕГО? — спросила Екатерина, снова направляясь к окну.

— Духовных занятий. Составила бы график.

— Зачем?

О, это бессмысленное «зачем»! Как часто мне приходилось слышать его от Екатерины! У нее был очень стойкий иммунитет к юмору, шутки до нее не доходили.

— Ага, она растолкала Пьорского, что-то ему говорит, а он... он снова укладывается. Но ничего, он не забудет о приглашении, вот стряхнет с себя дрёмоту и явится.

— Дремота? А я-то полагал, что микробы не спят. Во всяком случае, в Главном Моляре не спят.

— А Пьорский не как все. Ума не приложу почему. Ученые только руками разводят. Пьорский — нездешний, родом он из джунглей Мбуммбум — ударение на третьем слоге от конца. Живет там вдалеке от всех маленькое племя, никто его толком не знает, называется Флаббрзуэк. Господи, что с вами?

Я извинился — не беспокойся, ничего особенного, просто колики в боку. Это была чистая правда, однажды со мной уже приключалось нечто подобное, еще в Америке, я хорошо помню этот случай. Название племени — вот что заставило меня подскочить на месте! Так именуется редкий таинственный микроб, возбудитель страшной африканской сонной болезни. Ее жертва погружается в тяжелый летаргический сон, похожий на смерть. Она лежит в таком состоянии неделями, месяцами, а родные в отчаянии умоляют ее открыть глаза — ну хоть на минутку, подарить им прощальный любящий и благослов-

ляющий взгляд. Но увы! Пусть их сердца разорвутся от боли — для того и сотворена эта болезнь, жертва никогда больше не откроет глаза<...>

Екатерина рассказала мне, что брат Пьорский — член секты Великодушия, и это очень хорошая секта, а Пьорский — лучший из лучших. Они с братом Пьорским всегда симпатизировали друг другу с той поры, когда Екатерина числилась в этой секте, и, что приятно, взаимная симпатия сохранилась. А графиня посещает Государственную церковь. Выйдя замуж, она стала знатной дамой, а аристократкам не подобает искать окольных путей в Обитель Спасенных. По натуре она добрая и хорошо относится к брату Пьорскому, а он — к ней.

— Она иностранка, графиня-то. Из Р. С. родом.

— Что такое Р. С.?

— Республика Скоробогатия, там она считалась настоящей леди, а здесь ей о своем происхождении (она вышла из Е. С. Х.) надо помалкивать и помнить свое место.

— А что такое Е. С. Х.?

— Едоки Соленого Хлеба.

— Почему «соленого»?

— Да потому, что он заработан тяжким трудом и соленый от пота.

— Значит, его солит труд?

Екатерина расхохоталась: вроде бы взрослый, а не знает прописных истин! Но я заметил, как в ее глазах вспыхнул всем хорошо знакомый радостный огонек. Я не огорчился: такой огонек зажигается у нас в глазах, когда мы считаем, что обнаружили нечто неизвестное другому и, обрушив на него информацию, можем заставить ошарашенного слушателя восхищаться нами. Екатерине нечасто выпадал случай сообщить мне новый факт, но зато ей часто удавалось представить что-нибудь известное в новом освещении, если я изображал полное неведение и позволял ей думать, будто и сам факт — бесценный вклад в мою сокровищницу. Поэтому я обычно изображал полное неведение. Порой я извлекал пользу из этой политики, порой нет, но в целом она себя оправдала.

Итак, Екатерина расхохоталась, услышав мой вопрос. Она повторила его, чтоб еще раз насладиться моим забавным невежеством.

— Его солит труд? Да разве вы не знаете...— начала было она, но смущенно осеклась.

— В чем дело? — поинтересовался я.

— Вы смеетесь надо мной.

— Смеюсь? Почему?

— Потому.

— Почему потому?

— Да вы сами прекрасно знаете.

— Ничего я не знаю. Честное слово.

Екатерина посмотрела мне прямо в глаза и сказала:

— Когда вы шутите, я сразу чувствую. А теперь я вас серьезно спрашиваю, и вы отвечайте тоже серьезно. Вы когда-нибудь слышали про такую страну — большую страну,— где хлеб зарабатывают не в поте лица?

Теперь пришел мой черед смеяться! Я захохотал, но что-то заставило меня внезапно смолкнуть, что-то подсказало мне: а вопрос не так глуп, как кажется. Я задумался. Перед моим мысленным взором предстали великие народы, живущие на той и на другой планете, и вскоре я нашел ответ:

— Вопрос показался мне глупым, Екатерина, но, если поразмыслить хорошенько, он совсем не глуп. Мы нахватались идей, о которых знаем лишь понаслышке, не потрудившись проверить, подкрепляются они статистикой или нет. Есть одна страна — я беседовал с

ее гражданами,— где слова «гордость труда» у всех на устах, где стало неоспоримой истиной, что труд достоин уважения, где все постоянно твердят, что зарабатывать на жизнь своим трудом почетно, что заработанный хлеб — самый лучший хлеб и поднимает того, кто его заработал, до уровня самых почетных граждан страны, а дармоеды и тунеядцы покрывают себя позором. Аборигены произносят эти слова с большим чувством и полагают, что верят в то, что говорят, и гордятся своей страной, потому что она — единственная в мире, где труженики являются признанной аристократией. Но стоит присмотреться и...

— Я знаю, о какой стране вы говорите. Это Р. С.! Ну скажите прямо, это Скоробогатия?

— Да, это Республика Скоробогатия.

— Я сразу догадалась. Графиня все время про нее рассказывает. Когда она жила в Скоробогатии, она любила свою страну, а теперь презирает ее и говорит об этом без утайки, но, конечно, она так рассуждает, чтоб никто вокруг не сомневался, что она переменилась и стала монархисткой, и знаете, графиня и вправду настоящая монархистка: послушаешь ее, так она скорей сойдет за уроженку Генриленда, чем сами генриленцы. Говорит, все эти проповеди о гордости труженика — сущее надувательство. Тружеников на обед не приглашают — ни водопроводчика, ни плотника, ни дворецкого, ни кучера, ни матроса, ни солдата, ни портового грузчика,— так уже заведено в этой стране. Адвокаты, врачи, профессора, торговцы, священники с ними заодно. И богачи-бездельники тружеников к обеду не приглашают. Графиня говорит, на кой черт...

— Тшш... Екатерина, ты меня удивляешь!

— Но ведь графиня сама так сказала. Им, говорит, начхать...

— Да замолчи же! Оставь привычку подбирать и тащить домой все гадкие слова, которые...

— Но она так СКАЗАЛА, я своими ушами слышала! Стукнула кулаком по столу — вот так — и говорит: на кой ляд...

— Неважно, что она сказала. Я и слышать об этом не хочу! Ты простофиля, каких свет не видывал. Хватаешь все без разбору, что подворачивается под руку, будто это бог знает какое сокровище. С тех пор как появился язык, не было еще такой любительницы покопаться в отбросах. В общем, выкинь эти словечки из головы и начни с того места, где они сбили тебя с пути.

— Ладно, начну с начала, извините, если сболтнула лишнего, вовсе не хотела вас обидеть. А сказала графиня вот что: если, к примеру, дочка банкира выходит замуж за водопроводчика, или дочка мультимиллионера берет в мужья редактора газеты, или же епископская дочка идет за ветеринара, или губернаторская дочка — за кучера, тут такая кутерьма начинается, сам черт ногу сломит!

— Ну вот, ты опять за старое!

— А еще графиня говорила, что те, кто сидит наверху, всякие шишки, если удается, вообще не выдают своих дочек за местных микробов. Держат их в девках, пока не пожалует какой-нибудь заграничный вирус с титулом, вот тогда, если они сойдутся в цене, и заключают сделку. Правда, аукцион они не устраивают, во всяком случае публичный. Графиня — просто прелесть, а говорит — заслушаешься. И доброты, и злости — всего в ней хватает, а занудства нет и в помине. Она завела много друзей. У нее золотое сердце, вставные зубы, стеклянный глаз. По-моему, она совершенство.

— Да, это верные признаки.

— Очень мило с вашей стороны. Я была уверена, что вы так скажете. Графиня очень содержательная. На мой взгляд, она очень, очень интересная женщина. К тому же она родилась от морганатического брака... Она здесь единственная возбудительница аппендицита. В аппендиксах у окружающих таких микробов много — у тех, кто

лежит в больницах, у тех, кто пока не лежит,— но только она вырвалась наружу, РОДИЛАСЬ. От незаконного морганатического брака, но дело даже не в этом. Она единственная за всю историю, а это великая честь. Хотела бы я оказаться на ее месте.

— Ах, черт...

Екатерина продолжала трещать, не обращая внимания на мою попытку воззвать к помощи черта. Она вела рассказ в своей обычной небрежной манере — сделает сальто назад, отклонившись от темы на тридцать ярдов, потом вперед и приземляется чуть правее мысли, которую не успела закончить час тому назад. Подхватив эту мысль, Екатерина, как ни в чем не бывало, продирается с ней через чащу слов, будто и не бросала ее без призора.

— Вот и получается, что НЕТ ни одной большой нации, где заработанный хлеб считается чистым, хоть вы и утверждали, будто это вовсе не так.

Я не утверждал ничего подобного, но чтоб не тратить попусту время и силы, не стал заводить спор и оставил ее в покое.

— Графиня говорит, что там, в Скоробогатии, сплошной обман и надувательство. Да если б и существовал великий народ, у которого разговоры про честно заработанный хлеб не были бы надувательством, где б ему и жить, как не в Скоробогатии? Там и Республика, и самая великая на планете демократия, и общество равных возможностей — бог знает каких возможностей, как графиня говорит. Ее послушать, так обман начинается с самой верхушки и идет сверху вниз; в нем участвуют все без разбора, и ни один черт (осторожно! — сказал я) и никто во всей стране его не замечает. Все точно ослепли от фальшивого блеска этой лжи.

А рангов, званий и каст — миллион, говорит. Потому и мезальянсы куда ни глянь. Где им и быть, как не в Скоробогатии, ведь там разной знати и аристократов побольше, чем в любой другой стране. Есть, говорит, в этой республике такие семейки, что для них и сам президент — неподходящий жених, во всяком случае, ПОКА он не станет президентом. А в президенты почти всегда выходят Едоки Соленого Хлеба — лесорубы, портные[1], сторонники сухого закона и прочие лица низкого звания; им приходится прокладывать себе путь наверх, и они очень долго его прокладывают, а пока доберутся до этих семейств, глядишь, уже поздно: дочки просватаны. Они считают, что это «путь наверх», говорит графиня, все так считают. И все восхищаются тем, кто проложил себе путь наверх, безмерно восхищаются его НЫНЕШНИМ положением, его респектабельностью. Они не скажут в порыве гордости и великодушия: «Посмотрите на него — прекрасный труженик, настоящий Едок Соленого Хлеба, лесоруб!»

Нет, в порыве гордости и великодушия они воскликнут: «Посмотрите на него — куда залетел! А ведь подумать только, вышел из простых лесорубов!»

А преуспевший заявит, что не стыдится своего происхождения, ему-де нечего стыдиться, это для него в его НЫНЕШНЕМ положении — честь, великая честь. Можно подумать, что он и своих сыновей сделает портными, дубильщиками или лесорубами. Может, такие случаи и бывали, говорит графиня, только она ни одного не помнит. Вот такие дела. А вам пора спуститься с облаков.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Пора признать, что ЗАРАБОТАННЫЙ хлеб просолен потом на всей планете, будь то республика или монархия. Едоки Соленого Хлеба создают нацию, делают ее великой, уважаемой, могущественной; трон держится на Едоках Соленого Хлеба, не то — пылиться бы

[1] Твен обыгрывает прозвища и имена американских президентов: Лесоруб — прозвище А. Линкольна, фамилия двенадцатого президента США З. Тейлор (1849—1850), что означает «портной».

тронам в лавках старьевщиков; благодаря Едокам Соленого Хлеба национальный флаг и реет так красиво, что слезы гордости подступают к глазам; не будь Едоков Соленого Хлеба, великие князья валялись бы под забором, как свиньи, сидели бы по тюрьмам и кончали бы свой век в богадельнях; не будь Едоков Соленого Хлеба, на всей планете не осталось бы ничего мало-мальски хорошего, и черт меня дери...

— О, ради бога!

— Но сама графиня так выразилась. Говорит, черт меня...

— Замолчи, пожалуйста, я же просил...

— Но она именно так выразилась, графиня. Подняла сжатый кулак, сверкнула глазищами да как пошла сыпать самой что ни на есть отборной бранью — разрази меня гром, чертям в аду тошно стало!

Благодарение богу, раздался стук в дверь. Это явился великодушный брат Пьорский, весьма внушительный возбудитель сонной болезни.

У Пьорского были мягкие манеры и доброе, располагающее лицо, как у всех болезнетворных, а следовательно — высокорожденных микробов. Обходительность и доброе лицо у них — видовая черта и передается из поколения в поколение. Сам он не ведал, что несет смерть, ему и в голову не приходило, что ВСЕ аристократы смертоносны. Один лишь я на Блитцовском знал этот ужасный факт, и то потому, что познакомился с ним на другой планете.

Пьорский и Екатерина сердечно приветствовали друг друга. Согласно здешнему этикету, она опустилась перед ним на колени, потому что была родом из Едоков Соленого Хлеба, а он — из аристократов голубой крови. Пьорский ласково потрепал Екатерину по щеке и велел подняться. Потом она стоя выжидала, пока он даст ей знак, что можно садиться. Мы с ним церемонно раскланялись, и каждый почтительно указал другому на стул, сопроводив взмах руки величавым:

— Только после вас, милорд!

Наконец мы разрешили эту проблему, опустившись на стулья с точно рассчитанной синхронностью. У него была с собой небольшая прямоугольная коробка, которую Екатерина приняла, непрестанно кланяясь.

Мудрый старый джентльмен, брат Пьорский, мгновенно оценил обстановку. Он, конечно, понимал, что я высокорожденный, он мог предполагать, что во мне течет благородная кровь, и потому, не задавая лишних вопросов, обошелся со мной как с благородным. Я последовал его примеру и тоже, не задавая лишних вопросов, произвел его в герцоги.

Брат Пьорский жевал Едока Соленого Хлеба, которого словил по дороге сюда,— ел его заживо, как здесь принято, а тот визжал и выкручивался. У меня слюнки текли при виде этого упитанного, сочного и нежного месячного малыша. Такого толстяка хватило бы на целую семью, и когда брат Пьорский предложил мне ногу малыша, я не стал отказываться для виду и притворяться, что сыт,— нет, я взял ее и, признаться, ничего вкуснее в жизни не пробовал. Это был ПЕКТИН, весенний пектин, а хорошо откормленный пектин — пища богов.

Я знал, что Екатерина голодна, но такая дичь — не для нее. Едоки Соленого Хлеба едят благородных, если выпадет случай — военнопленных или павших на поле боя, но Е. С. Х. не едят друг друга. В общем, мы угостились на славу и выкинули объедки матери пектина, рыдавшей под окном. Она была очень благодарна, бедняжка, хоть мы и не ждали благодарности за такой пустяк.

Моя мечта — взять с собой в Лучший Мир наших меньших братьев, низших животных, чтоб и они блаженствовали вместе с нами,— нашла живой отклик в сердце брата Пьорского. Он растрогался и заявил, что это самая благородная и милосердная идея, что он разделя-

ет ее всей душой. Прекрасные, вдохновляющие, окрыляющие слова! А когда брат Пьорский добавил, что он не только страстно желает переселения животных в Лучший Мир, но твердо верит, что так оно и будет, что у него нет и тени сомнения на этот счет, чаша моего счастья переполнилась до краев. Мне всегда не хватало такой поддержки, чтобы укрепиться в собственной вере, сделать ее незыблемой и совершенной, и вот теперь она стала незыблемой и совершенной. Наверное, в тот момент не было микроба счастливее меня от Генриленда до Скоробогатии и от Главного Моляра до Великого Уединенного Моря. Оставался лишь один вопрос, и я задал его без страха и сомнения:

— Ваша милость, включаете ли вы в их число ВСЕ существа, даже самые зловредные и мелкие — москитов, крыс, мух и всех прочих?

— Разумеется, и ВСЕХ ПРОЧИХ! Даже невидимых и смертоносных микробов, которые питаются нашей плотью, заражают нас болезнями!

* * * * * * *

Звездочками я пометил время, через которое вышел из шока. Да, как странно мы устроены! Я всегда желал, чтобы кто-нибудь произнес эти слова, разрешив недвусмысленно и справедливо проблему всех невинных и живущих по закону естества своего существ, в незапамятные времена я желал (и безуспешно!) услышать эти слова от справедливого и великодушного священника, и вот теперь, когда мысль изречена, меня чуть не разбил паралич!.. Я и понятия не имел, что существуют БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ МИКРОБЫ, заражающие болезнями других МИКРОБОВ! Порой я размышлял на досуге о том, существуют ли на Блитцовском крошечные двойники земных микробов с теми же повадками, с тем же предназначением, но никогда не считал, что проблема заслуживает глубокого изучения. Взвесив все обстоятельства, я решил сказать герцогу, что ничего не знаю о бесконечно малых микробах и вообще не сведущ в бактериологии.

Он ничуть не удивился, и это меня слегка покоробило, но я не подал виду и не стал брюзжать. Герцог принялся налаживать один из моих микроскопов, бросив вскользь, что он-де не совсем заштатный бактериолог, из чего следовало, что он — первый бактериолог планеты. Мне ли не знать этой песни! Знал я и старый испытанный способ подыграть певцу и сказал, что счел бы себя сущим невеждой, если б не знал то, что известно всем вокруг. Герцог извлек из коробки предметное стекло и установил его под микроскопом. Покрутив винтики, он отрегулировал микроскоп по глазам и предложил мне взглянуть.

Что кривить душой — я был искренне потрясен! Старый знакомый плут, которого я тысячу раз видел под микроскопом в Америке, предстал передо мной в виде невообразимо маленького близнеца, своей точной копии. Это был пектин, весенний пектин, до смешного схожий с тем мамонтом (все познается в сравнении!), которого мы только что съели! Ну не забавно ли? Меня так и подмывало сострить: давайте, мол, подцепим эту крошку на кончик иголочки и скормим его комару, а объедки бросим матери. Но я сдержался. Герцог, похоже, не отличался остроумием. Вряд ли его очаруешь, напомнив об этом недостатке, только вызовешь стыд и зависть. Я смолчал, но это потребовало от меня известного напряжения.

Брат Пьорский сделал краткий вступительный обзор в профессорском стиле: весьма неопределенно, как импрессионист, наметил общие положения, на которых собирался остановиться, а потом приступил к делу. На этом этапе он перешел с местного наречия на высочайший, чистейший диалект бубонной чумы, на котором изъяснялся с французским акцентом. На диалекте бубонной чумы принято говорить при всех королевских дворах планеты Блитцовского, а в

последнее время он стал языком науки, ибо обладал несколькими высокими достоинствами, в том числе точностью и гибкостью. Замечу кстати, что научное название всех разновидностей микробов на этом языке — суинк. Каждый микроб — суинк, каждая бактерия — суинк и так далее, как на Земле немец, индиец, ирландец и люди других национальностей называются словом «человек».

— Начнем с начала,— сказал брат Пьорский.— Эта громадная планета, которую мы населяем, где учреждены наши демократии, республики, королевства, церковные иерархии (теократии), олигархии, автократии и прочая суета сует, была создана для великой и мудрой цели. Ее сотворение не случайность, оно стадия за стадией продолжалось согласно тщательно разработанному систематизированному плану.

Планета была создана для великой цели. Какой цели? Дать нам дом. Именно дом, а не среду обитания, не балующую нас комфортом. Планета была задумана как дом, полный всяческих удобств и разумных, трудолюбивых низших существ, призванных обеспечивать нам эти удобства. Каждый микроб сознает сказанное мной, каждый микроб с благодарностью помнит об этом. А если микроб и кичится немного своим положением, слегка тщеславится своим величием и превосходством, то это простительно. И то, что микроб с собственного единодушного согласия украшает себя державным титулом Венец Творения, тоже простительно, ибо куда надежнее ПРИСВОИТЬ себе титул, чем выставить свою кандидатуру на выборах и, возможно, провалиться<...>

Играет ли незаметный суинк важную роль в системе мироздания? Несомненно. Как назвать его, каким титулом величать? Сам он, не в пример микробам, скромен и не присвоил себе никакого титула. Дадим ему название, соответствующее его заслугам. Он лорд-протектор Венца Творения, Спаситель планеты. Давайте посмотрим, как он работает, ознакомимся с его методами.

Он появляется на сцене, когда ему положено явиться, в свой назначенный час. Микроб прекрасно себя чувствует, он сыт, и то же самое можно сказать о корове, лошади и любом другом травоядном, а вот тигры, собаки, кошки, львы и прочие хищники подыхают с голоду без мяса. Суинк набрасывается на трупы и экскреции животных, питается ими, разлагает их и освобождает массу кислорода, азота и других столь необходимых растениям веществ; листья растений усваивают эту пищу, за исключением азота, который они получают позже, благодаря трудам других суинков.

Все идет как надо, планета спасена. Растения вновь получают питание и буйно разрастаются. Поглощая кислород, азот, растения вырабатывают альбумины, крахмал, жиры и много других веществ; они попадают в организм животных, которые кормятся ими и растут; животные, в свою очередь переваривая эти вещества, вырабатывают различные соединения. Некоторые из них животные выдыхают в воздух, а растения улавливают их и поглощают, другие уходят в экскреции и, восстановленные суинками, снова попадают в растения. Когда животное умирает, суинк разлагает его, высвобождая элементы, и те возвращаются в землю.

Таким образом происходит вечный круговорот: растения поглощают пищу и насыщаются, животные поедают растения и насыщаются, суинк восстанавливает продукты питания, наполняя закрома для растений, растения снова поглощают их и передают животным. Ничто не теряется, ничто не пропадает зря; новых блюд нет, да и никогда не было, меню всегда одно и то же — роскошное, но неизменное, и сама пища не изменилась с тех пор, как ее впервые поставили на стол при сотворении мира. Ее подогревали, жевали, пережевывали, жевали, жевали, жевали снова и снова на каждом этапе жизни, в

какой бы форме она ни проявлялась,— на земле, в воде, в воздухе, с первого дня и до нынешнего.

Какой поразительный механизм, какой потрясающий механизм, какая точность, какое совершенство — чудо из чудес! Я не нахожу слов, чтобы выразить его грандиозность.

Исключите суинка из системы мироздания, и что же останется? Камни и песок, голые камни и песок. Исчезнут леса, исчезнут цветы, исчезнут рыбы в море, птицы в небе; опустеют храмы, опустеют троны, города обратятся в прах и развеются ветрами <...>

Что-то вывело меня из задумчивости; оказывается, герцог продолжал свои рассуждения примерно в таком духе:

— Итак, мы видим, что суинк и только суинк с самого начала спас нашу планету от эрозии и непоправимого бесплодия, спас нас и все остальные живые существа от вымирания, и если он когда-нибудь покинет нас, наступит конец света, этот день будет означать переход нашего Великого Вида и нашей благородной планеты в категорию Безвозвратно Ушедшего.

Значит, скромный невидимка — важная персона? Давайте признаемся: да, по сути дела, он единственная важная персона. Что собой представляет мужское платье, именуемое нами Генрихом Великим, пред которым мы в благоговейном трепете склоняем головы? Что собой представляет вся эта шатия королей и их знать? Что такое их армия и флот? Что собой представляет неисчислимое множество народов с их национальной гордостью? Все это тени, только тени, в мире нет ничего реального, кроме суинка. А слава? Суинк дал, суинк взял. А богатство, а процветание?

Впрочем, обратим внимание на другое. Существуют какие-то странные черты сходства, роднящие наш Великий Вид с этими крошечными существами. К примеру, у нас есть высшее общество, и у них тоже. Здесь можно провести параллель, хоть это и не совсем точно отражает суть дела, ибо наши аристократы полезны и лишь в редких случаях смертоносны, в то время как их аристократы — болезнетворные микробы, заражающие нас страшными недугами [1]. Вот следующая параллель безупречна. Я имею в виду их низшее сословие, трудящуюся бедноту. Они совершенно безвредны. Они выполняют свою работу, выполняют ее толково и непрестанно. Мы уже усвоили, что они спасают нас и нашу планету, но и этого мало — они создают наше богатство, а нам остается только протянуть руку и воспользоваться этим даром на благо себе.

Хотите пример? Ни один метод отделения льняных волокон от древесных в кудели не обходится без помощи суинка. В этом важном деле патент принадлежит ему <...>

Суинки разных видов помогают развивать индустрию. Суинки-дрожжи — верные помощники хозяйке на каждой кухне, в каждой пекарне на планете. Без них хлеба не выпечешь. Суинки заведуют производством вин, крепких напитков, пива — в самом широком масштабе. Это по их милости народы поглощают целые реки горячительного зелья и барыши потоком текут в карманы капиталистов. Это суинки пекутся о том, чтоб вы ели хорошее масло, сметану, сыр.

Стоит табаку пустить листок, и суинк, верный своему долгу, уж тут как тут. Он не бросит листок на произвол судьбы и не пощадит сил, чтоб провести его через все стадии сушки; когда вы закуриваете сигару, ощущая ее восхитительный вкус и аромат, а душа ваша преисполняется довольством и благодарностью, вспомните, что это его работа. Суинк держит под надзором всю табачную промышленность великой планеты, и она приносит доход, какой и не снился статистикам. Дым всесожжения, ежедневно восходящий к небесам во славу неизвестного бога — бога, чьи труды никому не ведомы и чье имя ни-

[1] Вы только послушайте! Он сам болезнетворный микроб и даже не подозревает об этом. Девическая невинность этих бандитов не поддается описанию *(М. Т.)*.

когда не произносят невежественные фанатики,— превосходит по объему дым всесожжений на всех других жертвенниках, восходивший к небу за предшествующие тридцать лет. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, ибо все мы под воздействием эмоций склонны впадать в ошибки.

Вот те дела, которые мы приписываем нашему благодетелю, скромному суинку, могущественному суинку, всеобщему кормильцу, всеобщему защитнику. Кончается ли на этом мой рассказ? А не оказывает ли нам суинк еще какую-нибудь услугу? Оказывает, и огромную.

В свое время погибают деревья и травы. Ими завладевает суинк. Он разлагает их, превращает в прах, смешивает с землей. Предположим, он прекратил свою работу. Опавшие листья, погибшие растения не гниют, а накапливаются, накапливаются, накапливаются; земля, погребенная под многофутовой толщей, ничего не родит, все живое погибает, планета превращается в пустыню. Щедрость и плодородие земли на огромной планете зависит только от суинка.

«Господи боже мой! — бормотал я про себя.— Вот это идея; закрыть врата рая перед самыми достойными созданиями и допустить туда блитцовских!»

— Так вот, позвольте мне закончить. Мы выражаем недовольство суинками-аристократами, болезнетворными микробами. При одном упоминании о суинке нам приходит на ум лишь вред, причиняемый его аристократами. А когда мы говорим о трудяге-суинке, нашем благодетеле, творце наших благ? По сути дела, никогда. О том, что суинк — наш благодетель, не известно никому, кроме отдельных ученых и эрудитов. Что же касается широкой публики, она полагает, что все суинки болезнетворны, и испытывает ужас перед всем племенем суинков. И это достойно сожаления, потому что факты и цифры, представленные ей для изучения, умерили бы эту враждебность.

Когда суинк — микроб чумы отправляется в набег, его самая блистательная победа — два с половиной процента смертности в каждой общине, причем его жертвой становится не нация, а всего лишь несколько общин. Я, разумеется, говорю о нынешних временах. В прошлом веке он добивался больших успехов, пока им не занялись ученые. Уничтожив свои два с половиной процента, микроб чумы должен затаиться на долгие годы. Холерный микроб еще более деликатен, однако и ему приходится отложить последующий набег на несколько лет. Тем не менее репутация у обоих самая скверная, они вызывают ужас. Почему? Я не знаю. За жизнь целого поколения микробы холеры и чумы дают о себе знать лишь в самых глухих уголках планеты. Тем временем трудяга-суинк помогает всем народам, содействует их процветанию, не получая взамен ни похвалы, ни благодарности.

Герцог перешел на местный диалект:

— Что творят все болезнетворные микробы, вместе взятые? По их вине появляется всего десять могил из сотни, только и всего. У болезнетворных микробов полжизни уходит на то, чтоб свалить с ног среднего суфласка, а в то же время их собрат, суинк-трудяга, кормит того же суфласка, защищает его, обогащает, не получая взамен ни награды, ни благодарности. Если перевести это на язык цифр, суинк преподносит суфласку тысячу баррелей яблок, и тот молчит, но стоит ему обнаружить среди них одно гнилое, как он... Ну-ка, Екатерина, скажи, что он делает?

— Посылает...

— Замолчи! — вовремя спохватился я.

— Но так графиня выражается, я сама слышала. Говорит...

— Неважно, что она говорит, мы не хотим это слушать.

Я был восхищен лекцией герцога. Феномены, упомянутые в ней, были для меня новы и удивительны. И в то же время давно знакомы

и неудивительны. На Земле, когда я изучал микробиологию под руководством профессора Х. У. Конна, эти факты считались общеизвестными применительно к микробам, заражающим человеческий организм, но мне было в диковинку то, что существует их дубликат — микробы, заражающие ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ микробов. Все знают, что род человеческий был изначально спасен от гибели микробом, микроб спасает его с тех пор и поныне, микроб — защитник, охранитель жизни, надежда и опора многих мощных отраслей промышленности на Земле. Общеизвестно, что именно микроб спасает Землю, иначе, погребенная под толщей мусора, она исчезла бы из виду и стала непригодной к использованию,— одним словом, все знают, что микроб — самый полезный гражданин планеты Земля, что человек не смог бы обойтись без него, как не смог бы жить без солнца и воздуха. Известно и то, что род человеческий не замечал его благодеяний и помнил лишь о том, что болезнетворные микробы повышают смертность на десять процентов. Вместо того чтобы покончить с этой несправедливостью, человек объявил ВСЕХ микробов болезнетворными и злобно поносил всех микробов, включая своих благодетелей.

Да, это было не ново для меня, но оказалось, наши старые добрые знакомые микробы САМИ имеют множество микробов, которые кормят, обогащают, преданно берегут от смерти их самих, их планету — бродягу Блитцовского, вот это было ново и восхитительно.

Я жаждал увидеть суинков своими глазами. Я весь горел от возбуждения... Я сказал о своем желании герцогу, и это вызвало у него улыбку. Оказывается, все решалось очень просто: нужное оборудование было у него дома. Я вознамерился купить у герцога секрет усовершенствования микроскопа, но он ответил, что такой пустяк не стоит разговоров.

— Вам не приходило в голову направить рентгеновский луч под углом в 8,4° на параболический отражатель? — спросил герцог.

Клянусь честью, я бы никогда не додумался до столь простого решения! Я был ошеломлен.

Мы тут же наладили микроскоп, я поместил на предметное стекло капельку своей крови. Результат превзошел все ожидания. Передо мной простиралась на несколько миль зеленая холмистая равнина, пересеченная реками и дорогами. Где-то вдали виднелись расплывчатые очертания живописных гор. В долине расположился белый палаточный городок, возле него застыли в ожидании артиллерийские батареи, дивизионы кавалерии и пехоты. Нам повезло: очевидно, они построились для церемониального марша или чего-то в этом роде. На переднем плане, где развевалось королевское знамя, стоял самый большой и красивый шатер с эффектными гвардейцами-часовыми, возле него размещались другие красивые шатры. Воины, особенно офицеры, производили очень приятное впечатление — подтянутые, элегантные, в нарядных мундирах. Вся армия была как на ладони: день выдался ясный, и при таком сильном увеличении каждый боец казался ростом с ноготок. Куда ни посмотришь, всюду с веселым видом разгуливали щеголи офицеры, но солдаты были невеселы. В лагере собралось много женщин — жен, невест и дочерей суинков, и почти все они плакали. Провожали, конечно, на войну, а не на летние учения, и бедных трудяг суинков отрывали от праведного труда для того, чтобы послать на край света — нести цивилизацию и другие бедствия несчастным Народам, Ходящим во Тьме, иначе почему женщины плакали?

Конница была на диво хороша: породистые вороные лошади с лоснящимися крупами били копытами, и только луч света засиял на трубе, подающей сигнал, который мы не могли услышать, как весь дивизион пустил коней в галоп. Это великолепное, волнующее зрелище продолжалось до тех пор, пока пыль, поднявшаяся на дюйм,— а

по мнению герцога, еще выше — не окутала конницу крутящимся зыбким облаком, сквозь которое сверкали обнаженные сабли.

Вскоре произошло главное событие дня — в лагерь прибыла целая армия священников с хоругвями. Последние сомнения отпали: начиналась война, и длинные шеренги солдат отправлялись на фронт. Их маленький монарх выступил вперед. Более очаровательную миниатюрную пародию на человека трудно было представить. Он воздел руки к небу, благословляя марширующие войска. Солдаты были на седьмом небе от счастья и, проходя мимо хоругвей, почтительно выражали верноподданнические чувства.

Построившись сомкнутыми рядами, они шествовали маршем под реющими знаменами — удивительно красивое зрелище.

Войска отправлялись куда-то сражаться за Родину, которую олицетворял манекен, благословлявший их на подвиг,— отправлялись защищать его и его знатных собратьев из роскошных шатров и между делом захватить и цивилизовать для них какую-нибудь страну, маленькую и беззащитную. По всему было видно, что малютка монарх и его знать не намеревались становиться в строй. Герцог сказал, что это, несомненно, Генрих и Семейство суинков: те тоже не воевали, а, сидя дома в полной безопасности, поджидали трофеи.

Ну а что оставалось делать нам? Разве мы не должны были исполнить свой моральный долг? Разве мы могли допустить, чтоб началась война? Наш долг — остановить ее во имя справедливости! Наш долг — дать отпор эгоистичному и бессердечному Семейству!

Герцог был потрясен и тронут этой идеей. Он вполне разделял мои чувства и настроился бороться за справедливость, предложив капнуть на Семейство кипятком и уничтожить его, что мы и сделали.

Кипяток заодно уничтожил и армию, это не входило в наши планы. Мы горько сожалели о содеянном, но потом герцог заявил, что суинки для нас ничто и заслуживали уничтожения хотя бы потому, что рабски служили жестокосердному Семейству. Герцог верноподданнически делал то же самое, как, впрочем, и я, но нам и в голову не приходило такое сравнение. И это отнюдь не то же самое: ведь мы суфласки, а они всего-навсего суинки.

Герцог вскоре ушел, но последняя неотступная мысль не давала мне покоя: это отнюдь не то же самое, ведь мы суфласки, а они всего-навсего суинки. Так вот где собака зарыта! Неважно, кто мы и что собой представляем, нам всегда есть кого презирать, с кем порой считаться, с кем никогда не считаться, к кому проявлять полное безразличие. В бытность свою человеком я самодовольно полагал, что принадлежу к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, к Всеобъемлющим Существам, к Божьей Отраде. Я презирал микробов, они не стоили мимолетного взгляда, самой пустячной мысли; жизнь микроба для меня ничего не значила, я мог отнять ее ради собственной прихоти, она была все равно что цифра на грифельной доске — захотел и стер. Теперь же, став микробом, я с негодованием вспоминал об оскорбительном высокомерии, о беззастенчивом равнодушии человека и копировал его тупое пренебрежение к другим существам даже в мелочах. И снова я взирал сверху вниз — теперь уже на суинков, и снова я считал, что жизнь суинка ничего не стоит и ее можно стереть как ненужную цифру с грифельной доски. И снова я относил себя к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, и снова я нашел кого презирать, кем пренебрегать. Я принадлежал к суфласкам, я был Всеобъемлющим Существом, а где-то бесконечно далеко внизу копошился ничтожный суинк, я мог отнять его жизнь ради собственной прихоти. Почему бы и нет? Что в этом дурного? Кто меня осудит?

И тут до меня дошла неумолимая логика ситуации. Неумолимая логика ситуации заключалась в следующем: существует человек и микроб — паразит, которым человек пренебрегает; существует суф-

ласк и суинк — паразит, которым суфласк пренебрегает; значит, и суинк наверняка имеет какого-нибудь паразита, которого презирает, которым пренебрегает, которого при случае уничтожает с легким сердцем; из этого следует, что и у такого паразита наверняка есть СВОЙ паразит, и так далее и так далее, пока не доберешься до самого последнего, ничтожно малого создания, если таковое существует, что весьма сомнительно.

Я снова обрел чистую совесть. Мы сварили живьем бедняжек суинков, ну и что? Пусть терпят, пусть вымещают зло на СВОИХ паразитах, а те — на своих, и так до тех пор, пока в отместку не обварят кипятком самое последнее, ничтожно малое создание, и тогда все будут удовлетворены и даже рады этому происшествию.

В конце концов, такова жизнь. Она такова повсюду, при любых условиях: король презирает придворного, придворный презирает чиновника, чиновник рангом повыше презирает того, кто ниже рангом, а тот — другого, кто еще ниже, и так все пятьдесят каст, составляющих общину, все пятьдесят аристократий, составляющих общину, ибо — могу с уверенностью утверждать — каждая каста внутри общины считает себя аристократией и свысока взирает на тех, чье положение ниже, норовит выхватить у них «жирный кусок». И так сверху вниз, пока не доберешься до самого дна. А на дне вор презирает хозяина, сдающего жилье внаем, а тот — льстивого проныру агента по продаже домов, стоящего так низко, что дальше уже некуда.

Я просмотрел свою работу о местном денежном обращении и решил, что факты в ней изложены точно, понятно и занимательно. Это мой очень давний труд. В первые дни пребывания на Блитцовском я взял за правило записывать все новое, что узнал, откладывать написанное впрок, а потом время от времени возвращаться к сделанному и оценивать заново. Я всегда находил какие-нибудь огрехи и постепенно выправлял все ошибки. Работа о денежном обращении прошла ту же суровую проверку временем. Я счел ее вполне удовлетворительной и отдал на хранение Екатерине — до следующего раза.

Это было три тысячи лет тому назад. О Екатерина, бедное дитя, где ты? В каких краях обретаешься, прелестное создание, причудливый эльф? Где ты, юная краса, переменчивый нрав, порывистое отзывчивое сердце? Где ты, неуловимая, как шарик ртути, непредсказуемая, как проливной дождь в яркий солнечный день? Ты была для меня аллегорией, ты была самой жизнью! Веселой, беззаботной, сверкающей, боготворимой мною, всепобеждающей жизнью! И вот уже тридцать столетий ты прах и пепел.

Пожелтевшая старая бумага вызвала в памяти образ Екатерины. Ее рука последней трогала эти листы. Екатерина была славное дитя, именно дитя. Знай я, где ее пальцы коснулись бумаги, я поцеловал бы это место.

В незапамятные времена два юных искателя приключений облюбовали в чужих краях уединенное местечко и основали там деревеньку, нынешний Рим. Деревенька со временем разрослась и несколько веков была столицей королевства; слава о ней шла по всему миру, она стала сердцем республики, родиной выдающихся деятелей, даже императоров, среди которых попадались и вполне сносные владыки. Рим стоял на земле уже семь или восемь веков, когда в одной из его провинций родился Иисус Христос. Наступил век Веры, за ним — Темные, или Средние века, растянувшиеся на несколько столетий. Рим взирал на мир с высоты своего величия, и когда над ним пронеслось восемнадцать столетий, Вильгельм Завоеватель совершил деловую поездку на Британские острова. Потом появились крестоносцы и два века поднимали пыль столбом, но романтическое шоу куда-то

сгинуло, шум стих, стяги исчезли, будто все это привиделось миру во сне. Потом мир посетили — один за другим — Данте, Боккаччо и Петрарка; разразилась Столетняя война, явилась миру Жанна Д'Арк, немного погодя изобрели печатный станок — событие огромной важности; потом вспыхнула война Алой и Белой розы — сорок лет крови и слез. Вскоре Колумб открыл Новый Свет. В том же самом году Рим узаконил истребление ведьм. В течение последующих двух столетий в Европе не продали ни одного фонаря, и даже искусство их изготовления было утрачено: в христианском мире дорогу путешественникам освещали костры, на которых живьем сжигали женщин, привязанных к столбам на расстоянии тридцати двух ярдов друг от друга. Христианский мир постепенно очищался от ведьм и довел бы это дело до конца, если б кто-то случайно не дознался, что ведьм не существует, и не рассказал бы об этом всем вокруг.

Скучно протекли еще два столетия; Рим, некогда маленькая деревушка в глуши, насчитывал уже две тысячи шестьсот лет и назывался Вечным городом. Бывшие дворцы времен Христа обратились в груды камней, поросшие травой, и даже унылый Новый Свет, открытый Колумбом, стал не такой уж новый: народу там прибавилось, и, вернись Колумб к этим берегам, он поразился бы, увидев города, железные дороги и великое множество людей.

Перебирая в памяти события минувших веков, я думал: какой седой стариной представляется нам то время, когда два юных путешественника основали деревушку и назвали ее Римом. И все же, возразил я себе, еще больше веков кануло в вечность с тех пор, как Екатерина унесла старую рукопись. О, если б я знал, где ее рука коснулась бумаги!

В одном важном деле цивилизация на Блитцовском несомненно превзошла земную цивилизацию. Некогда Bund[1] добился введения на Блитцовском единой валютной системы. Здешние жители, отправляясь в путешествие, не запасаются ни валютой на мелкие расходы, ни купюрами в чужой непонятной валюте. Номинальная цена денег во всех странах одинакова.

Когда эту идею предложили впервые, она вызвала опасения, ибо предлагала упрощение самой изощренной головоломки. Каждая страна обзавелась собственной валютой, собственной грошовой принципиальностью. Это была плачевная картина, неизбежно возникающая там, где царствует хаос. Яркий пример тому — случай с моим прапрадедушкой, который некогда отправился в путешествие в Германию.

В те времена Германией заправляли триста шестьдесят четыре принца-самодержца, что ни ферма — свой принц. Каждый принц имел собственный монетный двор, каждый чеканил в год денег на сумму, равную нынешним пятистам—шестистам долларам с изображением собственной персоны на каждой монете. В обращении находилось три тысячи двести тридцать разновидностей монет, и каждая имела свой номинал и название.

Никто в Германии не знал всех названий, никто не знал, как пишется хотя бы половина из них; за пределами государства каждая монета падала в цене, и чем дальше, тем сильнее.

Моим предком был некто Эссфолт. Он получил генеральский чин еще в молодости, когда целых три недели служил при губернаторе. Эссфолт приехал в Германию лечиться, и врачи прописали ему ежедневные прогулки — пять миль туда и обратно. Наведя справки, мой предок выяснил, что самый дешевый маршрут север — северо-восток, потому что в этом случае его путь пролегал всего лишь через пять границ суверенных государств. Положи Эссфолт по неосторожности руль на румб вправо, ему предстояло пересечь семь границ, а положить

[1] Лига, конфедерация стран *(нем.)*.

руль на румб влево было и того опасней: тогда на его пути было девять границ. На румб вправо и на румб влево протянулись две самые хорошие дороги, но Эссфолт не мог позволить себе такой роскоши и брел по грязной немощеной дороге во вред собственному здоровью, которое его послали укреплять. Любой другой на его месте сразу смекнул бы, что нет смысла экономить на дороге, но вбить в голову Эссфолта такую простую мысль было невозможно.

В то лето мой предок жил в главной деревне Великого Герцогства Доннерклапперфельд. С утра после завтрака он отправлялся на прогулку, набив карманы своего костюма, который менял через день, местной монетой на сумму в двадцать долларов. Костюм тоже обходился ему в двадцать долларов, хотя красная цена ему была восемь с половиной. Цена была возмутительная, ибо Эссфолту приходилось платить за шитье самому герцогу, запретившему своей высочайшей властью всем другим портным открывать мастерские в его владениях.

У границы герцогства, в трехстах ярдах от постоялого двора, Эссфолт платил экспортный налог за костюм — пять процентов его стоимости. Эссфолта пропускали через заставу, а потом иностранный таможенник по другую сторону заставы останавливал моего предка и взимал с него пятипроцентный импортный налог за тот же костюм и еще пять процентов за разницу в курсе при переводе одной валюты в другую.

У каждой заставы игра продолжалась в том же духе: Эссфолт платил налог за экспорт, импорт и разницу в курсе при переводе одной валюты в другую — по два доллара у каждой из пяти застав. На обратном пути все повторялось сначала, и каждая прогулка обходилась Эссфолту в двадцать долларов. Он возвращался без медяка в кармане, хоть ничего не покупал по дороге. Разве что привилегии и покровительственный тариф. Но он вполне мог обойтись без привилегий и никогда не пользовался никаким покровительством — правительственным во всяком случае.

Что ни день, с него взимали десять долларов за разницу в курсе. С этим генерал смирился, но считал, что по десять долларов налога за экспорт и импорт бросает на ветер. Через день налог съедал его костюм, и ему приходилось покупать новый. Эссфолт пробыл в Германии девяносто дней. За это время он купил сорок пять костюмов.

В отличие от генерала, я сторонник протекционизма и считаю эту меру правильной, но если отправляешься в путь с настоящим полноценным долларом и он тает у тебя на глазах до последнего пятнышка жира на нем из-за надувательства с переводом валюты, пора крикнуть: «Стоп!» и учредить международную валюту. Так заведено на Блитцовском, и, по-моему, лучшей системы не придумаешь.

◆

БИНДЕМАН ЛЮДМИЛА МАРКОВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе публиковались повести и рассказы Э. Сетона-Томпсона, Марка Твена, пьеса Б. Шоу «Деревенское сватовство», роман американского писателя Мак Химана «Трудно быть сержантом», маврикийского писателя Маллу «Они летят в пропасть» и др.

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

Л. ФЕДОСЕЕВА

А ВСЕ-ТАКИ ОНА ЧИТАЕТСЯ!

Заметки о том, кто и как читает сегодня на Западе советскую литературу

«...Если бы больше американцев читало советскую литературу, это очень способствовало бы разрядке. Они научились бы понимать советских людей, и те нравились бы им так же, как нравятся мне, потому что много лет я читаю ваши книги, слушаю вашу несравненную музыку, и еще потому, что испытываю чувство благодарности, вспоминая о жертвах, принесенных советскими людьми в годы второй мировой войны...» Эти слова из письма Дэвида Сэведжа[1], телевизионного мастера из США, могли бы служить эпиграфом к настоящим заметкам о восприятии советской литературы на Западе, ибо в них искренне и точно выражена суть проблемы: возрастающее желание многих западных читателей иметь больше возможностей для знакомства с советской литературой и объективная полезность и плодотворность такого знакомства для взаимопонимания между народами. Сослагательное же наклонение, в форму которого высказывание облечено, указывает на реальное положение вещей: увы, о полноценном и в должном объеме знании советской литературы для подавляющего большинства читателей на Западе пока в изъявительном наклонении говорить рано. Не следует забывать, что духовная жизнь там во многом определяется господствующим классом и система буржуазного контроля неизбежно сказывается во всех ее сферах не исключая и изучения советской литературы, ее издания и распространения, даже обучения русскому языку и литературе в университетах и колледжах. И чем больше возрастает влияние сил социализма на земле, тем меньше отвечает интересам господствующего класса западных стран распространение реального знания о мире социализма, тем, следовательно, энергичнее на восприятие различных кругов читателей влияет буржуазный контроль, функции которого выполняет советология.

Измышления советологов в области литературоведения убедительно опровергаются советскими учеными, чьи работы — при условии, что они доходят до зарубежных читателей,— существенно корректируют их восприятие советской литературы, ибо не секрет, что «оседание» реакционных идей, ложных воззрений в умах и душах людей на Западе в той или иной форме происходит и в нынешнее время.

Посредством внедрения в сознание каждого индивидуума заведомо предвзятых представлений сложный и многознач-

[1] Читательские письма, в том числе самого последнего времени, которые использованы в статье, взяты из архива журнала «Советская литература» и личного архива автора статьи. *(Прим. ред.)*

ФЕДОСЕЕВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Советская литература» для зарубежных преподавателей русского языка и литературы» (М., 1976, 1978, 1982), научных и публицистических статей по проблемам советской литературы и культурного сотрудничества.

ный процесс восприятия советского искусства направляется к главной цели: не допустить объективного понимания нашей словесности, исказить смысл художественных идей, воплощенных советскими авторами, изобразить богатейший мир литературы, рожденной Октябрем, эстетически и духовно ущербным.

Нет нужды доказывать, что главная задача подобной деятельности — ослабление влияния социалистической идеологии.

Обработка западного читателя ведется по трем основным линиям: дискредитация теории социалистического реализма, фальсификация конкретного творчества писателей, искажение истории литературы. Все они органически связаны между собой, ибо являются порождением антисоветизма.

Реакционные буржуазные литературоведы пытаются представить метод социалистического реализма как догму, не имеющую ничего общего с творческим актом, а партийность литературы трактуют как «указку» партии, как якобы ограничение свободы творчества. Расхожим тезисом у них стало и отрицание национальной самобытности литератур народов СССР, будто бы утраченной в ходе «русификации».

Советологи насильственно втискивают произведения советских писателей в заранее сконструированные схемы, толкуя при этом об «описательности», «бедности и невыразительности художественных средств».

Например, они утверждают, что один из принципов социалистического реализма заключается в том, чтобы, «пропагандируя цели и методы коммунистической партии, не допускать изображения судеб людей в сложных конфликтных ситуациях» [2]. Нет ничего удивительного, когда, исходя из такой посылки, иные из них делают вывод, что, скажем, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого — лишь «агитка», выполненная в «обычной романтико-патриотической манере», а военные романы К. Симонова созданы... «с целью пропаганды ненависти». К счастью, есть непредвзятые читатели на Западе, кому доступен авторский замысел, не извращенный пропагандистскими установками советологов. Преподаватель русского языка и литературы из Мексики Валентина Бострэм пишет: «Один из романов трилогии К. Симонова — «Живые и мертвые»— проник в мою душу особенно глубоко. У меня на всю жизнь сохранится совершенно необычное впечатление об этом произведении. Когда я читала его, мне казалось, что я углубляюсь в биографию хорошо знакомых мне людей, пожалуй, даже дорогих и близких мне людей, а не вымышленных героев».

Надо ли говорить, что суждения, подобные приведенному, начисто опровергают обвинения в «схематизме» и «невыразительности художественных средств». Кстати, мощный пласт советской художественной литературы — произведения о Великой Отечественной войне,— как видно из откликов зарубежных читателей, оказывает на них особенно впечатляющее воздействие, открывая душевную красоту советского человека, его самоотверженное служение социалистическому идеалу.

Ральф де Буасвер из Австралии по прочтении романа Бориса Васильева «В списках не значился» заметил: «Роман написан так сурово, с такой болью, что иногда я откладывал книгу на день или два... Это значительный, замечательный роман, один из наиболее волнующих памятников миллионам людей, которые построили и отстояли социализм. Он вызывает духовный подъем — вот как я сказал бы о нем. Волнует до глубины души... Борис Васильев показывает, какими великими могут стать люди при социализме. Я не в силах забыть этот роман. Он так убедителен, правдив».

Чрезвычайно важно для судеб планеты, что советские книги о Великой Отечественной войне читают сегодня молодые люди. Большое впечатление на читателей капиталистического мира, в особенности в США, где не умолкают разговоры о возможности третьей мировой войны, производит, судя по письмам и устным свидетельствам, документальная «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина. «Для меня это самая значительная книга, какую я читал когда-либо в своей жизни,— пишет молодой читатель М. С. из США.— Одно дело — исторические работы о ленинградской блокаде или романы на эту тему. Совсем другое — когда с вами говорят те, кто пережил блокаду, когда вы как бы сами переживаете ее день за днем вместе с ленинградцами такой, какой она была на самом деле».

Совершенно очевидно, что книга должна обладать большой художественной силой, чтобы пробудить в сознании молодого американца подобные размышления: «Для нас, родившихся после войны, где бы мы ни жили, связь с этими людьми (имеются в виду ленинградцы-«блокадники», о которых рассказано в книге.— *Л.Ф.*) необходима, обязательна, в ней гарантия нашего существования на земле, если мы имеем право называться людьми. Только почувствовав в себе эту связь, мы сумеем закалить как сталь волю к борьбе за мир на планете и посвятить этой борьбе все силы. Со времени войны прошло много лет, человечество шагнуло далеко вперед, и поэтому можно легко успокоиться и своевременно не заметить нового, все возрастающего военного безумия. Но если мы сольемся душой с теми, кто отдал молодость и жизнь ради мира, ради мира для нас, то мы сразу же поймем, что именно сейчас борьбу за мир надо продолжать, что она неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни». М. С. рассказывает о своей матери, которая в годы второй мировой войны участвовала в массовых выступлениях в США за открытие второго фронта, и продолжает: «Ни она, ни другие тем не менее не знают, что такое война, ибо она никогда не велась на территории нашей страны. Нам не пришлось испытать тех страданий, которые выпали на долю советских людей. «Блокадная книга» показала нам в полной мере, что такое война. Вот где был подлинный героизм — героизм Ленинграда, Сталинграда, Москвы, Киева, а также бесчисленных маленьких городов и деревень; вот где были нечеловеческие муки, и вот почему мы должны быть уверены, что война никогда не

[2] Karl-Dieter van Ackern. Bulat Okudzawa, die kritische Literatur über den Krieg. München, 1976, S. 18-21.

повторится!»— подчеркивает американец М. С.

Читателей, думающих так, на Западе становится все больше. И поэтому все чаще фальсифицируется советологами понятие героического в советской литературе и жизни: ведь в атмосфере, когда сознание людей пытаются подготовить к кощунственной мысли о возможности третьей мировой войны, произведения К. Симонова, Ю. Бондарева, В. Богомолова, И. Стаднюка, В. Быкова и других советских авторов показывают зарубежному читателю истинный образ советского народа. Огромная сила воздействия лучших произведений нашей литературы состоит, в частности, в том, что, создавая положительного героя, описывая героические поступки, она всегда шла и продолжает идти от действительности, от реального образа жизни нашего народа. Не случайно, когда в советском посольстве в Париже бывшим летчикам эскадрильи «Нормандия—Неман» вручали 17 июня 1985 года ордена Великой Отечественной войны, многие из них говорили о том, какое вдохновляющее воздействие оказала на них в свое время советская литература. Анри Роль Танги, бывший руководителем вооруженного восстания в Париже в 1944 году, сказал, что книги Горького и Шолохова учили его быть мужественным. Бывший командир звена «Нормандии—Неман» Ролан де ля Пуап признался, что ему одинаково дороги как герой повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», так и его реальный прототип. А летчик и поэт Виктор Эйхенбаум вспомнил, что в дни войны особенно любил читать произведения К. Симонова потому, что тот «храбро писал». «Советская литература,— сказал он,— помогла мне стать коммунистом по убеждению, понять, что свое будущее человечество должно искать на пути, пройденном советским народом».

Если еще недавно реакционные литературоведы пытались навязать своим читателям мысль о том, что героизм советского человека — это следствие его обреченности, то теперь они стараются подвести под определение «героические» некоторых отрицательных персонажей книг последних лет. Например, дезертир Гуськов («Живи и помни» В. Распутина) предстает в их трактовке едва ли не как мученик, чье предательство оправдывается его любовью к Настене. Японский исследователь Сюити Като видит ни больше ни меньше как «героическое» начало в поведении Гуськова. Критика совсем не волнует блестящее мастерство В. Распутина в изображении моральной деградации дезертира, его превращения в существо с животными инстинктами. С. Като представляет дело так, что Гуськов борется «с обществом и природой. Он спасается от преследования сильного врага, выживает, чтобы только встретиться с женой, и, мобилизовав все свои душевные и физические способности, продолжает свою почти героическую (!!!), но абсолютно бесперспективную борьбу»[3] Когда сталкиваешься с таким «анализом», трудно даже поверить, что речь действительно идет о «Живи и помни» Распутина. С. Като продолжает: «Это сказание о страстной, всепоглощающей любви мужчины и женщины, мужа и жены... о решимости совершить во имя ее поступок, равный самопожертвованию...» [4]. Подобная трактовка, к сожалению, может найти отклик в сердцах японских читателей, исконно почитающих женскую любовь и семейный очаг. И особенно читателей, мало осведомленных об освободительном характере войны, которую советский народ вел против жесточайшего врага, о мужестве и героизме солдат и тружеников тыла. Всем им японский исследователь противопоставляет предателя родины в качестве положительного примера.

Разумеется, не только военная проза советских писателей впечатляет читателя на Западе, и не только познавательный интерес проявляют они к советской литературе. Многие, вопреки утверждениям советологов о ее «творческой беспомощности», ценят в советской литературе именно художественные открытия. Приведем лишь один пример. Дайсон Картер, известный публицист, главный редактор канадского журнала «Норзерн нейборз», пишет: «Я был очарован произведением Гамзатова («Мой Дагестан».— *Л. Ф.*). Вот уже много лет я не испытывал подобного потрясения. Это великолепное свидетельство того, как истинный талант находит форму, идеально воплощающую данное содержание. Как большая поэзия, его проза прежде всего покоряет сердце, и только потом, казалось бы неожиданно, пробуждается мысль, растет теперь уже осознанное восхищение даро-ванием писателя».

Непредубежденные читатели, интересующиеся вопросами теории литературы профессионально или любительски, судят и о социалистическом реализме по-иному, чем советологи. Итальянский литературовед Карло Солинари после знакомства с повестью В. Распутина «Деньги для Марии» сделал знаменательный вывод, что подобные произведения советской литературы «обогащают наше представление о социалистическом реализме», предполагающем «открытие жизни в ее современных формах, во всех ее хороших и дурных проявлениях, во всем ее развитии и во всех ее противоречиях, воспринимаемых с позиций марксизма»[5].

А преподаватель русского языка и литературы из Японии Т. Идзюин по прочтении книги «Советская литература» (изд-во «Русский язык», 1975) написал: «...эта книга послужила мне стимулом для размышлений о социалистическом реализме. Я понял его как современный и самый гуманный реализм. Сущность его, по-моему, в том, что он не догматичен, это реализм, стоящий на позициях рабочего класса, всего трудящегося люда, стремящегося к прогрессу и миру. Главное в литературе социалистического реализма — творческое воспроизведение конкретного жизненного процесса в

[3] Сюити Като. Взаимосвязанность господствующих ценностей. «Асахисимбун», 1982, 18 октября.

[4] Там же.

[5] Цит. по ст А. Овчаренко «Литературная судьба Валентина Распутина» в кн. Валентин Распутин. Избранные произведения. В 2-х томах. М., 1984. т. 1, с. 13.

его исторически необходимом движении к социализму и коммунизму».

Распространенным приемом извращения представлений о советской литературе является также утверждение о несовместимости принципа коммунистической партийности с творческой свободой писателя. По мнению японского советолога Такэо Окуно, например, принцип партийности требует от писателя «выбирать подходящую тему и приспосабливать ее к партийной линии. При этом внутренняя самостоятельность творца полностью игнорируется. Он особенно даже и не думает о политике, за него думает партия, а отсутствие творческой фантазии заменяет актуальная тема»[6].

Такое представление весьма живуче в сознании многих людей в капиталистических странах. Не так давно японский русист Тадао Мидзуно написал под впечатлением от прочтения произведений В. Распутина «Последний срок» и «Прощание с Матёрой»: «Для меня, разочаровавшегося в современной советской литературе, находящейся под строгим контролем, утратившего даже привычку читать советские литературные журналы, это явилось открытием, вызвало изумление»[7].

В подобном высказывании нет ничего удивительного: ведь для 80-х годов характерно оживление пропаганды антисоветизма, особенно в развитых капиталистических странах. Ничего неожиданного не было для меня и в том, что во время беседы, состоявшейся 24 июня 1985 года в Доме Наук о Человеке в Париже на тему «Советская литература сегодня. Тенденции развития и художественные достижения», из уст одной участницы прозвучало такое соображение: «К сожалению, мы ничего не ждем от советской литературы, потому что не ждем уже ничего от Советского Союза». Оно вызвало горячую дискуссию среди присутствующих. Вспоминали «Районные будни» В. Овечкина, тетралогию Ф. Абрамова, «Грядущему веку» Г. Маркова, «Ночь после выпуска» и «Расплату» В. Тендрякова, произведения Ю. Трифонова. Как раз в те дни участники беседы (большинство из них слависты-профессионалы) познакомились по советской печати с выступлениями М. С. Горбачева и сопоставили высказанные им мысли с тем, как различные советские писатели в разное время подходили к жизненно важным вопросам, над конкретным решением которых работает сейчас наша партия. И конечно же вспомнились слова Шолохова, сказанные им о советских писателях: «Каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца́ наши принадлежат партии и родному народу, которому мы служим своим искусством»[8].

Нельзя не отметить, что на Западе появляются и литературоведческие книги, в которых делаются попытки объективно осветить состояние советской литературы.

В этом отношении показательна вышедшая в конце 1973 года в Лондоне книга известного русиста Вона Джеймса «Советский социалистический реализм. Происхождение и теория». «Социалистический реализм,— делает В. Джеймс принципиально важное, редкое для западных русистов признание,— не был декретирован сверху, а его теория явилась обобщением реальной практики развития советского и зарубежного социалистического искусства»[9]. Однако, оставаясь на позициях буржуазной методологии («Мои собственные убеждения не могли не повлиять как на отбор материала, так и на характер изложения»)[10], В. Джеймс трактует принцип партийности как принуждение следовать творческим принципам, которые сам художник якобы не разделяет,— Джеймс приходит к схемам, выдвинутым еще в тридцатые—сороковые годы «столпами» советологии Г. Струве, В. Александровым, Г. Ермолаевым.

Но именно верность принципу коммунистической партийности, о чем бы ни писали советские художники слова, привносит в их мироощущение исторический оптимизм и заражает читателя, вселяя веру в торжество идеалов социализма. Впрочем, именно это, видимо, и не устраивает советологов.

Испанская коммунистка Бернардина Пелаес де Кунильера написала из Барселоны в Москву: «Вот уже в течение ряда лет я являюсь постоянной читательницей журнала «Советская литература». Мои товарищи присылали мне его из Москвы в Париж, где я жила в качестве политической эмигрантки. Для меня чтение советской литературы служило огромной моральной поддержкой в моменты грусти и невзгод жизни вдали от родины. Оно действовало как живительный воздух, в котором нуждалось все мое существо. С появлением журнала как бы открывалось окно, и в темноту и мрак, где я находилась, врывался поток света, а вместе с ним добрые чувства, разделяемые нами, миллионами людей, живущих на планете, называемой Земля. Книги советских писателей заставляют поверить в то, что твоя борьба, хотя она порой и кажется никому не известной, на самом деле таковой не является».

Этот отзыв, говорящий об огромной гуманистической силе советской литературы, можно дополнить словами итальянского читателя Арсена Кутара, живущего в Ницце, с которыми он обратился к советским художникам слова накануне их V съезда: «Ваши произведения, наполненные благородными чувствами, показывают людей, живущих реальной, но при этом вдохновенной жизнью. Их образы и реалистическая манера вашего письма в значительной степени способствуют созданию все более и более благоприятных условий для развития лучших человеческих качеств, для стремления к познанию тайн природы, к борьбе за установление прочного и справедливого мира на земле».

Чтобы нацелить читательское восприятие на ложное представление о советской литературе, используется искаженная трактовка смысла конкретного произведения

[6] Цит. по кн.: А. Овчаренко. Социалистическая литература и современный литературный процесс. М., 1973, с. 302.

[7] Тадао Мидзуно. «Глубокое проникновение в «судьбу», журнал «Уми», 1981, № 4, с. 282—283.

[8] Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1954, с. 378.

[9] Vaughn James C. „Soviet Socialist Realism. Origins and Theory". L., MacMillan, 1973, p. 10.

[10] Там же, p. 12.

или всего творчества писателя в общей картине литературного процесса. На первый план у советологов принято выдвигать книги, в которых (в силу самых различных субъективных и объективных причин) односторонне, а следовательно, неполно, иногда даже ошибочно представлено то или иное явление советской действительности. И наоборот — произведения советских писателей, в которых художественно впечатляюще показаны достижения мира социализма, новые человеческие отношения, роль героя-коммуниста, отодвигаются на дальний план, рассматриваются как эстетически «второсортные».

Нередко произведениям литературы, в критическом свете изображающим те или иные явления нашей жизни, трудности становления социализма, навязываются не свойственные им антисоциалистические концепции. Так американский литературовед Г. Ермолаев в одной из статей утверждает, что Ю. Трифонов приветствовал, дескать, Февральскую революцию и не принимал Октябрьскую и что якобы именно из этого противоречия родился «Старик»— «наиболее смелое и оригинальное его произведение»[11].

Буржуазные идеологи хорошо представляют себе значение исторической взаимосвязи нашей литературы и жизни советского народа и отдают себе отчет в огромной силе воздействия на читателей. Именно поэтому они стремятся оторвать литературный процесс от борьбы за победу Октябрьской революции, от творческого созидания советского народа, от героики дней Великой Отечественной войны, от богатой и многогранной действительности мира социализма наших дней. Искажая истинную историю развития советской литературы, буржуазные идеологи стремятся навязать общественному мнению свою периодизацию, в основе которой лежат тенденциозные соображения. Например, одной из недавних «концепций» является объединение эмигрантской литературы разных периодов, с современной советской литературой. «Это одно и то же, существует одна литература, развивающаяся в едином контексте»[11],— пишет западногерманский литературовед Хольтхузен. Советологи стремятся утвердить мнение, будто художественные открытия советской литературы, если они есть, якобы не связаны с глубинными истоками народной жизни, а определяются лишь различными тенденциями в развитии самой литературы, так называемыми самоценными стилистическими особенностями произведений писателей.

Глеб Струве еще в 60-х годах утверждал, что такого явления, как советская литература, просто нет. А одна из нынешних представительниц советологии в ФРГ Элизабет Маркштайн пишет: «Вполне законным является вопрос, не своевременно ли было бы отказаться от этого официального, насажденного партией и КГБ понятия «советская литература» и использовать, например, нейтральное понятие «русская литература советского периода»[13]. Дело, оказывается, в том, что наша литература должна быть «нейтральна», ибо ее эстетическое новаторство, рожденное Октябрьской революцией, будто бы «насаждается партией и КГБ».

Это крайняя точка зрения. Более осторожные из советологов, оставаясь верными стратегии отчуждения советской литературы от революционных идей, прибегают к тактике потоньше. Завуалированными рассуждениями о неизменности проблем русской и советской литературы, о независимости законов развития культуры от социальной жизни они отрывают эстетическую форму советской литературы от ее новаторского содержания. Французский критик Ги Маллак, к примеру, тщится доказать, что новый этап развития нашей литературы начинается не с Октябрьской революции, а с 1913 года, с формалистических исканий Андрея Белого[14].

Между тем большая литература невозможна вне постижения и выражения существенных сторон социальной действительности в ее революционном развитии. Эту мысль подтверждает история советской литературы. В лучших произведениях ее показан народ-творец, народ — движущая сила истории. Как написал француз Морис Рулло, бывший учитель из Тулузы: «Знакомство с советской литературой позволило мне через отдельные человеческие судьбы постичь живой опыт тех огромных перемен, которые произошли в СССР, ту героическую борьбу, которую вашей стране пришлось выдержать, преодолев как объективные трудности, так и всеобщую враждебность выступающих в единой коалиции великих держав».

А Конрад Пант из ФРГ обратил внимание на другую черту советской жизни. Прочтя «Солнце меня качало» Ю. Шесталова и «Мой Дагестан» Р. Гамзатова, он написал: «Оба эти примера наглядно подтверждают, что СССР — многонациональная держава. Большинство людей здесь у нас (в ФРГ — *Л. Ф.*) этого не знают. Они повторяют слова о «русификации угнетенных народов» и не понимают того, что лишь благодаря революции 1917 года была создана предпосылка для самобытного развития этих народов».

Как видим, вопреки усилиям советологов, правда о советском образе жизни через посредство литературы все же доходит до непредубежденного рядового читателя на Западе. Однако число таких читателей пока до огорчения невелико, ибо невелики возможности объективного знакомства с советской литературой в мире капитализма. И напротив — огромен поток дезинформации. Доверчивость читателей к заведомо ложным советологическим измышлениям психологически объяснить нетрудно. Вспомним нехитрую, но точную характе-

[11] Russian Language Journal, XXXVII, 1983, № 128, p. 140.

[12] J. Holthusen. Russische Literatur im XX Jahrhundert. München, 1978, S. 695.

[13] Elisabeth Markstein. Zum Begriff der Sowjetliteratur. „Osteuropa", 1977, № 8, S. 685.

[14] Mallac Guy de. La litterature russe de la periode soviètique. Dictionnaire des litteratures etrangères contemporaines. Paris, Editions Universitaires, 1974.

ристику состояния человека, воспринимающего обманную идею. Еще в XVI веке французский гуманист Мишель Монтень написал: «Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана,— писал он,— является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас возможности что-либо им противопоставить... невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного.

Поэтому люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем они меньше всего знают, и никто не разглагольствует с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен...»[15].

Обман, клевета, фальсификация находят опору в плохом знании западными читателями советской действительности и литературы нашей страны. Вот что пишет Н. С., молодой инженер-химик из Греции: «Как вы понимаете, все эти выдумки — подаются ли они в открытом виде или строятся на неправомерных обобщениях — имеют успех потому, что большинство людей мало читает собственно советскую литературу»

Филолог из ФРГ Мария Фогель, проявляя большой интерес к советским книгам, не может купить их в своем городе, ибо, по ее словам, «возможности в Гамбурге очень ограниченны и неудовлетворительны. Советские книги так редки в продаже! Все нет да нет. Или бери что есть». А есть, как пишет Мария Фогель, прежде всего произведения диссидентов или некоторых авторов двадцатых годов.

Филолог из Японии Марико Ямасито на вопрос автора этих строк, кто ее любимый современный советский поэт, ответила: «Откровенно говоря, из современной советской поэзии любимого поэта назвать трудно, потому что не так уж много я читала. В нашей стране мало издается советской литературы». Финский русист Каарто Пуркка сожалеет: «Маловато известна у нас советская литература 60—70-х годов (кроме Ч. Айтматова). Еще меньше я знаю поэзию этих лет».

Французский профессор русской советской литературы Жан Перюс пишет: «Советская литература и художественная жизнь все еще малоизвестны во Франции... К сожалению, распространение советской литературы у нас в стране идет пока не без борьбы. Только для очень небольшого слоя французской публики очевидно, что в литературе и искусстве Советской России из года в год наблюдается... расцвет, аналога которому не сыщешь ни в какой другой стране».

Иного положения вещей трудно и ожидать, поскольку «возле» издаваемой советской книги в капиталистических странах всегда оказываются советологи. Они осуществляют давление на издателей, в значительной мере определяя выбор книг для перевода.

Следует особое внимание обратить и на то, как используется для создания превратной картины советской литературы такой важный канал, как преподавание русского языка и литературы на русских и славянских отделениях университетов ряда капиталистических стран.

Во многих учебниках литературы, к примеру, нет крупнейших советских мастеров слова. Скажем, в довольно распространенном в США учебном пособии «От Пушкина до Пастернака»[16] нет ни М. Горького, ни В. Маяковского, ни М. Шолохова, ни Л. Леонова, ни В. Катаева, ни В. Каверина ни многих других. Отобраны лишь произведения сатириков: И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, Б. Ласкина, чтобы, сосредоточив внимание студентов на отдельных негативных моментах советской действительности, подвергнутых осмеянию писателями, выдать их за норму нашей жизни. Типичный прием, используемый по отношению к советским авторам. Распространен и еще один прием: искажение творчества того или иного писателя посредством тенденциозного отбора определенных мест из его книг, эпизодов, ситуаций, несущих в себе далеко не полную, а следовательно, и неточную информацию.

Смещение реальных направлений литературного процесса в СССР достигается и намеренным сближением писателей различных, а порой и идеологически полярных мировоззренческих устремлений. В программе Сорбоннского университета (Париж IV, 1982—1983 гг.) рядом стоят имена М. Шолохова и... А. Солженицына. Молодые люди, избравшие профессию преподавателей русского языка и литературы и стремящиеся составить себе объективное представление о литературе, пожинают плоды тенденциозного обучения — знакомство их с предметом поневоле бывает бессистемным и односторонним.

Не стоит недооценивать воздействия клеветнической пропаганды на сознание будущих преподавателей. Учитель русского языка и литературы из Бельгии Боэм Андрэ убежден, например, что от литературы социалистического реализма требуется, чтобы она была всего лишь «монументальной», а Вольфганг Тернер из ФРГ не сомневается, что «действительность в советской литературе отражается только в идеализированной форме», что «цели ее не литературные, а чисто политические», и поскольку она «борется за концепцию одной политической группировки — коммунистической партии,— постольку не может считаться зеркалом размышлений, дум и чувств русского народа». А иные, даже испытывая волнующие эстетические переживания при чтении советских книг, все же остаются в плену предвзятых представлений о них.

Все виды буржуазного контроля, тщательно продуманного идеологического влияния на изучение издание, распространение и интерпретацию советской литературы в капиталистических странах имеют общую методологическую основу Борьба за сознание масс стала сейчас одной из важнейших сфер, в которых решается исход исто-

[15] Мишель Монтень. Опыты. В трех книгах, книги первая и вторая. М., 1979. глава XXXII, с. 199.

[16] H. Josselson, F. Parker. From Pusckin to Pasternak. N. Y., Prentice-Hall International, 1976.

рического соревнования между капитализмом и социализмом, между силами войны и мира, между гуманизмом и социальным пессимизмом. Исходя из задачи укрепления социальных, политических и идеологических устоев капитализма, реакционные буржуазные ученые стремятся нейтрализовать гуманизирующее нравственное влияние советской литературы на читателей Запада.

Однако с каждым годом в общественном мнении капиталистического мира все более четко вырисовывается несколько тенденций, помогающих объективному восприятию произведений советской литературы читателями.

Прежде всего адекватному восприятию советской литературы способствует исторически неизбежный подъем самосознания трудящихся масс. Этот процесс в каждой стране происходит по-разному, но во всех случаях, говоря словами В. И. Ленина: «Основная причина этого громадного ускорения мирового развития есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллионов людей»[17]. Они участвуют в рабочем и профсоюзном, студенческом и женском движениях, в национально-освободительной борьбе. В последнее десятилетие огромные массы людей во всех странах вносят свой вклад в борьбу за устранение ядерной войны, за укрепление мира, взаимопонимания, сотрудничества и дружбы между народами.

Все это, несомненно, способствует политизации сознания масс и углубляет характер восприятия ими духовных ценностей. Вот какие размышления вызвал, например, роман Ю. Бондарева «Выбор» у Альберта Вольфа, шахтера из ФРГ: «Найти или потерять себя — значит постичь или не постичь смысл трагического XX столетия» Эти слова Ю. Бондарев сказал на седьмом съезде писателей в 1981 году, и они имеют непосредственное отношение к роману «Выбор». Найдешь себя или потеряешь — это зависит и от мелких, повседневных, и от серьезных решений. В определенных условиях люди оказываются перед выбором: как поступить, как жить. Постоянно стоят перед выбором и герои Бондарева. Автор не дает им покориться обстоятельствам, он показывает, что выбор определяется совокупностью исторических, общественных условий, личных качеств, душевным состоянием и массой самых разнообразных второстепенных вещей». Зрелость размышлений немецкого рабочего позволяет ему верно понять моральную основу книги Ю. Бондарева «Выбор».

Нередко участники общественных движений в капиталистических странах находят подтверждение своим мыслям и чувствам в произведениях советских писателей. Вот что считает живущая в Западной Германии Агнес Крист-Фиала: «Меня, как участницу студенческого движения 1968—1970 годов в ФРГ, буквально поразила поэма «Казанский университет» Е. Евтушенко. Я поняла, что существует связь между студенческим движением в те времена, когда В. И. Ленин учился в университете, и борьбой сегодняшних студентов против расовой дискриминации, войны и фашизма, за демократические права. В этой поэме выражены и мои переживания и размышления».

Другим важным фактором, способствующим более объективному восприятию советских книг в капиталистических странах, является теоретическая и практическая деятельность ряда коммунистических партий, прогрессивных общественных организаций капиталистического мира, помогающая зарубежным читателям избавиться от духовной и идейной ограниченности. «Мы не должны забывать,— писал видный советский литературовед И. Анисимов,— что активность демократических и социалистических элементов в национальных культурах очень высока в данный момент. Это значит, что идеологические маневры реакции встречают сопротивление прежде всего в той стране, где они начинаются. В странах капитализма есть марксистско-ленинская философия, прогрессивная литература и близкие нам по духу критика и литературоведение»[18]. Так, например, марксистская критика выступила резко и убедительно против клеветы на многонациональную советскую литературу, прозвучавшей в предисловии писательницы и переводчицы М. Гинзбург к американскому изданию повести «Белый пароход» Ч. Айтматова: «В то время как большинство писателей заново «преобразованных» национальностей создают незрелые варианты унылой прозы «социалистического реализма», каких требуют от них советские литературные руководители и которые являются не чем иным, как пропагандой политики коммунистов, Айтматов пишет повести и рассказы о живых людях, таких, какими он их видит и слышит. Он не слагает панегирики «славному новому советскому человеку», созданному партией и коммунистическим обществом, он не ограничивает свое видение тем, что официально должен видеть и слышать»[19]. Как видит читатель, М. Гинзбург помимо всего пытается еще и умалить идейное звучание произведений Айтматова. Это заведомо необъективное мнение вызвало глубокое возмущение марксистского критика Д. Стюарда. В статье «Советская литература говорит сама за себя» он писал: «Какие именно писатели создают незрелые, унылые произведения, я не знаю, но я знаю, что Айтматов — коммунист, видный деятель коммунистической партии, его взгляды и убеждения отражены в его творчестве. Произведения Айтматова прекрасны и поэтичны... В повести «Белый пароход» критикуется деспотизм патриархальных обычаев, но подчеркивается необходимость сохранить все лучшее из старых народных традиций. Автор критически относится к некоторым явлениям современной действительности, но в целом его произведения полны оптимизма и жизнеутверждающи»[20]. Выступая против преднамеренного выведения реакционными литературоведами таких писателей, как Чингиз Айтматов, за пределы метода социалисти-

[17] В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 45, с. 174.

[18] И. И. Анисимов. Живая жизнь классики. М., «Наука», 1970, с. 440.

[19] Aitmatov Ch. The White Ship. Translated by M. Ginsburg. — N.Y., Crown Publishers, 1974, p. VII—VIII.

[20] Steward D. Soviet Literature Speaks for Itself. „Peoples World", San Francisko, 1974, May 25, № 20, p. 2.

ческого реализма, Д. Стюард подчеркнул: «Социалистический реализм не является чем-то скучным и косным, каким его пытаются представить нам наши издатели и критики... Отрадно видеть, когда произведения писателей из социалистических стран публикуются в американских издательствах. Но было бы еще лучше, если бы смысл их не истолковывали для читателей лживо и искаженно»[21].

Немало делают для духовного сближения людей разных стран общественные организации обществ дружбы. К примеру, весной 1984 года в Дании, в Копенгагене, состоялся вечер, посвященный творчеству В. Шукшина. Датский писатель Й. Хансен, рассказав о вкладе писателя в советскую литературу, особо отметил глубокую народность его творчества, его любовь и близость к простым людям, мастерство в изображении психологии художественных образов.

Известно, что научно-техническая революция, изменяя формы труда, повышает требования к квалификации и образованию и в конечном итоге становится фактором культурного прогресса.

Небывало возросшие возможности созидания и, к сожалению, разрушения таящиеся в достигнутом уровне научно-технического прогресса, заставляют не только ученых и политиков, но и массы людей размышлять и волноваться: кому и в каких целях служит и должна служить эта мощь? Во благо людям или во зло? Во имя всеобщего благосостояния человечества или ради корыстолюбивых интересов привилегированных групп? Разобраться в этих жизненно важных вопросах помогает современному человеку советская литература. Ученый, экономист, профессор, директор Центра по изучению стран Восточной Европы в Париже, один из руководителей Общества «Франция—СССР» Мари Лавинь, награжденная за активную общественную деятельность орденом Почетного Легиона в день 40-летия Общества «Франция—СССР» в июне нынешнего года, так отозвалась об одном из советских писателей, затронувшем эти проблемы: «Чингизу Айтматову в романе «И дольше века длится день» удалось очень убедительно соединить жизнь простого советского человека, рабочего, с проблемами, которые интересуют и волнуют все прогрессивное человечество».

Наши заметки мы хотели бы завершить еще одной цитатой, свидетельствующей о растущем интересе простых людей к советской многонациональной литературе.

Канадский студент Даниель Паке считает: «Советская литература вносит большой вклад в дело мира и сближения народов. Рассказывайте чаще о достижениях вашего доброго и жизнелюбивого народа. Продолжим диалог в пользу мира и дружбы».

Вряд ли найдется в нашей стране человек, который не разделял бы призыва Даниеля Паке. Да, диалог в пользу мира и дружбы необходим. И он был бы тем успешнее, чем скорее удалось бы прогрессивным силам на Западе перевести разговор о советской литературе — объективный, честный и правдивый — из сослагательного наклонения в изъявительное.

[21] Там же.

С. ПРОЖОГИНА

В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

О творчестве Дриса Шрайби

Что вспоминает тот, кому хоть раз удалось посетить эту удивительную страну, Марокко, или прочесть одну из множества книг, рассчитанных на то, чтобы поразить читателя, особенно иностранца, восточной экзотикой? Конечно, берега Атлантики, окутанные пеной с грохотом разбивающихся о камни волн, неописуемую красоту гротов и скал Средиземноморья, спокойное величие и огнедышащий жар пустыни, прохладу и свежесть дубовых лесов Атласских гор, пышное богатство оазисов и садов в долинах, неправдоподобно огромные и сочные плоды, которые здесь зреют круглый год... В памяти останутся небоскребы Касабланки и ее печально знаменитые бидонвили, тысячелетние узкие улочки прекрасного Феса и жемчужины мавританской архитектуры — древнего Марракеша, средневековые башни и крепость Рабата, неповторимое очарование Мекнеса и Тетуана, тревожащая воображение загадочная жизнь Танжера... Надолго сохранится и то ощущение нереальности, которое возникает всякий раз, когда вы, переходя с одной стороны улицы на другую в современных кварталах марокканских городов, перебираетесь из залитого солнцем зноя в холодную тень, пробирающую до озноба, или когда попадаете вдруг из спокойного и комфортабельного белоснежья их «европейской» части в средневековую арабскую медину, опоясанную высокими стенами, с ее тесными и темными переулками, шумными базарами, невообразимыми запахами и звуками. Вас поражает сноровка здешних уличных брадобреев, каким-то острым осколком или простым ножом ловко обрабатывающих своих клиентов; жутковатое искусство «заклинателей» змей, заставляющих их завороженно замирать под волшебные звуки флейты; виртуозность домашних ткачей, красильщиков шерсти, гончаров, чеканщиков... Вас обволакивают и зловонные пары, исходящие из каменных чанов, где по колено в вязкой жиже работают дубильщики кожи (славящейся во всем мире эластичностью и прочностью, марокканские кожаные изделия продаются за границей по особо высокой цене), и густой пьянящий аромат масел розы, жасмина, гиацинта, восточных пряностей, мяты, с которой пьют здесь чай в любое время суток... Вам долго будут вспоминаться искристое сверкание парчи, бархатистая мягкость пышных, ярких ковров, блеск медной и серебряной чеканки, металлическое мерцание эмали и глазури на глиняных кувшинах и блюдах...

Если же туристская тропа заводила вас в горное селение на какой-нибудь местный праздник, то вам, верно, довелось подивиться великолепию берберских украшений, отведать необыкновенный кускус из пшеничной муки с соусом из барашка или блюдо из тушенных с изюмом, финиками и маслинами голубей, вкусить особых, замешанных на меду сладостей из толченого

ПРОЖОГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Советский литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Литература Марокко и Туниса» (1968), «Франкоязычные литературы стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис)» (1973), «Магриб: франкоязычные писатели 60—70-х годов» (1980), «Рубеж эпох — рубеж культур» (1984) и ряда работ по истории и теории литератур стран Северной Африки.

миндаля, посмотреть на бесконечно длящийся ритуальный танец под звуки бубнов и флейт, окунуться в атмосферу всеобщего ликования, а заодно и в облако пыли, поднятое копытами неоседланных лошадей, мчащихся в безумной скачке под отважными всадниками, демонстрирующими древнее искусство наездников и стрелков из кремневых ружей..

Да, таким открывает себя Марокко туристам — как исполненный неповторимой прелести и своеобразия мир «Тысячи и одной ночи», безвозвратно уходящий в прошлое, но по-своему окрашивающий настоящее. Однако тот, кто хочет вглядеться пристальнее в современную жизнь этой страны, не обойдется без путешествия *внутрь* Марокко, чтобы понять, с чем пришла страна в настоящее из глубин истории, с чем идет в будущее, как устроен ее социальный механизм, как сказались на ее судьбе политические перемены, достижение независимости [1], что значил для нее контакт с Западом, каковы последствия колониализма и плоды приобщения к «технической цивилизации»... И если не на все вопросы ответят вам научные исследования, если не удастся понаблюдать жизнь Марокко подольше, то возьмите книги Дрисса Шрайби — в них вы прочтете правду и о дне нынешнем, и о дне минувшем.

В литературе стран Северной Африки творчество Дрисса Шрайби (род. в 1926 году) занимает особое место: он по праву не только стоит в ряду основоположников новой марокканской литературы, возникшей в эпоху подъема национально-освободительного движения на рубеже 40—50-х годов, но и является зачинателем социально-критического реализма во франкоязычной литературе Магриба. Начав писать в ту пору, когда повсюду в Африке вместе с антиколониальной борьбой шло духовное раскрепощение народов, возрождение их культурной самостоятельности, Шрайби одним из первых в литературе Магриба поднял голос протеста против колониального и капиталистического гнета, против засилья религиозных догм и феодальных пут, показал кризис старых, патриархальных основ, на которых зижделось традиционное общество, обнажил резкие социальные контрасты и колониального и постколониального времени. В своих книгах Шрайби ставит под сомнение многие казавшиеся ранее незыблемыми ценности. Его писательское сознание стремится прежде всего показать последствия угнетения человека, опасность, грозящую его духовному миру и в условиях, когда властвуют феодальные пережитки, и под гнетом капиталистической цивилизации, когда личность обесценивается и превращается в элемент общества потребления.

Так резко и так широко, как у Шрайби, в литературе Марокко (да и Магриба в целом) подобных задач не ставил никто. Почти одновременно с ним начали писать алжирцы Мухаммед Диб, Катеб Ясин, Мулуд Маммери, тунисец Альбер Мемми. В литературе Северной Африки наступил новый этап: от созерцательного бытописания она перешла к разрушению видимостей и критическому освоению социальной реальности. У Дрисса Шрайби нелегкий путь, он до сих пор продолжает искать свой идеал добра и справедливости, подчас останавливаясь на трагическом перепутье. Но он первопроходец, а для многих магрибинских писателей, пришедших в литературу в последние десятилетия, он и учитель (его влияние, несомненно, испытали и алжирец Р. Буджедра [1], и марокканцы М. Хайреддин, Т. Бенджеллун, А. Лааби и другие писатели).

Судьба Шрайби по-своему драматична, хотя и не исключительна в том поколении франкоязычных писателей, которые закладывали фундамент новой национальной словесности в Магрибе: он вынужден долгие годы жить за пределами родины — немало магрибинцев и по сей день по разным причинам живут во Франции, хотя не считают Запад новой, принявшей их в свое лоно «семьей». Для них Отчизна, Родина — понятие единое. Они называют себя «nord-africains» не только потому, что родились по ту сторону Средиземного моря.

Шрайби в последнее время поселился на маленьком острове Йе, недалеко от побережья Вандеи. Однако, находясь вдали от родной земли, он чутко слышит ее пульс. Его творчество отражает жизнь народа, волнующие его острые проблемы. Он не просто знакомит мир с жизнью родной страны. В определенном смысле его голос — голос демократических, прогрессивных кругов Марокко, интересы которых объективно выражает писатель. (Недаром писательскую интеллигенцию в Магрибе со времен начавшегося там освободительного движения называли «выразительницей общего несчастья». И франкоязычие было для нее эффективным оружием — «винтовкой, вырванной из рук врага», по образному выражению алжирского писателя Катеба Ясина.) «Ни одной капли моего прошлого не ушло из меня,— писал Шрайби в романе «Простое прошедшее».— Оно течет во мне естественно, как кровь. Я марокканец, и в известном смысле Марокко принадлежит и мне».

Тридцать лет спустя эти слова не утратили своего значения. До сегодняшнего дня писатель выступает именно в том качестве, которое было присуще ему изначально: художника с ярко выраженным знанием культуры, истории и современной жизни своего народа, умеющего блестяще передать особенности национального характера и психологии и не просто зафиксировать, но объяснить происходящие в жизни изменения с позиций, всегда определяющихся высокими нравственными, гражданскими, социальными идеалами. Эти идеалы заставляют писателя быть на стороне обездоленных и угнетенных, выражать заботу и надежду народа, искренне и страстно сочувствовать ему и стремиться способствовать его продвижению по дороге прогресса.

Творчество этого крупного прозаика представлено сегодня одиннадцатью книгами — романами, повестями и рассказами.

[1] Марокко находилось под французским протекторатом с 1912 по 1956 г. *(Прим. авт.)*

[1] Роман Р. Буджедры «Идеальное место для убийства» опубликован в «ИЛ», 1984, № 10. *(Здесь и далее прим. ред.)*

среди которых переводившиеся на многие языки мира, в том числе и на русский, повесть «Осел» [1] (1956), романы «Завещание» (1962), «Это цивилизация, мама!» (1972) и другие.

Произведения Шрайби образуют своеобразный цикл, где каждый роман — веха в «поисках истины» героем Шрайби (от утраты веры в бога до обретения убежденности в силе человеческого братства и солидарности) и в развитии художнического сознания писателя: родная страна, Марокко, и Запад — главные темы его книг, источники размышлений о судьбе человека в современном мире.

Первый роман Шрайби «Простое прошедшее» (1954), сыгравший большую роль в истории магрибинской литературы, в известной мере автобиографичен. Книга запечатлела историю распада богатой марокканской семьи, символизирующей власть мусульманских традиций, незыблемых патриархальных устоев, показала крушение миропорядка, на котором держалось колониальное общество. Бунт юного героя романа — не просто взрыв сознания, обретающего достоинство, не просто протест против власти отца-тирана, низведшего членов семьи до состояния безропотных рабов. Это отречение человека от мира, который олицетворяет прошлое, мешающее настоящему идти дорогой свободы.

Воссоздающая эпоху 40-х годов — канун независимости, книга горько и страстно, без прикрас рисовала неприглядные картины быта и нравов, царивших в среде марокканской знати, бесправие и нищету народа, обреченного терпеть двойной гнет — колониализма и национальной феодально-буржуазной верхушки.

Герой романа в поисках идеалов свободы и равенства покидал Восток и отправлялся на Запад, где, по его мнению, должен был царить другой миропорядок. Но там, в стране, родившей великий лозунг, он становился свидетелем «медленной человеческой декристаллизации», не менее страшной и опасной, чем та, от которой он бежал. Об этом же романы «Козлы» (1955), «Вас навестит друг» (1967), «Смерть в Канаде» (1975). В первом из них Шрайби нарисовал картину нечеловеческих условий жизни североафриканских эмигрантов в атмосфере расизма и жестокой эксплуатации «рабочего скота» — так называют во Франции приехавших туда в поисках работы магрибинцев. И хотя по фабуле роман «Козлы» не является продолжением «Простого прошедшего», внутренне он с ним соприкасается: герой его видит Запад как бы глазами своего алжирского собрата, который тоже отправился искать счастья за морем.

Отвергнув исламо-феодальный Восток, персонажи писателя не находят идеала и на Западе, не видят и там путей избавления от несправедливости, угнетения, насилия. Единственным рецептом спасения Человека становится для них надежда на собственные душевные силы, на возможность новых «поисков истины». Завет отца (из романа «Завещание») — «Рой, Дрисс, рой. Свет — он в глубине» — становится лейтмотивом творчества Шрайби. Но пафос его книг не в крушении иллюзий героев, а в характере решения проблемы «Восток—Запад»: писатель не сделал, подобно другим, вывода о несовместимости двух миров, о невозможности «адаптации» других народов к духовным ценностям Европы. Он показал, что проблема — в самой эксплуататорской сути капиталистической цивилизации. Причины трагедии кроются в социальном конфликте, в самой системе, до сих пор допускающей расизм, способной выбросить человека за пределы социума, растоптать его морально и физически.

Эту систему, «декристаллизующую» личность, обрекающую ее на новый вид рабства, Шрайби виртуозно изобразил и в сатирической фантазии «Толпа» (1961), где Запад предстает как «царство лжи и механического стандарта». Писатель блистательно проанализировал, как в человеке вместо духовного начала хитроумно создается и культивируется комплекс обезличивающих свойств, превращающих его в «человека-толпу», запрограммированного по нормам и стандартам буржуазной демагогии.

Но если основной интонацией «Толпы» является ироническое осмеяние, фарс, гротеск, не лишенный, впрочем, сочувствия к человеку, одновременно ставшему и продуктом системы и ее жертвой, то в романе «Вас навестит друг» почти с документальной точностью воспроизводится сам механизм принесения человека в жертву на алтарь общества потребления. Реалистическая основа книги, по-своему развивающей тему, начатую Шрайби в «Толпе», демонстрировала читателям еще одно свойство его писательской манеры — мастерство психолога, сумевшего глубоко и всесторонне изобразить душевный кризис человека, из которого планомерно и скрупулезно вытравляли духовное, творческое начало Шрайби показал, как самое человеческую жизнь и природу подчиняют буржуазным представлениям о счастье, долге, назначении, как морально обкрадывают человека и приводят в конечном итоге на грань отчаяния. Драма, переживаемая героиней романа,— это протест личности, не пожелавшей быть предметом в ряду других окружающих ее вещей, игрушкой в руках «духовных отцов» современной буржуазной цивилизации.

Завершив роман «Вас навестит друг», писатель вновь обратился к Востоку, где попытался изыскать ту модель солидарности, которая станет своеобразной альтернативой условиям существования, отвергнутым им в реальности буржуазного Запада.

Характерная для произведений писателя смена географических координат усиливает настойчивое возвращение его к проблемам, которые, всякий раз решаясь на новом уровне, остаются по существу постоянными. «Долго-долго я бился в подземелье, набрасываясь то на Восток, то на Запад. Но есть ли еще на самом деле и то и другое?» — размышлял герой «Завещания». Так, может быть, выход был в том, чтобы писать «вообще», изучать некую «человеческую реальность», не обязательно связанную с конкретным миром? Нет, для художника-реалиста, и реалиста прежде всего социального, отстранение от конкретного исторического пространства и времени было невозможно. Поэтому, вероятно, Шрайби и выбрал «челночное» движение: в его книгах

[1] Опубликована в «ИЛ», 1973, № 3.

Восток сменяется Западом и обратно, вырабатывается определенный «ритм» проблематики, возникают художественные переклички, образы соприкасаются, а в целом возникает широкое полотно «человеческой реальности», в недрах которой и ищет писатель ориентиры для себя.

Все чаще и чаще он обращается к теме родной земли, которая чем дальше, тем становится ближе, желаннее, превращается в предмет особых забот и источник глубоких размышлений. Когда-то Шрайби писал: «Я видел, как на Западе разглагольствуют о гуманизме и совершают жестокости. Находясь между двух закрытых дверей, я столько раз пытался кричать о человеческом братстве и взаимопонимании... И как бы в противовес всему, в своем одиночестве стал снова воссоздавать картины родной земли цвéта правды и цвéта фантазии...» И если «Простое прошедшее», «Осел», «Завещание» (где писателем на примере Марокко были затронуты острые проблемы внутреннего развития восточных обществ: засилье средневековых традиций, тормозящих социальный и культурный прогресс, хищническая суть национальной буржуазии, почти не изменившаяся участь народных масс, оказавшихся и после завоевания независимости под тяжким гнетом) были плодами «цвета правды», то роман «Это цивилизация, мама!»[1]— скорее «цвета фантазии». И хотя Шрайби здесь верно уловил тенденцию, рано или поздно пробивающую себе дорогу, и показал своего рода антипод уходящего мира — мир восходящий, вырывающийся из плена социальной и духовной косности, тем не менее в этом произведении дышит прекрасная мечта о новом Человеке, вступающем в открытый бой с прошлым и смелый диалог с будущим. Но эта же мечта освещает своеобразным светом и те, другие,— «цвета правды» — произведения о Западе.

Исследуя в художественной форме проблемы западного мира, ежедневно сталкиваясь с ними вплотную, Шрайби, однако, пишет о них иначе, чем художник европейский. Совершенно очевидно, что и выбор темы, и ракурс ее освещения, и способ художественного решения подчинены у него прицелу более дальнему, нежели тот, что виден при первом взгляде. Проблемы, поставленные в так называемых «западных» произведениях Шрайби, волнуют его не просто как свидетеля, но главным образом как человека, озабоченного будущим развитием своей страны. От того, какой путь изберет Марокко, пойдет ли оно по пути капиталистического Запада — а такие симптомы в его нынешней ориентации уже наметились,— во многом зависит, считает Шрайби, судьба дорогого ему народа. Это определяет и его художественные задачи.

Если говорить о современных североафриканских и арабских писателях в целом, то именно в романах Д. Шрайби наиболее полно представлена изнанка цивилизации капиталистического Запада, создана яркая картина того социального устройства, где царят законы расизма, звериной эксплуатации людей «второго сорта», где в человеке убивают его духовное, творческое начало и планомерно формируют его по нормам и стандартам массовой культуры.

Но и в книгах о своей родине писатель с болью осознает все еще существующую отдаленность той радужной перспективы, которая рисовалась его воображению в эпоху создания романа «Это цивилизация, мама!». Одна из проблем, волнующих писателя сегодня,— не только социально-экономический и политический, но и социально-психологический итог независимого развития Марокко, результат столкновения традиционной культуры, традиционного сознания с современной цивилизацией Запада, с усиленно проникающими на восточную почву нормативами буржуазной культуры, образа жизни, с явлениями чужеродными, неорганично усвоенными.

В романе «Расследование на месте» (1981)[1] показана жертва буржуазной цивилизации на восточный лад. Гротескная фигура крупного полицейского чиновника Мухаммеда, приобретшего на стажировке во Франции и Америке внешние признаки «современной культуры», говорящего на смехотворной смеси арабо-франко-английского языков, заболевшего брезгливостью к своим «отсталым соотечественникам», утратившего всякую способность к контактам с ними и признающего только деньги и карьеру, являет собой уродливый гибрид — результат прививки к исконно восточному стволу худших ростков Запада.

Однако писателя интересует не тип «гибридной личности», как таковой, а прежде всего причины, обусловившие возможность его появления, смешения в нем «заветов аллаха и приказов Запада». Шрайби усматривает их в недрах самой социально-политической системы своей страны — в угнетении народа, сохранении монархии с ее полицейско-чиновничьим аппаратом, господстве национальной буржуазии и неоколонизаторов в стране. «Французы ушли, но рабство осталось»,— констатирует писатель. Рабство физическое — для тех, кто вынужден работать на «новых хозяев»; рабство духовное — для тех, кто либо остался в плену косных традиций, либо попал в плен массовой культуры Запада.

Крестьяне затерянной высоко в Атласских горах деревушки, куда приехали полицейские в поисках человека, обвиняемого властями в «подрывной деятельности против государства», принадлежат к племени Аит Яфельманов, живущему по древним законам. И именно они отказываются покориться плену, демонстрируя постоянную готовность отстоять «недра» народной души, способность выжить и выстоять, борясь за лучшую долю.

Конечно, племенной солидаризм и эгалитаризм («Мы — одна семья»,— говорят старейшины деревни) могут показаться и кажутся «окультуренному» на западный манер полицейскому чиновнику дремучим «пережитком средневековья». Конечно, древние ритуалы и обычаи жителей деревни на фоне приобретенных этим чиновником «привычек современного человека» могут быть восприняты как анахронизм, нелепый пережиток прошлого. Конечно, упорное желание горцев сохранить законы своего вольного края, сберечь клочок родной земли от

[1] Подробнее об этом романе см. статью С. Прожогиной в «ИЛ», 1974, № 3.

[1] Публикуется в «ИЛ», 1985, № 10—11.

контактов с внешним миром («твердь своей земли — крепче цивилизации») может показаться безнадежной и отчаянной авантюрой: ведь рано или поздно — в этом полицейский уверен — их заставят сдаться. У власти есть для этого минометы.

Но писателю важно было показать именно это живущее в народе упорство, несмирение, это внутреннее сопротивление угнетению, решимость остаться неподвластными какому бы то ни было насилию.

Вот почему некий «смутьян», «подрыватель» и «ниспровергатель», которого разыскивают полицейские, становится постепенно в романе мифической личностью; им в конечном итоге может оказаться каждый — и тот, кто давно живет на этой земле, и тот, кто пришел в деревню «со стороны», ибо жажда воли — она повсюду.

Вот почему легендарный Филагар, о котором не перестают с восхищением вспоминать горцы, одинокий и грозный борец, становится в романе символом народного гнева, в огне которого куется свобода. Филагар, в прошлом мирный крестьянин, ставший на путь борьбы,— не террорист, не убийца, жаждущий крови, но именно народный мститель, не смирившийся с унижением, не потерпевший совершенного над ним и над его братьями по вере насилия и несправедливости.

Недаром Шрайби композиционно выделил притчу о капитане Филагаре. В устах старой и мудрой Хаджи она становится уроком для тех, кто пришел сломить ее соотечественников, заставить народ поступиться законами, освященными традицией. Эпизод, связанный с событиями двадцатилетней давности,— не только история племени, живущего в горной деревушке, это и его настоящее. Капитан Филагар — так прежде называли старейшину рода Рахо — теперь хранитель его памяти, заветов предков, призванный осуществлять связь времен, поколений, передавать потомкам дух вольности народной.

Маленькая несдавшаяся деревушка становится в романе своеобразным оазисом свободы. Она одерживает победу в неравной битве с властью не силой оружия, но силой непокоренного духа людей, силой их братства, которое крепко волей к жизни, свободной от насилия и угнетения.

Солдат с автоматами, пришедших усмирять горцев, встречают лишь молчание гор и пустота вокруг. Деревня исчезла, она словно растворилась в безграничье земли и неба, ушла в вечность, как напоминание о народе, не смирившемся с участью рабов, не позволившем убить свою свободу.

Опираясь на народную эпическую традицию, сохраняя как бы вневременные черты сказа о вечных истинах, свято хранимых его соотечественниками, Шрайби вводит в роман, однако, и хронологические рамки: намеренно документализируя, насыщая его характерными приметами эпохи, переживаемой Марокко, писатель называет «точную дату» происходящего — 11 июля 1980 года.

Несомненно, прогрессивная идейная ориентация романа и высокий уровень художественного воплощения темы (колоритные персонажи, яркие и сочные языковые характеристики, различие стилистических пластов при создании разных социальных типов, тонкое мастерство портретиста, владеющего сложными психологическими нюансировками) делают произведение особенно значимым в творчестве писателя. Особенно еще и потому, что именно в этом романе в полную силу зазвучала та тема, которая так или иначе (и «цвета правды», и «цвета фантазии») в разных вариациях проходила через произведения писателя,— тема Родины, родной земли, родного народа. Уроки истории, исход борьбы за независимость, смысл происходящих перемен — все те проблемы, которые так или иначе постоянно пробивались сквозь разнообразные сюжетные пласты,— в этом романе сплелись воедино и придали ему философичность, глубину, расширив диапазон звучания, далеко выходящий за рамки социально-политического гротеска, каким было задумано вначале это произведение.

Словно вырвавшись на свободу, тема родной земли продолжала увлекать писателя в новый творческий поиск. Незадолго до выхода романа «Расследование на месте» Шрайби писал в одном из писем в Москву: «Я завершаю работу над произведением, вдохновленным «Тихим Доном». Хочу и я рассказать о Реке жизни, об Истории своего народа, воссоздать его эпопею...» Через год читатели получили новый роман, который назывался «Мать Весны» (1982) (по-арабски — «Умм-ар-Рабиа») по имени полноводной марокканской реки, в устье которой, при впадении ее в океан, стоит город Мазаган, где родился писатель.

Начало нового романа — словно продолжение рассказа о племени Аит Яфельманов: мы снова встречаемся с Рахо в той самой затерянной высоко в горах деревушке, и снова он слушает землю и снова размышляет о жизни, подводит итоги. И на страницах романа оживает седая старина его родины, эпоха пришествия сюда арабских племен, утверждения новой религии.

Зачем же понадобилось Д. Шрайби обращение к давно прошедшему времени в последнем романе? Казалось бы, призвание писателя — современная действительность, ведь все свое творчество он посвятил борьбе с силами зла, которые чаще всего олицетворяются у него в образах прошлого, «должного завершиться». Семантика прошедшего времени воспринималась в целом однозначно в книгах Шрайби — это было преимущественно Passé simple [1] (так и назывался, как мы помним, его первый роман) — время оконченное, которое не должно иметь места в настоящем. Однако, казалось бы переключив в романе «Мать Весны» внимание на глубокую старину, писатель наполняет понятие прошлого современным содержанием.

И не случайно, обратившись к предыстории племени Аит Яфельманов, повествуя о событиях, относящихся к VII веку н. э., Шрайби начинает рассказ с конца (и даже называет вступление к роману «эпилогом»), доверив именно Рахо «приоткрыть дверь» в глубины веков, показать начало начал, истоки народного сопротивления. Рахо как бы глазами предков оглядывает теперь смысл пути, пройденного его племенем по пространству времени. Итог его раздумий,

[1] Простое прошедшее *(франц.)*.

вывод, к которому он приходит,— это уже «тугой узел» всех нитей жизни, которые сплелись воедино в Историю народа и его земли, нитей, с помощью которых автор, умело вытягивая их одну за другой, воссоздает из главы в главу долгую цепь событий, повествует о борьбе, о завоевании и вечном несмирении не ставшего рабом Человека. (В этом аспекте смысл романа Шрайби далеко выходит за рамки его конкретной проблематики.) Главное — и это Рахо знал точно — уметь сохранить свои корни в земле. Выстоять.

Недаром издревле у марокканцев, как пишет Шрайби в романе, считалось, что самая большая потеря человека — утрата им или отречение от уз, которые соединяют его с родной землей, взрастившей и вскормившей его. Теряя или разрывая эти узы, человек переставал быть ее сыном, становясь чужим в своем племени. Отсюда — особое отношение в народе к людям, утратившим кровные узы,— ведь они, «одинокие во множестве племен», могли легко стать орудием врага, способными исполнить любое его желание. Таких уничтожали — как предателей.

Мотив корней здесь становится метафорой смысла самого человеческого существования. Когда-то, когда Рахо сажал свою смоковницу на деревенской площади, все смеялись над ним: такими хилыми казались ее веточки. А двадцать лет спустя все увидели могучее дерево, его огромную тень, спелые плоды. И если люди, как и это дерево, думал он, сумеют выстоять, то, значит, и их земля будет спасена.

«И даже тогда, когда не останется уже ни единой кости от моего народа,— размышлял Рахо,— ты все равно будешь жить, моя земля. Никто тебя не победит. Никто не сможет умертвить тебя». И Рахо нарисовал на песке древний знак — звезду и в ней рыбу: символы Солнца — источника тепла, и Воды — источника жизни на Земле. «А земля сама позаботится о человеке, лишь бы люди верили в нее».

В сущности, оба последних произведения Шрайби посвящены одной и той же теме: бессмертия земли, с которой народ связан нерасторжимыми узами, неискоренимости народа, неподлежания врагу освященных вековой традицией законов чести, понятий добра и зла. И во вневременном, притчевом финале романа «Мать Весны» звучит не скорбная интонация раздумий о вечном возвращении времени на круги своя, но реальная вера в человека, гражданина, художника-гуманиста, в то единственное настоящее время, которое навсегда связано с созиданием жизни, а не разрушением и опустошением ее. Ведь только при этом условии, как пишет Шрайби, народы, «пройдя как караваны» по Реке Времени, могут быть спокойны, что и в «конце времен», когда не должно остаться «уже ничего», всегда будут «Земля, Свет и Вода» их родины... А значит, и исток новой жизни.

Расшифровав таким образом древний священный знак звезды со вписанной в нее рыбой, писатель создает свою формулу закона жизни, где вечные мифологемы Дерева, Земли, Воды уравнены друг с другом, соотнесены с источником Света, умножены на скорость человеческой истории и приравнены к бегу времени навстречу весне, как вечному возрождению народа.

◆

МЕША СЕЛИМОВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ

Фрагменты книги

Вступление и перевод с сербскохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

29 ноября 1985 года исполняется сорок лет со дня провозглашения Югославии Федеративной Народной Республикой. Десятилетия борьбы, десятилетия строительства нового государства нашли свое отражение в обширной историко-публицистической мемуарной литературе, представляющей богатый материал для специалистов.

К сожалению, этого нельзя сказать о мемуаристике применительно к литературе художественной. Крупнейшие югославские писатели XX века, такие как Отон Жупанчич или Иван Цанкар, Иво Андрич или Мирослав Крлежа, Цирил Космач или Бранко Чопич, Душан Матич или Мишко Кранец, Ацо Шопов или Скендер Куленович (произведения многих из них печатались «Иностранной литературой»), как и другие их современники и коллеги, которым было что вспомнить и о чем рассказать, уходили из жизни один за другим как-то внезапно, даже неожиданно, не оставив единственной книги воспоминаний — о себе, о современниках, о той эпохе, которую они сами создавали своим творчеством и светлыми представителями которой стали. Тем более не успели обратиться к этому жанру десятки талантливых писателей, отдавших жизни за победу в годы народно-освободительной войны.

В этом смысле книга воспоминаний выдающегося югославского романиста Меши Селимовича (1910—1982), из которой журнал публикует отдельные отрывки, в основном касающиеся его литературного труда,— своего рода примечательное исключение. Несмотря на фрагментарность и ощутимую незавершенность, ей принадлежит важное место. Это — и документ эпохи, и глубоко эмоциональный, личностный рассказ-исповедь писателя — современника, свидетеля и участника грандиозных событий мировой истории. Книга дает богатый материал для раздумий о *пути* писателя в наше время, о его жизненной цели и задаче, о становлении писательской личности в ее сияянности — или, наоборот, в противостоянии — с обществом и эпохой.

На исходе дней Меша Селимович рассказывал о *своей* жизни, о *своем* движении к литературе, о препятствиях и потрясениях, объективных и субъективных, какие приходилось ему преодолевать в течение многих лет, а если быть совершенно точным, то почти всю жизнь — до появления доставивших ему международную славу романов «Дервиш и смерть» (1966)[1] и «Крепость» (1970)[2], препятствиях, какие наверняка сломили бы иную, менее «одержимую» душу. Но, пожалуй, главное — он рассказывал о том, п о ч е м у преодолевал эти препятствия, что давала ему работа в литературе, одном из величайших творений человеческого духа. Перед читателем возникает и достаточно выразительная картина жизни послевоенного югославского общества. А положа руку на сердце, мы довольно мало знаем об этом из собственно х у д о ж е с т в е н н о й литературы...

Селимович вспоминал о людях 1941 года, тех самых легендарных югославских «первобо́рцах», которые, подобно ему, по зову партии коммунистов и по велению собственной совести поднялись на смертный бой против врага и ценой величайших жертв вышли победителями,— о людях, творивших Историю.

[1] Русский перевод см.: М., «Прогресс», 1969, 1978. *(Здесь и далее, кроме оговоренных особо, прим. автора вступления и перев.)*

[2] Русский перевод см.: М., «Прогресс», 1974.

Искренне и просто, без пафоса и громких слов, обращаясь к читателям иных поколений, писатель рассказывал о том, как вступил в антифашистскую освободительную борьбу, ставшую в Югославии борьбой социальной, классовой, революционной, как формировалось его собственное сознание, сперва рядового бойца-революционера, затем революционного писателя-гуманиста.

Все это позволило ему подвести такой итог: «Мне была бы нужна еще одна, длинная жизнь, чтобы описать нашу Революцию, всю ее сложность и противоречивость, ее суровость, ее героизм и ее невинные жертвы. И безграничную веру молодых в более прекрасную жизнь после Революции, и их готовность умереть за идеал, который в их сердцах был прекраснее любой действительности, какую они могли себе вообразить».

Селимович был достаточно зрелым человеком в апреле 1941 года, когда Югославия стала очередной жертвой фашистской агрессии. Он закончил к тому времени университет, занимал видное и прочное общественное положение. И он сам, и его семья пользовались уважением в Тузле, знаменитом городе боснийских шахтеров, где прошли его детские годы и где он учился в школе. Селимович был теснейшим образом, многими нитями души связан с этим краем, и мысль о создании большого романа о шахтерах не покидала его до самых последних дней.

Вскоре семейство Селимовичей даст Революции шестерых своих членов — четыре брата, сестра и жена одного из братьев уйдут в партизаны. Следом за ними на освобожденную Народно-освободительной армией территорию перейдет и мать. А в мае 1942 года трое Селимовичей, в том числе Меша, арестованы усташами...

«Если бы я не пришел в Революцию, если бы я не выступил против преступлений, я не мог бы больше себя уважать»,— писал он в «Воспоминаниях». Этот мотив уважения к самому себе, как гражданский и социальный, глубоко индивидуальный, но и адресованный всему обществу призыв, становится одной из главных движущих сил в характерах героев романов «Дервиш и смерть» и «Крепость» — Ахмеда Нуруддина и Ахмеда Шабо, романов, на первый взгляд исторических, но обращенных ко многим нравственным проблемам современности.

«Я хочу, я должен себя уважать. Без этого я не могу жить по-человечески. Смешно, наверное, но ведь и вчера я был человеком и хочу быть человеком сегодня, пусть иным, может быть совсем не похожим на прежнего... ведь человек — это движение, и горе нам, если мы не послушаемся голоса заговорившей совести».

Эпохе партизанской борьбы в Югославии были посвящены первые книги Меши Селимовича — рассказы и романы[3], безусловно талантливые, отмеченные взволнованным и своеобразным отношением к увиденному и пережитому. И в югославской «военной» прозе они занимают свое определенное место. Но теперь ясно, что это была лишь «проба пера», поиск собственной темы, подход к огромной по социальной и психологической насыщенности проблеме, совокупности проблем, поставленных в романе «Дервиш и смерть».

В конце 1944 года семью Селимовичей постигло несчастье — по приговору партизанского суда был расстрелян старший брат Меши, Шефкия, партизанский офицер, участник народно-освободительной борьбы с 1941 года (этому посвящено немало страниц в «Воспоминаниях» и в этом, по существу, подтекст творческой истории романа «Дервиш и смерть»). Гибель брата поразила Мешу. Он как будто все понимал, всему пытался найти если не оправдание — отнюдь нет! — то в какой-то мере объяснение (ведь он сам был комиссаром) и все-таки никак не мог принять такую суровую кару и смириться... Кровоточащая рана осталась на всю жизнь. Отсюда психологическая напряженность и даже вполне уместная, художественно убедительная противоречивость этого романа. Отсюда же бушующее, опаляющее читателя пламя...

Сюжет «Дервиша», как, впрочем, и «Крепости», не сложен: человек вступает в борьбу за свою честь, за достоинство близких. Но Ахмед Нуруддин и Ахмед Шабо, люди обширных знаний и жизненного опыта, тонкого интеллекта, люди с высокоразвитым чувством справедливости, оказываются силой обстоятельств совсем или почти уничтоженными: первый физически, второй — нравственно, находясь где-то на грани физического исчезновения.

Как жить, чего искать в жизни, чему посвятить себя в обществе, которому ты — порой кажется — не нужен? Проблема остается нерешенной. Может быть, Селимович нашел бы решение в третьем романе трилогии, однако написать его он не успел. Как не успел довести до конца из-за тяжкой болезни и столь внутренне необходимый ему роман о современности «Круг», увидевший свет спустя некоторое время после его кончины.

Неожиданно для автора роман «Дервиш и смерть» вызвал устойчивый и длительный читательский интерес, редкостное единодушие в оценках, обильную литературу.

Он был отмечен всеми крупными общественными и литературными премиями страны 1966—1970 годов, включая премию имени Антифашистского веча народного освобождения Югославии, а его создатель был избран в действительные и почетные члены многих академий и учреждений, стал кавалером высших орденов. Группа сараевских писателей, поддержанных белградскими и загребскими коллегами, выступила с идеей выдвижения Селимовича на Нобелевскую премию, хотя роман к тому времени еще не перевели на скандинавские языки.

---

[3] Русский перевод «маленькой повести» «Чужая земля», вошедшей в прозаический сборник под тем же названием, напечатан в «ИА», 1969, № 3.

«Дервиш и смерть» — переломный момент в литературной судьбе Селимовича. Но значение и смысл книги гораздо шире и глубже, чем, может быть, предвидел сам автор и гораздо значительнее, чем это уловили тогдашние ее интерпретаторы. Выросший из партизанской прозы, вобравший в себя огромный опыт военных и послевоенных революционных потрясений, роман «Дервиш и смерть», как и последовавший за ним роман «Крепость», оказался не просто еще одним «экзистенциальным» романом на тему Человека (а именно так склонно толковать эту книгу большинство критиков) и его тяжкой участи в этом подчас не слишком уютном мире, но произведением, на наш взгляд, глубоко социальным, которое по-своему продолжило очень важную для европейской литературы послевоенных лет проблему осмысления взаимоотношений личности и общества в Революции...

Творчество Селимовича хорошо известно в Советском Союзе — он был нашим частым гостем и постоянным автором. Его книги переведены у нас кроме русского на украинский, литовский, латышский, грузинский, азербайджанский, эстонский языки.

В одном из интервью он сказал: «Писатель — это человек своего времени, связанный с судьбой Родины, может быть, сильнее, чем кто-либо другой. Не только из-за языка, который является единственным его оружием, но и потому, что он может жить только под одним-единственным небом. Всякое иное небо для него мутно и облачно. Так что писатель по сути своей — истинный патриот, даже если он об этом и не заявляет открыто».

Именно здесь кроется смысл и сущность творчества, всей деятельности писателя-борца, писателя-гуманиста Меши Селимовича.

Я всегда любил, когда люди красиво рассказывали, это напоминало мне какое-то волшебство, от которого погибает нечистая сила.

В детстве мне доводилось слышать рассказы двух видов. Няня и мама, пока была совсем молода, рассказывали нам сказки и читали певучие мусульманские баллады. От возчиков, а их было человек десять, я слышал рассказы совсем иного характера... Нагая жизнь и подлинная человеческая природа сверкали в этих извозчичьих историях, резких, отнюдь не наивных, лишенных всяких иллюзий и простодушия, нередко сентиментальных, но на удивление редко когда бесстыдных, редко когда плоских по сути — даже если они изобиловали бранными словами и словечками,— потому что каждое выражение в них оставалось самим собою, сохраняя свою исконную силу; любой эвфемизм считался признаком недостаточной мужественности. Несносными и воистину грубыми эти люди становились, лишь когда напивались. (Об этих возчиках я писал в новелле «Прогулка в жизнь».)

Обе эти манеры возможны и присутствуют в литературе, отражая два типа видения мира — как некая идеализированная картина, поэтическая фантастика, результат страха или изумления перед жизнью, как преобладание эмоции и трагического отношения к миру или же как подлинная, суровая, неприкрашенная, натуралистическая картина бытия. Я не следовал ни тому, ни другому, одна для меня слишком идеализированна, другая слишком груба. И в выражении (языке), и в ви́дении (образе).

Мой язык стилизован, должно быть, оттого, что я не в состоянии достигнуть народной безыскусственности, истинно народной наивности выражения (то, что пытаются делать так называемые примитивисты, на мой взгляд, не более чем схематизированная, заученная псевдонаивность). Кроме того, меня всегда шокировала сила откровенного народного определения вещей их настоящим именем, хотя я понимаю, что в этой неприкрытости таится мощь. И по сей день мне далеко не все ясно с языком: несмягченное и откровенное употребление простонародных выражений придает языку сочность и выразительность, но оно слишком натуралистично и жестко. Это напоминает мне язык моих возчиков, которые, крепко угостившись по субботам, возвращались вечером из кабака... Натурализм здесь — это своеобразная атакующая агрессивность. А я не знаю, является ли достоинством или недостатком такого рода естественность...

Чаще всего натурализм — лишь оболочка жизненной правды, ибо он уделяет чрезмерное внимание тому, что является мусором жизни. Разумеется, нельзя забывать неоспоримую истину, о которой говорит Дж. Элиот: язык мы можем обогатить только жизнью в народе, а истинное решение, вероятно, заключается в той *мере*, с какой язык подвергается стилизации, чтобы быть одновременно и достаточно жизненным, и достаточно облагороженным. Культура — это чувство меры, утверждают французы.

К моему большому сожалению, хотя я люблю людей, умеющих красиво рассказывать (этому дару Хасана в романе «Дервиш и смерть» я уделил немало места), мне не удавалось изложить устно какое-либо событие более или менее организованно — и по сей день, всю жизнь я так запутываю то, о чем хочу сказать, что люди удивленно переглядываются... Поначалу я чувствовал себя несчастным из-за этого недостатка, словно был глухим или заикой. Позже убедился, что способность рассказывать и талант писания редко идут рядом и очень нечасто встречаются в одном человеке, если вовсе не исключают друг друга. Все разговорчивые люди, которых я знаю, не писатели. Иво Андрич не смог однажды ответить газетчику на очень простой вопрос, какую книгу он берет с собой на летний отдых: «До сих пор мне, наверное, раз десять задавали этот вопрос в начале лета. Я не умел на него ответить. Есть лю-

ди, которым трудно говорить. Я принадлежу к их числу. Это своего рода паралич».

Диалектное повествование вряд ли употребимо в литературе, разве что в редких пассажах живой речи; с точки зрения профессионального письма оно очень несложно, когда есть увлекательная фабула (что произойдет?) или остроумный анекдот (а что он ему ответил?), без долгих и многословных объяснений, без параллельных сюжетных ходов, с точными, мимолетными наблюдениями и оценками места, времени, общественной среды, психологии, дабы не замедлялся темп и не спадала напряженность повествования, которое опирается на довольно ограниченное число элементов, подчас один-единственный (хитроумный) ход, ловкую игру слов, внезапность сюжетного поворота. Долгое время я совершал ошибку, пытаясь при помощи написанного слова передать живость и свежесть непосредственного устного рассказа, пока не уразумел, что это неверно сформулированная задача.

Я всегда, с раннего детства, много читал — исполненные чудесной фантазии человечные сказки Андерсена, сердечные и простые стихи Йована Йовановича-Змая [1], волнующие романы Карла Мая, прекрасные и теплые рассказы Лазы Лазаревича [2], потрясающие романы Чарльза Диккенса — все, что соответствовало детскому и юношескому возрасту. Это был неутолимый голод; часто рассвет заставал меня с книгой в руках. У нас дома была большая, отлично подобранная библиотека [3], и все свое свободное время, не занятое играми, я тратил на чтение. Конечно, больше всего от этого страдала учеба, хотя я был хорошим учеником, несмотря на одолевавшую меня в школе скуку.

В старших классах гимназии я прочел «Бедных людей» Достоевского, а затем и остальные его романы. Меня настолько потрясла эта чудесная литература, открывавшая неведомый и неслыханный мир тайн человеческой души, столь чарующий и противоречивый, что я остался ошеломлен...

Позже я то и дело возвращался к Достоевскому и сейчас читаю его с интересом, неизменно обнаруживая нечто до сих пор неоткрытое, восторгаясь волшебником, постигшим все тайны писательского искусства. Я убежден, что это нечто большее, нежели литература — это заново воссозданная жизнь. В романах Достоевского — глубокое постижение и дерзостное разгадывание тайн запутанных человеческих мыслей, предчувствие чего-то, что живет под толстой корой таинственной психологии человека, таинств, лежащих вне пределов самой психологии, которая ведь и сама по себе загадка. Достоевский открыл мне завораживающий мир инстинктов, играющий немалую роль в нашей духовной деятельности. Я переболел тогда этим писателем, я был слишком юн для его глубин, для его демоничности, для его потрясающей способности заглядывать в головокружительные бездны человеческой души... Я остался верным его поклонником: он пленил меня, подчинил, овладел мною на всю жизнь.

И тем не менее я не могу сказать, что Достоевский оказал на меня решающее и единственное влияние. Литература, какую он создавал, была, вероятно, моим отдаленным, бессознательным стремлением, но я никогда не пытался его осуществить. Почему? Потому что это невозможно. За Достоевским нельзя следовать. Доказательство тому — писатели, безуспешно пытавшиеся это сделать. (Аугуст Цесарец [4], например, менее всего оригинален и интересен там, где следует Достоевскому, как, скажем, в романе «Императорское королевство».) Достоевский уходит в потаенные, неоткрытые сферы человеческой души, а этому научиться нельзя [5].

И квартал, где я жил, оставил у меня в душе глубокий след. Когда сараевское телевидение готовило обо мне передачу «Современники», я не сумел найти дом, где родился, так все здесь переменилось; ничего не сохранилось от прежних хибар, лачужек, нагромождений старого железа и обломков дерева. Шахтеры были многодетны — это единственное, в чем у них было изобилие, во всем остальном царила нищета...

Я начинал, разумеется, стихами, во втором классе гимназии [6]. Спокойным, лишенным темперамента двенадцатисложным стихом (пытаясь подражать Воиславу Иличу [7], которого больше всех тогда любил) оплакивал я печальную участь заключенной в клетку птицы. Это стихотворение я показал только старшей сестре, она похвалила меня, но ее кислая мина открыла мне правду. Она встревоженно заметила, что не стоило бы заниматься поэзией — поэты рано умирают от туберкулеза... Помню и один свой сентиментальный рассказ о старой русской эмигрантке, которая умирает, играя на пианино во время демонстрации фильма о невероятной любви юной пары...

Примерно в пору знакомства с Достоевским прочел я «Жерминаль» Эмиля Золя и был потрясен этой прекрасной, впечатляющей фреской невыносимой шахтерской жизни. Да это ж мои тузланские шахте-

[1] Йован Йованович-Змай (1833—1904) — крупнейший сербский поэт XIX века, в частности, автор многих ставших классическими стихотворений для детей.

[2] Лаза Лазаревич (1851—1890) — сербский прозаик, чьи лирические рассказы были очень популярны.

[3] Во время войны из нашей семьи семеро вступили в народно-освободительную борьбу... Дом опустел. Тогда немцы и усташи унесли все наше имущество: после войны мы не нашли ни вещей, ни книг, ни фотографий, ни дипломов. Не осталось никакой связи с прошлым, кроме воспоминаний. *(Прим. авт.)*

[4] Аугуст Цесарец (1893—1941) — хорватский прозаик и публицист. Отрывки из его очерков о поездках в СССР см. в «ИЛ», 1982, № 12.

[5] Отвечая в 1974 году на вопросы журнала «Венац», М. Селимович, в частности, сказал: «Есть много писателей, чьим творчеством я восхищаюсь. Это Эсхил, Шекспир, Гоголь, Негош, Виктор Гюго, Диккенс, Бальзак, Стендаль, Эдгар Аллан По, Чехов, Толстой, Пруст, Томас Манн, Вулф и многие другие. И все-таки среди всех я выделяю Достоевского...»

[6] Примерно шестой класс нынешней средней школы.

[7] Воислав Илич (1860—1894) — популярный сербский поэт, оказавший сильное влияние на многих современников.

ры! Все то же самое: и бедность, и жалкие заработки, и пьянство, и катастрофы в забоях, и страшная смерть в засыпанных штольнях. Помню: вдруг все начинали чувствовать, что происходит нечто жуткое, во взглядах у всех мелькала тревога, страх овладевал каждым сердцем, а потом разносилась весть: обвал! В нищете шахтеров Боснии ощущалось нечто гораздо более безнадежное, чем у героев «Жерминаля», может быть, потому, что было меньше сопротивления, тем более организованного.

Под влиянием Эмиля Золя, а затем и под влиянием Максима Горького (меня окружало множество горьковских типов и судеб) я решил писать о жизни тузланских шахтеров. При этом известную роль сыграла моя ранняя марксистская ориентация... Я заполнил множество тетрадей рисунками и рассказами о шахтерах и, уже поступив в высшую школу, послал некоторые свои записи Живко Миличевичу, редактору газеты «Политика». Он их вернул, разъяснив, что для «Политики» это не годится. Убежден, что Живко Миличевич прав, материал был сырой и непригодный. Но самый отказ повлиял на меня тяжелейшим образом, не потому, что работу не опубликовали, а оттого, что я потерял всякую веру в свое предназначение, равно как и в оправданность темы, интересовавшей меня больше всего в жизни. На беду, почти в ту же пору я написал и отправил в журнал «Гайрет» рецензию на стихи Хамзы Хумо[8]. Это было грубое отрицание поэзии, далекой от настоящей кровоточащей жизни; его гуманистические стихи, навеянные восточной традицией, я называл обманом. Разумеется, рецензию не напечатали, но с тех дней у меня в душе осталась прочная симпатия к социально ангажированной литературе. Тогда, в 1932 году, я совершенно прекратил всякое писательство, и прошло много времени, прежде чем я вновь взял в руки перо: лишь в 1944 году я написал рассказ «Жертва» и три репортажа о зверствах эсэсовцев на Маевице (для газеты «Фронт свободы»), а в 1946 году опубликовал рассказ «Песнь в буре»[9].

Писать я начал поздно, поэтому к каждой работе приступаю как новичок, опасаясь отрицательных суждений. Любопытно, как в 1959 году я заключал договор с издательством «Светлост» о выпуске первого своего романа «Тишина». Я настаивал на включении в текст договора пункта, который обязывал меня передать редакции рукопись в установленный день, в противном случае я должен был бы выплачивать издательству штраф — пять тысяч динаров за каждый просроченный день. Издатель не соглашался на столь странное условие, но я добился своего. Я никому не объяснял, что причиной был страх перед тем, что без давления со стороны я способен затянуть писание романа до Судного дня! К счастью, я не знал, что издатель не собирался применять ко мне санкции, и представил рукопись вовремя. Когда вышел мой первый роман «Тишина», мне был пятьдесят один год! Никому не ведомо, какие муки и сомнения я преодолел, прежде чем осмелился выйти к читателю. Позднее мне было легче писать, хотя я до сих пор трепещу в преддверии встречи с ним.

В то время, когда я искал свой путь в литературу, мне попался чудесный роман Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел». Меня покорил этот прекрасный писатель, стремившийся создать подлинную картину жизни, отразить ее правду, ускользающую от многих. Размышляя о великой пятерке американских романистов, своих современников — Томасе Вулфе, Уильяме Фолкнере, Эрскине Колдуэлле, Эрнесте Хемингуэе, Джоне Дос Пассосе,— Фолкнер подчеркивал, что Вулфа он называет первым, потому что тот пытался сделать невозможное: воссоздать целостность жизненных событий. У Вулфа меня привлекали аналитичность повествования, умение показать героев и добрыми и злыми, положительными и отрицательными, благодаря чему ему удавалось добиться полноты и убедительности... В этом он, может быть, наиболее близок к Достоевскому.

Языку, способному выразить абстрактные понятия и сфокусировать интеллектуальную или эмоциональную силу, я более всего учился у мусульманской народной баллады и у Негоша[10]. Самое тонкое и точное выражение всей нашей народной поэзии (а не исключено — вообще всего нашего языка) содержится в строчках баллады «Омер и Мейрима»:

Роза пахнет, маменька родная,
Омера душа ко мне склонилась.

А самое проникновенное философски — у Негоша:

Что есть человек, а быть им должно!
Тварь ничтожную земля морочит...

Я упомянул далеко не всех писателей и не все явления, способствовавшие моему формированию. Я обязан многим книгам и авторам — они помогли мне постичь то, что я знаю, из многих струй напитать свой источник, не знаю уж какой, но свой собственный. Не могу сказать, будто кто-то повлиял на меня решающим образом: величайшим романистом я называю писателя, которому нельзя следовать и благодаря которому я сумел осознать несколько глубоких и простых истин: Человек не то, чем он кажется; зло и добро часто очень близки друг к другу; нельзя разглядеть дно души человеческой; литература имеет ценность лишь тогда, когда стремится к невозможному.

Я не осуществил самого горячего желания — написать боснийский «Жерминаль», ибо не верил в свои силы; и я по-прежнему в поисках языка, к которому стремился; великие мои образцы остались недостижи-

[8] Хамза Хумо (1895—1970) — боснийский поэт и прозаик, впоследствии друг М. Селимовича.

[9] Во время войны я вел партизанский дневник. В 1943 году, когда мы находились с уездным и окружным комитетом КП на Маевице, началось наступление эсэсовской «чертовой дивизии», или «Хаджар». Вокруг засвистели пули, я схватил шинель и винтовку и кинулся в ручей. Дневник, заполнением которого я как раз был занят, я забыл на том месте, где сидел, и не обнаружил его, вернувшись. *(Прим. авт.)*

[10] Петр Петрович Негош (1813—1851) — великий югославский (черногорский) поэт и просветитель.

мыми. Мне не удалось добиться безыскусственности и упоительной сладости повествования, свойственных боснийским устным рассказчикам. Человек не то, чем он хотел бы стать, но то, что из него может выйти, насколько это позволяет его личная одаренность и стремление овладеть хотя бы частью богатств народной и человеческой традиции.

В военные годы я ничего не опубликовал (кроме рассказа и репортажей, о которых выше шла речь), иными словами, писал исключительно то, что было необходимо — политическую публицистику. Летом 1943 года, будучи членом агитпропа Областного комитета Восточной Боснии, по указанию тогдашнего секретаря Областного комитета я составил листовку с призывом к населению начинать борьбу против оккупантов. Когда я принес текст, секретарь нахмурился, а потом громко расхохотался. «Кому это адресовано?» — спросил он удивленно. Я писал листовку вопреки установившимся правилам, оперируя иной лексикой, иными аргументами,— словом, совсем по-другому. Это был порыв восторга, со стихами Демьяна Бедного о несгибаемости народа, который сражается за свою свободу. «Любопытно, но непригодно»,— сказал секретарь. Во время последовавшего затем серьезного разговора он разъяснил мне суть и тактику политической пропаганды.

Первый мой послевоенный рассказ на тему освободительной борьбы «Песнь в буре» был напечатан в осенних номерах журнала «Наша книжевност» за 1946 год. По существу, это был фрагмент незавершенного крупного замысла о шахтерах-партизанах, что явствовало из подзаголовка «Долянские шахтеры». (По этому материалу впоследствии я написал киносценарий «Шахтеры», но фильм не был снят, сдается мне, потому, что сценарий вышел неудачным.) В этом отрывке, довольно мелодраматическом, речь шла о смертельно раненном партизане, который поет песнь в то время, как вокруг, ясное дело, беснуется непогода. Вскоре в том же журнале появился и второй мой рассказ — «Первая рота», его герой, партизан, жертвует собою, чтобы спасти других. После переезда в Сараево в 1947 году я написал маленькую повесть «Чужая земля», опубликованную журналом «Бразда». А в 1947 году в малой библиотеке сараевского издательства «Светлост» был выпущен мой рассказ «Оскорбленный человек»...

С 1951 по 1961 год длился период молчания. Лишившись мужества, неудовлетворенный дотоле написанным, я готовился к суровому суду над самим собою. По-прежнему не чувствуя себя готовым к роману о погибшем брате, я писал другие произведения. В 1961 году вышел роман «Тишина». Критика долгое время не обращала на него внимания. А потом один молодой критик опубликовал в газете «Книжевне новине» краткую, но весьма содержательную рецензию: автор «Тишины» М. Селимович — очень грамотный человек, говорилось в этой заметке, но, к сожалению, совершенно бесталанный! И, несмотря на отдельные благожелательные суждения, дурная молва о «Тишине» не умолкала даже в 1965 году (когда я заканчивал «Дервиша»)... Зато в 1973 году в монографии, посвященной моим книгам, Касим Прохич больше всего внимания уделил «Тишине», куда больше, чем «Дервишу» и «Крепости», вероятно, потому, что анализировать раннее произведение писателя легче всего — это требует от критика меньшей ответственности. А впрочем, без этого косноязычного, неуверенного начала я вовсе ничего не сумел бы осуществить. Нельзя разом сделать два шага. А критикам «Тишина» дает возможность вволю покуражиться и компенсировать похвалы, которыми обычно осыпают «Дервиша».

В 1962 году я выпустил книгу ранней прозы «Чужая земля», куда поместил и маленький роман «Туман и лунный свет», мое с точки зрения литературной сноровки самое удачное произведение. Зоран Глущевич назвал его шедевром нашей партизанской литературы. Одобрительно оценил его и Ристо Трифкович: «Плотная монологическая поэма, где все происходит в душах людей, в их смутных предчувствиях, ощущениях, определяемых философией, свойственной народу». Остальная критика молчала.

Тогда я это переживал, а сейчас считаю, что критика была права: роман скомкан, неразвит в своих составных частях, неглубок в психологии, фабула его неудачно сконструирована; неплохи лишь отдельные фрагменты, среди которых лучшие — об утраченном брате.

И хотя в романе «Туман и лунный свет» я искал совершенно новую манеру создания образов, стремился, чтобы каждый герой говорил сам о себе, исходя из особенностей собственной психологии и собственным языком, никто, кроме Глущевича и Трифковича, не обратил внимания на это. Обо мне утвердилось мнение, которое преодолеть не сумел «Туман и лунный свет», будто я сухой, рациональный, холодный писатель. На самом деле я полная противоположность, просто я подавлял и таил истинные свои особенности: внутреннюю неустроенность, эмоциональность... Эта установившаяся, но неточная моя характеристика непрерывно повторялась в суждениях критиков... Но я уже привык ко всему и спокойно ожидал своего часа.

В конце 1944 года по приговору военного суда расстреляли моего старшего брата, партизана, офицера, служившего в комендатуре района Тузлы. В расклеенных по городу объявлениях сообщалось, что Шефкия Селимович приговорен к смерти за то, что со складов Главного управления народным имуществом взял кровать, шкаф, стул и ряд мелочей, а столь строгий приговор, указывалось в объявлении, вынесен потому, что обвиняемый принадлежит к известной партизанской семье. Таким образом, верность нашего семейства революции, наша преданность ей, обратилась против нас и превратила нас в жертвы. А обвиняемый, мой брат, у которого усташи разорили дом, ждал жену, случайно уцелевшую в концентрационном лагере,— она вот-вот должна была вернуться в Тузлу. Когда я услышал о расстреле Шефкии, со

мной случился шок. Через несколько дней меня разыскал шофер, увозивший брата на казнь, и передал мне наказ покойного. Шефкия был спокоен перед казнью, он сказал: передай привет Меше, скажи, что я невиновен. Я знал, что он был невиновен, да и судьи не утверждали противного. Шофер не смел указать, где его похоронили, и я по сей день не знаю, где могила брата. В жизни всех членов моей семьи наступил поворот: ведь речь шла не просто о гибели одного из нас — к этому были все готовы, семеро ушло в революцию,— но о чудовищной несправедливости, без основания, без смысла...

Не будь я связан с литературой, такая трагедия побудила бы меня изложить свои муки в виде письменной исповеди. Но, на удивление, у меня все произошло гораздо сложнее: чем больше я думал об убитом брате (а думал я непрестанно ч. чтобы бежать от горьких мыслей и от места несчастья, в ноябре 1944 года даже переселился в Белград), тем не менее находил я в себе силы это выразить. Чтоб остаться нормальным, живым человеком, я стал заставлять себя думать о других темах: вместо своей безысходной трагической дилеммы я обращался к прежнему партизанскому энтузиазму. Это было как спасательный пояс, позволивший мне удержаться на плаву...

Однако мои мучения не позволили мне ни позабыть о случившемся, ни найти облегчение,— эффект от самообмана был невелик, и я вовсе перестал писать.

Позже мне довелось пережить другие кризисы и беды, и я вновь обратился к теме погибшего брата, но, к сожалению, я был еще слишком близок к событию, еще опален его жаром, меня не отделяла от него необходимая психологическая и эмоциональная дистанция, и все вышло слишком лично, слишком памфлетно — это был крик души, но только м о е й души. Тогда я понял, что профессионально покуда не готов справиться со слишком сложным для моих дилетантских возможностей материалом. С упорством, которого я в себе не подозревал, я начал готовиться к тому, чтобы пусть раз в жизни, но исполнить эту работу, со все большей силой подчинявшую меня себе.

Предоставив времени непрерывно перематывать ленту самого события, я первым делом вступил в рукопашную схватку с языком, поскольку отчетливо понимал, что в моих ранних сочинениях именно язык являлся самым слабым местом. Это было примерно так же, как если бы художник не обладал чувством цвета. Годами боролся я за овладение словом, стремясь выразить все более сложные мысли и чувства все более тонкие ощущения, обрести фразу, которая хотя бы в некоторой степени могла передать единство сокрушительных бурь, жестоких дилемм, эмоциональных взрывов.

У наших современных писателей я не всегда находил то, что искал. И хотя язык нашей современной литературы достаточно развит, он или деланный, лишенный жизни, абстрактный, как у сюрреалистов; или слишком конкретный, уместный для определения внешних, поверхностных явлений пусть даже весьма пластичный, но не способный передать сложность жизни и человеческой психики, как у иных реалистов; или чрезмерно рафинированный, изысканный, нарочито вычурный, не годящийся для описания драматических ситуаций, как у Црнянского; или мощный, бурный, языкпоток, язык сражения, максимально выразительный в отрицании, но слишком риторичный и книжный для передачи тончайших оттенков мысли, глубин созерцания, как у Крлежи; или спокойный, проникновенный, нюансированный, сбалансированный язык, который хорош для изображения любой тьмы и любого чуда в душе человека, и, однако, слишком холодный, чтобы дать представление о катаклизме и смятении, какие обрушились на меня, и надобно было быть писателем самого большого масштаба, чтобы из этого языка извлечь такие созвучия и достичь такой силы, как это удавалось Андричу.

Нужно было найти не лучший и более экспрессивный язык, не более богатый и более гибкий (это было бы смешной и нереальной амбицией), но язык для м о е г о пера и м о е й души, который лучше всего соответствовал бы тому, что кипело во мне. Я не знал, чего ищу, лишь смутно чувствуя, каким такой язык должен быть.

С самого начала убежденный (возможно, ошибочно), что тему моей жизни можно выразить только в форме романа, я решил, как ремесленник, овладеть техникой этого жанра. («Туман и лунный свет», «Тишина» и несколько рассказов покрупнее послужили хорошими упражнениями.) Я не думал, что будет легко, но не подозревал, что придется так трудно. Проходили годы, а я вел рукопашную схватку, словно с самим сатаной, подчиняя себе неодолимую структуру романа; писал и вычеркивал, писал и выбрасывал, писал и складывал в ящик, но не отступал. Я завидовал художникам, которые в состоянии даже самую большую по размерам картину окинуть одним взором; писателю же приходится непрерывно держать в голове массу фактов, нитей, событий, памятуя о конструкции романа, сцеплении его частей, последовательности образов, о мере и соразмерности, о фабуле и идее, о главных и второстепенных персонажах и множестве иных вещей, столь тесно взаимосвязанных, что рушится все здание, если ошибочно возведена хоть одна часть.

Около 1962 года я снова стал приближаться к теме ушедшего из жизни брата. Но к тому времени материал отлежался и мог выдержать любую обработку, а тема у меня в сознании приобрела определенную направленность, нужную динамичность, более широкие масштабы: миновало почти двадцать лет — и в восприятии самого факта не содержалось более ни сокрушающей боли, ни невыносимой горечи Все было обдумано, претворено в вероятный общий опыт. Тема, следовательно стала универсальной. И однако весь мой непогасший жар не позволял мне превратить в холодный, умозрительный тезис и тему и самый мотив. Теперь это не совсем событие моей личной жизни, но нечто, что может произойти с любым. Основа идейного замысла романа и единственное сход-

ство между событиями моей собственной жизни и романа заключалась в вопросе: что я есть после того приговора: опечаленный и взбешенный брат или робкий, неуверенный в себе член партии?.. Таким образом, узловым центром книги оказался конфликт между личным чувством и политическим убеждением... Почему я ушел в историю? Возможно, потому, что опасался прямой фактографической притягательности темы и личностной ее ограниченности. Мне хотелось извлечь универсальный смысл.

Читатели хорошо приняли «Дервиша». И критики, в основном все. Но читатели для меня важнее. Благодаря печати, радио, телевидению, а вероятно, и актуальности темы мои книги дошли до людских сердец. Иногда они воспринимались как утешение, иногда как недоразумение, но, по-видимому, иначе быть не может...

«Дервиш и смерть» — книга о любви и ненависти, догме и жизни, личном и неличном, отдельном и общем... Я посвятил роман своей жене Дарке с длинной и нежной подписью, которую со свойственной ей скромностью она отвергла. Поэтому осталось только имя самого дорогого мне человека — Дарки. Как символ, как печать, как амулет.

По идейному замыслу, фактуре, композиции, по всем элементам романной структуры роман «Крепость» — гораздо более простая книга, чем «Дервиш и смерть», и не нуждается в особенных толкованиях. И все же первое издание я сопроводил пояснением, где хотел уточнить смысл романа... Я знал, что не принято (и почти все критики это отметили!) комментировать собственные сочинения. Однако мне с самого начала хотелось преградить путь неверным толкованиям «Крепости». Кроме того, я помнил, что многие критики охотно и часто повторяют то, что автор сам сказал о своей книге. В отношении «Крепости» это мое наблюдение оказалось совершенно точным: среди критических отзывов не нашлось ни одного неверного. Во втором издании свое «Пояснение автора» я опустил.

Любопытна и судьба книги «За и против Вука».[11] Выше я уже говорил о своем интересе к языку и особенно к его структуре. Между Вуком и его противниками долго шла дискуссия о том, кто творец языка: народ или писатели? Вук решительно отвечал: язык создают крестьяне — нам лишь остается получше его изучить. Милован Видакович и другие противники Вука утверждали, что народ, крестьяне создают язык лишь по потребности — а для обозначения того, что им не нужно («умозрительные мысли»), у них слов не находится. Поэтому-де наш язык столь беден и примитивен, поэтому у нас литература и философия отстали. Милован Видакович обратился к признанному тогда лингвисту Добровскому, и тот рассудил не в пользу Вука. Если бы Добровский хорошо знал наш настоящий народный язык и народное творчество, то говорил бы иначе, заявил в ответ Вук.

Меня заинтересовала и сама по себе проблема, поскольку язык наш, и в самом деле крепкий, крестьянский, несгибаемый, конкретный, связан с посюсторонним миром и как будто бы непригоден для выражения «умозрительных мыслей», только так ли это?.. И я написал на эту тему эссе, опубликованное журналом «Живот», а позже — небольшое исследование в том же роде... Я предложил рукопись издательству «Матица српска», которое сразу же ее напечатало. (Не поминаю других издателей, отвергнувших рукопись.) Вскоре в кругу специалистов работа была оценена как одно из оригинальных суждений в огромной литературе о Вуке Караджиче.

---

[11] Имеется в виду великий просветитель, реформатор сербского литературного языка и правописания Вук Стефанович Караджич (1787—1864).

Заметки писателя

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

РЕАЛЬНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

О творчестве Йордана Радичкова

— Вот уже много лет живу в городской квартире, а по утрам все еще слышу пение петухов, будто в детстве в родной деревне....

Передо мной сидит Йордан Радичков, один из наиболее читаемых в своей стране и далеко за ее пределами болгарских прозаиков. Это не первая наша встреча. Мы знакомы уже много лет, но о творческой его жизни беседовать как-то еще не приходилось.

Из произведений Йордана Радичкова и рассказов болгарских коллег я знал, что писатель нерасторжимо связан с деревенской жизнью, верен избранной теме изображения живой сельской действительности, которую он прекрасно знает, неизменно любит. Радичков — человек со своими пристрастиями и идеалами. Его восхищает живописная природа Болгарии, поражающая красками богатейшей своей палитры величественные горы, речные долины, картинные луга и пастбища. Всего более писателя влечет жизнь деревенских тружеников— земледельцев, виноградарей, пастухов,— скромных, добрых и приветливых людей, гордых сознанием пользы, приносимой человеку, обществу, в котором живут.

Из справочной литературы мне было известно, что Йордан Радичков родился в селе у подножия Балканских гор. Был журналистом, работал в кино. Проявил себя как прозаик.

С тех пор как мы познакомились с Йорданом Радичковым на Софийской международной встрече писателей в 1977 году, я особенно внимательно стал следить за выходом в свет его книг, не однажды перечитывал его романы, повести, рассказы. Произведения Йордана Радичкова стоят в одном ряду с лучшими книгами современных писателей Болгарии: Павла Вежинова, Камена Калчева, Ивайло Петрова, Дико Фучеджиева, Атанаса Наковского, Эмила Манова, Богомила Райнова, Андрея Гуляшки, Стояна Даскалова, Васила Попова, Герчо Атанасова и других. С их творчеством знакомил своих читателей журнал «Иностранная литература».

Произведения Радичкова печатаются во многих странах. На русском языке неоднократно издавались его книги, проза его звучит у нас по радио и с эстрады. Еще в 1964 году в нашей стране вышла книга его рассказов «Опрокинутое небо». В том же году на страницах «Иностранной литературы» была опубликована его новелла «Жаркий полдень». На русском языке выходили его рассказы, в том числе из знаменитой книги «Пороховой букварь», повесть «Воскресенье». В журнале «Дружба народов» свет увидели отрывки из путевых записок — «Неосвещенные дворы».

1979 год ознаменовался для Йордана Радичкова выходом «Избранного» в серии «Мастера современной прозы» (М., «Прогресс»). Сюда вошли повести «Все и никто», «Воспоминания о лошадях», новеллы и рассказы. Вскоре появился еще один том «Избранного» Радичкова (М., «Радуга», 1982), куда вошли роман «Праща», пьеса «Попытка полета», рассказы и новеллы. В том же году напечатаны его рассказы «Суматоха» и другие в сборнике «Сатира и юмор болгарских писателей», а в 1983-м— рассказ «Маленький мальчик» в сборнике «Дни, что нас сближают».

С большим интересом каждый раз я смотрел созданные Радичковым пьесы на сцене в Софии и в Москве. Последний раз видел пьесу «Попытка полета» во МХАТе. Она особенно запомнилась...

На пустой сцене появляются персонажи пьесы — жители глубинных поселений Балканских гор — Аврамовых Хуторов: один

незадачливее и чудаковатее другого. В. Силюнас в рецензии на спектакль живо обрисовал колоритные фигуры действующих лиц. Это и учитель Киро, в жеваном плаще, полосатых штанах, с опущенной на лицо сеткой пчельника и черным зонтиком, похожий на циркового «рыжего», по-детски нелепо восторженный, склонный порассуждать на возвышенные темы, которые стали для него привычными, как затверженный назубок урок. Это и сельский философ Аврам, в строгом черном пальто, подтянутый, как и полагается церковному попечителю, любящий покрасоваться тем, что способен на едином дыхании выпалить нечто книжно-мудрое. Это и два мечтателя — молодожен Илийко, простодушный парень с волосами цвета одуванчика и голубыми восторженными глазами, и застенчивый и неизменно приветливый кузнец Петушок, образы которых отмечены освежающей наивностью лубка. Наивность, впрочем, обнаруживается едва ли не у всех этих обитателей Аврамовых Хуторов.

«Попытка полета» — пьеса, несомненно, опоэтизированная. Восходя к народному фольклору, она, по сути, сродни притче, сказке, преданию. Образы и характеры пьесы, разумеется, созданы воображением, фантазией писателя, который основывается на своем жизненном опыте. Автор рассказывает о том, что могло бы произойти, то есть, по слову Аристотеля, о возможном по вероятности или по необходимости.

И если возникнет вопрос: «Зачем это угадывать и предсказывать, к чему эти мечтания? Разве в жизни и без того мало предусматриваемого, учитываемого, проектируемого? Хотя, с другой стороны, зачем, спрашивается, отказывать искусству в непредсказуемом, неожиданном, неучтенном?» — то можно ответить: «Во всем этом неизреченная прелесть. Сила непосредственного художественного порыва. Она чарует, полна загадочности».

Существенно здесь то, что творческая фантазия не противопоставлена автором реальности, а представляет собой форму отображения действительности, ее постижения, своеобразного синтеза, свойственного искусству. «Правда жизни может быть передана в художественном произведении только с помощью творческой фантазии»,— писал К. Федин. При этом он отмечал в одном из писем: «Сейчас, после окончания огромной дилогии, в общей сложности в шестьдесят печатных листов, я оцениваю соотношение вымысла и «факта» как девяносто восемь к двум». Способность к фантазии — это определенное качество творческого труда.

И вот в «Попытке полета» совершается нечто невероятное: в небе неожиданно появляется огромный сверкающий аэростат. Спорящие между собой люди мгновенно рассыпаются и в молчаливом оцепенении смотрят на происходящее чудо. Блуждающий аэростат, «сбежавший с фронтов второй мировой войны», в глазах зрителей превращается в какое-то фантастическое существо. Подхватив несколько односельчан, он уносит их высоко в небо. И зритель, тоже захваченный ощущением полета, вместе с хуторскими балагурами в свою очередь как бы устремляется к просторам неба с неостановимо бегущими по нему облаками.

Так возникают роднящие хуторян и аэростат узы общности. Став чуть ли не живым существом, аэростат помог односельчанам возвыситься над земной обыденностью, раскрыл им глаза на окружающую действительность, позволил увидеть многое, в том числе и самих себя, совсем в ином свете. Словом, не дав крылья, огромное сверкающее это диво как бы окрылило радичковских героев.

Верно, что человек должен постоянно смотреть под ноги. Но этого недостаточно. Нужно видеть и небо, стремиться заглянуть за зеленый горизонт, который все более отодвигается по мере приближения к нему. Художник должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже и дальше своих предшественников. Ньютон говорил: «Если мы видели дальше других, то это потому, что стояли на плечах гигантов». Среди этих гигантов рядом с именами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шекспира, Коперника, Галилея, Колумба стоят имена Толстого, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Цюй Юаня, Ду Фу, Ли Бо, Бо Цзюйи, Тагора, Кавабата и многих других — всех не перечесть.

«Попытка полета» — спектакль, в котором немало неправдоподобного, писал В. Силюнас в упомянутой рецензии; оно налетает на нас, как аэростат на деревню, но в веселой, приправленной грустью кутерьме больше всего увлекает правда о творческой и неугомонной душе чудаков, чутких одновременно и к заоблачно-высокому и к земному.

Однако кто летает, тот иногда и падает, справедливо говорит о спектакле по пьесе Радичкова другой рецензент В. Гульченко. Волею судеб воспарившие в небо радичковские герои вновь оказались на земле. Да еще получили по десять плетей каждый, чтобы в другой раз от нее не отрывались. К этой мысли их попытался приучить ретивый полицейский унтер, которому мечтать не положено по службе. И казалось бы, выпоротым мечтателям только и осталось развести руками и расстаться с грезами. Но нет. Герои Радичкова вновь поднимают головы к небу. Мы и запомним их летящими...

И трудно не согласиться с В. Гульченко, когда тот подводит итоги: люди летают потому, что они люди. И пока они люди, их не будет покидать чувство полета не только когда они в небе, но и когда на земле.

Важна лишь сбалансированность. Как при езде на велосипеде — без движения не удержать равновесия.

— Каков источник жажды полета у людей, отчего, по вашему мнению, люди стремятся воспарить в небо? — спросил я Йордана Радичкова во время нашей встречи в его софийском доме.

— У пьесы «Попытка полета» простая цель: рассказать, как из действительных событий народ создает мифы. Это — смесь воображения, невежества и постоянного стремления оторваться от нищей и жалкой земной юдоли. Вместе с тем мне хотелось придать рассказу о нищей и жалкой земной юдоли, освещенной и согретой челове-

ческими чувствами, своего рода балладическое звучание.

— В вашем творчестве, насколько могу судить, нередко обнаруживаются мотивы необычного, странного, загадочного, какие-то чудеса и небылицы, трудные для понимания метафоры. Как вы это объясняете?— продолжал я спрашивать писателя.

— Не мне одному свойственны эти особенности. Не забывайте также о наших корнях: сказки, предания, мифы, легенды, всякого рода вымыслы о чудесах, духах, призраках и т. п. Мы ведь воспитываемся с самого раннего детства в атмосфере реального и воображаемого, действительного и вымышленного. Вспомним в этой связи о роли фантазии в творчестве классика русской литературы Гоголя: многие писатели сегодня обращаются к его опыту. Или — ближе к нашему времени — Булгакова, особенно его роман «Мастер и Маргарита». Фольклор привлекает художника своим национальным своеобразием, тем, что он создается творческой фантазией народа, отражает особенности его истории, языка и быта... Мечты человека о полете и прочее в этом духе берут свое начало в фольклоре. Какова же здесь роль писателя? Он лишь тогда достигает цели, когда за каждой фразой чувствуется его душа. Когда обнаруживается та сила, то эмоциональное состояние, которое вызвало произведение к жизни.

Да, мифология древних, «фантастический реализм» Гоголя, Булгакова или «магический реализм» латиноамериканцев, научная фантастика — при всем их отличии и сходстве — художественно оправданны именно благодаря своему соприкосновению с реальностью. Фантастическое начало оттеняет некоторые стороны реального, помогает художнику рельефнее выразить и заострить определенные особенности явлений и образов. Хочу привести такое высказывание Габриэля Гарсиа Маркеса: «Я исхожу из необходимости разрушить демаркационную линию между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим, ибо в мире, который я старался воплотить, этого барьера не существовало».

— Каковыми, на ваш взгляд, должны быть отношения художника с предполагаемым читателем?

— Всегда, мне кажется, следует оставлять место для соучастия читателя, для сотворчества. Мне думается, мы не должны забывать, что наш читатель также наделен чувством реальности и воображения. Подобно художнику, он способен на смелый полет мысли, дерзкую фантазию, творческий вымысел.

Слушая Йордана Радичкова, я не мог не подумать о другом болгарском прозаике — Павле Вежинове. В его произведениях периода творческой зрелости жизнь героев полна необычайных обстоятельств. А юная Дорстея из повести «Барьер» [1] живет мыслью о том, что она способна летать. И все это писатель дает через психологическое состояние души человеческой. Здесь мы должны говорить о даре художника слушать время, видеть лики времени, вечные дороги человечества. И выражать это голосом сердца. Мятежной душой. Запечатлевать мгновения жизни, грани исторического движения, быть может, не только фрагменты правды, но самую суть ее.

Разве в чем-то не напоминает нам судьба Доротеи Икара, сына Дедала, из древнегреческого предания? Мы знаем, что Икар, совершая побег из заточения, пытался перелететь море на крыльях, сделанных Дедалом из перьев и воска. Но он слишком приблизился к солнцу, и воск расплавился. Икар упал в море и погиб...

Шаг за шагом идем мы за радичковскими героями и все более ощущаем, что они нас привлекают, становятся близкими, нам не хочется с ними расставаться.

Примечательны в этой связи мысли Евгения Сидорова, высказанные в статье «Диалог с самим собой». Этика героического стоицизма, говорит он, в самой природе социалистического искусства; в его природе и полеты во сне и наяву, если они обеспечены надежной связью с землей, возвращением к дому. Да как иначе и вернешься преображенным, если не вырвешься из многочисленных и разнообразных пут земного притяжения, как увидишь окрестности и себя самого, вписанного в них, если не попытаешься на время забыть о повседневности и вспомнить о мире? Каждому из нас отмерен короткий отрезок существования, и поэтому идея о его смысле непременно должна определять самое существо духовной деятельности человека и лежать в основе его практического поведения. У искусства много конкретных путей к этому единству, но цель творчества, цель культуры одна во все времена: возвращение человека к самому себе.

— Какую из своих книг вы считаете наиболее удавшейся? — спросил я как-то Радичкова.

— «Нежная спираль» [1], написанная после перенесенного инфаркта, на мой личный взгляд,— лучшее из всего написанного мною. В этой книге отражены звездные мои мгновения... Труд над ее созданием действительно исцелил меня после болезни,— признался Йордан Радичков, говоря о последнем по времени своем произведении.

Да, есть память слов, память рук, память души. Прекрасно, подумалось мне, когда сердце художника способно выдержать, когда оно не сдается, не ослабевает. И жива надежда, не покидающая писателя надежда — всюду, где живет прелесть и мощь художественного слова, художественного образа. Неужто следует смиренно довериться суду будущего, хотя оно остается для нас неведомым и загадочным?

Порой наш разговор приобретал характер эмоциональный, а то и сентиментальный... Не придаю, однако, этому слову отрицательного значения. Ведь сентиментальный не есть пошлый. Речь не о слезливой умилительности, не об излишней чувствительности, но о душевности настроения и человеческого состояния, как это отображено, например, в произведениях Руссо, Стерна, Карамзина и других. Я знаю, что есть

[1] Опубликована в «ИЛ», 1978, № 1.

[1] Подборку рассказов из этой книги см. в «ИЛ», 1985, № 7.

люди, которые посмеиваются над сентиментальностью.

Сентиментальность... Наверное, не выдам секрета, если скажу, что именно эмоциональной недостаточностью страдают многие современные произведения.

Слушая Радичкова, я все более проникался сочувствием к образу его мышления, восприятию жизни и ее художнического опосредования. Поистине все радости жизни — в творчестве! Творить — значит убивать смерть. В «Нежной спирали», пожалуй, особенно ощутима сопричастность автора судьбам его героев. Мы встречаем здесь примечательное и труднорасчленимое единство объективного и субъективного начал. Важно, конечно, когда писатель отображает то, что есть или произошло в действительности. Он в таком случае опирается на факты жизни, образными средствами воссоздавая реальность в своих произведениях. Не здесь ли тайна рождения поэтического слова, сюжета?

Временами у нас возникала пауза. Как будто мы собирались с мыслями. Радичков и в молчании был красноречив. Так мне казалось...

Значительная часть рассказов в книге «Нежная спираль» связана с раздумьями Йордана Радичкова во время прогулок по парку после тяжелого заболевания, надолго оторвавшего писателя от творческой работы. Это — первые его радости, первые произведения, написанные после того, как над ним прошелестела зловещая тень. Отдельные рассказы — результат непосредственных наблюдений («Ночной выпас», «Упавшие птенцы»). Но большинство из них основано на воспоминаниях... Они порождают видения минувшего, воскрешают полузабытые охотничьи походы, удивительные картины природы, прелестные случаи из детства. Они органичны, писатель вглядывается в личный, интимный мир души. Это как бы исповеди — подчас грустные,— беседы с самим собой. И с точки зрения внутренней биографии писателя, и с точки зрения его отношения к человеку и миру они поистине бесценны. Радичков в «Нежной спирали» раскрывается удивительно непринужденно, непосредственно. В этих рассказах — простота и мудрость писателя, глубоко познавшего жизнь и природу человека.

В таких книгах, как «Нежная спираль», заключено особое очарование. Они вызывают в нас наслаждение: книги разговаривают с нами, дают добрый совет, становятся нашими друзьями.

Радичкову присуще дарование предопределять, предвидеть, предчувствовать, и выражено это у него без видимого усилия, естественно,— словно бы перед тобой простой результат игры творческого воображения.

Читая Радичкова, невольно обращаешься к раздумьям о цели литературы: помогать человеку понимать самого себя, крепить веру в себя и развивать стремление к истине. Бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в душах стыд, гнев, мужество, способствовать сближению людей....

Болгарские критики постоянно уделяют внимание творчеству Йордана Радичкова. И на страницах своего эссе мне представляется целесообразным по возможности подробнее остановиться на их высказываниях.

Вот, к примеру, мнение Петра Динекова о «Нежной спирали».

Мы привыкли воспринимать Радичкова, отмечает он в статье «Рожденные воспоминанием», через призму гротескных, странноватых образов, аллегорий, сложных метафор — как в прозе, так и в драматургии: от «Котелка» и «Козьей бороды» до «Попытки полета» и «Корзин». Мир Радичкова будит воображение и пленяет образным богатством языка; он выстроен на фундаменте народного мышления, фольклорного видения, удивительного чутья писателя к поэзии народа, его душе.

Никак не скажешь, что игра воображения, юмор, остроумные наблюдения полностью отсутствуют в «Нежной спирали» Йордана Радичкова,— они есть и в рассказе «Японский отель», и в рассказе «Ночной выпас», и в других произведениях. И все же это книга «кротких и тихих сюжетов, окутанных мягким полумраком и тишиной», «неясных, но нежных кругов и спиралей» человеческой чувствительности, воспоминаний, которые «не умирают, но остаются жить, подобно мерцающим пятнам в уютном полумраке души».

Наблюдения и размышления, говорит далее Петр Динеков, воспоминания и лирические настроения, случаи и эпизоды, вплетенные в неуловимую мозаику, и много теплоты, нежности и грусти — вот содержание этой книги, которая не случайно носит название «Нежная спираль».

Книга названа по рассказу-воспоминанию, посвященному режиссеру Методию Андонову, рано покинувшему этот мир,— одному из самых близких друзей писателя, который талантливо поставил на сцене его первые пьесы. Как и во многих рассказах этой книги, в его основу положен случай из охотничьих странствий Йордана Радичкова. Группа мужчин холодным зимним днем отправляется на санях на охоту. За одним из поворотов на снегу перед ними внезапно возникает куст шиповника, усыпанный яркими красными плодами. Такой же куст шиповника и тоже зимой, во время охоты, встретился писателю и Методию Андонову. Этот куст шиповника в сознании писателя вызывает неожиданную ассоциацию. Один из охотников стреляет по стае голубей, пролетавшей над санями. Подстрелянная птица начинает терять высоту и летать кругами, пока не падает, а на снегу по спирали остаются алые капли крови, совсем как те ягоды на шиповнике. Алые капли повторяли круги и спирали, которые, падая, птица выписывала в небе...

В рассказе «Каждый день в парке» Йордан Радичков воскрешает образ актера Григора Вачкова, тоже своего близкого друга. Писатель вспоминает совместную поездку с Вачковым в Берковский край. Образ этот появляется совсем в иной обстановке — в атмосфере бурления жизни, цветущей природы, где восторженный Вачков начинает рукоплескать, как рукоплещут в театре, при виде того прекрасного, что открывается его взору: красивому дереву, красивому лугу. А как рассказывает об этом Радич-

ков! Непринужденно, остроумно, увлекательно. Радичков и Вачков попадают на цыганскую свадьбу, и описание народного пиршества, в которое вплетаются воспоминания о сельской жизни, поверия и даже фантастика,— одна из самых ярких, самых колоритных страниц в творчестве Радичкова.

А как многозвучно вошло в радичковские рассказы историческое время со своими проблемами. Вошло не только традиционными, известными, но по-особому зазвучавшими сюжетами и мотивами, берущими за сердце своей искренностью и непосредственностью,— в каждом из его рассказов звучит голос судьбы человеческой.

Читателя не может не потрясти рассказ «Ибис», в основе сюжета которого бессмысленное убийство человеком красивой птицы, которую к тому же, как замечает один из персонажей, не едят. Возмущенный писатель поднимает вопрос об отношении к прекрасному: «Куда ты удираешь, негодник? Зачем ты обкрадываешь природу, в которой без того кругом нехватки? Красоту ли ее ты хочешь присвоить и удержать в кулаке? Неужели ты, невежда, не понимаешь, что, когда ты хочешь удержать красоту для себя одного и сделать ее своей собственностью, красота эта мгновенно умирает и покрывается копошащимися паразитами?»

Да, едва ли правомерно утверждать, что Радичков явился перед нами совсем другим, не похожим на себя, ибо то, что характерно для этих рассказов, глубоко связано с духовной и нравственной атмосферой его творчества в целом. Иными словами, перед нами писательская индивидуальность, изменяющаяся, обогащающаяся, но остающаяся сама собою, сохраняющая творческое своеобразие и идущая избранным ею путем.

Рассказы в книге «Нежная спираль» обладают способностью покорять души тех, кто относится к людям без предубеждения, наделен врожденным даром откликаться на зов сердца. И картины, созданные художником в его произведениях, мы воспринимаем как выражение мысли и души их автора. Не в этом ли поиск новой эстетики, который ведет Йордан Радичков? Мы видим, что новое в искусстве слова приходит с человеком, героем, автором.

В рассказах сборника «Нежная спираль» ощутима преемственность, литературная традиция, восходящая к Ивану Вазову и Константину Константинову. Речь идет о жанре рассказа-воспоминания, когда сюжет возникает в связи с личными впечатлениями, собственными наблюдениями, в которых одновременно отображен нравственный мир художника. На память приходят такие произведения Ивана Вазова, как «Царапины и пятна», «Пестрый мир», «Виденное и слышанное», особенно же рассказ «Пейзаж», написанный Вазовым под впечатлением его встречи с горемычной старухой на шоссе— она несла в город только что родившегося младенца, оставшегося без матери.

Петр Динеков в упомянутой статье подробно останавливается на этой жанровой специфике «Нежной спирали».

Здесь — своя поэтика. На первый взгляд, литературная форма рассказа-воспоминания не предполагает особых трудностей — воспоминание как бы само решает композиционные проблемы, писатель должен лишь идти за естественной последовательностью развития событий. Но именно этот порядок Радичков нарушает, смешивая эпизоды, относящиеся к разному времени, свободно оперируя событиями, впечатлениями, умело выстраивая рассказ. При этом нет «монтажа» материала в обычном понимании — композиция подчинена внутреннему переживанию. Хотя диалог занимает в повествовательной ткани произведения незначительное место, читателю тем не менее кажется, что он все время участвует в некоей беседе. Речь идет о своего рода внутреннем исповедальном диалоге, который ведет автор со своим читателем. И это — одна из существенных особенностей новых рассказов Радичкова.

Другой болгарский критик, Николай Звезданов, в статье «Неприступные Гималаи» называет ключевое слово-символ творчества Радичкова: «память». Одаренный невероятным воображением, могучей интуицией и огромной филогенетической памятью, Й. Радичков, по мнению Н. Звезданова, открыл изумленному взору болгарина, сколь богато древо его национального самосознания, сколь глубок болгарский корень, и вместе с тем он создал универсальные образы общечеловеческой культуры, проник в глубины общечеловеческого бытия, в исконные модели мышления и поведения. Его вклад в современную мировую литературу состоит в том, что он углубил понимание мифологической памяти человечества и нашел более глубокие основания для того, чтобы говорить об ответственности людей перед жизнью.

Радичков не противопоставляет цивилизацию культуре: писатель, который в «Пороховом букваре» и в романе «Все и никто» воспел революцию, просто хочет напомнить читателю, что путь к будущему пролегает через воспоминания о прошлом, через усилия и опыт предыдущих поколений, что ролик нашей жизни крутится перед всевидящим оком нашей исторической памяти и совести. «Мы должны понимать друг друга!» — часто повторяют его герои, и в этих словах улавливается авторское стремление найти пути к сосуществованию различных мировосприятий, различных культур. Поражает его умение слушать все голоса бытия, разгадывать «космические шумы, шепот и шелестение» во Всемире, другими словами — внутри нас самих.

Н. Звезданов анализирует стремление писателя передать тоску современного человека по простым истинам жизни, по коллективному детству человечества, поскольку «человек в человеке» для создателя книг «Бешеная трава» и «Мы, воробьишки» — это прежде всего детская совесть, ребенок в человеке. С их помощью он возвращает нам утерянное космическое чувство родства и всепринадлежности, он представляет человека венцом мироздания, воскрешает наш древний порыв к всеобщей симпатии и всеобщей отзывчивости. И на огромной спирали вечности возникает «нежная спираль» человеческой галактики. Для него «храм души — это весь мир».

Надо ли говорить, как важны в наш тревожный век эти попытки болгарского писателя найти пути сближения людей, остановить их внимание — в той или иной форме — на идее человеческой общности.

Нелепо, конечно, считать, что один человек способен все изобрести сам. Разве не трагично пренебрегать тем, что накоплено человечеством? Анатоль Франс, обрушивший на своих читателей каскады ума, тончайших наблюдений и мудростей, указывал: «Человек, даже когда это великий человек, не так уж много значит, если он один. Мы недостаточно обращаем внимания на то, что великий писатель, хотя бы и очень самобытный, заимствует больше, нежели сочиняет сам; язык, на котором он пишет,— не его изобретение, форма, в которую он отливает свою мысль,— ода, комедия, повесть — создана не им; ни синтаксис, ни просодия не принадлежат лично ему. Даже самая его мысль подсказана ему со всех сторон. Краски ему уже даны; сам он привносит в них только оттенки,— хотя иногда, я это знаю, оттенки бывают бесконечно ценны. Будем разумны и согласимся, что наши произведения далеко не всецело принадлежат нам. Они зреют в нас, но корни их в питающей нас почве...»

Поистине, ища источники нового, нельзя забывать и о старом.

«Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавлена хотя бы капля собственной крови»,— отмечал как-то А. Одоевский. Разве вдохновенная эта мысль утратила ныне свое значение? Не надя творческого горения, выражать в слове свое миропостижение, переживания, выстраданные идеалы. Речь здесь о поэтическом отношении к действительности, о духовном романтизме — верной примете самоотверженности художника перед миром реальной действительности. Мы имеем в виду духовность бытия, высокий смысл жизни. Человек не может в это не верить.

Йордан Радичков как бы говорит нам, что человек должен трудиться и совершенствовать себя не только тем, что постоянно учится мечтать, но главное — путем претворения мечты своей в реальность. Мечты и претворение их в жизнь — высшие блага, доблестное призвание человека.

Одно из проявлений акта труда и разума человека — акт эстетический, ибо истина и благо соединяются тесными узами именно в прекрасном. Человек, подобно поэту и художнику, должен постоянно воспитывать в себе эстетическое чувство.

Опыты Йордана Радичкова в этом плане располагают к себе благодаря высоте моральных требований и требований эстетических, благодаря художническому дару, покоящемуся на социально-нравственных устоях социалистического общества.

Не будет преувеличением сказать, что каждое новое произведение Йордана Радичкова своеобразно по жанру, по тону повествования и в каждом из них мы находим образ современного человека, воспроизведенный с лирической взволнованностью, мягкостью и теплотой. Здесь и простодушие, и мудрая сентиментальность, и вольная игра воображения — все то, что помогает созданию образных представлений о жизни и человеке.

Остановимся для примера на его книге «Неосвещенные дворы». По замыслу это — путевые очерки о поездке писателя в Советский Союз в 1963 году. В ней сочетается документальное повествование с лирическим дневником, психологические зарисовки — с раздумьями о прошлом, частные сравнения, сопоставления — с привычным миром родной страны. Книга эта о советских людях, и в ней явно присутствует образ родной Болгарии, сопровождающий автора во время его путешествия. Радичков проследовал по Якутии, Сибири и Алтаю. Он заглянул в «неосвещенные дворы» затерявшихся в тайге отдаленных поселков, встречался с людьми, добывающими золото и слюду, алмазы и серебристую пушнину, ощутил дыхание Ледовитого океана у бухты Тикси и ходил по алтайской степи. И не случайно, очевидно, советский исследователь болгарской литературы В. Злыднев назвал свою статью о книге Радичкова «Сияние «Неосвещенных дворов». Радичков чувствовал нерв нашей сегодняшней жизни всюду, куда бы он ни попадал. Была ли это могучая техника, которая брошена на покорение природы, или настойчивость людей, добывающих в земных недрах алмазы и золото, выращивающих в краю вечной мерзлоты салат, лук, картофель. Под пером писателя предстали «поющий лед» Якутии и дикие стада коней в степи, необъятные просторы Сибири и советский человек, овладевающий богатствами недр, созидающий в суровых условиях новую жизнь.

И мы видим, что люди, с их повседневным трудом и мужеством, вызывают у автора глубокое уважение. Здесь, отметил В. Злыднев, писатель обрел больших друзей среди русских, украинцев и молдаван, недавно поселившихся в необжитых местах, якутов и эвенков, преобразующих землю своих отцов и дедов. И дворы, где живут гостеприимные обитатели со сложившимися здесь привычками и нравами, озаряются светом завтрашнего дня. В это верит автор, и в этом он убеждает читателя. Таежные охотники и рабочие приисков, служащие совхозов, шоферы и исследователи населяют книгу Радичкова. Они и составляют то бесценное богатство, в сравнении с которым меркнет слиток золота в руках автора.

Завершая повествование, в одном из лирических отступлений Радичков делает признание: «Некоторые скажут: посмотри на этого дикаря — люди отправляются в Париж, в Париже есть Эйфелева башня и стриптиз, там есть что посмотреть, а этот потащился в Сибирь! Милые вы мои, скажу я этим людям, в Париже действительно есть Эйфелева башня и стриптиз, но мы не получим там золотой ключ от дверей, другой класс держит его у себя. Я попал в Россию, и эта страна дала мне золотой ключ от всех дверей; я прошел с ним всюду, не повстречав ни одной закрытой двери в домах... Золотой ключ этой страны сейчас у меня, и после стольких путешествий по ней я почувствовал себя человеком, которого впустили в банк и за которым

никто не идет по пятам и не следит, сколько богатств он возьмет с собой».

Представление о сборнике Й. Радичкова «Нежная спираль» обогащает другой болгарский литератор — Георгий Цанков. В статье «Тайна горстки иероглифов» он анализирует сборник с точки зрения его философского звучания. Й. Радичков, пишет Г. Цанков, помогает читателю разобраться в таких понятиях, как противоречие, сущность зла и добра, относительность наших ощущений,— а это непростые понятия, их должно запечатлеть без малейших искажений. Большое средство содержится в малом; то, чего мы не замечаем, тоже должно стать для нас значащим, чтобы мы смогли больше открыть в самих себе и для самих себя. Суть явлений для нас содержится не только в наиболее очевидных наших действиях и реакциях, в них ее даже меньше, чем в том, что не видно простым глазом, что ускользает от нас в бешеном ритме жизни. Ибо картина наших очевидных достижений может выглядеть и не так уж утешительно: наши созидательные усилия соседствуют с миром, задыхающимся от страхов, опасностей, напряженности. Понятно, что кроме ясных всем нам причин тому есть и другие, лежащие в несовершенстве человеческого рода, в его неуверенности во многих вопросах, столь важных для его существования. Именно в раскрытии этих микроскопических по своей видимости, но макроскопических по значению «иероглифов» жизни, борьбы за нее писатель-коммунист обнаруживает глубокую проницательность, предопределенную его диалектическим мировоззрением, обнаруживает «оптимистическое чувство жизни», которое не может иметь ничего общего с апокалипсическими видениями.

Как отмечает Г. Цанков, Радичков никогда не оставит части целого в хаосе разъединения: он не откажется от этой мучительной, лишающей спокойствия «аутопсии тела», ибо знает, что «над распахнутыми воротами и над человеческой толпой кружат вороны», загадочные и молчаливые, будто ждут трупа голубя. Но пока нежная птица падает, капли ее крови рисуют на снегу таинственный иероглиф, который, подобно заклинанию, оказывает такое воздействие на окружающих, что никто не посмеет ступить вперед, чтобы «порвать или затоптать нежные алеющие спирали птицы. Какой будет последняя фраза нашей жизни и сумеем ли мы написать ее действительно своей кровью, но так, чтобы никто не посмел ее затоптать? Радичков доказывает, что нравственный долг человека — стремиться именно к такому просветлению, когда смерть может стать жизнью, поскольку превращается в духовную энергию. А из воспоминаний о близких, о товарищах, которые неизменно присутствуют в сознании, рождается тема неистребимости интеллектуального и творческого усилия человека.

В притихшем, будто ожидающем чего-то радичковском мире, читаем далее в статье «Тайна горсти иероглифов», нет мертвой природы, он заряжен усталостью, грустью, болью, но также и любовью, верой, надеждой. Мир легкоранимый, легкоуязвимый — но это на поверхности, а в глубине его живут неуничтожаемые силы, там живые и мертвые вместе, там ведется решающая битва добра и зла, там встречаются познанное и непознанное, и в их столкновении куется «тайное оружие» жизни. Радичкову незнакома позиция демиурга, он в поиске и страданиях вместе со своим читателем, он ищет не только свою силу, но и свою вину, свою внутреннюю «силу мрака». Он пытается овладеть диалектикой природы, открыть свой иероглиф и в гуще колючек куста шиповника, и в отвратительном зрелище мертвого ибиса.

Герой сборника «Нежная спираль» — сам автор, которому чужды апокалипсический пессимизм и предвзятое эстетическое отчуждение. Его сознание, его чувства, его духовность и интеллект удивительно жизненны, несмотря на усталость, несмотря на боль. «Как хорошо, когда у человека есть свой виноградник на заброшенном клочке земли. Есть у него где копаться и потеть всю жизнь...»

Йордан Радичков безусловно привнес в болгарскую литературу свой оригинальный мир образов и характеров современников, с их чувствами и переживаниями, горькими разочарованиями и задорным смехом. А есть ли более действенное средство, которое бы так сближало людей, как смех и слезы? Многие созданные писателем произведения исполнены искрящейся шутки, народного юмора, остроумия, сатирической обличительности. Заметим, что не без причины о творческой манере Радичкова, об избираемых им сюжетах и стилистике критики не прекращают своих жарких споров, а читатели активно разыскивают его новые книги.

Мы видим, однако, не можем не видеть главную силу таланта Йордана Радичкова — социальной зоркости художника, утверждающего свои убеждения, свое мировосприятие, понимание вещей. Это утверждение наиболее свободного выявления личностного его взгляда на развитие жизни и искусства слова. Утверждение доброжелательно-критического взгляда.

Одно из любимых изречений писателя: «Цели достигает не тот, кто торопится, а тот, кто не останавливается». Верно сказано и мудро. Но для Радичкова это не просто крылатая фраза, афоризм. Неостановимость поисков, постоянное творческое дерзание писателя лежат в самой сущности его необычного и оригинального таланта.

Йордан Радичков как-то писал, что человеку рано или поздно суждено брать приступом свои «внутренние Гималаи, исключительно крутые и неприступные». В самом деле, бывают в жизни такие мгновения душевного потрясения, когда у человека будто нет иного выхода и ему приходится карабкаться вверх, ломая ногти в трещинах скал и оставляя за собой кровавые следы. Высокой ценой добывает он истину о самом себе и своем предназначении в этом мире. Но есть и такие натуры, которые всегда на отвесной скале, всегда одержимы дерзким порывом узнать и выстрадать истины бытия и постичь самих себя.

Таков Йордан Радичков, пишет Н. Звезданов в упоминавшейся статье «Неприступные Гималаи». От книги «Сердце бьется для людей» до «Ноева ковчега» — какой огромный путь проделан писателем, какие громадные пласты бытия обрели здесь имя и смысл. И потому, взбираясь на свои Гималаи, Радичков, этот сказитель из Калиманицы, имеет право напомнить нам: «Напрасно мы ищем укромный уголок! Тот, кто ищет укромный уголок, вычеркивает самого себя из смысла жизни, ибо все мы лишь маленький участок великого марафона человеческого».

Калиманские холмы, откуда родом Йордан Радичков, расположились между Берковицей и Михайлоградом в уютной, «почти райской долине», где посеяны семена видений и сказаний о болгарах и о человечестве. И под какими бы именами мы ни встретили это поселение — Соточино, Черказки, Долна Мыка, Аврамовы Хутора,— все это Калиманица — обетованная земля, тайный знак, творческий фермент дарования Йордана Радичкова, своего рода Миргород.

Села этого давно уже нет, суждено ему было оказаться на дне огромного водохранилища. Но неведомыми древними узами судьба этого «бедного Северо-Запада» Болгарии переплетается с человеческой и творческой участью Радичкова. Умирая, село как бы завещало своему летописцу, подчеркивает Н. Звезданов, целую мифическую вселенную. Оно завещало ему и свою драму — драму сельского сознания, на котором цивилизующийся мир ставит свой крест. Есть нечто роковое в этой реальной гибели и в этом художественном воскресении, восстающем против смерти и забвения, в этом нравственном послании с тревожным вопросом об исходе поединка между цивилизацией и культурой, архаикой и современностью, преходящим и вечным в несущемся вперед времени. В ряде произведений, начиная с «Жаркого полдня» и кончая «Воспоминаниями о лошадях», «Пращой» и «Бешеной травой», этот поединок обретает свою символико-метафорическую эмблему в образах *Дома, Стихии и Пути*, всеобъемлющих для писателя понятий, которые «оформляют» время,— своего рода пространственная модель мира, в котором разыгрывается радичковская мистерия XX века.

Творчество Йордана Радичкова — это художническая проекция и исследование современности, ее образ на огромном фоне древнего и вечного в бытии. С большой любовью писатель говорит о том, что человеческая душа подобна океану и мы не должны видеть лишь пену волн этого океана. Каждая индивидуальная судьба — это не только листик, но и ствол и корень одновременно. И мы откуда-то приходим и уходим куда-то с непоколебимой предопределенностью. Проблема сохранения человека и человечества — это проблема защищенности корня. И перед тем как посмотреть вверх, нужно бросить взгляд в глубины, там скрыт тайный знак нашего пути. Только тогда мы сможем доверчиво принять мир, сознавая при этом, что в нем непременно существует некая скрытая тайна. И потому творчество художника очищает, просветляет и лечит душу. Радичков отправляется в путь, полный любопытства, нежности и сострадания к человеку. «Сердце бьется для людей» — заглавие книги, но вместе с тем это и обет, которому писатель остается верен в своем творчестве.

Развивая эту мысль, Н. Звезданов обращается и к заглавию другой книги Радичкова — «Неосвещенные дворы». Для писателя это ключевое понятие, в основе которого тайны человеческой души, ее «неосвещенные дворы». Кто осмелился бы спуститься по замшелым, сочащимся влагой камням, чтобы увидеть, что там бурлит на дне этого почти бездонного колодца? У Радичкова хватило смелости, и он спустился вниз, удивленный, насколько глубок этот колодец. И он увидел там тени и зло в нашей жизни, увидел, какими сугробами снега завалена подчас душа болгарина. Вместе с тем он увидел и «попытки полета» и воспел вечный порыв Икара — человека-птицы, порыв, который живет в той же самой душе болгарина; увидел, как бьет эта птица крыльями во тьме столетий, как пытается взлететь к свету.

«Тайна» — вот второй «пароль» радичковской философии мира. Но и здесь нет фатализма. Тут — сакраментальный смысл, светлое чувство преклонения перед жизнью и вера, что разгадка тайны кроется не только в рациональном знании, но и во «внутреннем оке», которым природа наделила человека, чтобы он вглядывался в нее с доверием и любовью. Ибо, насилуя свою природу в ускоренном ритме цивилизации, мы лишь увеличиваем препятствия, стоящие перед нами.

У Йордана Радичкова покоряет показ именно скрытой магии существующего мира, добавляет Н. Звезданов, необыкновенная дерзость, с которой он называет первоэлементы мира. Его герои очеловечивают все вокруг себя. Они стоят перед вечнозеленым древом жизни как перед каким-то великим чудом. Но главное здесь не их самостоятельное значение, а то, как раскрывается во всем этом душа писателя.

Я позволил себе воспроизвести столь подробно прежде всего мнение ряда болгарских критиков о творчестве Йордана Радичкова — и даже завершить словами одного из них эти заметки. И сделал это не только потому, что мнение их тем более интересно, что отражает точку зрения соотечественников большого писателя, но и потому, что оно свидетельствует об уровне критической мысли братской страны.

◆

Публицистика

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН

ИЗ УСТ ОЧЕВИДЦЕВ

Заметки на полях книги С. Теркела[1]

Появившись на свет, человек очень скоро узнает, что он смертен. Философия и литература с самого начала бились над загадкой: что есть бытие и небытие. Но они всегда размышляли над естественной смертью, случайной гибелью и намеренным уничтожением отдельной личности или рода, самое большее — над исчезновением народа или культуры. В наше же время люди столкнулись с угрозой гибели человечества как такового, всей земной цивилизации.

Хотим мы того или не хотим, эта угроза меняет наш способ мышления, наш язык, наше поведение. Одни тихо примиряются с жуткой возможностью глобальной катастрофы, другие истерически проклинают ее, третьи ищут пути уберечь человеческое сообщество от самоуничтожения.

В этих поисках неоценим опыт второй мировой войны, унесшей пятьдесят миллионов жизней, осмысление ее причин, хода, ее результатов. Уроки всемирно-исторической схватки с фашизмом и его сокрушительного разгрома сейчас важны как никогда.

Литература о войне необозрима — научные исследования, мемуары, романистика. Американская же книга занимает в ней сравнительно скромное место, и понятно почему. США, как известно, долго не хотели вмешиваться в «европейские дела», выжидали, выгадывали и вступили в схватку с фашизмом лишь на третьем году второй мировой войны. Будучи участником антигитлеровской коалиции, они преследовали вместе с тем свои военно-стратегические и политико-экономические цели. Эту двойственность и зафиксировала американская военная проза, которую трудно сравнивать с французской, польской или югославской литературой о Сопротивлении и войне. И уж конечно, в ней нет и не могло быть «Нашествия», «Повести о настоящем человеке», «Блокадной книги». В ходовых романах описываются — иногда критично — армейские порядки или батальные сцены, где тоже есть живые и мертвые, но сражаются и умирают там чаще всего как-то легковесно, игрушечно. В иных публикациях та война утрачивала конкретно-историческое содержание, представала как хаос и бессмысленная бойня — эта, «абсурдистская» линия сделалась особенно заметной, когда американский империализм развязал действительно бессмысленные войны в Корее и Вьетнаме. Многие писатели поднимали гневный голос протеста против этих «грязных» войн, против милитаризма, и иногда получалось, что их протест бросал неверную тень на вторую мировую.

С первых же послевоенных лет за Атлантикой выявилась еще одна тенденция. Она многолика и принимает формы то непритязательного боевика, то исторической хроники, но суть ее едина: возвысить Америку и ее вооруженные силы, прославить военную мощь США. Таков, к примеру, тысячестраничный роман Германа Вука, открывающийся обещанием автора изложить «американский взгляд на войну». Внешне он держится объективного тона, но более или менее искусное смещение акцентов создает картину верную в малом и фальшивую в большом. Если верить Вуку, нацизм строил свою политику исключительно на расовом принципе, а война выиграна благодаря экономическому потенциалу Америки и ее тихоокеанским кампаниям.

С антиисторичным тезисом о «вечном антисемитизме» и вообще со всякими разновидностями этнической исключительности, национализма и расизма спорит роман Уильяма Стайрона «Софи делает выбор». Мучительны жизненные перекрестки Зофьи Завистовской, польки, прошедшей Освен-

[1] Фрагменты книги были опубликованы в «ИЛ», 1985, № 5, 10.

цим и покончившей с собой в Нью-Йорке. Буржуазные писатели, политологи, проповедники много и бесплодно толкуют о том, что есть зло в XX веке. Для Стайрона зло, абсолютное зло — это фашизм и его воплощение — комендант Освенцима Гесс.

Открытый антифашистский пафос стайроновского романа восполняет недостаток историзма, который видишь даже в лучших американских книгах о войне. Даже в беспощадном романе его друга Джеймса Джонса «Только позови», где зримо передана трагедия фронтовиков, вернувшихся по ранению на родину, разбогатевшую и равнодушную, и понявших, что им нечем и незачем жить. Впервые за много лет в литературе США Стайрон так ясно показал, против чего сражались американские солдаты.

И в этом смысле вторая мировая — несмотря на неисчислимые и ничем не восполнимые жертвы и колоссальный материальный ущерб, который понес прежде всего советский народ, была войной вынужденной, необходимой, справедливой, «хорошей».

Именно так и назвал свою очередную работу Стадс Теркел — «Хорошая война». Устная история второй мировой войны», оговорив в предисловии, что взял это выражение в кавычки, «чтобы отличить эту войну от других войн, как объявленных, так и необъявленных», а с другой стороны, потому, что в наше, ядерное время прилагательное «хорошая» больше не сочетается со словом «война».

Как и прежние книги Теркела — «Тяжелые времена. Устная история Великой депрессии», «Работа», «Американские мечты, потерянные и найденные» и другие, эта — собрание записанных на магнитную пленку бесед автора с людьми самого разного возраста, социального положения, различных профессий и различных убеждений. Собеседники писателя делились с ним своими воспоминаниями и суждениями, в итоге эти разговоры и составили «изустную историю» второй мировой войны — может, так и следовало бы назвать книгу.

Разумеется, Теркел не просто сложил записи своих бесед, а тщательно организовал их соответствующим образом — по хронологии и тематике, снабдил собственными комментариями, иногда лаконичными, иногда пространными. В самой организации и подаче материала — воля и правда писателя, во многих случаях воссоздающая характер человека, однако не всегда совпадающая с правдой факта. С другой стороны, индивидуальная память собеседника тоже избирательна, своевольна, субъективна: только коллективная память народа и человечества равняется правде исторической. Книга Теркела тяготеет к тому литературному виду, который на Западе бойко окрестили «фэкшн». Молодой и, судя по всему, развивающийся, он соединяет черты собственно художественной прозы, по-английски fiction, то есть буквально — «фикции», «вымысла», и литературы факта, прозы документальной, публицистики.

Обилие разнообразных высказываний — а их около ста тридцати! — создает объемное полотно восприятия событий прошлого сегодняшними американцами, и не только ими, но и как бы оттесняет автора на второй план. Многоголосие, которого, конечно же, добивался писатель, оборачивается разноголосицей. Раздаются со страниц и сомнительные голоса, нет-нет да и заглушающие голос Теркела. Вряд ли, например, обогатит теркеловскую мозаику рассказ военнослужащего-гомосексуалиста или заявления заядлого ура-патриота, изрекающего антикоммунистические клише. Проверенный вроде бы прием подводит, обнаруживает уязвимость самой технологии его книг, и это лишний раз напоминает: форма содержательна.

И все-таки теркеловский том — выдающееся явление в общественной и литературной жизни США. Выпущенный осенью прошлого года, в канун сорокалетия Победы, и отмеченный Пулитцеровской премией, он полемизирует с теми, кто хотел бы предать забвению уроки борьбы с фашизмом, кто призывает «не ворошить прошлое»», «не задевать чувства» и так далее. В высокой оценке книги сошлись — что бывает нечасто — такие разные периодические издания, как «Нью-Йорк таймс бук ревью» («Самый глубокий портрет поколения и самый глубокий анализ конфликтов, которыми оно жило») и газета американских коммунистов «Дейли уорлд», чей рецензент назвал работу Теркела «ценным дополнением к истории второй мировой войны».

Подчеркну: именно «дополнение», потому что история делалась там, где проходила главная линия обороны гитлеровской агрессии, — на советско-германском фронте. Теркел встречался с М. Алексеевым, Г. Бакланом, В. Коротичем, «русская тема» звучит и в его беседах со многими соотечественниками, и все же книга дает слабое представление о том, что значила война для советского народа. Видимо, писатель решил сосредоточиться на сугубо «национальном опыте».

Бывшая работница Красного Креста вспоминает: на десантном корабле, переправлявшем в июне 44-го танковую часть в Нормандию, она встретила юношу-испанца. «Как же ты-то здесь очутился? — удивилась она. — Это ведь не твоя война?» Тот долго молчал, потом ответил: «Сеньорита, как-то странно говорить испанцу, что ему незачем сражаться против фашизма».

Оторопь американки понятна. Мало кто в Штатах знал об Испании, о фашизме. Для большинства американцев мировая война началась отнюдь не 1 сентября 1939 года, когда гитлеровцы вторглись в Польшу. (Несколько дней спустя Рузвельт подписал прокламацию о нейтралитете США.) И не летом сорокового, когда пал Париж и германская авиация уже бомбила Лондон. И не летом 41-го, когда немецко-фашистские войска напали на Советский Союз...

Для «среднего» американца война началась лишь 7 декабря 1941 года. В тот день воздушные соединения милитаристской Японии в течение двух часов бомбили Пёрл-Харбор, военно-морскую базу США на далеком гавайском острове Оаху. Было потоплено и повреждено девятнадцать боевых кораблей, уничтожено почти двести самолетов, погибло 2300 американских парней.

Но: «Для меня вторая мировая война началась 18 июля 1936 года. В тот день в Мадриде раздался первый выстрел...» Милтон Волф, бывший командиром батальона имени Линкольна, не единственный, кто думал так тогда и думает так сейчас. Так думали и писали об этом Эптон Синклер, Хемингуэй, Ленгстон Хьюз, Алва Бесси, Лилиан Хеллман, Джо Норт, Барри Стейвис. Так думали сотни и сотни американцев, сражавшихся на стороне Республики. Там, в Испании, вместе с республиканцами лучшие представители мирового демократического движения, истинные интернационалисты дали первый вооруженный отпор фашизму.

Билл Бейли, выходец из бедной ирландской семьи, тоже сражался в Испании. Записавшийся подростком в матросы и изъездивший полсвета, он вспоминает, кроме того, и Абиссинию, и первомайскую демонстрацию в Гамбурге в 1932-м, опоясанную штурмовиками на тротуарах,— «по всему было видно, что дело идет к схватке»,— и то, как нью-йоркские моряки и докеры сорвали в 35-м флаг со свастикой с германского судна. Бейли кажется, что былое «великое товарищество» распалось, и тем не менее: «Я и сейчас думаю, что все мы— часть чего-то очень важного, часть человеческой истории, если на то пошло».

История не терпит сослагательного наклонения. Однако стоит прислушаться к мнению другого собеседника Теркела, ядерного физика Филипа Моррисона: «Если бы удалось остановить мятежников, если бы удалось не дать немцам и итальянцам оказывать помощь Франко, война могла бы и не вспыхнуть». Той же точки зрения держится еще один ветеран 15-й Интербригады: «Если бы капиталистические страны последовали примеру Советского Союза и помогли испанскому правительству, вторая мировая, по всей вероятности, была бы предотвращена». Это высказывание принадлежит Джо Брандту, одному из четырнадцати тысяч членов Коммунистической партии США и Молодежной коммунистической лиги, которые воевали с фашизмом, и его нет в книге Теркела. А жаль! Американским коммунистам есть чем поделиться, и их рассказы обогатили бы «изустную историю» минувшей войны.

«Остановить» Франко, Муссолини, Гитлера не удалось — потому что на Западе были силы, которым было выгодно не делать этого.

Нападение на Пёрл-Харбор отозвалось в Штатах по-всякому. Были, естественно, взрыв патриотических чувств и возмущение коварством «япошек» — иначе японцев в те дни не называли. Слепой патриотизм показывал свою изнанку — шовинистические настроения, жертвой которых скоро стали 110 тысяч японцев, жителей тихоокеанского побережья: всех их отправили в «переселенческие» лагеря. Часть молодежи рвалась в армию, чтобы служить своей стране, других манили заморские страны — они еще не знали, что такое бой. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе царила паника, ждали, что вот-вот нагрянут «желтые отряды». В Вашингтоне федеральные чиновники ломали голову над тем, как поскорее перевести экономику на военные рельсы. Американские войска на Филиппинах терпели поражение за поражением.

«Я считаю, что было две разных войны,— говорит ветеран Гуадалканала, ныне орнитолог Э. Следж.— Одна — это та, которую знают парни на передовой. Воюешь, пока тебя не ранят или не убьют. Или заменят, если повезет. Кроме них был вспомогательный персонал. У нас на Тихом океане на каждого пехотинца приходилось девятнадцать человек в тылу. Они смотрели на войну иначе, не так, как я». Не знаю, легче ли под огнем от сознания, что за тобой девятнадцать человек. Но цифра вызывает смешанные чувства: удивление, восхищение, обиду, горечь.

Рассказывает генерал У. Бастер, служивший офицером во Второй бронетанковой дивизии, которая участвовала во вторжении в Марокко в ноябре 1942 года: «Французы капитулировали быстро, после небольшого сопротивления. Потом мы занялись интенсивной боевой подготовкой, не понимая, почему нас не отправляют в Тунис... Вот и получилось, что лучшая бронетанковая дивизия в мире — именно такой мы считали нашу дивизию — отсиживается в трехстах милях от фронта, не участвует в боевых действиях». Другой участник североафриканских кампаний, Ирвинг Гофф, действовавший в тылу немецко-итальянских войск, свидетельствует: «Существует миф, будто Роммель потерпел поражение, потому что Монтгомери нанес ему удар с одной стороны, а американцы — с другой. Нет ничего более далекого от истины. Все немецкие танки и самолеты были переброшены под Сталинград». Артиллерийская часть при Четвертой пехотной дивизии, в которой воевал Эллиот Джонсон, ныне управляющий одной компании в г. Стоктоне, Калифорния, два года проходила «интенсивное обучение» перед высадкой в Нормандии, открывшей, наконец, в июне 44-го, после долгих, в нарушение союзнических обязательств, проволочек, второй фронт в Европе. Подготовка к операции «Оверлорд» велась основательно: горький опыт боев на тихоокеанских островах не прошел даром. Сугубо американская деловитость доходила до анекдота. «Целый отдел из шестидесяти человек был занят только туалетной бумагой»,— вспоминает режиссер и сценарист Гарсон Кейнин. За год с лишним до высадки, свидетельствует он, началась работа над пропагандистским фильмом о победах американского оружия в Европе — «дело требовало... огромного штата, чуть не в тысячу человек».

Нормандская десантная операция летом 1944 года была едва ли не самым крупным наступлением союзных войск за всю войну. Численность экспедиционных сил, включавших американские, английские и канадские соединения, достигала трех миллионов человек. И потери по западноевропейским меркам были немалые — свыше 120 тысяч человек. К этому времени советские войска уже освободили от немецко-фашистских захватчиков Ленинградскую область и подходили к Прибалтике, вышли на государственную границу на Украине, вступили в Румынию, очистили Крым. Все понимали, что русские готовятся нанести удар на центральном участке фронта и идти на

Варшаву. Германия агонизировала. Союзники торопились...

«Когда мы шли через Францию, перед нами никого и ничего не было»,— говорит один участник европейской кампании. «Словно и не было никакой линии фронта. Входили в город, где только что были немцы, и просто шли дальше. Как будто война уже кончилась. Германию мы, можно сказать, бегом пробежали и остановились только перед самым Лейпцигом...» — вторит ему другой.

Но все равно: à la guerre comme à la guerre — на войне как на войне. Особенно это касается Тихоокеанских кампаний, особенно в 42-м и 43-м. Американцам пришлось пройти через поражение на Батаане, через сражение у атолла Мидуэй, упорные бои за Гуадалканал и Соломоновы острова. Четыре года воевал на Тихом океане морским офицером контр-адмирал в отставке Джин Ларок, и «все четыре года... думал: какая же чудовищная трата человеческих жизней. Погибли многие мои друзья... Люди теряли руки, ноги, зрение, здоровье — ради чего?» Те, кто сражался, досыта хлебнули всего, что выпадает солдату на фронте. Усталость, страх, опьянение и упоение боем, кровь, смерть товарищей. Ожесточенность порой достигала последнего предела. Сжигали деревни, расстреливали мирных «азиатов», рвали золотые зубы, коллекционировали отрезанные у японцев уши. «Мы делались дикарями»,— признается один. «Мне кажется, здесь было, так сказать, начало Вьетнама»,— считает кинодокументалист Ричард Ликок. Разгул насилия сопровождался разгулом наживы. Жительница Лос-Анджелеса с горечью вспоминает о газетных сообщениях, в которых говорилось, что генерал Макартур «вынимал куски изо рта у наших солдат на Филиппинах в пользу своей семьи». Очевидно, можно верить свидетельству Элвина Бриджеса, служившего в военной полиции: «Люди в Париже умирали с голоду, а наши сбывали продовольствие целыми грузовиками».

Но было и другое: острое понимание ценности человеческой жизни, растерянность от того, что приходится убивать, раскаяние, вина. Гаваец Джон Гарсиа, пошедший в армию добровольцем, стрелял ночью в человека, оказавшегося в запретной зоне. Утром обнаружилось, что он убил женщину с ребенком. «Я до сих пор часто не сплю по ночам из-за этого... Подумать только, сколько денег тратится на то, чтобы убивать людей. И так мало — чтобы спасать. Сумасшедший мир... Нет, я не убийца».

«Идешь мимо убитых немцев, и каждый вдруг становится личностью, а не абстракцией,— задумчиво вспоминает ветеран, увлеченный в молодости романтикой войны.— Совсем другие немцы, не те свирепые рожи под страшными касками, какие мы видели в кино. Наши ровесники. Такие же мальчишки, как мы».

Какой же она все-таки была, та война, для американцев, особенно фронтовиков,— «хорошей» или «плохой»? Как они оценивают ее сейчас, через сорок лет?

Ответы на эти вопросы не так очевидны, как это может показаться нам, советским людям, в чье сознание и сердце вошли слова «отечественная», «священная».

Спектр ответов, данных людьми, с которыми встречался Теркел, очень широк и пестр. На одном его краю высказывание пацифиста-отказника: «Все тюрьмы одинаковы. Все войны тоже. На войне противники стараются убить друг друга из-за какого-нибудь «принципа». Главный же принцип «не убий» отметается». На другом — заявления ура-патриотов, провинциальных и столичных ястребов разного полета, которые знают одно: уничтожай всякого, кто не такой, как ты, будь то «наци» или «комми». Окоп, понятно, не самое лучшее место для размышлений о долге или идеологических дискуссий. Тем не менее врезается в память свидетельство карикатуриста Билла Молдина, автора патриотических комиксов: «Я ни разу не слышал, чтобы пехотинцы из действующей армии называли немцев нацистами».

Надо думать, что большинство американских солдат все-таки понимало, что они защищают «четыре свободы», о которых говорил Рузвельт в начале 1941 года,— свободу слова и вероисповедания, свободу от нужды и страха. Но то знание, видимо, не сделалось личным убеждением, не сделалось частью их самих. Не раз и не два повторяют участники разных кампаний — причем почти в тех же выражениях — то, что сказал ветеран Гуадалканала и что является характерной чертой самочувствия фронтовика: «Презрение корешей — оно было пострашнее смерти. Ты просто не имел права их подвести. Это чувство было сильнее преданности флагу и стране».

Фронтовое товарищество, боевая спайка, взаимовыручка, в конечном счете дух коллективизма — все это переделывало людей, воспитанных на правилах индивидуализма. Поэтому столь глубокий социальный символ приобретает высказывание чикагского певца Уина Стрейки, воевавшего артиллеристом в Северной Африке: впервые они «жили не по законам общества конкуренции». Таков еще один «американский» парадокс, который объективно заключала в себе война. Наживаться нужно в одиночку, сражаться в одиночку невозможно. А вот что думает женщина: «Хорошая война?.. Я как подумаю обо всех этих зверствах... об уничтожении евреев, об ужасных нечеловеческих страданиях в концлагерях... Я знаю, это надо было остановить. И мы остановили». Но «делалось это все неискренне, с какой-то задней мыслью».

«Да, мы сражались против фашизма. Молодежь сегодня даже не знает, что такое фашизм. Мы выиграли войну, но проиграли мир... Я не хотел бы снова пережить то, что мне довелось пережить во вторую мировую, но я рад, что внес свой скромный вклад. Если бы Гитлер победил, это была бы катастрофа»,— это говорит Питер Безич, санитар-пехотинец и плотник на гражданке. Высказывания такого рода сравнительно нечасты. О том, что́ несли человечеству строители «нового порядка», какая угроза нависла над народами порабощенных стран и их культурой, над всем миром, редко размышляют даже интеллектуалы. Создается впечатление, что многие американцы так и не осознали до конца

характера второй мировой войны и всемирно-исторического значения победы над фашизмом.

«Это была идеалистичная война. Люди во что-то верили». Бывший штабной писарь Роберт Лекэчмен, ныне профессор экономики в нью-йоркском городском университете, убежден: тогда было время, когда «в последний раз большинство американцев считали себя безгрешными хорошими людьми».

Мысль о второй мировой как последней «хорошей» американской войне как бы подхватывает и развивает человек, который знает предмет,— Джин Ларок: «Мы — единственная страна в мире, которая воюет с 1940 года. Подсчитайте войны — Корея, Вьетнам,— подсчитайте годы... Мы «институционализировали» милитаризм... Наши военные управляют и внешней политикой... США после войны 215 раз применяли военную силу для достижения своих международных целей».

Помните, что сказал ветеран Гуадалканала о двух войнах: одна — для солдат на передовой и другая — для тех военнослужащих, которые не участвовали в боевых действиях. Если рассудить дальше, то можно сказать, что была и третья — в самих Штатах. Вот тут-то и разыгрывается вовсю второй, иронический смысл названия теркеловского тома.

Война для Америки оказалась «хорошей» еще и потому, что помогала стране выйти из самой затяжной и глубокой депрессии за всю ее историю и предотвратить социальный взрыв. Как-никак шестнадцать миллионов безработных, кочующие массы бездомных и голодных — это была грозная сила, способная потрясти до основания здание общественного устройства заатлантической республики «гордых и свободных». Рузвельт, утверждает юрист Джозеф Роу-младший, на протяжении всего «нового курса» «латал экономику». Фермер из Айовы вспоминает, как сосед говорил: «Нам, мол, нужна настоящая, без дураков, война, она поможет решить все наши проблемы с сельским хозяйством. (А я ему отвечал: «Так-то оно так. Только мне неохота за это сыном расплачиваться». Как в воду глядел...)» Вспыхнула спасительная война в Европе, и все изменилось, как говорится, в одночасье. Оживилась промышленность, стала рассасываться безработица, исчезли очереди за хлебом. «Вместо тяжелых времен пришли времена добрые,— пишет Теркел в предисловии.— Казалось, тут поработала алхимия XX века. Война стала нашим Парацельсом», то есть исцелителем. В сентябре 1940 года была введена воинская повинность. То один, то другой собеседник писателя признается: наконец-то армия дала ему постоянную работу.

В марте 41-го Конгресс принял закон о ленд-лизе, Америка провозгласила себя «арсеналом демократии». Не оплотом, не борцом за демократию, а именно арсеналом — по-деловому.

Рассказывает Джорджия Глисон, бывшая официантка из иллинойсского городка, где было построено оборонное предприятие — ее интервью Теркел поместил в особом разделе «Шальные деньги»: «Вдруг начался бум. Деньги потекли ручьем. У нас было крошечное бедное захолустье — и вот навалило всего... Что больше всего огорчало во время войны — так это нормирование продуктов. Люди не могли купить чего хотелось». Нормы нормами, но, по свидетельству Д. Гэлбрейта, занимавшегося в ту пору вопросами контроля над ценами в Штатах, «потребление за годы войны возросло вдвое». Пегги Терри из Кентукки вспоминает, как одна женщина-работница сказала в автобусе: «Хорошо бы она не кончалась, эта война, пока я не выплачу за холодильник». И уж точно знает, что говорит, Ли Оримонт, бухгалтер по профессии: «В торговле сразу исчезла конкуренция. Чтобы делать деньги, не надо было ломать голову... Главной заботой стало — как увернуться от налогов».

Там, за тысячи и тысячи километров от дома, кто-то умирал, а в Америке кому не лень делали деньги. Больше всего, натурально, те, у кого их было много. Как сказочная история успеха звучит рассказ гражданина из Калифорнии, который когда-то начинал карьеру ухватистым фермерским пареньком в потрепанных джинсах с двумя долларами в кармане, а закончил миллионером-благотворителем. Во время войны он поставлял обезвоженные продукты, покупал и продавал землю, брал подряды на строительство заводских корпусов для крупных компаний. «Будь я пожаднее и пожелай рисковать, я прибрал бы к рукам всю индустрию Соединенных Штатов».

Интервью миллионера вплотную подводит читателя к явлению, которое тоже просится быть названным вторым фронтом, открывшимся задолго до Нормандии. Линия этого фронта пролегала внутри Соединенных Штатов.

Известно, что политика администрации Рузвельта в 30-е годы, направленная на частичное государственное регулирование американской экономики и проведение некоторых социальных реформ, наталкивалась на активное сопротивление крупного капитала, не желавшего ни на йоту поступаться своими привилегиями. Правые политики именовали «новый курс» не иначе как социализмом. Изоляционисты-шовинисты встречали в штыки любую правительственную акцию, хоть отдаленно напоминавшую попытку создания единого фронта против оси Берлин — Рим — Токио. Теркел включил в книгу излияния Хэмилтона Фиша, республиканского конгрессмена от штата Нью-Йорк — в 1920—1945 годах. «Я три года возглавлял борьбу против Рузвельта, который старался втянуть нас в войну». Более чем осторожную внешнюю политику президента он квалифицировал как «самый чудовищный заговор в истории США».

Даже после Пёрл-Харбора монополии противились скорейшей перестройке промышленного производства. «Мы старались сдержать выпуск легковых автомобилей: нам нужны были танки. Находились негодяи, которые всячески противились этому»,— свидетельствует бывший сотрудник Управления по делам ленд-лиза.

Монополии добивались максимума гарантированной прибыли, так что федеральным властям приходилось вести, по авторитетному мнению Гэлбрейта, «настоящую борьбу с упорствующими представителями торговых и деловых ассоциаций», которые наводняли Вашингтон в поисках выгодных военных заказов. Гэлбрейту вторит Джо Маркус, тоже занимавший ответственный пост в органах экономического управления: «Большую часть времени приходилось тратить на яростные споры с представителями промышленности... Некоторые из них не хотели подписывать крупнейшие военные контракты, не добившись своих условий... Они хотели гарантий, что получат свою прибыль до последнего цента».

Какой грандиозный исторический парадокс! Страна, выдающая себя за величайшую демократию в мире, в силу своей природы пасовала перед лицом угрозы со стороны самого тоталитарного режима в истории. Само общественно-экономическое устройство Америки препятствовало эффективной борьбе против бесчеловечной гитлеровской тирании.

Была еще одна война, еще одна линия борьбы — та, которую приходилось вести черным гражданам Америки. Если белому трудящемуся в 30-е годы было невероятно трудно найти работу, то черному и подавно. Дискриминация при найме на работу принимала такие масштабы, что в июне 1941 года Рузвельт под давлением Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения был вынужден издать правительственный декрет № 8802, запрещающий дискриминацию на предприятиях, выполняющих правительственные заказы,— «первый законодательный акт в области гражданских прав», как считает Эрл Б. Дикерсон, назначенный президентом в федеральный комитет по справедливому трудоустройству. Он-то и рассказывает, чего стоило добиться проведения этого акта в жизнь, даже если речь шла всего лишь о трамвайных вагоновожатых и кондукторах в столице. Дикерсон приводит поразительные факты. В чикагской «Легранджа», дочерней компании «Дженерал моторс», работал всего один негр. На военных заводах авиационного концерна «Локхид» в Калифорнии было занято 20 тысяч человек и — ни одного черного. Власти вынуждены были вмешаться, начать расследование; «Локхид» срочно нанял восемь негров — в уборщики и сторожа.

То же самое творилось и в армии: сегрегированные части, дискриминация даже в отношении офицерского состава, унижения, стычки между военнослужащими на расовой почве. Во Франции застрелили черного только за то, что он разговаривал с француженкой. Черные «хоть в армии, хоть где — все оставались гражданами второго сорта»,— говорит бывший военный полицейский.

Вначале негров использовали только во вспомогательных частях, свидетельствуют собеседники Теркела. Создается впечатление, что Америка боялась дать оружие в руки своим черным сыновьям. Сотни сегрегированных стройбатов по всей стране, делится воспоминаниями бывший сотрудник американского Красного Креста Пол Эдвардс, и всюду «работали по семь дней в неделю, как заключенные. Работали в холод, дождь и грязь... Ни увольнений, ничего».

Вчитываешься в рассказанное газетчиком Элом Даккетом или интендантом Тимьюэлом Блэком и видишь, какие двойные, тройные испытания выпали на долю черных военнослужащих, как стойко они прошли через эти испытания и вернулись домой другими людьми.

Демпси Трэвис, сейчас агент по продаже недвижимости, вообще считает, что «было две армии: одна черная, другая белая. Я видел, как пленные немцы свободно ходили по лагерю, а нам, черным солдатам, это было запрещено».

Армейская разведка внушала на фронте: «черный солдат — подлый, ненадежный солдат». Офицер 761-го отдельного танкового батальона Чарльз Гейтс вспоминает, как генерал Паттон утверждал, что «негры не способны быть танкистами», а потом... его батальон прошел с боями и минимальными потерями Францию, Бельгию, Голландию, западную Германию, Австрию. В ВВС тоже твердили: «Черномазый ни за что не сумеет повести самолет». В марте 1945 года 450 летчиков 332-го истребительного авиаполка, носящего символическое название «Одинокие орлы», удостоились благодарности в приказе Главнокомандующего. «С фашизмом воевали, а расизм свирепствовал»,— заключает черный пилот Лоуэлл Стюард.

В чем только не отказывали американским неграм — в праве на работу, в мужестве, в человеческом достоинстве. Но, может быть, самое трудное, когда тебе отказывают в патриотизме. Проникновенно и психологически точно поведал об этом Т. Блэк, вспомнивший возвращение на родину-мачеху: «Наш транспорт входил в Гудзон. Уже виднелся берег. Вдруг кто-то из белых ребят говорит: «Смотрите, вон она!» Это он о статуе Свободы. Крики, конечно, ликование. А я внизу и твержу себе: не пойду, будь оно все проклято! И тут я заплакал — от обиды и от радости одновременно. От радости, что возвращаюсь домой, и гордости за мою страну, такую нескладную. И от решимости сделать ее лучше. И от сознания, что я уцелел, и общего торжества. Я не мог сдержать чувств, несмотря на накопившуюся горечь».

Мертвые — не довод в полемике и не козырь ни в какой игре. 407 тысяч американцев, погибших на поле боя и умерших от ран,— это не просто 407 тысяч смертей. За ними бездонное горе и неисчислимые трагедии матерей, жен, осиротевших и неродившихся детей. Никто не считал, скольких убивает только одна пуля. И все же...

Нет, пятидесятикратная человеческая цена, которую заплатил советский народ за победу над фашизмом,— не укор и не указ американцам. Каждый живет и воюет как умеет. Не исключаю, что кто-нибудь из читателей книги в Штатах сочтет вымыслом беллетриста то, что сказал Теркелу Г. Бакланов: «Из ста человек моего поколения, ушедших на фронт, вернулись только трое». Им трудно в это поверить. Нам тоже трудно кое-что понять, напри-

мер, тот факт, что в Гражданскую войну в Америке было больше жертв, чем во вторую мировую. Правда, тогда, сто лет назад, бои шли на ее земле, а не за тридевять морей — на Тихом океане, в Азии, в Африке и Европе...

«Мы вышли из войны, обладая потрясающей технологией, людскими резервами, капиталами, а остальной мир лежал израненный, изувеченный, почти разрушенный,— заявляет П. Эдвардс.— Война была для Америки развлечением, простите мою язвительность. Я не имею в виду тех несчастных, которые потеряли сыновей и дочерей. Но для нас, остальных, война была чертовски хорошим временем... А остальной мир корчился от боли и истекал кровью. К сожалению, сейчас об этом забыли. Вторая мировая? Да на такую войну я бы пошел и сегодня».

Из устных частных историй участников и очевидцев складывается главная историческая правда: вторая мировая война, закончившаяся, как пишет Теркел, «эпохальной победой над фашизмом», для Америки была не то чтобы совсем уж «неизвестной» войной, но никак не национальным бедствием, не народным испытанием, не беспримерным историческим подвигом, который совершил общественный строй.

Отдавая приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, Трумэн и те, кто стоял за ним, рассчитывали поставить зловещую ядерную точку на второй мировой. Прошло совсем немного времени, и эта точка начала разрастаться в глазах мирового общественного мнения в огромный вопросительный знак, отчасти заслоняющий истинную, гуманистическую суть этой «хорошей» войны. Канзасский бухгалтер просчитался: уничтожение 130 тысяч мирных жителей нанесло неисчислимый ущерб политическому, правовому и моральному престижу страны, провозгласившей себя лидером «свободного мира». Печи Освенцима и пепел Хиросимы сделались едва ли не синонимами. «Мы сбросили их не на военные объекты. Мы сбросили их на женщин и детей. Это останется на совести нашей страны до скончания времен»,— так думает Виктор Толли из-под Франциско, морской пехотинец, почтовый служащий, пенсионер, видевший обугленных младенцев на разрушенных улицах Нагасаки и переставший верить своему правительству.

Впрочем, далеко не все американцы и не сразу поняли, что это значит — Бомба. Первая реакция была такая: «Слава богу, наконец-то все кончилось! Сто тысяч японцев, двести? Жалко, конечно. А все-таки кончилось, вот что главное. Молодец, Гарри, задал им перцу!..» Признание бывшего торгового моряка Фрэнка Кигана так или иначе повторяют все, кто заговаривает на эту тему. Сделала свое дело и официальная пропаганда, твердившая, будто бомбы спасли жизнь миллиону американцев, которые полегли бы при вторжении на Японские острова. Сказались также расовые предрассудки. Химик Джон Гроув, работавший в атомной лаборатории в Беркли, поделился сомнениями со своим руководителем: почему не сбросили бомбу на токийскую гавань или на мощную военно-морскую базу на островах Трук? Почему обязательно гражданское население? «Мой босс был евреем и прекрасно знал об истреблении евреев в Европе. «Ну и что? — ответил он.— Япошки же, тупые животные». Я был ошеломлен. Сразу потерял к нему всякое уважение».

Негры, по свидетельству Эла Даккета, и по сей день «не верят, что атомную бомбу сбросили бы на Хиросиму, будь это город белых».

Отрезвление наступило позднее, по мере осознания того, что американская военщина открыла ядерную эру, дала зеленый свет производству оружия массового уничтожения.

Филип Моррисон, физик-атомщик, 16 июля 1945 года передавал отсчет времени перед первым испытательным взрывом ядерного устройства в Аламогордо, штат Нью-Мексико, а в начале августа на атолле Тиниан участвовал в загрузке бомбардировщика, сбросившего смертоносный груз на Нагасаки. Тогда, говорит он, «мы считали, что находимся на передовой. Заслоняем мир от Гитлера... Наша работа могла покончить с войной, спасти множество жизней, заложить основы нового мира». Теперь он убежден: «Надо покончить с гонкой вооружений. Знаю, что звучит как лозунг, но это наша последняя, единственная надежда».

Недавно весь мир облетело сообщение, что Пол В. Тиббетс, бывший пилот «Энолы Гей», самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, заявил: «Если б это надо было повторить, я снова предпринял бы полет».

Поэтому снова и снова вчитываешься в сбивчивый, неуверенный шестистраничный рассказ участника налета на Нагасаки. В отличие от Тиббетса Билл Барни не сделался генералом и владельцем авиакомпании, а остался бедным фермером, как и его отец: «Поставили на это, и все... У нас и выбората не было... Цветочки по сравнению с тем, что сейчас... Весь мир полетит, если оно начнется... В армии делаешь, что велят и когда велят... Потом, когда сам себе хозяин, ты — другой человек, иначе смотришь на вещи... Полно разных добрых дядей, твердят, убийца ты, убил столько народу. А я знаю, что было бы, если сиднем сидел и думал об этом всю дорогу. Так и спятить можно».

Отцу Забелке по обязанности капеллана того самого авиасоединения 509, которое с Тиниана совершало массированные налеты на Японию, выпало благословить экипаж Тиббетса, отправлявшийся в полет 6 августа. Он не знал, что́ несет «Энола Гей» и какой ей дан приказ — прямо из Вашингтона. Сейчас Джорджу Забелке совестно, что он, христианин и священник, не содрогнулся от ужаса, когда пришла роковая весть. Затем последовала вторая бомба, чтобы «заставить их капитулировать до того, как придут русские». Потом он увидел, как умирают от лучевой болезни ни в чем не повинные дети...

«Вернувшись домой, я пытался рассказать об этом, но никто не хотел слушать». Скоро пришел черед Кореи, за ней Вьетнама. «Снова вспомнились Хиросима и Нагасаки. Потом — Мартин Лютер Кинг. Теперь я был

с черными, с бедняками, с активистами борьбы за мир».

Атомные бомбардировки, как признают многие собеседники Теркела, не были вызваны военной необходимостью. «Бомба не положила конец войне»,— убежден Д. Гэлбрейт. Япония и без того была готова капитулировать, что она и сделала, как только под молниеносным ударом советских войск начала терпеть сокрушительное поражение ее миллионная Квантунская армия в Маньчжурии. Хиросима и Нагасаки преследовали другую, политическую, цель: продемонстрировать миру и прежде всего России резко возросшую военную мощь США. От огненных смерчей, обрушенных на японские города, повеяло — за полгода до фултонской речи Черчилля! — холодным ветром, грозившим развалить союз свободолюбивых народов.

Продюсер Джон Хаусмен, работавший в службе военной информации, вспоминает — «отчетливо, точно это было вчера»,— как высокопоставленный флотский офицер говорил ему перед высадкой в Северной Африке: «Это только начало. Маленькая разведка боем. Знаете, где будет настоящая война? С Россией. Это было в 42-м. Русские были нашими союзниками, они несли миллионные потери. А у нас были люди, которые думали о новой войне, о войне против России».

Единичные факты такого рода, казалось бы, мало о чем говорят — разве что о давно укоренившемся в США антисоветизме. «Удивительно, как настойчиво нам прививали ненависть к русским и как сильно это повлияло на мою жизнь и жизнь моего поколения,— признается Д. Ларок.— Это было еще в ту пору, когда я даже понятия не имел, где она, эта Россия. С тринадцати лет помню книжку некоего Тома Свифта «Берегись русского медведя».

Зато два других свидетельства проливают дополнительный свет на мотивы, побудившие господствующие круги Соединенных Штатов сблизиться с Советами. Одно из них принадлежит профессиональному политику, бывшему советнику Рузвельта Томасу Г. Коркорану, «идеалисту, который верит в арифметику», как он себя называет. В верхних эшелонах вашингтонской власти хорошо понимали, что, «как бы храбро ни вели англичане войну, у них не хватит сил справиться с Гитлером». «Вот почему мы привлекли русских». Другое — бывшего сотрудника одного учреждения ООН П. Эдвардса: «Союз с русскими у нас был не по любви. За ним стоит продуманный расчет. Передать им американскую технологию для сокрушения Гитлера».

Именно двойственностью политических целей в первую очередь объясняются случаи нарушения Штатами союзнических обязательств по отношению к СССР. Это сказывалось, в частности, на поставках по ленд-лизу. «Пять процентов станков и оборудования предназначалось для отправки в Россию,— сообщает Д. Маркус.— Но это указание сплошь и рядом не выполнялось». Очевидцы отнюдь не склонны преувеличивать роль американской помощи нашей стране. Д. Милтон, плававший с конвоями в Мурманск, рассказывает: «В первые два года половина судов, направлявшихся в Россию, была потоплена. Русские получали не так уж много. Настоящая помощь пошла позднее, к концу войны, когда суда начали ходить через Персидский залив... Но это было уже после Сталинграда».

В самой ставке на тяжелую авиацию как главное стратегическое средство на центральноевропейском театре войны просматривается желание США переложить основную тяжесть войны на плечи восточного союзника.

«В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление союзников из Соединенного Королевства против Германии...» — заверяли Рузвельт и Черчилль Сталина в январе 1943 года. Массированные воздушные налеты на Германию развернулись весной и летом, но, по авторитетному мнению Джона Кеннета Гэлбрейта, «немецкая военная промышленность продолжала наращивать выпуск продукции вплоть до осени 1944 года». Жертвой бомбежек часто становилось гражданское население. На весь мир отозвалась бомбардировка английской и американской авиацией Дрездена в феврале 1945-го, в те дни, когда советские войска находились километрах в 150 от города. «Разрушение Дрездена было непростительно»,— считает тот же Гэлбрейт, равно, добавлю, как и гибель во время налета значительной части его жителей. То же самое, продолжает он, «творилось в Берлине, Франкфурте, Кёльне, Майнце. Или представьте себе Токио, разрушенный до основания. Страшные видения преследуют меня до сегодняшнего дня».

В американском народе знали о стойкости Красной Армии, о жестоких боях, которые ей приходилось вести, об ее победах, и это вызывало неизменные симпатии к русским. Весь мир ждал сообщений об исходе битвы под Москвой — и политики, и военные, и простые люди понимали, что настал один из решающих моментов войны,—ловил вести из осажденного Ленинграда, следил за грандиозным сражением в Сталинграде. «Мы знали, что русские несут тяжелые потери на Восточном фронте, что именно они переломили хребет германской армии. Если бы не они, у нас у самих было бы куда больше жертв и горя,— говорит бизнесмен из Чикаго.— Мы были хорошо расположены к ним. Помню, как я однажды сказал, что, если мы соединимся с ними, я их просто расцелую». Он чистосердечно признается, правда, что иногда к этому знанию примешивалось другое, эгоистическое, нехорошее чувство: «А все-таки здорово, что им досталось больше всего, а не нам!»

Нэнси Арно Харджан, из «благополучной, богатой, белой англо-саксонской протестантской семьи», дочери преуспевающего врача, консервативного республиканца, в 1945-м было семнадцать.

«Во время войны я ни разу не слышала, чтобы много говорили антисоветского. У моих родителей, может, были друзья, которые настороженно относились к нашим коммунистическим союзникам. Но вряд ли кто сомневался, что мы воюем не на той стороне... Когда освобождали из лагерей этих уцелевших несчастных евреев, у меня было такое чувство, будто это я осво-

бождаю их. Когда наши ребята встретились с русскими солдатами, и те и другие казались мне рыцарями в сияющих доспехах, которые спасают человечество...» В эти восторженные, может чуть наивные, но идущие из глубины души воспоминания юности врываются сегодняшние тревожные ноты: «Да, нацизм — зло. Но он еще жив. Посеянные им семена взошли у нас».

Человек иной среды и сам прошедший войну, П. Безич тоже смотрит на прошлое глазами сегодняшнего озабоченного американца: «Мы же были друзьями с Россией! Отец даже ходил на митинги, я имею в виду митинги американо-советской дружбы. Во время войны это было, а мы какникак славяне. А какую цену они заплатили, двадцать миллионов, верно я говорю? Такую массу народу потеряли, хочется им свечку поставить. Нет, американцы не знают, что такое война. А я знаю, все, кто воевал, знают. Русские знают, поляки знают. Евреи тоже. А вот американцы и понятия не имеют, что такое настоящая война. Нас она не коснулась. Будем надеяться, что и не коснется».

Добрые чувства к советскому народу приводили кое-кого в раздражение. Лейтенант Рэй Уэкс, занимавшийся подготовкой персонала артиллерийско-технического снабжения, получил нагоняй от старшего командира — он говорил своим курсантам перед строем, что русские остановят нацистов у Сталинграда. Это было вдвойне непростительно: «Мы могли преспокойно дождаться конца войны, обучая на юге личный состав». Нью-йоркский биржевой маклер смотрит в корень.

Чем внушительнее становились успехи Красной Армии, чем ближе она продвигалась к границам Германии, тем больше беспокоились определенные круги на Западе. Война шла к победоносному концу. Уже состоялась историческая встреча на Эльбе, о которой так проникновенно рассказал Джозеф Половски — рассказал, наверное, в последний раз: в ноябре 1983 года он умер. Этот чикагский таксист всю свою послевоенную жизнь целиком посвятил тому, чтобы не угас дух взаимного понимания, сотрудничества и дружбы, возникший между советскими и американскими людьми в борьбе против общего врага.

Тем временем за спиной Джозефа Половски и таких же, как он, честных, мужественных американцев разворачивалась другая, тайная война.

Весной 45-го Европу наводнили агенты вашингтонских спецслужб, свидетельствует бывший контрразведчик. «У этих парней были с собой тысячи и тысячи долларов. Они должны были убедить коллаборационистов оставаться на местах. Их будут поддерживать и финансировать долларами. Их задача — создать оплот против коммунистов и социалистов».

О контактах американской контрразведки с эсэсовцами, гестаповцами, сотрудниками секретных служб поведал Эрхард Дабрингхаус. Ему самому в течение восьми месяцев довелось держать связь с небезызвестным Клаусом Барбье. Узнав истинное лицо «палача Лиона», он доложил руководству: «Мы работаем с настоящим военным преступником, вам это известно?» Пришел ответ: «Да, нам все известно, но он пока нам нужен». «Не возьму в толк, как это мы помогли ему улизнуть?» — недоумевает собеседник Теркела.

Другим «клиентом» Дабрингхауса был некий профессор антропологии Царпф, сотрудник «Восточного института» (Das Ostinstitut), «чья задача после вторжения в Россию состояла в том, чтобы уничтожить все 189 миллионов русских — или сколько там их было». Однажды Дабрингхаусу приказали выявить «коммунистическое подстрекательство» во время забастовки на аугсбургском заводе. Позднее, летом 1948 года, внимание тайных служб переключилось на другое. «Теперь мы должны были разузнавать, что происходит по ту сторону линии, разделяющей Запад и Восток. Наш интерес сосредоточился на коммунизме».

Арно Майер служил в особом подразделении, которое работало с пленными гитлеровскими генералами и видными учеными; последних переправляли в Штаты, обещая через полгода американское гражданство. «В мои обязанности входило собирание сведений об одной-единственной вещи — как организованы действующие части Красной Армии... Уже в то время мысли американского правительства были устремлены к очередному этапу конфронтации. Это было как раз перед нашей высадкой в Европу... Когда заходит речь о «холодной войне» и принимаются рассуждать о сорок седьмом годе и Трумэне, я говорю: «Я был у начала сотворения...»

Майер — историк по профессии, сейчас преподает в Принстонском университете политические науки, так что не лишено резона его замечание, что есть две «холодные войны». «Первая «холодная война» началась после первой мировой войны — это интервенция союзных держав в Россию и изоляция ее. Они обе одного происхождения».

Ничего этого, разумеется, не знали ни в народе, ни в армии США. Но все видели, как оттесняются от руководства соратники Рузвельта и приходят новые люди, которые твердили о «несговорчивости» русских и требовали проведения жесткой линии. «Не прошло и года после окончания войны, как все перевернулось... Развалилась рузвельтовская коалиция» (Вирджиния Дарр, активистка из Алабамы). Резко переменился тон официальной пропаганды. Американских солдат настраивали против советских: «ребята «ура» кричали, когда русские наступали, понимали, что те спасают нашу шкуру, потому что кладут немцев штабелями... А теперь вдруг надо было говорить, чтобы перестраивались и шли на парней, с которыми союзниками были? В «Старз энд страйпс» сегодня читаем, как русские гонят нацистов, а завтра, выходит, стрелять в них надо? Некоторые наши руководители того и добивались» (Э. Дабрингхаус).

В нарушение всех договоренностей о денацификации американская военная администрация в Европе взяла курс на сотрудничество с бывшим врагом — «идея состояла в том, чтобы возродить Германию в противовес русским» (П. Эдвардс). В Нюрнберге судили и оправдывали «не главных» нацистских военных преступников: только двум гитлеровским генералам были вынесены

смертные приговоры, как сообщает Телфорд Тейлор, бывший главным обвинителем на американских процессах.

Дома, в Штатах, поднялась демагогическая свистопляска вокруг «утечки» некой сверхсекретной военной информации. Развернулась «охота на ведьм» — «искали красных под каждым кустом». Маккартистская метла гребла в антиамериканскую кучу последовательных антифашистов. Некоторые собеседники Теркела помнят, как сами оказались жертвами истерии. «Следовало принимать как факт, что Советский Союз — наш враг» (Д. Маркус).

В марте 1947 года Трумэн говорил, обращаясь к конгрессу: «...свободные народы ожидают, что мы поможем им сохранить их свободы. Если мы будем колебаться в осуществлении нашего руководства, то можем поставить под угрозу мир на земле и наверняка поставим под угрозу благоденствие нашей нации».

В торжественно-обтекаемых и зловещетемных выражениях США недвусмысленно присваивали себе право на мировое господство. Развязанная американским империализмом «холодная война» стала долговременной политикой Белого дома.

Прошли десятилетия...

В предисловии Теркел упоминает о молодой женщине, которую он встретил в Вашингтоне. Та сказала: «Я никак не связываю свою жизнь со второй мировой войной. Она попросту осталась в школьных учебниках, и все... Такая далекая, абстрактная». Писатель комментирует: «...забвение второй мировой войны глубоко тревожит так же, как забвение Великой депрессии. Война — событие, изменившее душу и лицо Соединенных Штатов и всего мира».

А вот другая встреча.

«Россия — наш враг и всегда будет нашим врагом, потому что они завидуют нашей мощи»,— говорит пожилой почтенный джентльмен, который в свое время был назначен первым председателем комиссии Конгресса по расследованию коммунизма в США, потом она носила достопамятное название Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Это было в 1930 году. Да-да, в 30-м! То есть в ту пору, когда Америка еще не признала Советский Союз, делала вид, будто никакого коммунизма не существует в природе. За Атлантикой же коммунизм, как видим, был обнаружен уже тогда. «Русские без колебания могут нажать кнопку, чтобы уничтожить сто миллионов американцев».

— А вы не думаете, что кто-нибудь у нас тоже захочет нажать кнопку? — осторожно спрашивает Теркел.

— Ни за что! Мы богобоязненная страна. У нас нет врагов. Нам не нужны чужие земли...— и так далее и тому подобное, вполне в духе велеречивой «мирной» риторики середины 80-х.

Нет, видимо, не ради исторического интереса взялся собирать свою мозаику Стадс Теркел. Не ради изучения человеческих типов разыскивал людей, которых хотел послушать,— первого, десятого, сотого,— старался вызвать их на откровенность, слушал не перебивая, что бы те ни говорили, иногда задавая вопросы, чтобы проникнуть собеседнику в душу, потому что только добравшись до души, можно понять, чем живет человек — и почему он так живет.

Теркел не сообщает, был ли у него заготовленный вопросник или вопросы рождались по ходу беседы, в зависимости от ситуации и от личности того, с кем он встречался. Судя по всему, какой-то план он в голове держал, так как некоторые темы повторяются многократно. Это — «хорошая» война, Хиросима, «холодная война», русские, Вьетнам, Бомба, гонка вооружений... Возможно, он пропустил кое-какие важные звенья: кажется, ни разу никто не заговорил о Хельсинки, о разрядке. Но все равно его «изустная история» не замыкается 1941—1945 годами, она, то и дело оборачиваясь назад, движется дальше, вперед и подходит вплотную к нашим дням, когда делается решающий выбор. Прошлое смыкается с настоящим, помогая ему посмотреть в будущее, которого может и не быть.

«Среди участников второй мировой войны наша страна — единственная, которая не испытала ни вражеского вторжения, ни бомбежек. Наши города — единственные, которые не превращались в руины. Да, наши парни были на передовой, но все остальные находились в безопасности, отгороженные от войны двумя океанами. Что до наших союзников или врагов, то они все были на передовой — и военные, и гражданское население: англичане, французы, русские (потерявшие двадцать, может быть, тридцать миллионов человек, как утверждает Гаррисон Солсбери), а также немцы, итальянцы, японцы. Не говоря уже о славянах из малых стран. И, разумеется, европейских евреях. И цыганах. И всяких прочих «Untermenschen».

«Должно ли общество испытывать ужасы, чтобы понять, что такое ужас?»

Это — ключевой вопрос книги. Даже не вопрос, а выражение глубочайшего беспокойства писателя и патриота своей родины. Его позиция. Его призыв: к соотечественникам — задуматься и к руководителям США — одуматься. И предупреждение им — не допустить ужасов, которые принесет третья мировая война.

«Наши военные и политические лидеры пребывают в каком-то трансе,— заявляет Джон Гроув, ядерный химик. — Они полагают, что, если мы намного обгоним Советский Союз, русские притихнут. Неверно это. Если человеку угрожают, он защищается. Чем больше они угрожают нам, тем мощнее вооружаемся мы. Это может привести к обоюдному самоубийству. Мы просто сотрем себя с лица земли».

Теркел не берется подсказывать, где выход из создавшегося положения,— для этого потребовалась бы другая книга, много книг. Однако наиболее здравомыслящие его собеседники высказываются на этот счет определенно. Послушаем крупного политика и дипломата с шестидесятилетним стажем, посла в СССР в 1943—1946 гг., человека, прожившего большую жизнь и много повидавшего на своем веку,— У. Аверелла Гарримана:

«С 1945 года моя позиция не изменилась ни на йоту. Мы признали, что их цели и

наши цели — различны. И нам приходилось примирять наши различия. Мы должны понять русских. Мы не можем не считаться с тем, какие они есть на самом деле. Я считаю, что сегодня русское правительство хочет достичь соглашения по самому важному предмету — контролю над вооружениями.

Оружие, которое досталось в наследие от второй мировой войны, ядерное оружие — вот что изменило мир. Мы больше не можем размахивать кулаками, как делали прежде».

В каждой книге, настоящей книге, ищешь сокровенную сердцевину.

Двадцать лет назад в Чикаго, городе, где он живет, Теркел подслушал разговор на улице мальчишек и девчонок. Вот их отдельные реплики:

«Все равно помрем, чего возникать»;

«Я раньше боялась, думала, вот бросят бомбу, и я умру маленькой... А теперь не боюсь... Будь что будет»;

«Воевать теперь ни к чему. Нажмут кнопку — и нет тебя... Но вот кто ее нажмет?»;

«Может, я чокнутый, но мне бы хотелось, чтобы бомб не было. Ну, чтобы войн не было»;

«Если будет мир, взрослые помрут со скуки»;

«А по мне, все просто спятили, стараются обскакать друг друга»;

«Не надо было изобретать эту штуку».

Теркел спросил самую маленькую, девятилетнюю девочку, кем она хочет быть, когда вырастет.

— Надо еще посмотреть, вырасту ли я... Мне никто не обещал, что я буду жить.

Зашумели, то ли дурачась и подзуживая друг друга, то ли споря всерьез:

— Нет, обещали...

— Нет, не обещали...

Обещали, дорогие Джимми, Линда, Джонни, Этель и все остальные, конечно же, обещали! Вот вы и выросли, стали взрослыми. Теперь от вас тоже зависит, сможете ли вы обещать своим детям, что они будут жить.

◆

Наши гости

Наши гости — председатель Союза писателей ФРГ Ганс Петер Блойель и член правления Йохен Кельтер.

Ганс Петер Блойель (р. 1936) — автор вышедших недавно биографий Энгельса (1984) и Лассаля (1982). Печататься он начал в конце 60-х годов, выступив с двумя книгами о проблемах образования в период Веймарской республики. Темой его следующей остропублицистической работы «Чистый рейх» (1972) стала повседневность «обыкновенного фашизма». Своими книгами «Дети в Германии» (1971) и «Старики в Германии» (1972) Ганс Петер Блойель привлек внимание широкого читателя к серьезным проблемам этих демографических полюсов.

Большой интерес вызвала публицистическая книга Ганса Петера Блойеля «Столпы общества» (1976) — исследование, в котором на конкретном социологическом материале показано неравенство социальных возможностей, из-за которого на ведущие роли в политике, экономике, науке выдвигаются представители привилегированных слоев современного западногерманского общества.

Йохен Кельтер (р. 1946) известен как автор четырех поэтических сборников и книги очерков.

В беседе гости рассказали о работе Союза писателей ФРГ, о намерении поддержать предложения СП СССР по развитию контактов между писателями обеих стран, о своих последних работах.

У Йохена Кельтера — это нью-йоркские очерки, а недавняя публицистическая книга Ганса Петера Блойеля посвящена тем огромным переменам во всех сферах жизни, которые происходят в результате интенсивного применения новейших достижений электроники. Технический прогресс несет, однако, не только положительные сдвиги, но и ставит сложные проблемы; решение же их впрямую зависит от социального, политического уклада общества — такова главная мысль книги.

Ганс Петер Блойель и Йохен Кельтер рассказали также о последних и ожидаемых литературных новинках текущего года, заслуживающих, по их мнению, внимания журнала. Это новые романы Генриха Бёля «Женщины на фоне речного пейзажа», Зигфрида Ленца «Плац», Гюнтера Грасса «Советница», Мартина Вальзера «Прибой». Фридрих Дюрренматт выступил с интересным детективным романом «Правосудие». Как всегда сенсационна новая книга репортажей Гюнтера Вальрафа.

Б. ХЛЕБНИКОВ

АТТИЛА ЗОМБОРИ

ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ КАРТИН

История расследования

Фрагменты книги

В ноябре 1983 года — ровно два года тому назад — телеграфные агентства разнесли по миру сенсационную новость — ограблен будапештский Музей изобразительных искусств, похищены семь шедевров величайших итальянских художников — Рафаэля, Джорджоне, Тинторетто, Тьеполо. Тут же начались — и, к счастью, довольно быстро благополучно закончились — поиски украденных картин.

То и дело печать сообщает о хищениях культурных ценностей, составляющих национальные богатства различных народов. В прошлом расхищением культурного достояния — главным образом зависимых стран — открыто занимались колониальные державы, вывозившие в свои музеи и частные собрания сокровища, принадлежавшие другим народам. Теперь же, с распадом колониальных империй, размах «легальной» утечки художественных ценностей резко уменьшился. И тем не менее сведения о грабежах музеев, хранилищ, ценных собраний продолжают поступать,— в частности, из таких «вотчин» художественных сокровищ, как Италия, Греция. Минуя таможенные законы, храня награбленное в тайниках, а то и провозя в дипломатических саквояжах, дельцы от искусства замахиваются даже на национальные достояния социалистических стран.

Как правило, похищенные произведения оседают на виллах и в подвалах богатых «любителей искусства», особенно заокеанских, с одной стороны, обуреваемых тщеславным желанием приобрести нечто «известное», с другой — вложить капитал в непреходящие ценности. А чтобы заполучить эти ценности, прибегают к услугам уголовного мира. Таков «свободный мир»: деньги, нажитые за счет эксплуатации, спекуляций, охотно пускаются в оборот на неправедные дела. Подручными оказываются и итальянская мафия, и международные синдикаты преступников.

Прискорбно и другое: даже в социалистических странах, как показывает будапештская история, находятся отщепенцы, готовые ради наживы, ради призрачного благополучия, обещанного им на Западе, поднять руку на национальное достояние своего народа. Схема примерно одинакова: западные «туристы», посулы молочных рек в кисельных берегах, молодые люди, клюнувшие на зарубежные цацки, и в итоге — преступление, а за ним — неизбежная расплата. Не случайно внимание расхитителей на сей раз привлекла Венгрия, здесь, в центре Европы, ежегодно курсируют миллионы зарубежных туристов.

Буржуазная пропаганда стенает по поводу усиления пограничного режима, таможенных мер, принимаемых социалистическими странами, в ход пускаются лицемерные рассуждения по поводу препятствий «свободному обмену идеями и культурой». Но разве такой вот «культурный обмен», какой продемонстрировали события, связанные с ограблением в будапештском музее, имели в виду соглашения в Хельсинки?

Мы публикуем с сокращениями книгу, выпущенную недавно в Венгрии, с рассказом об этой истории. Она свидетельствует: высокий уровень гражданской ответственности, организованность, бдительность необходимы для защиты стран социалистического содружества от посягательств на культурные богатства со стороны различного рода коммивояжеров и авантюристов из так называемого «свободного мира».

На обложке книги: Рафаэль. Портрет юноши.

Вслед за сотрудниками главного управления милиции к Музею изобразительных искусств прибыли криминалисты, специализирующиеся на раскрытии преступлений, связанных с кражами произведений искусства. Розыск начался по горячим следам: в первую же ночь попытались найти свидетелей, оценить уже имеющуюся информацию, в общих чертах был составлен план расследования, в котором фигурировало несколько версий. Так были выдвинуты следующие предположения: ограбление, инспирированное из-за границы, совершили венгерские преступники или же венгерские граждане вместе с иностранными «компаньонами». Данные оперативной группы подтверждали, что преступники могли быть венграми: выяснилось, что они хорошо ориентировались в залах музея, действовали целенаправленно, не оставляя лишних следов; короче, работали профессионалы. Искусствоведы установили, что выбор картин произведен со знанием дела — либо знатоками искусства, либо грабителями, за которыми стоит лицо, пожелавшее приобрести эти картины для своей коллекции.

В два часа пополудни 6 ноября на совещание собрался оперативный штаб, возглавивший расследование преступления.

Для проверки гипотез и сообщений от населения, поступавших после телевизионной передачи от 6 ноября о совершенном преступлении, в рамках отделов уголовного розыска и защиты общественной собственности главного управления милиции Будапешта были созданы розыскные группы. Сотрудники группы уголовного розыска занимались проверкой той части приведенных версий, которая касалась венгерских участников преступления; группа отдела защиты общественной собственности разрабатывала версию об иностранном участии.

Специалисты-аналитики обрабатывали поступавшие данные. Если та или иная информация казалась заслуживающей внимания, розыскная группа тотчас приступала к ее проверке.

Несколько слов о сообщениях от населения. С самого начала многие люди проявили желание помочь милиции. Одни советовали, как лучше вести следствие, другие привлекали внимание розыска к различным подозрительным обстоятельствам. Конечно, были и вводящие в заблуждение телефонные звонки «доброжелателей». Но в общем и целом, как обычно, население проявило готовность помочь следствию. В значительной степени эта помощь способствовала выявлению участников преступления. Однако вернемся к следствию.

В те утренние часы казалось, что усилия органов милиции вот-вот увенчаются успехом и участникам ограбления недолго осталось разгуливать на свободе. Один из следователей вспомнил, как несколько месяцев тому назад в подотдел защиты общественной собственности пришло послание, автором которого был офицер-воспитатель одной из тюрем. Письмо извещало о том, что К., недавно освободившийся из Ш-ской тюрьмы, за день до своего выхода в последнем разговоре с воспитателем рассказал ему, что случайно оказался свидетелем беседы двух заключенных, которые по поручению некоего поляка намеревались ограбить Музей изобразительных искусств. К. сообщил также, что в план был посвящен еще и третий человек.

Полученное письмо извлекли из архива главного управления милиции.

Уже 7 ноября в следственном отделе допросили 33-летнего Ференца Б.— одного из участников упомянутого разговора в тюрьме. Перед следователем он предстал в арестантской одежде — отбывал наказание за новое преступление и тем самым никак не мог оказаться ночью с 5 и 6 ноября в Музее изобразительных искусств. Но другой участник сговора, как и третий, которого они посвятили в свои планы, находился на свободе.

Ференц Б. охотно отвечал на вопросы. Рассказал, что в 1969—1970 годах отбывал наказание в П-ской тюрьме вместе с поляком Адамом Козловским и венгром Берталаном Н. Последнего Ференц знал раньше — наказание они отбывали за совместно совершенное преступление. Оба были членами известной столичной шайки. Но вечерам троица вынашивала планы «ограбления века». Поляка главным образом интересовал антиквариат, и потому разговор чаще всего вертелся вокруг «приобретения» произведений искусства. Однажды Козловский

© Zombori Attila, 1984.

завел речь о Музее изобразительных искусств.

Из показаний Ференца Б.:

«Однажды вечером Адам предложил украсть из музея те картины, которые его интересуют, пообещав за это 600 тысяч долларов. Картины, сказал он, нужны не ему, а одному американскому миллионеру. Мы условились, что после освобождения возобновим связь и тогда обсудим остальное.

Адама выпустили первым — в 1970 году, за ним меня и, наконец, Берталана П., которого между собой мы называли Пьером. После освобождения, как и было договорено, мы по телефону разыскали в Варшаве Адама Козловского. Он заверил нас, что его предложение остается в силе. Через две недели на адрес Берталана П. прибыл музейный каталог с репродукциями картин Музея изобразительных искусств. Адам собственноручно отметил те картины, которые интересовали заказчика, в частности «Портрет юноши» и «Мадонну Эстерхази» Рафаэля, «Портрет мужчины» кисти Эль Греко, а также картины Тициана и Ботичелли.

Мы с Пьером сразу приступили к подготовке. На протяжении семи-восьми вечеров осматривали музей. Сначала решили, что заберемся в отдел старинной живописи со стороны зоопарка. Но вскоре отвергли этот вариант, поскольку на окнах находились специальные устройства. Потом решили, что можно было бы зайти в музей днем, когда в здании нет туристов и в отделе старинной живописи мало людей, и заменить картины репродукциями. Мы установили, как располагаются смотрители в залах и сколько залов им нужно постоянно держать в поле зрения. Позднее и этот план показался нам довольно уязвимым.

Другой вариант — попробовать спрятаться в здании, после закрытия снять картины, заменить их репродукциями, а утром, после открытия, выйти из здания. При этом мы выяснили, сколько человек охраняет музей: под благовидным предлогом мы посетили одного из служащих музея и завели речь о системе охраны.

Однако все наши усилия пошли насмарку. Адам не объявлялся ни в письме, ни самолично, не пробовал разыскать нас, не посылал доверенных лиц. Напрасно мы пытались дозвониться ему — на наши звонки никто не отвечал, или трубку брал кто-то посторонний, так что мы не понимали друг друга. Поэтому мы с Берталаном П. решили эмигрировать через Югославию в Италию, попробовать там связаться с Адамом, а потом вернуться в Венгрию и осуществить задуманное. Но и этот план провалился: на венгерско-югославской границе нас обоих задержали».

Как выяснилось из показаний Ференца Б., за прошедшие с 1972 года 10 лет он не мог отделаться от мысли о 600 тысячах долларов, предложенных Козловским. Даже в 1982 году, когда он снова угодил в тюрьму за ограбление, он в тюремной камере поведал двум своим «соседям», Золтану В. и Яношу Д., о предложении Адама Козловского. Те, отсиживая срок, строили планы на будущее: взять напрокат машины, потом продать их и с деньгами бежать за границу. Тут-то и вмешался Ференц Б.: надо выкрасть произведения искусства и с ними бежать. Позже, признался Ференц Б., к этой теме они не возвращались, тем более что его перевели в другое исправительное учреждение, где он и отбывает срок по сей день.

Начали проверять Берталана П., Золтана В. и Яноша Д. Выяснилось, что и они не могут быть подозреваемы в совершенном преступлении. В ночь, когда совершилось ограбление, один был в большой компании, другой с женой и ее родителями отдыхал в провинции, в нескольких часах езды от Будапешта.

Многообещающей казалась поначалу и другая версия. К руководителю одного из будапештских предприятий явился рабочий и заявил, что располагает важной информацией по делу об ограблении, но не осмеливался никому говорить об этом, опасаясь мести. В середине октября он встретил одного своего земляка из Сегеда. Этот человек, имя которого рабочий не назвал даже руководителю предприятия, предложил ему за одно «хорошенькое дельце» 5 миллионов форинтов.

Испугавшись такого предложения, заявитель стал прятаться. Его психическое состояние значительно ухудшилось, особенно его мучает страх с тех пор, как из музея исчезли картины. Он подозревает, что ограбление совершил как раз его земляк.

Во время допроса рабочий отрицал все сказанное руководителю предприятия. На другой день он вроде бы вспомнил о встрече с земляком, вот только имя его никак не всплывало... Еще через день капризная память сдалась: Йожеф Балог.

При этом имени следователи удивленно переглянулись. Балог фигурировал в списке тех лиц, которые раньше совершали подобные преступления. В 1973 году Балог ограбил квартиру в Сегеде, из которой вынес драгоценности, художественные произведения, а затем нелегально покинул страну. Живет в Швейцарии и в картотеке Интерпола числится как известный похититель художественных ценностей. Подозрение в причастности Балога к ограблению музея усиливало и еще одно случайное совпадение. В середине ноября в милицию пришла женщина. Она заявила, что в последний день октября вечером, примерно в половине девятого, когда она ожидала троллейбус на остановке против музея со стороны зоопарка, она обратила внимание на молодого человека, наблюдавшего за зданием. Это было как раз в то время, когда охрана производила проверку в некоторых помещениях при включенном свете. Среди предъявленных для опознания фотографий женщина решительно указала на снимок Йожефа Балога. Розыск Балога не увенчался успехом. Напрасно следователи ездили в Сегед, безрезультатно обходили места, где он когда-либо появлялся. Преступника уже больше года не видели в городе, не бы-

ло и данных, что он перешел государственную границу под чужим именем. Наконец, спустя несколько недель, пришло сообщение Интерпола о том, что Йожеф Балог находится за границей и в последнее время не покидал места жительства.

Тем временем в милицию поступали многочисленные заявления. Ни одно из них не осталось непроверенным. Дерзкое преступление, нанесшее урон национальному достоянию, буквально всколыхнуло общественное мнение страны, заставило действовать.

Вот заявление, сделанное одним пожилым человеком, проживающим в центре столицы. В середине ноября во время своей полуденной прогулки он стал свидетелем необычных событий. На одной из оживленных центральных магистралей столицы неожиданно затормозил «мерседес». В этот момент из ворот соседнего дома выбежал мужчина. Не мешкая, он открыл багажник машины, погрузил туда несколько картин, затем сел рядом с шофером — и машина исчезла в автомобильном потоке. Но свидетелю удалось зафиксировать номер.

Столичная милиция несколько дней искала белый «мерседес». Наконец машину нашли. Сегодня эта история кажется смешной, тогда же всем было не до смеха.

А дело оказалось вот в чем: один венгерский художник попросил своего заграничного приятеля подвезти картины до выставочного зала. Друг согласился. Как известно, в центре города очень трудно найти место для стоянки даже «трабанту» не говоря уж о «мерседесе». Поэтому пришлось поступить так: художник выносил свои картины, и пока автомобиль тормозил на несколько секунд, он успевал загрузить их в багажник. Это не слишком задерживало поток машин, но все равно пришлось повторять операцию несколько раз.

Кое-кто пытался извлечь из ограбления пользу для себя. Так, на несколько дней задал работенку многим следователям один неизвестный.

В конце ноября к тогдашнему директору музея пришло угрожающего тона письмо, составленное из газетных букв. Неизвестный вымогатель предлагал возвратить ценные картины за 6 миллионов форинтов. Если же это требование не будет удовлетворено, то картины будут уничтожены. Деньги надлежало выдать в черном мешке, банкноты должны быть бывшими в употреблении. Было оговорено и место передачи выкупа.

В назначенное время и в означенном месте была оставлена сумка с деньгами. Конечно, неподалеку находились работники уголовного розыска. Время подходило к 8 вечера, когда на безлюдной улице в районе Буды появился высокий молодой человек. Уверенным шагом он направился к указанному гаражу и взял кожаную сумку... Естественно, он был задержан. Автором письма оказался 17-летний учащийся техникума. По его делу суд вынес приговор.

Наряду с проверкой венгерских граждан — возможных участников ограбления — велся поиск иностранцев, которые во время преступления находились в Венгрии и могли оказаться замешанными в ограблении музея.

Для отработки этих версий было создано несколько групп. Например, привлек к себе внимание один западногерманский гражданин, против которого ранее возбуждалось уголовное дело и в связи с этим он был выдворен из Венгрии. Этот гражданин ФРГ несколько лет назад путем обмана таможенных органов пытался нелегально вывезти из страны ценную антикварную мебель. Его метод состоял в следующем: приобретенную в Венгрии у частных лиц мебель он разбирал и просил разрешения на вывоз каждой отдельной детали; разрешение он получал. Один раз ему удалось переправить мебель, во второй он попался. И этот самый мужчина — в ФРГ он торгует художественными ценностями — утром 6 ноября, то есть на другой день после ограбления, пытался въехать в страну через пограничный пункт Хедьешхалом.

10 ноября на территории теплоэлектростанции в г. Сазхаломбаттаи одним из рабочих был обнаружен мешок. Поскольку он знал о краже в будапештском музее, то, вскрыв его, решил, что содержимое мешка подозрительно, и известил об этом местное отделение милиции. Прибывшие на место эксперты установили что найденные в мешке стеклорез, планки, четырехугольная стальная пластинка, по всей вероятности, имеют отношение к совершенному преступлению. Прибыли специалисты и из Будапешта. Они подтвердили догадку местных криминалистов, установив, что куски дерева являются остатками рамы, а размер пластинки и форма дают основание пола-

Рафаэль. Мадонна Эстерхази.

гать, что она служила задником для «Мадонны Эстерхази», стеклорез же, вероятно, одно из орудий преступления.

Находка была подвергнута экспертизе. Выяснилось, что мешок изготовлен в Италии, раньше в нем держали корм для скота.

Это обстоятельство направило следствие по двум линиям. Начали проверять тех, кто держал скотину; с другой стороны, поскольку на станции и в ближайшем рыбном хозяйстве работает много иностранных специалистов, стали искать среди иностранцев лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Тогда же разработали версию «пароходная линия». Оказалось, что дунайские моряки содержат на баржах животных. К расследованию подключилось дунайское пароходство. Были проверены все пароходы, все баржи — от малых до больших.

12 ноября следователи отдела защиты общественной собственности главного управления милиции в результате совместной работы с другими подразделениями исключили возможность того, что кто-либо из иностранных специалистов, работающих на станции, или местных рабочих причастен к «ограблению века». Однако проверка персонала курсирующих по Дунаю судов продолжалась.

От внимания следствия не укрылся и тот факт, что мешки, подобные найденному, могут использовать перевозящие скотину камионы (крытые грузовики). Началась их проверка.

«Линия камионов» была интересна по двум причинам. С одной стороны, из-за мешка; с другой стороны, руководители следствия не без оснований предположили возможность нелегального вывоза картин из страны именно в камионе — естественно, спрятанными среди других товаров. Какое-то время существовала версия о венгерско-арабском «сотрудничестве». После обнародования обстоятельств преступления в милицию явился бывший осужденный и сказал, что освободился не так давно, а в тюрьме сидел вместе с молодым арабом, который предложил ему вместе украсть картины. Тогда же араб сказал, что вывезти картины можно будет с помощью большегрузных автомашин.

Таким образом, работники уголовного розыска отрабатывали параллельно несколько версий, и рано или поздно одна из них должна была дать положительные результаты.

Итальянская версия

Довольно много данных с самого начала следствия указывало на сотрудничество венгерских и итальянских преступников. На месте преступления была найдена сделанная в Италии отвертка и обрезки веревки из красно-бело-зеленых ниток. Эти три цвета совпадают не только с национальными венгерскими цветами, но — расположенные в обратном порядке — и с итальянскими. 11 ноября при главном управлении милиции была создана группа расследования, в задачу которой входила разработка версии итало-венгерского «содружества». Эта группа и получила вскоре заявление отца некоей Каталин Йонаш о бесследном исчезновении его дочери. Обеспокоенный родитель рассказал, что вечером 9 ноября его дочь не вернулась домой — прежде такого не случалось — и с тех пор пребывает неизвестно где. Отец пропавшей сообщил и о том, что девушка уже несколько лет занимается итальянским и среди ее друзей и знакомых много итальянцев.

Выяснилось также, что у Каталин еще нет паспорта, который был бы действителен для поездки в западные страны, но зато есть паспорт для выезда в социалистические страны. И этот паспорт пропал. В то время как одна часть следственной группы «итальянской версии» разыскивала Каталин Йонаш, а другая работала над проверкой иных данных, руководство следствием определило новые задачи.

Нужно было выяснить имена и прочие данные тех итальянских граждан, которые 6 ноября с 0 часов до 12 часов дня выехали из страны через югославскую или же австрийскую границу. Естественно, такая процедура была проделана и в аэропорту Ферихедь.

15 ноября работники уголовного розыска установили, что в указанный отрезок времени в сторону Югославии через пограничный пункт Летене проследовал «фиат» с тремя итальянцами — Джакомо Морини, Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе,— а поездом через Хедьешхалом выехали из Венгрии еще два итальянских гражданина — Карло Паганелли и Ренато Марангони.

Следователи установили и то, что все пятеро 5 ноября находились в Венгрии

Тогда же были собраны сведения о тех итальянских гражданах, которые пребывали в нашей стране с 1 по 10 ноября. На столах скопились данные на тысячи имен и лиц.

К 25 ноября на подозрении осталось лишь пятьдесят. Но и среди этих пятидесяти на первом месте были те пятеро, которые покинули пределы Венгрии в первой половине дня 6 ноября.

Параллельно велись поиски Каталин Йонаш и подробно проверялись данные о пятидесяти лицах. Следователи пытались получить информацию от хозяев квартир, где они проживали, от их знакомых, если таковые были, и т. д. Интересовало милицию главным образом, что делали эти пятьдесят человек во время пребывания в Будапеште, с кем поддерживали отношения, где были в то время, когда совершилось преступление.

Естественно, первым делом следователи уголовного розыска попытались напасть на след тех пяти человек, которые сразу же после преступления покинули страну. Выяснилось, что Карло Паганелли и Ренато Марангони прибыли в Будапешт 14 октября и жили в сдаваемых внаем комнатах. Джакомо Морини приехал в Венгрию 30 октября, а Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе —

4 ноября. Вскоре выяснилось и то, что все пятеро знают друг друга. Джакомо Морини после въезда в страну снимал квартиру на улице Лабанц, куда переселились Карло Паганелли и Ренато Марангони. При выезде из страны утром 6 ноября в машине под номером КЕ 415037, которую вел Морини, находились еще Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе. Поэтому логично было предположить: если Морини знал Ренато Марангони и Карло Паганелли так же, как и Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе, тогда и все остальные должны были знать друг друга. Вывод напрашивался сам собой: все пятеро итальянцев в Будапеште составляли одну компанию. Тот факт, что выехали они из города двумя группами, усиливал подозрение.

30 ноября римское отделение Интерпола по телексу информировало свою будапештскую секцию, что, по их данным, два опасных преступника, члены неаполитанской мафии (каморры), в момент совершения преступления находились в Венгрии. Имена мафиози: Ивано Скьянти и Грациано Иори. На следующий день в Будапешт поступили розыскные карточки обоих преступников, совершивших в Италии ограбление со взломом и убийство человека. На следующем этапе следствие получило в свое распоряжение въездные карточки пяти итальянцев. (Граждане западноевропейских стран заполняют при пересечении границы так называемые въездные карточки, к которым прилагается и фотография. Эти документы являются необходимым средством статистического учета.) В то же время другая группа отправилась с розыскными карточками преступников по тем адресам, где проживали пятеро итальянцев. Так выяснилось, что лицо, въехавшее в страну под именем Карло Пагансслли, идентично Ивано Скьянти. Личность Грациано Иори таким способом идентифицировать не удалось, поскольку тот прибыл в Венгрию, сильно изменив свою внешность.

Во время проверок всплыли две прежние въездные карточки Ивано Скьянти, из чего следовало, что итальянский преступник в 1970 и 1973 годах уже бывал в Венгрии.

Факт, что оба прибыли в страну по фальшивым документам, заслуживал внимания. Однако конкретных данных, которые бы указывали на то, что эти двое вместе с другими тремя и есть преступники, ограбившие Музей изобразительных искусств, тогда добыть не удалось.

5 декабря была обнаружена Каталин Йонаш. Через пограничный пункт Бихаркерестеш она пересекла на поезде венгерско-румынскую границу и была задержана следователями главного управления. При осмотре ее личных вещей была обнаружена записная книжка, которая сыграет еще немалую роль в этом деле.

На первом допросе девушка заявила, что в Румынию она поехала вслед за своим итальянским ухажером Ренато Марангони, с которым она познакомилась в середине октября в Будапеште и который обещал ей помочь выехать из Румынии с фальшивым паспортом, а потом жениться на ней. Ей показали две фотографии. Первая — на въездной карточке — изображала Ренато Марангони, вторая была фотографией разыскиваемого Грациано Иори. Каталин Йонаш заявила, что на обеих фотографиях снят ее итальянский жених Ренато Марангони.

После того как удалось выяснить, что личность Ренато Марангони идентична личности разыскиваемого по обвинению в убийстве Грациано Иори, естественно встал вопрос: замешаны ли итальянские преступники в ограблении и нет ли какой-либо связи между похищением картин и внезапным исчезновением молодой особы.

Разумеется, Каталин Йонаш отрицала какое-либо участие своих итальянских знакомых в преступлении. Тогда была извлечена на свет записная книжка К. Йонаш. Девушке предлагалось дать ответ на вопросы: когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с лицами, чьи телефонные номера были записаны в ее книжечке, и кто эти люди.

На первых порах все выглядело гладко: Каталин Йонаш бойко перечисляла имена, рассказывала о своих знакомых все, что знала. Трудности появились, только когда на второй странице записной книжки обнаружились инициалы JJG.

Рядом с инициалами был записан номер телефона. Сначала девушка «решила», что это начальные буквы имен Юдит, Юлия, Габор, затем «передумала» — Янош, Яцинт, Геза. Люди с такими именами по указанному номеру не отзывались, зато снимали квартиру с тем телефоном Юдит Т. и ее сожитель Йожеф Раффаи. Таким образом была решена загадка двух букв. Когда Каталин

Джордже. Автопортрет.

Йонаш услышала оба имени, она назвала и третье: Густав Ковач.

В связи с записной книжкой Каталин пришлось ответить еще на такой вопрос. На одной странице сохранилась запись: «Марио просит осторожно обращаться с коробками, держать их в темном, сухом месте, потому что если они попадут в сырость, то их можно выбросить на помойку».

Всем было ясно, что послание касалось не коробок с сигаретами. Правда, тогда никто не смел и подумать, что на самом деле речь идет об одной из картин, украденных из Музея изобразительных искусств. Подследственная, сочтя за благо прекратить запирательство, призналась, что по просьбе своего итальянского жениха она не раз звонила в Будапешт, на квартиру Йожефа Раффаи, и однажды ей нужно было перевести это послание. На вопрос, какая картина оставлена в Венгрии, девушка не могла ответить. Это выяснилось только после ареста Раффаи.

Галерея портретов — отнюдь не художественных

Йожефа Раффаи и Густава Ковача арестовали ранним утром 15 декабря.

Сразу же после ареста последовал допрос. Раффаи признал, что был знаком с итальянцами, подозревавшимися в совершении преступления, часто ходил с ними развлекаться, но отрицал свою причастность к ограблению. Ковач не признавался ни в чем. Он никогда в жизни не встречался с подозреваемыми итальянцами, ни разу не видел и Каталин Йонаш. Такой линии он держался 33 дня.

Другое дело — его двоюродный брат Йожеф Раффаи.

На четвертом часу допроса тот сделал признание, а еще через час на окраине селения Тёрёкбалинт он показал место, где утром 6 ноября они с Густавом Ковачем зарыли в землю всемирно известное творение Рафаэля Санти «Портрет юноши». Картину прикрывал слой земли всего лишь в несколько сантиметров; она была упакована в три рекламные целлофановые сумки и обернута непромокаемой тканью зеленого цвета. В таком виде ее и обнаружили работники уголовного розыска.

Йожеф Раффаи и Густав Ковач — двоюродные братья. Оба были зеленщиками — это у них, можно сказать, фамильное занятие.

В семье Й. Раффаи, проживавшей в пригороде Будапешта — Тёрёкбалинте, помимо него было еще три брата. Среднюю школу закончил он там же. После окончания учебы отец брал его помогать в продаже овощей. Позднее Йожеф и сам обзавелся торговым патентом, летом обычно работал на берегу Балатона, а зимой не работал.

Отец Раффаи кроме овощной лавки в Тёрёкбалинте летом открывал еще одну на берегу Балатона, у семьи было несколько грузовиков — брали подряды на различные перевозки; летом семья обеспечивала фруктами и овощами три дома отдыха больших предприятий. Выращиваемые в теплице ранние овощи и фрукты также приносили доход. Старый хлев, без дела стоявший в конце участка, переоборудовали под барак для рабочих: сдавали внаем соседнему совхозу за 18 тысяч форинтов в месяц.

Йожеф Раффаи после окончания летнего сезона на целые месяцы прерывал работу. Днями болтался в увеселительных местах столицы, вечера проводил на дискотеках. Одним из его близких знакомых и друзей был грек Сальваторе. Он-то и привлек его внимание к двум итальянцам — Ивано Скьянти и Грациано Иори, сказав, что у итальянцев есть интересное барахлишко на продажу. Так Й. Раффаи в середине октября познакомился со своими будущими сообщниками. В тот же день он попал в гости к итальянцам. Купил кое-что из тряпок. На следующий день встретились в кафе, а затем уже вчетвером продолжали веселое времяпрепровождение. Еще через день новым членом компании стал Густав Ковач. Его представил Раффаи. Наконец, последней к ним присоединилась Каталин Йонаш.

Ровно 33 дня отрицал все это Густав Ковач. Позднее, когда он понял, что выхода нет — уж слишком много улик скопилось против него,— он предпочел сделать признание. Его молчание не было неожиданным: точно так же он вел себя и при расследовании преступления, совершенного им ранее.

Речь о цели пребывания итальянцев в Венгрии зашла еще тогда, когда те жили на частной квартире. Хотя сказать «зашла речь» было бы преувеличением, так как оба венгра, кроме родного языка, никаких других не знали, и хотя Раффаи мог выговорить несколько слов по-итальянски, для обстоятельного разговора этого было мало.

1 или 2 ноября — сейчас это уже трудно установить — Скьянти, Иори, Морини, Г. Ковач и Й. Раффаи встретились на квартире у итальянцев. Ивано Скьянти достал проспект, содержащий репродукции картин Музея изобразительных искусств. На обложке виднелся фронтон музея. Итальянец указал на фотографию музея, произнес: «Cinque tablo»[1] — и вдобавок показал на пальцах 5, а затем очертил в воздухе знак, известный в преступном мире как знак ограбления. Итальянцы начали выяснять, найдутся ли такие люди, которые смогли бы осуществить «дело». Ковач и Раффаи ответили, что среди их знакомых таких людей нет. В тот раз о картинах больше не говорили. Вечером следующего дня Йожеф Раффаи отправился к итальянцам один. Пробыл там недолго, поскольку Иори попросил проводить его в гостиницу «Novotel», чтобы оттуда позвонить в Италию. Раффаи слышал разговор, хотя не понял, о чем шла речь. Но два слова запали ему в память. Иори сказал неизвестному на другом конце провода: «Пикколо пистоле». Раффаи понял, что речь идет о маленьком пистолете.

[1] Пять картин *(искаж. итал.) (Здесь и далее прим. ред.)*

Тинторетто. Женский портрет.

После телефонного разговора они вернулись на квартиру. Там уже был Густав Ковач. Скьянти вновь упомянул Музей изобразительных искусств. Объяснил, что скоро в Венгрию прибудут два его друга — специалисты по этим делам. Речь шла уже не о пяти, а о шести картинах. За участие предусматривалось по 10 тысяч вознаграждения на каждого. Сумма для ясности была написана на бумаге. Одновременно венгерские приятели были предупреждены о том, что в Италии такой обычай: выболтаешь тайну — долго не проживешь, их, Скьянти и Иори, разыскивает Интерпол по обвинению в убийстве. Предупреждение подействовало: Раффаи действительно испугался.

На следующий день итальянцы переселились на другую квартиру. Время после обеда провели все вместе: были там Юдит Т. и Каталин Йонаш. Затем Ивано Скьянти, Грациано Иори и Йожеф Раффаи отвезли домой Юдит Т., а сами отправились к Музею изобразительных искусств. Оставили машину на стоянке перед рестораном «Гунгель». Было около 23 часов. Прошлись туда-сюда по безлюдному проспекту около зоопарка. Наблюдали за зданием музея. Итальянцы с видимым удовлетворением установили, что лампы в выставочных залах зажглись ровно в полночь. Больше ждать не стали, а с тем и отбыли.

На следующий день, 3 ноября, Иори и Й. Раффаи в гостинице «Будапешт» ожидали прибытия тех двух итальянских «специалистов», о которых говорил Скьянти, но итальянцы не приехали. 4 ноября Раффаи с Каталин Йонаш снова отправились в «Будапешт» и выяснили у администратора, что гости прибыли. Преступная группа пополнилась.

В тот же вечер на квартире итальянцев собрался «военный совет». Раффаи понял из разговора лишь обрывки фраз. Слышал, например, как Скьянти говорил вновь прибывшим: «Аларм но проблема», то есть сигнализационная система не составляет препятствия. Через короткое время компания разделилась надвое: Скьянти, Иори и двое вновь прибывших — Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе — отправились в музей, в то время как Ковач, Раффаи и Морини убивали время в кафе гостиницы «Аттриум». Позже все встретились у выхода из гостиницы и отправились развлекаться вместе.

5 ноября — в день преступления — договорились встретиться в шесть часов вечера на квартире у итальянцев. Сначала приехал Раффаи, потом Ковач, затем неожиданно явилась Каталин Йонаш, которая уже договорилась встретиться с Иори в Бухаресте. Карло приказал Раффаи увезти девицу куда-нибудь развлечься, в полночь им нужно было быть в Рыбачьем бастионе. Обоих вывез из города Морини.

Пятеро преступников — Ивано Скьянти, Грациано Иори, Джордано Инсерти, Кармине Пальмезе и Густав Ковач — вышли из дома ровно в 21 час. В машину Ковача сели Грациано Иори и Джордано Инсерти, в «Fiat Ritmo» — Ивано Скьянти и Кармине Пальмезе, как и было заранее условлено. Инструменты находились в машине Ковача. Остановились недалеко от музея и, выйдя из машины, направились в нужную сторону. Сумку с инструментами нес Грациано Иори. Достали из сумки перчатки. Надели. Но оказалось, что поблизости слишком много прохожих, поэтому решили немного подождать. Прошел еще час.

В 22.30 Джордано Инсерти, а за ним Грациано Иори и Густав Ковач перепрыгнули через забор на строительную площадку у музея и в таком же порядке приблизились к строительным лесам. Поднялись на балкон. Но тут напротив музея затормозил «трабант», и преступники спрятались за балконным ограждением. Водитель машины зашел в соседний ресторан, пробыл там минут 20—25, затем снова сел в машину и уехал.

Только после этого Инсерти приступил к работе. Сначала вырезал маленький кусочек из нижней части правого окна и выбил его ударом стеклореза. Затем чуть больший. При этом преступник порезался и, так как рана сильно кровоточила, вынужден был снять перчатку.

В образовавшуюся щель Инсерти просунул руку и проверил, работает ли сигнализация. Звонок молчал. Тогда Джордано Инсерти проник через открытое окно в галерею старых мастеров, следом за ним — Ковач, а Иори остался на балконе.

Из этого зала Ковач передал Иори две картины. В следующем помещении итальянец «срезал» еще три картины. Передали Иори и их. Затем перешли в пятый зал, в котором Инсерти «приглядел» только одну картину. Ковач уже собирался перелезть на балкон, но итальянец его одернул — показал, что нужно взять еще одну картину. Возвратились и «срезали» последнюю.

На балконе освободили картины от рам и сложили семь шедевров в рюкзак. Мешок с содержимым на 36 миллионов долларов опустили вниз по веревке. Скьянти, поджидавший на земле, бегом отнес картины в машину. Тем же путем грабители спустились вниз. Второпях Густав Ковач забыл на балконе отвертку.

Мешок поместили на заднее сиденье машины Ковача. Рядом сел Ивано Скьянти, и они тронулись. Когда подъехали к дому, «Fiat Ritmo» уже стоял у подъезда. Вынули мешок, Ковач пошел домой переодеться. Когда он вернулся, два вновь прибывших итальянца принимали душ, а Иори, Скьянти и Морини занимались картинами. Картины упаковали. Оставшиеся от них рамы, стеклорез и т. д. сложили в мешок и сели в «Ладу». Подъехав к берегу Дуная, Скьянти бросил мешок в воду. Затем все отправились на дискотеку к Рыбачьему бастиону, где их ожидали Раффаи и Юдит Т., а Каталин к тому времени уже ушла домой.

Когда Густав Ковач и два итальянца прибыли к Рыбачьему бастиону, Джакомо Морини, Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе вместе с картинами находились уже в пути.

■

В 1983 году Каталин Йонаш исполнилось 16 лет. Жила она с родителями в г. Эрд, вблизи Будапешта, в благоустроенном доме. Отец и мать — мелкие торговцы, на ярмарках в провинциальных городках продавали белье, модные вещи. У девушки три брата — один из них в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за кражу со взломом — и две сестры.

В детстве Каталин, как и других братьев и сестер, воспитывали дедушка с бабушкой. Родители обычно уходили рано и возвращались домой поздно вечером. Училась Каталин кое-как, кончила 8 классов. Вела домашнее хозяйство в доме родителей. На работу впервые устроилась летом 1983 года. С первого октября начала работать в геодезическом институте. Лето обычно проводила на родительской даче на берегу Балатона. Начала учить итальянский язык, намереваясь впоследствии работать переводчицей или экскурсоводом. Заводила знакомства с молодыми итальянцами, а иногда и более тесную «дружбу», чему не препятствовали ее родители.

Работа в геодезическом институте не особенно обременяла Каталин, зачастую она вообще не получала какого-либо задания. Тогда она отправлялась гулять по городу, глазела на витрины, проводила время в кафе. Несколько раз в неделю заходила в Итальянский культурный центр.

В середине октября, как раз в один из таких свободных дней, она встретилась в кафе с Грациано Иори, который представился как Ренато Марангони. Итальянец пригласил ее к своему столу. Познакомилась она и с Ивано Скьянти. Иори позвал Каталин к себе на квартиру. Девушка не возражала.

На следующий день ее познакомили с Сальваторе, греком по национальности. Этот член трио занимался мелкими валютными операциями, перепродавал золото. В краже картин он не был замешан, но его привлекли к уголовной ответственности за спекуляцию валютой. У Ивано Скьянти он купил тяжелую золотую цепочку и браслет, которые потом выгодно перепродал.

Позже К. Йонаш утверждала, что влюбилась в Иори с первого взгляда. Они встречались каждый день, вчетвером ходили по увеселительным заведениям города. Четвертым членом компании был Сальваторе.

Однажды, еще в октябре, итальянцы представили Каталин двух своих венгерских друзей: Йожефа Раффаи и Густава Ковача.

3 ноября, когда у Каталин снова выдался свободный день, она случайно заметила в центре города желтую «Ладу», в которой сидели Скьянти, Раффаи и Ковач.

Все отправились к итальянцам. В тот день Каталин Йонаш познакомили с Джакомо Морини.

На следующий день, 4 ноября, на работу она не пошла, а вместо этого отправилась на квартиру к итальянцам. Как мы знаем, в тот день ожидалось прибытие «подкрепления», и после обеда вместе с Раффаи всей компанией они поехали в гостиницу «Будапешт». Около 15 часов прибыли два итальянца и присоединились к ожидавшей в холле компании. Затем все отбыли снова на частную квартиру, где их ожидали Ивано Скьянти, Морини и Ковач. Каталин поручили заботам Морини, а остальные удалились на кухню, откуда не выходили часа полтора.

Тьеполо. Непорочная дева и шесть святых.

Позже Каталин Йонаш упрекала своего ухажера за то, что он оставил ее одну на столь долгое время. Грациано Иори извинился, сославшись на важное коммерческое дело. Он сказал ей также, что вместе со Скьянти они совершили преступление в Италии — украли 100 шуб, — поэтому до поры до времени не могут туда вернуться. Каталин уверила парня в своей любви, и тот предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась, после чего они договорились 9 ноября встретиться в Румынии, так как после Будапешта итальянцы поедут туда. Иори пообещал достать ей в Румынии фальшивый паспорт, чтобы бежать дальше, и дал номер телефона в Бухаресте.

Вечером 4 ноября с тем они и распрощались. Однако Каталин, нарушив уговор, на другой день, 5 ноября, около шести часов вечера явилась на квартиру к итальянцам.

После ее настойчивых звонков дверь открыл Иори. Он был в замешательстве, но в дом пригласил, предупредив, однако, что вечер они вместе провести не смогут, так как у них очень важное дело. Других появление девицы тоже застало врасплох. Но потом ей предложили подождать их в одном увеселительном заведении, куда компания и явилась после кражи в музее, хотя Каталин к тому времени уехала домой.

6 ноября К. Йонаш целый день была дома. Вечером из телевизионных новостей она узнала об ограблении музея.

Утром 7 ноября ушла из дома, взяв с собой паспорт, действительный для поездок в социалистические страны, и купила билет до Бухареста.

9 ноября в 6 часов она села на скорый бухарестский поезд и около 21 часа прибыла в румынскую столицу. Позвонила по условленному номеру. Трубку подняла женщина, которая назвалась Кармен, и отвезла ее к себе на квартиру. На следующий день туда явились Иори и Скьянти.

Как-то раз итальянец завел разговор о Будапеште. Спросил, что нового в Венгрии. Девушка рассказала, что ограбление в Музее изобразительных искусств наделало много шума. Иори заметно заволновался, стал выспрашивать, что знает об этом милиция. Тут у К. Йонаш возникло подозрение, что ее знакомые итальянцы каким-то образом причастны к преступлению. Поначалу Иори все отрицал, но затем признался, что это они ограбили музей и что картины той же ночью Морини вывез из Венгрии. Сказал также, что картины нужны были одному очень богатому греку. Этого грека он назвал сначала Бронтоло, позже, по словам девушки, Москоки Клайдесом.

Спустя несколько дней он попросил Каталин созвониться с Раффаи и передать ему поручение. Тогда он и продиктовал текст, найденный позднее в записной книжке К. Йонаш. Потом они еще несколько раз звонили в Будапешт. Суть всех разговоров заключалась в том, что Ковач и Раффаи должны набраться терпения и ждать обещанных денег.

4 декабря Иори объявил Каталин, что паспорт для нее достать не удалось, а ему придется срочно покинуть Румынию.

На следующий день она взяла билет на Будапешт и ранним утром 5 декабря выехала из Бухареста.

На венгерской границе, в Бихаркерестеше, ее задержали.

17 января читатели газет узнали подробности совершенного ограбления, тогда же они впервые услышали о Г. Коваче, И. Раффаи и итальянских преступниках. У многих возник вопрос: к чему было так долго тянуть с информацией о результатах расследования, если венгерских соучастников преступления арестовали еще 15 декабря и обнаружили бесспорную улику их виновности — творение Рафаэля Санти «Портрет юноши». В Италии был арестован Джакомо Морини, на основании его показаний и показаний его венгерских «коллег» были уточнены подробности преступных деяний банды грабителей.

Но у полиции трех стран, активно участвовавших в расследовании, тем не менее были основательные причины для молчания. Среди них — установление личности неизвестного заказчика, которого необходимо было поставить в такую ситуацию, чтобы он, почувствовав, что круг следствия сужается, попытался освободиться от отягчающих его улик, то есть картин. И картины при этом должны были остаться в целости и сохранности. По соглашению между венгерской, греческой и итальянской полицией вся информация могла быть сообщена только одновременно. Условия строго соблюдались. Однако Морини, чтобы дать знать своим компаньонам о провале, послал из тюрьмы в одну итальянскую газету письмо. Газета, предвкушая сенсацию, на следующий же день на первой полосе дала «шапку» с известием об аресте Морини.

Этой акцией Морини значительно осложнил работу следствия в Греции и во многом способствовал тому, что двое участников преступления — Карло Паганелли и Грациано Иори — хоть и на короткое время, но сумели скрыться.

Специалисты Интерпола считают Ивано Скьянти одним из двадцати опаснейших преступников мира. Чем только он не занимался за свою жизнь! Сначала был экономистом, затем жил аферами, ограблениями, кражами. Обширное досье на него хранится в Главном секретариате Интерпола в Париже. Еще не доказано, но есть основательные предположения, что это музейное ограбление было не первым на его счету.

В январе прошлого года итальянская полиция объявила его розыск по подозрению в убийстве и ограблении. Вместе с Грациано Иори в тот момент, когда они готовились угнать со стоянки грузовик, их заметил сторож и пытался поднять тревогу. Кто-то из них выстрелил. Сторож умер на месте, они же после этого ограбили виллу, находившуюся неподалеку: вынесли антикварную мебель, художественные ценности.

После этого предприятия последовало «турне» в Будапешт. К сожалению, о подготовке к нему мы ничего не знаем. Об этом могли бы рассказать только главарь Ивано Скьянти и Грациано Иори. Но одно можно утверждать точно: подготовка преступления велась на юге Италии, в вотчине неаполитанской мафии — каморры. Арестованные итальянцы и словом не обмолвились о своей принадлежности к знаменитому преступному клану. И неудивительно: законы каморры ничем не гуманнее, нежели неписаные правила мафии. А как известно, в кругах мафии и за менее безобидную «обмолвку» расплачиваются дорогой ценой.

Очевидно, что Ивано Скьянти и Грациано Иори начали подготовку преступления за несколько месяцев до ограбления. Можно лишь догадываться, приезжали ли они тогда в Венгрию. Но в октябре они появились здесь с фальшивыми паспортами, таким же образом им удалось «посетить» Будапешт и летом.

Известно и то, что уже в августе 1983 года они известили Джакомо Морини о предстоящей «работе». Морини находился тогда в Румынии, там, у одной знакомой, его и застал телефонный звонок Скьянти. Звонил он из Фессалоник, просил срочно приехать. Вряд ли случайно, что Скьянти точно знал, где нужно искать Морини.

Итак, Морини и Скьянти в августе 1983 года встретились в Греции. Скьянти сообщил, что в скором будущем Морини предстоит доставить из Будапешта в греческий город Итеа коробку. На машине они приехали в маленький прибрежный городок, где Скьянти показал предприятие по переработке оливкового масла, хозяину которого и надлежало передать коробку. Тогда же Морини получил от Скьянти половину 100-драхмовой банкноты — вторая половина осталась у владельца завода. При встрече они должны были узнать друг друга по этим половинкам.

Вероятно, тогда Морини еще не знал, что в коробке будут картины. Он предполагал, что там будет золото или валюта, так как был в курсе, что Скьянти уже несколько лет занимается махинациями с золотом и валютой.

После поездки в прибрежный городок они расстались. Следуя полученной инструкции, Морини поехал домой в Реджо-нель-Эмилию и там ждал известий от Скьянти. В конце октября в баре «Эрмиди» в Реджо-нель-Эмилии зазвонил телефон. Попросили Джакомо Морини. Телефонный звонок позвал в дорогу — в Будапешт.

Ни тот, ни другой на случай не надеялись. Так, третий сообщник уже заранее знал, что́ им предстоит в Будапеште. В начале сентября 1983 года Иори разыскал Джордано Инсерти в г. Монтефорте Ирпино, где тот работал официантом в ресторане. Иори пожаловался, что приходится скрываться от полиции, затем завел разговор о «работе» в Будапеште. За участие в ограблении Инсерти было обещано 50 миллионов лир. Инсерти, однако, отрицает, что речь шла именно об ограблении. Он утверждал, что Иори называл то дело, которое им нужно было выполнить в Будапеште, «работой». Этому, однако, противоречит заявление К. Пальмезе, который признался, что в поезде, на пути к Вене, они с Инсерти уже обсуждали шансы на успех. Трудно представить Инсерти таким простаком: вряд ли ему не было известно, что предстоит делать в Будапеште, когда он давал согласие.

Но вернемся к разговору в ресторане: у Инсерти не было паспорта, и он сказал об этом Иори. Тот его успокоил, заметив, что это не преграда, он все «организует». В конце сентября Иори вновь приехал в Монтефорте Ирпино. Наведался к Инсерти и попросил у него фотографию. На следующий день паспорт был готов. Документ на имя Антонио Руокка, а фотография — Джордано Инсерти. Иори попрощался с приятелем, предупредив, что известит его, когда нужно будет выезжать в Будапешт.

В конце сентября Иори позвонил в Монтефорте Ирпино; сказал, что время подоспело, но нужно взять еще кого-нибудь, так как для «работы» людей маловато. Договорились 3 или 4 ноября встретиться в Будапеште. Для «дела» Инсерти выбрал стекольщика Кармине Пальмезе. Услышав о вознаграждении в 50 миллионов лир, тот сразу же согласился. Но поскольку и у него не было паспорта, он попросту украл его у своего знакомого — Дженнаро Поликано.

2 ноября они сели на поезд и через Вену прибыли в Будапешт. В условленном месте встретились со Скьянти, Иори и Морини. После совершения преступления Инсерти и Пальмезе выехали из страны с Морини, на его машине. Шесть картин, украденных из музея, были тщательно спрятаны под задним сиденьем, и преступники беспрепятственно пересекли венгерско-югославскую границу.

Сменяя друг друга за рулем, через Белград, Скопле, Фессалоники рано утром 7 ноября они прибыли в г. Итеа. От Фессалоник до Итеа машину вел Морини.

В пути почти не говорили, спали поочередно, останавливались лишь заправить машину бензином. О цели поездки Морини сказал только, что надо передать картины одному очень богатому человеку, но кому именно — не назвал. На главной площади маленького приморского городка Морини высадил Пальмезе и Инсерти. По инструкции, полученной от Скьянти, при передаче картин должен был присутствовать только Морини. Остальные два итальянца ожидали его в кафе.

Что произошло потом, кому и при каких обстоятельствах передал картины Морини,— известно лишь со слов последнего. Во всяком случае, Джакомо Морини точно описал то предприятие, куда он явился для передачи картин, правильно указал расположение контор и подробно обрисовал мужчину, который взял спрятанные у него в машине картины. По мнению греческой полиции, описание предприятия полностью совпа-

дает с заводом Эфтимиоса Москаледеса, а в портрете пятидесятилетнего мужчины нетрудно узнать ближайшего помощника миллионера, хозяйственного распорядителя завода Христоса Хапсуласа. У него же оказалась такая машина, о которой говорил на допросах Морини,— «BMW» голубого цвета со стальным отливом.

Джакомо Морини не заставил себя долго ждать. Не прошло и часа, как он вернулся в кафе и с довольным видом сообщил, что все прошло успешно — картины передал. И даже получил некоторое вознаграждение от незнакомого грека.

На этом «командировка» Пальмезе и Инсерти закончилась. Они распрощались с Морини и на корабле вернулись в Италию. Еще перед посадкой на корабль преступники уничтожили свои фальшивые документы.

У Морини сломалась машина. Так и не сумев починить ее, 9 ноября он на поезде уехал в Румынию.

Вернувшись домой, двое итальянцев стали ждать обещанных денег. Скьянти посулил — самое позднее на рождество. Однако за несколько дней до праздника Иори позвонил Инсерти. Дела осложнились, заявил Иори, картины придется отправить в США на экспертизу специалистам, поэтому деньги запоздают.

Но тут же пообещал, что в феврале они получат 100 миллионов лир. О деньгах говорилось иносказательно, слово «картина» вообще не произносилось. Чуть позже такой же разговор с Иори состоялся и у Пальмезе. Суть та же — нужно терпеливо ждать, деньги будут.

Согласно полученным в Венгрии данным, на рождество 1983 года итальянская полиция допросила Морини, но затем он был отпущен на свободу. Морини тотчас же поставил об этом в известность Инсерти и Пальмезе. Несколько дней спустя были арестованы Антонио Руокко и Дженнаро Поликано — владельцы тех паспортов, с которыми Инсерти и Пальмезе въехали в Венгрию. Их невиновность вскоре была доказана, но о самом факте ареста стало известно Пальмезе. И он и Инсерти понимали, что полиция идет по их следам. Решили, что нелишне будет на время исчезнуть с горизонта. Они отправились в Неаполь. Там, на вокзале Гарибальди они приобрели себе новые удостоверения личности. Позднее они узнали об аресте Джакомо Морини. Напрасно они запаслись вроде бы надежными документами — это не уберегло их от ареста. Пальмезе взяли в г. Атрипальдо, когда он ужинал с двумя своими подружками. Инсерти попался в сети полиции при обычной проверке документов на шоссе.

В присутствии помощника руководителя следствия в Италии, государственного секретаря Дж. Сантакроче оба признались в содеянном, как, впрочем, и Морини — несколькими днями раньше

Вскоре после ограбления будапештская контора Интерпола решила провести консультацию, чтобы опытнейшие международные специалисты в области раскрытия краж произведений искусства поделились со своими венгерскими коллегами опытом и информацией. Такая встреча и состоялась в Будапеште в последние дни ноября. На совещании многие эксперты высказались, подкрепив свою точку зрения практическими примерами, за то, чтобы следствие в первую очередь направило свои усилия на поиски неизвестного заказчика. То есть сперва найти конец ниточки и затем уже разматывать этот клубок — тогда, по их мнению, довольно быстро можно было бы достичь результата.

План расследования, разработанный в первые дни после совершения преступления, естественно, учитывал и такую линию. И если ход следствия не подтвердил мнения авторитетных специалистов, тому было много причин. Сами события — исчезновение и обнаружение Каталин Йонаш, выявление венгерских преступников и множество других обстоятельств — определили установление личности заказчика. Розыск на основе данных, полученных в Венгрии, вышел на итальянских участников преступления, через них — в греческий город Итеа, к предполагаемому скупщику краденого Эфтимиосу Москаледесу. Вспомним только: в конце декабря Каталин Йонаш говорила, что Грациано Иори в Румынии рассказал ей как-то о дальнейшей судьбе картин. Сообщил, что их передали одному греку, которого, насколько она помнит, Иори называл Москоки Клайдесом.

Уже на рождество 1983 года греческая полиция допросила Эфтимиоса Москаледеса, а 12 января он дал под присягой письменное показание. Из Греции каждый день приходили новости — из маленького, но быстро прогремевшего на весь мир городка Амфисы, в котором прокурор Христос К. Ламбру возбудил уголовное дело против миллионера, поскольку к тому времени в распоряжении греческой полиции были не только данные, собранные в Венгрии, но и показания Джакомо Морини.

Сведений же о самом греческом предпринимателе довольно мало. 1929 года рождения, родился в Амфисе. Лет двадцать назад работал на судне, плававшем под итальянским флагом. Затем вдруг стал держателем акций одного крупного предприятия в Италии. За вывеской фирмы уже тогда подозревали деятельность неаполитанской каморры [1].

Правда, карьера Эфтимиоса Москаледеса в Италии продлилась недолго. Вскоре он вернулся в родной город и вложил свое состояние в захудалое предприятие по переработке маслин. Через некоторое время оно стало семейным. Но счастье не особенно улыбалось Москаледесу. В 1972 году фирме угрожало разорение.

[1] В преступном подпольном мире существует обыкновение — деньги, полученные незаконным образом, вкладывать в легальные предприятия и таким способом «отмывать» «грязные» миллионы. Зачастую лишь с этой целью и организуются предприятия, причем людьми, стоящими вне всякого подозрения.

Помогли связи, фирма не только избежала краха, но и получила от правившей тогда военной хунты заем в миллиард драхм. В финансовых кругах заем расценили скорее как пожертвование. Как и главным образом почему крайне правое военное правительство в 1972 году протянуло руку помощи Москаледесу, сегодня трудно выяснить. Но бесспорно, что и по сей день миллионера и правые оппозиционные круги связывают тесные узы.

Предприятие, со штаб-квартирой в Итеа, которое он возглавляет, весьма прибыльно. Оно поставляет оливки во многие страны Ближнего Востока, Соединенные Штаты, Канаду и в некоторые европейские страны, в частности в Югославию, Румынию, Италию.

О размерах его состояния в Греции можно только догадываться. Лишь немногие контракты подписываются самим Москаледесом. Известно, что греческий миллионер импортирует легковые машины из Японии, Румынии. Является акционером — и это немаловажное обстоятельство — одного афинского издательства, выпускающего книги, альбомы по живописи. При всем этом еще и торгует недвижимостью.

Живет со своей женой на фешенебельной вилле в Итеа. Дочери изучают экономику в Соединенных Штатах. Старшая — слушательница Бостонского университета, младшая — Принстонского.

Москаледес родом из многодетной семьи. У него четыре брата и две сестры. Один из старших братьев — компаньон фирмы в Итеа. Двое других живут в США. Один — пенсионер в Калифорнии, другой — владелец преуспевающего торгового предприятия и разветвленной сети магазинов в Нью-Йорке, Монреале, Торонто. Известный коллекционер. Четвертый брат — собственник предприятия по переработке оливок неподалеку от Афин. Как уже говорилось, 12 января Москаледес дал показание под присягой [1].

Допросы продолжились 13, 14, 15 и 18 января. Его показания мало на что проливают свет. По сути дела, он держится своего первого показания, согласно которому Джакомо Морини он видел всего лишь раз в жизни в Итеа, когда итальянец в холле здания конторы обратился к нему и попросил 5000 драхм на починку своей сломавшейся машины. День встречи совпадает с указанным Морини, то есть 7 ноября. Морини якобы сослался на то, что уже много раз поставлял предприятию оливки и будет делать это и впредь. Тогда, мол, и рассчитаемся.

Москаледес, как он утверждает, видел Морини впервые, но все же дал сумму, которую тот просил. Но о том, что между ними могла идти речь о чем-то другом или, скажем, что он взял украденные из Музея изобразительных искусств картины, Москаледес и слышать не хотел. После той встречи Москаледес уехал с завода. При выезде с территории он еще раз встретился с итальянцем, но не припоминает, чтобы они тогда разговаривали.

Пришлось давать показания под присягой и Хри́стосу Хапсуласу — хозяйственному распорядителю фирмы, поскольку Москаледес ссылался на то, что свидетелем дачи взаймы 5000 драхм был Хри́стос. Однако распорядитель вообще не помнит такого случая. Как он заявил, на заводе очень часто бывают иностранцы и всех не упомнишь. Но он уверен, что итальянца в конторе фирмы не было.

Москаледес и Хапсулас считают все это происками конкурирующих фирм. Они утверждают, что, дескать, одна из конкурирующих итальянских фирм выдумала всю историю и подговорила Морини выступить с показаниями против них. Цель всей этой акции — подорвать общественный и деловой авторитет Москаледеса; а из этих тяжких наветов извлекут пользу лишь преступники, в один голос твердили подозреваемые, так как тем самым они запутывают нити следствия, и пока полиция ведет расследование здесь, в Греции, подлинный скупщик уже давно припрятал картины в надежном месте.

Искренность показаний Морини и виновность Москаледеса, по-видимому, подкрепляется и свидетельством шофера такси Теофилоса Куломпуроса. Он заявляет, что дня точно не помнит, но месяца за два до допроса 13 января на стоянке такси в Итеа в его машину сел иностранец, который на ломаном греческом языке попросил отвезти его на завод Москаледеса. Итальянец был лет пятидесяти, в руке сжимал листок бумаги с именем Эфтимиоса Москаледеса.

По показанию таксиста, миллионера они нашли в воротах завода. Джакомо Морини обратился к нему, они обменялись несколькими фразами, и итальянец снова сел в машину. Уже сам Москаледес попросил шофера отвезти пассажира в автомастерские Ламброса Санидаса.

Владелец мастерских Л. Санидас точно помнит тот случай, который, по его мнению, произошел 8 ноября около 9 часов утра. Тем утром подъехало такси с Джакомо Морини, который сказал, что у него недалеко от города сломалась машина. Он просил доставить автомобиль в мастерскую и отремонтировать его. Вернулся клиент только после обеда.

Если таксист Куломпурос 8 ноября возил Морини и итальянец встречался с заводчиком, тогда показания Москаледеса о том, что он только один раз видел Морини, когда давал ему взаймы 5000 драхм, лживы. Ведь сам Москаледес заявил, что их встреча произошла 7 ноября.

Бесспорным доказательством пребывания Морини в Итеа является книга постояльцев местной гостиницы «Галини». Согласно записи, Морини вечером 7 ноября снял номер, пробыл там и 8 ноября, а уехал 9-го.

Вечером 7-го и 8-го итальянец звонил из гостиницы. Куда точно — неизвестно, но несомненно, что оба раза он вызывал

[1] Показание под присягой является правовым актом греческого уголовно-процессуального кодекса.

одни и те же итальянские и румынские номера. По окончании разговоров как 7-го, так и 8-го он заплатил одинаковые суммы.

8 ноября, после обеда, Морини узнал, что ремонт машины займет довольно длительное время, поэтому утром 9-го числа он появился в мастерской и забрал из машины находившиеся там вещи. Затем сел в такси и поехал на вокзал. На следующий день он прибыл в Бухарест. «Fiat Ritmo» с тех пор находится в Греции под наблюдением таможенных органов. Вряд ли можно считать случайным, что на следующий день после приезда, то есть 8 ноября вечером, Москаледес со своей афинской квартиры отправился в аэропорт Эллиникон, сел на отлетающий в 19 часов бухарестский самолет и до 10 ноября находился в румынской столице.

Расследование ведут газеты

Начиная с середины января делом о краже картин занимались многие итальянские газеты. Прежде чем что-то привести из их разысканий, оговоримся сразу: почти каждое издание выражало свою точку зрения о связи между венгерскими преступниками, их итальянскими сообщниками, греческим заказчиком и каморрой.

Правая газета «Темпо» в номере от 18 января поместила броский заголовок «За похищением картин в Будапеште стоят главари каморры». Автор статьи Джанни Сарокко писал о подоплеке преступления следующее: «Как уже предполагалось ранее, именно каморра организовала то сенсационное ограбление, в ходе которого из будапештского Музея изобразительных искусств были выкрадены семь шедевров живописи эпохи итальянского Ренессанса. Дерзкое ограбление, в котором принимали участие 7 итальянцев и 3 венгра — как это установлено отделением карабинеров по охране художественных ценностей,— организовала группа неаполитанцев при сотрудничестве нескольких в прошлом судимых выходцев из г. Эмилии. Организовала при сотрудничестве тех, у кого были хорошие шансы на успех в подпольном мире некоторых восточноевропейских стран.

Среди четверых итальянцев, которых было приказано арестовать, двое — неаполитанцы, подозреваемые в тесных связях с каморрой. Речь идет о Джордано Инсерти и Кармине Пальмезе. Оба — выходцы из Пальмы Кампании, они же проводили Морини в путь, когда он доставил картины из Венгрии в Грецию, где и передал их предполагаемому итейскому магнату. Настоящий сигнал SOS по поводу расширяющейся деятельности каморры и мафии, специализирующейся на нелегальной торговле художественными ценностями, забил Рафаэлло Кауза — главный инспектор отдела памятников и художественных ценностей городского совета Неаполя, известный также как устроитель необычайно интересных выставок. Доктор Кауза заявил, что он уверен — ниточки от нескольких ограблений и краж произведений искусства сходятся в руках организованных преступных синдикатов.

Отвечая на один из вопросов, авторитетный специалист заявил: «Я главный инспектор, и у меня есть свои информаторы. Я считаю невероятным, что все кражи произведений искусства происходят по заказу какого-нибудь калифорнийского музея. За всем этим стоит большой, организованный преступный синдикат, имеющий международные филиалы и извлекающий огромную прибыль от сбыта краденых ценностей.

Примером может служить еще один случай: похищение целого ряда картин кисти художников Маттия Прети и Таверна, имевшее место в Калабрии. И тогда к этому приложила руку мафия».

Кроме того, именно в эти дни часто заходит речь о картине Караваджо «Рождение Христа», украденной в 1969 году. Картина была спасена из-под развалин городка Лавиано, разрушенного землетрясением в ноябре 1980 года вместе со многими другими поселениями на юге Италии. В этом городке полиция обнаружила конспиративную квартиру двух в прошлом судимых мужчин, один был родом из Сицилии, другой — из Неаполя.

Наряду с тем что газеты много места уделили роли каморры в этом деле, почти каждое издание конкретно и много занималось ролью грека Москаледеса.

Официальный орган Ватикана «Оссерваторе романо» предполагал, что промышленный магнат замешан в этом деле, и Ватикан ожидал от греческой полиции срочных акций: «Хотя следователи убеждены в том, что именно магнат был организатором и вдохновителем сенсационного ограбления и что сокровище еще находится на греческой земле, полиция утверждает, что она не располагает конкретными фактами, на основании которых могла бы арестовать Москаледеса». А вот что писала о Москаледесе другая итальянская газета: «Продолжается расследование и в Салониках: по мнению многих, семья Москаледеса вряд ли может рассматриваться как почитательница или собирательница произведений искусства. Скорее всего, в ограблении им была отведена роль передаточного звена».

Нельзя сказать, что греческий предприниматель слишком уж симпатичен и журналистам и редакторам газеты «Паэзе сера». Вот что было напечатано в ее номере от 17 января:

«Хотя греческий промышленник Эфтимиос Москаледес категорически утверждает, будто бы он не виновен, верно и то — мы уже писали об этом в предыдущем номере,— что он взял у Джакомо Морини коробку, в которой было семь украденных картин, и с ней сразу же после этого улетел на самолете в неизвестном направлении».

В конце статьи «Паэзе сера», ссылаясь на итальянское информационное агентство «ANSA», утверждала, что когда корреспондент этого агентства спросил Москаледеса, причастен ли он к буда-

пештскому ограблению, то ответ был таков: «Я ничего не отрицаю, ничего не утверждаю, всем занимается мой адвокат».

Газета «Маттино» идет дальше. В связи с Москаледесом она пишет: «По мнению карабинеров, замысел греческого миллионера состоял в том, чтобы использовать похищенные шедевры для подкупа важных лиц в деловых кругах страны и тем самым расширить поле своей промышленной деятельности или при недостатке наличных денег, продав картины, финансировать дальнейшее развитие своего предприятия».

В той же самой статье «Маттино», видимо с целью как-то смягчить предыдущее суждение, рассказывалось об интервью с Москаледесом по телефону, во время которого греческий предприниматель заявил, что распускаемые в связи с этим слухи — дело рук тех лиц, которые пытаются замести собственные следы. В заключение он добавил, что и представления не имеет, кто эти лица.

Тем временем миланская газета «Джорно» сообщает своим читателям новые подробности: «38-летний Ивано Скьянти присматривался к этим картинам уже десять лет. Об этом сообщил один торговец художественными ценностями, который в свое время отговаривал Скьянти от реализации его плана, мотивируя это тем, что произведения слишком известны и знамениты». Это же сообщение подкрепила и газета «Унита» — орган ИКП: «Еще десять лет назад сам Скьянти намекал, что хочет украсть эти картины из Будапешта. О своем плане он говорил в кафе «Мирабелло» в г. Реджо. Как раз в том кафе, куда часто наведываются «специалисты» именно художественного профиля».

Оценивая все эти сообщения, «Паэзе сера» начинает бить в набат: «Еще никогда не случалось, чтобы в восточноевропейской стране совершали такое серьезное ограбление и в таком солидном музее... После того как грабители разворовали половину Западной Европы, теперь они принялись за Восточную».

Греческая печать большей частью рассказывала о краже картин как о международной сенсации. На первый и на второй день после ограбления большинство греческих газет сообщало о краже на первой полосе. Затем материалы о событиях в Будапеште сошли с первых полос, чтобы уступить место другим новостям.

Но потом, после 16 января, слова «Будапешт», «Музей изобразительных искусств», «Рафаэль» вновь замелькали в греческой прессе. Газета «Неа» в статье под заголовком «За «ограблением века» стоит грек», ссылаясь на хорошо информированный источник, утверждала: «Шесть из семи картин, украденных в будапештском Музее изобразительных искусств, находятся в Греции; они были похищены по заказу одного промышленника из г. Итеа». При этом ни одна греческая газета не упоминала имени заказчика. Однако указывалось на то, что в 1976 году один греческий владелец предприятия по переработке оливок посетил мастерскую фотографа Н. Тсикуриаса по улице Праксителя и попросил его изготовить фотокопии ценных картин. Фотографии этих картин публиковали газеты. «Неа» писала: «Полиция, понятным образом, молчит о роли загадочного промышленника, стоящего за кражей картин. Почему задерживается информирование общественности? Возможно, власти не располагают такими данными, которые бы указывали на главного преступника? Полиция Итеа и Амфисы сейчас ничего не сообщает, ссылаясь на то, что это может повредить результатам следствия. В то же время в распоряжении нашей газеты находится имя одного греческого владельца предприятия по переработке оливок, но его мы пока не сообщаем из опасения, что он не причастен к делу».

Тинторетто. Мужской портрет.

И все же на следующий день мир узнал имя Москаледеса. Газеты в пространных статьях представили читателям 55-летнего владельца предприятия по переработке оливок в Итеа. Приводились слова из показаний Морини о том, что картины из Будапешта были выкрадены по заказу одного итейского миллионера. Газеты «Элефтеротипи Акрополис» и «Катимерини» поместили интервью директора гостиницы «Галини» и шофера такси Теофилоса Куломпуроса, которые повторили свои показания, сделанные в полиции.

В статье под заголовком «Встречался ли в Итеа греческий предприниматель с итальянцем?» газета «Месимвриникс» публикует высказывание шофера такси: «Я довез итальянца до завода Москаледеса. Помню, как, садясь в машину, он только и сказал: «Аванти, Москаледес». Сколько он там пробыл, не знаю, я его не дожидался».

Та же самая газета взяла интервью у другого таксиста — Иоргоса Пилаласа. Тот сказал следующее: «Толстого итальянца я возил два раза. Оба раза он пересаживался ко мне из другого такси, называл адрес, но затем, в пути, останавливал и продолжал путь на другой машине. Один раз я отвез его в авторемонтные мастерские, другой раз — на вокзал. По пути мы не разговаривали; он спросил только, сколько езды на автобусе между Итеа и Фессалониками».

18 января «Неа» опубликовала пространное интервью по телефону с Москаледесом:

«Н е а». Господин Москаледес, что вам известно о будапештских картинах?

Э. М. Не спрашивайте у меня ничего. Мне нечего сказать; что нужно было, я уже сказал в полиции. Там я ответил на все вопросы, а сейчас воздержусь.

«Н е а». Знаете ли вы Джакомо Мориии — одного из участников будапештского ограбления?

Э. М. Не знаю, зачем итальянец Мориии впутал мое имя в это дело. Мне ничего неизвестно об этом человеке, знаю лишь, что он был шофером грузовика, поставлявшим, как и другие, оливки. Он был у нас на заводе, попросил 5000 драхм, которые я ему и дал. С тех пор я его не видел.

«Н е а». Господин Москаледес, вы когда-нибудь были в Будапеште?

Э. М. В Будапеште я не был и знать не знаю, кто такой Рафаэль. Картинами я не занимаюсь. Мой бизнес — оливковое масло. Пусть ищут у меня что угодно, все равно не найдут

«Н е а». Позвольте попросить вас о личной встрече, тогда, быть может, мы продвинулись бы в нашем деле.

Э. М. Я знаю, вы хотели бы встретиться со мной, но сожалею — это невозможно.

«Н е а». Мне кажется, вы находитесь в замешательстве. Почему?

Э. М. Ничего я вам не скажу, подождем, пока все это кончится. Я знаю, что дело завершится в мою пользу. А до тех пор нечего и говорить.

«Н е а». Но если дело уже всплыло, лучше было бы прояснить все. Не так ли?

Э. М. Я все разъяснил полиции. Сейчас я уезжаю и вернусь только в пятницу. Тогда, может, мы и побеседуем лично.

«Н е а». Следовательно, по телефону мы не договоримся?

Э. М. Могу лишь повторить то, что уже сказал: я уезжаю, и у меня нет времени с вами встречаться.

«Н е а». Куда вы едете?

Э. М. Уезжаю, и все.

«Н е а». За границу?

Э. М. Нет, буду в Греции. У меня нет никаких дел за границей. В пятницу возвращусь в Афины. Потерпите до тех пор.

«Н е а». Я не могу столько терпеть. Не скажете ли, действительно ли Мориии предложил вам картины для покупки?

Э М. Ничего я вам не скажу. Обещаю, что когда я вернусь в пятницу, то позвоню вам, и мы все подробно обсудим.

18 января утренние газеты сообщили, что в Афины прибыла группа венгерских специалистов, чтобы принять участие в здешнем расследовании. В тот же день сообщалось о том, что приблизительно за три месяца до совершения преступления Москаледес у себя на квартире в Итеа принимал Ивано Скьянти, уже несколько лет готовившего кражу картин.

20 января «Акрополис», со ссылкой на итальянские агентства, напечатала статью под заголовком «Грабитель века по-английски покинул Грецию с шестью картинами»: «Итальянские преступники передали картины Москаледесу 7 ноября. Инсерти и еще один итальянец на пароме переправились в Бриндизи. Мориии остался в Итеа, так как у него сломалась машина. Грабители заявили в полиции, что после передачи картин Москаледес сказал лишь, что дальше картины будут транспортироваться на самолете. Из этого итальянцы заключили, что злоумышленник спрячет картины в каком-нибудь потайном месте».

И в заключение греческие газеты, освещавшие кражу картин, задаются вопросом: каким образом, несмотря на наличие косвенных улик, Москаледесу удается оставаться на свободе? Скорее всего, правы были те, кто намекал на покровительство влиятельных кругов...

Перевод с венгерского
Ф. ЛУКЬЯНОВА и В. СЕРГЕЕВА

◆

Наши гости

Костас Асимакопулос

Греция

Костас Асимакопулос — поэт, прозаик, драматург, сценарист, режиссер театра, кино, телевидения. Наибольшую известность получили в Греции его исторические романы: «Король и статуя» — о полной опасностей и приключений жизни легендарного греческого пирата Янниса Капсиса, «Алтана из Парги» — о героической борьбе греческого народа против турецкого владычества в конце XVIII—начале XIX века, «Убийства в Спарте», воссоздающий драматические события, происходившие в III веке до н. э. в Древней Спарте. Исторические романы Костаса Асимакопулоса были удостоены литературных премий Афинской академии, драматические произведения — премий Министерства культуры и науки. Его книги знакомы — по переводам — и читателям других стран: Болгарии, Венгрии, Югославии, ФРГ, Финляндии, Норвегии.

Костас Асимакопулос — член совета Национального общества греческих литераторов, генеральный секретарь Греческого общества переводчиков художественной литературы. В Советский Союз он приезжал для подписания соглашения о сотрудничестве между Союзом писателей СССР и Национальным обществом греческих литераторов. Это соглашение предусматривает постоянный непосредственный обмен мнениями относительно событий и идей, связанных с культурной жизнью двух государств, распространение публикаций, совместные литературные встречи, конференции...

«Мы знаем ваших классиков, многих современных писателей,— сказал, подписывая этот документ, Костас Асимакопулос,— *но нам этого недостаточно. Мы стремимся к еще более прочным творческим связям. Это необходимо, чтобы лучше знать жизнь вашего народа, которая раскрывается в произведениях советской литературы».*

Возглавляя Греческое общество переводчиков художественной литературы, Костас Асимакопулос и сам многое делает для того, чтобы талантливые произведения мировой литературы стали достоянием греческих читателей. Он перевел на греческий романы Альбера Камю, Фернандо Наморы, Жоржи Амаду, участвовал в составлении и переводе недавно вышедшего сборника румынской поэзии, подготовил большие антологии венгерской, югославской поэзии. Эта его деятельность находит заслуженное признание и на родине писателя, и за ее пределами. Вот один из многих примеров.

В Афинах в марте этого года состоялся торжественный вечер, посвященный выходу в свет на греческом языке антологии «Венгерская поэзия XX века». Известный венгерский поэт Ференц Юхас — афинское издательство и Министерство культуры пригласили его для участия в вечере — писал потом на страницах будапештского журнала «Уй тюкёр»: «Антология венгерской поэзии выходит в Греции впервые. В книге представлено 45 поэтов: от Эндре Ади до Иштвана Беллы. И всю эту огромную работу проделал один человек, поэт, переводчик Костас Асимакопулос. Он работал над кни-

гой несколько лет, перевел стихи — с подстрочников, сделанных нашими эллинистами, написал большую вступительную статью, биографические справки об авторах. Выход книги — это его заслуга».

Костас Асимакопулос знакомит греческих читателей и с русской, советской литературой. Он перевел — с языков-посредников — пьесы Леонида Андреева, «Вишневый сад» Чехова, сейчас работает над переводом повести Григория Бакланова «Навеки — девятнадцатилетние». Надо сказать, советскую и русскую литературу в Греции долгое время переводили с западноевропейских языков, теперь все чаще — непосредственно с языка оригинала.

Знают Костаса Асимакопулоса на его родине и как детского писателя (его книги «Что известно другу», «Замечательная компания», «Вокруг света» пользуются популярностью в стране), и как пропагандиста литературы для детей, создаваемой в других странах. Несколько лет назад в Греции вышел подготовленный им двухтомник рассказов для детей, переведенных с различных языков.

Нашего гостя интересовало, какие произведения греческих писателей опубликовал журнал «Иностранная литература» за последние годы, и нам было приятно сказать, что греческая проза 70-х годов в ее малой повествовательной форме была представлена такими популярными в самой Греции именами, как Йоргос Иоанну, Антонис Самаракис, Элени Войску, Сотирис Патадзис, Костас Валетас. В отделе книжных приложений вышла сатирическая повесть поэта, прозаика, эссеиста Костаса Варналиса «Дневник Пенелопы». В «год Кавафиса», когда Греция отмечала 120-летие со дня рождения и 50-летие со дня смерти этого выдающегося национального поэта, «Иностранная литература» опубликовала большую подборку его стихов, получившую широкий отклик среди читателей. Как и предвидел Кавафис, его поэзия не стала «узницей библиотек». Много раз появлялись на наших страницах стихи крупнейшего поэта современности Янниса Рицоса. В ближайшее время журнал собирается представить и новое поколение поэтов и прозаиков Эллады.

Отвечая на вопросы сотрудников журнала о современной греческой литературе, Костас Асимакопулос говорил о том, что творчество большинства писателей Греции тесно связано сегодня с социальным анализом сложной и противоречивой действительности, с осмыслением событий недавней истории. Многие произведения посвящены урокам прошлого — периоду итало-германской оккупации, становлению и развитию в стране антифашистского движения. *«Для меня самого,* — признается Костас Асимакопулос,— *обращение к истории — всегда повод сказать что-то о сегодняшнем дне. Волнуют писателей и судьбы греков, уехавших в поисках заработка в страны Западной Европы. Это одна из животрепещущих проблем современной Греции. Не угасает в греческой литературе и интерес к античной мифологии, к первоосновам национальной культуры. Греки любят поэзию. Сама греческая земля, древние легенды и традиции настраивают их на поэтический лад. Современная поэзия стремится перенять и развить жизнеутверждающие традиции древнегреческого наследия».*

Много интересного рассказал наш гость об афинских издательствах: *«Их в греческой столице около 200, в год они выпускают более 2000 книг. Есть в Афинах и журнал, издающий переводную литературу — «Неа эстия» («Новый очаг») который выходит два раза в месяц. Это один из старейших журналов в стране. Основал его в 1927 году Григориос Ксенопулос, известный писатель и критик, много сделавший для популяризации в стране зарубежной литературы, в частности русской, произведений Льва Толстого Максима Горького».*

«В последние годы, — говорит Костас Асимакопулос,— *книжное дело в Греции добилось заметных успехов — и в издании национальной, и в издании переводной литературы. В ближайшее время афинские издательства планируют выпустить большой сборник повестей и рассказов современных советских писателей (18 авторов), романы «Императорский безумец» Яана Кросса, «Дерево в центре Кабула» Александра Проханова, повесть «Ардабиола» Евгения Евтушенко, книги Юлиана Семенова. Взаимовлияние разных культур в наши дни жизненно важно, и я надеюсь, что соглашение о сотрудничестве между Союзом писателей СССР и Национальным обществом греческих литераторов будет активно способствовать духовному сближению наших народов».*

Л. ВАСИЛЬЕВА

◆

Антирубрика

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ЯРОСЛАВ ВЕЙС /ЧССР/

День на Каллисто стоит года на Земле

Если бы лейтенант Верт и сержант Лусноц не были роботами, служба на спутнике Юпитера Каллисто могла бы показаться им незаслуженным наказанием. И вовсе не потому, что она была особо опасной или трудной. Как раз наоборот. Но для человека это скопище льдин и скал с застывшей лавой кратеров, путешествующее вместе с гигантским Юпитером по Солнечной системе, являло бы скучное зрелище. Особенно если бы он служил на Каллисто полицейским. А просто так люди ездили туда с удовольствием, даже с очень большим удовольствием. Самая первая исследовательская экспедиция, которая там высадилась, установила, что мир Каллисто вовсе не такой темный, не такой серый и не такой изъязвленный метеоритами, как представлялось первым участникам полетов с Земли. Напротив, этот спутник Юпитера, почти такой же величины, как планета Меркурий, оказался удивительно привлекательным. Знатоки мифологии утверждали, что ничего удивительного тут как раз нет, потому что мифическая Каллисто, в честь которой назвали это небесное тело, дочь Ликаона, была настолько прекрасна, что сам Зевс потерял голову и влюбился в нее со всеми вытекающими последствиями.

Теперь вместо царя богов Зевса космическую Каллисто покорили толпы безымянных туристов. Они устремлялись туда непрерывным потоком, желая полюбоваться невиданным зрелищем. На поверхности Каллисто человек чувствовал себя точно внутри гигантского калейдоскопа. Солнечный свет так играл на скалах и блистающих ледяных щитах, что давал совершенно поразительный эффект — он был радужным, переливался несчетным множеством оттенков и создавал иллюзию музыки и ароматов, поэтому, наверное, его действие на людей было чрезвычайно благотворным: те, кто видел удивительную алмазную игру света, говорили, что чувствуют легкое приятное опьянение, самое приятное из всех выдуманных в XXI веке.

Потом было сделано еще одно открытие: на Каллисто существовало особое радиационное поле с лечебными свойствами. Медики установили, что здешние лучи полезны всем без исключения. Не было еще открыто в Солнечной системе другого такого места, где бы столь быстро восстанавливались силы жителей разных планет, Марса или Земли — безразлично.

Понятно, что подобное из ряда вон выходящее открытие не могли оставить без внимания туристические бюро, между ними разгорелась жестокая конкурентная борьба, в которой не было победителей. Спутник Юпитера Каллисто был провозглашен естественным заповедником, и доступ туда был открыт только экспедициям ЮНЕСКО. Недалеко от самого прекрасного кратера был построен курортный городок с гостиницами, и вокруг этого городка обозначились туристские тропы. Инженеры установили там искусственную атмосферу, конечно, немного более разреженную, чем на Земле, зато витаминизированную.

По всему земному шару были расклеены плакаты, гласящие, что ДЕНЬ НА КАЛЛИСТО СТОИТ ГОДА НА ЗЕМЛЕ, и заявки на трехнедельный отдых на целительном спутнике подавались за год вперед. Он совершал один оборот вокруг Юпитера за три недели (семнадцать земных дней), и еще оставалось время на полет Земля—Каллисто и обратно или Марс — Каллисто и обратно. Таким образом, каждый человек для полного восстановления сил имел еще три

месяца и неделю отпуска, которые можно было провести в других привлекательных местах.

Ракеты с Земли и Марса садились посреди бездействующего кратера в нескольких километрах от гостиничного городка. А отделение полиции, где служили роботы лейтенант Верт и сержант Лусноц, располагалось как раз на полпути от космодрома до города. Это были биологические роботы энного поколения. От людей их мог отличить только опытный роботопсихиатр, и то он должен был для этого вслушаться в их речь, уловить особый призвук, порождаемый колебаниями электрического тока, подметить какой-нибудь неологизм, созданный роботами в результате их склонности к формальному, а не смысловому пониманию человеческого языка. Ведь любую важную информацию роботы данного типа получали по своим каналам.

И поэтому они редко пользовались речью как средством общения. Лейтенант Верт и сержант Лусноц достигали взаимного понимания посредством свечения мозговых вычислительных устройств. А с людьми объясняться у них просто не было нужды. Большую часть из того, что люди хотели или, скорее, не хотели им сказать, они способны были угадывать.

В том, что роль полицейских исполняли роботы, была и определенная выгода. Они были неподкупны. Неподвластны настроениям. Никто не мог использовать их для своего блага. Они гарантировали точное и честное исполнение инструкций, их не одолевали посторонние заботы, и они не преследовали никаких личных целей. У них ведь не было семьи, которую нужно кормить, и поэтому им не требовалось жалованье. Они могли не спать по восемь часов в сутки, им не нужны были кухня со столовой, санузел с душем. Они всегда пребывали в замечательной форме и в одинаковой готовности к исполнению служебных обязанностей. А если и случались у них столкновения с серьезными нарушителями закона, в самом худшем случае роботов сдавали в ремонт.

Полицейские сидели на верхнем этаже прозрачного здания, напоминавшего стеклянную миску для компота, поставленную вверх дном. Тут находился их пост, и тут они выполняли работу по своим программам. Лейтенант как раз заканчивал отчет за день — пройдет меньше получаса, и весь удивительный здешний калейдоскоп погаснет в темно-синей тьме,— а сержант неподвижными глазами следил за телеэкраном, где, сантиметр за сантиметром, медленно проплывали секторы поверхности Каллисто.

И вдруг в тишине Лусноц позвал лейтенанта:

— *Смотрите, шеф! Идите сюда! Мне что-то здесь не нравится!*

Разумеется, обращение было беззвучным. Лейтенант принял сообщение и подтвердил это световыми сигналами.

— *Там что-то движется,*— продолжал сержант.

Верт встал со стула и подошел к экрану. Приспособления в его глазах, так же как и в глазах Лусноца, способны были увеличивать телеизображение, прояснять его до мельчайших деталей.

В секторе ЕРТ-45, в пяти километрах от перевернутой миски для компота — здания полицейского поста,— в стороне от туристических маршрутов, там, где теперь должны были быть только застывшие горы хрустального льда, что-то передвигалось. Чем внимательнее смотрели роботы, тем яснее им становилось, что это человек. Вычислительные машины, находившиеся в голове каждого из них, мгновенно обработали полученные данные и проанализировали их. Рост человека — 163,2 см, вес, включая одежду,— 56,34 кг, а температура тела — 36,4°С. Род — мужской, глаза — серо-голубые, волосы — темно-русые, кудрявые, нос — немного вздернутый.

— *Какого черта он там делает?* — выдал лучеграмму компьютер лейтенанта.

Сержант автоматически просигналил прием информации, это означало лишь то, что повторять вопрос не нужно.

— *Не было ли сообщения из какого-нибудь отеля, не пропал ли кто-нибудь из постояльцев?* — спросил лейтенант.

Сержант взглянул на панель с контрольными лампочками отелей. Там мирно светились огоньки. Значит, все в порядке, то есть постояльцы находятся в помещениях и густеющий сумрак никому не страшен.

Администрация гостиниц на Каллисто должна была строго следить за тем, чтобы никто из гостей ни в коем случае не оставался ночью снаружи. Ибо разница между температурами днем и ночью была, даже несмотря на искусственную атмосферу, очень велика. Мороз ночью достигал минус 198°С. Так что, если бы кто-нибудь к ночи не вернулся, это грозило значительными неприятностями. Человек окостенел бы от мороза, его пришлось бы размораживать и оживлять — процедура неприятная, и болезненная, и — что немаловажно — недешевая, и даже не всегда осуществимая. Это грозило еще и тяжбой между заказчиком и туристическим бюро, что не сулило пользы никому, кроме юристов. С другой стороны, космические морозы приносили и определенную выгоду: они стерилизовали воздух от любой инфекции, которая могла быть занесена с Земли или Марса.

— *Никаких сообщений не поступало,*— информировал сержант.

Тут в компьютере лейтенанта родилась некая мысль.

— *Выясните, в порядке ли информсистемы,*— приказал лейтенант,— *а потом запросите все отели для полной уверенности. Я же пока подготовлю летательный аппарат. Может быть, кто-нибудь пробрался на Каллисто «зайцем».*

Эта мысль беспокоила и сержанта. У обоих на случай проникновения «зайца» была особо эффективная программа, которую они пока ни разу не применяли. Теперь, казалось, пришло время ею воспользоваться.

Через двадцать минут человек сидел перед роботами-полицейскими.

В помещении было, как обычно, тихо. Сержант с опросным аппаратом устроил-

ся в сторонке. Лейтенант придвинул стул к столу, за который они посадили задержанного. Оба полицейских молча смотрели на человека, и связь между ними работала вовсю.

— *Может, шеф, это просто-напросто мальчишка?*— передавал сержант.— *Он сказал вам, как попал сюда?*

— *Нет,*— грустно просигналил лейтенант.— *Он играет в героя и не желает со мной разговаривать. Если бы я был не роботом, а человеком, дал бы ему пару горяченьких, сразу привел бы его в чувство. Но я не имею права. А жаль. Еще пятнадцать минут вне купола — и воспоминания от него не осталось бы.*

— *Да, он заслужил хорошую трепку,*— передал в ответ сержант.— *Был бы я его папашей...*

— *Что это мы разболтались, и в каналах информационный шум,*— прервал лейтенант,— *это все же человек, а мы только машины.*

Сержант быстро наладил связь.

— *Сколько же ему лет?*

— *Десять — двенадцать. У людей трудно определить точно. Рост у них колеблется. Что ответили администраторы гостиниц?*

— *Все постояльцы на месте. Специально о детях я не спрашивал, но ясно — о них нам сказали бы особо. За детьми тщательно следят. И «зайцев» никаких не замечали.*

— *Точно?*

— *Я снова проконтролировал космодром. Сегодняшняя ракета прилетела не прямо с Земли. Это рейс-люкс. За дополнительную плату имитируется космическая катастрофа. Люди обожают такие глупости, черт его знает почему. На этот раз было воображаемое столкновение с астероидом, и все пассажиры пересели в новый корабль. И так как они играли еще в выход из строя охранительной оболочки реактора, корабль-спасатель не мог приблизиться к «зараженному радиацией» кораблю. Пассажиров переправляли вручную по одному, так что пробраться на новый корабль «зайцем» было невозможно.*

— *А не мог кто-нибудь спрятаться на потерпевшем аварию корабле?*

— *Мог, конечно, если бы три месяца высидел один в пустой ракете с автоматическим пилотом в криогенном режиме на орбите Ганимеда. Только в этом случае.*

— *Отставить шуточки, сержант,*— заискрила молния сигнала.

— *Слушаюсь, лейтенант.*

— *Дальше!*

— *Вероятно только одно: мальчик отстал от последнего космического корабля, улетевшего отсюда. Хотя это удивительно. Не забыли же его родители. И тем более не бросили же они его нарочно?*

— *Нарочно? Сомнительно. Если бы он еще был взрослый... Но ребенка они не бросили бы. Ведь люди очень привязаны к своим детям.*

Лейтенант взглянул на мальчика. Тот сидел на краешке стула с независимым видом и не обращал на роботов никакого внимания. Во всяком случае, старался не обращать.

— Да, ребенок...— вслух проговорил лейтенант.

Сервомеханизм его лицевых мускулов сморщился и помог изобразить подобие легкой снисходительной улыбки.

— Кто ребенок? — дрогнувшим голосом спросил мальчик.— Мне просто не повезло, не то никогда бы вы меня не поймали!

— Он что, хотел убежать от вас, шеф?— спросил Лусноц.

— Да. Когда я догнал его в узком проходе между двумя ледниками, он попытался укусить меня. Вот тут, у локтя.

Верт отогнул рукав. На бледной, но очень похожей на человеческую коже (при обработке ультрафиолетовыми лучами и специальными мазями она даже загорала) вырисовывались глубокие следы зубов, которые проникли бы в ткань, если б таковая имелась.

— Больно, шеф? — спросил сержант, потому что именно этот вопрос задал бы человек.

— Еще как! — Лейтенант повернулся к задержанному.— Отлично, если ты уже не ребенок, веди себя как взрослый. Скажи нам, как тебя зовут, как ты попал сюда, сколько тебе лет и где твой отец.

Мальчик покачал головой:

— Ничего не скажу. Даже если вы будете меня пытать.

Лейтенант вздохнул:

— Мы и так установим, кто ты. Я просто хотел побыстрее закончить допрос и отправить тебя спать.

— Я не хочу спать,— ответил мальчик и принял вид гордого вождя индейцев, который больше не скажет ни слова бледнолицым.

— *Центральную,*— приказал лейтенант,— *мигом.*

— *Но связь по молнии впятеро дороже обычной, шеф. Нужно будет обосновать трату.*

— *Ребенок — достаточное обоснование. Все наши программы существуют для спасения людей.*

— *Будет исполнено.*

Через полминуты сержант соединился с Центральной на Земле, и еще через полминуты оба имели исчерпывающую информацию Центральный компьютер за три сотых секунды проверил все сведения и сообщил на Каллисто, что на борту ракеты, которая летит от спутника Юпитера к Земле, все пассажиры на местах.

Роботы ждали новых инструкций.

На полчаса Центральная замолчала и потом на три сотых секунды подсоединилась к компьютеру лейтенанта.

— *Готов поспорить, шеф,*— передал светосигналами сержант,— *что с вами говорил сам начальник, и завтра он, как черт из табакерки, появится прямо здесь.*

Начальник отделения был сухой, неразговорчивый человек, и множество других людей были убеждены, что он робот.

— *Вы проиграли,*— ответил лейтенант,— *начальник не приедет.*

— *Что же мы будем делать?*

— *Ничего особенного. Он,*— лейтенант показал на задержанного,— *не человек. Он — робот.*

— Робот? — переспросил сержант.

— Неправда! — вскочил мальчик.

— Правда! — сказал лейтенант Верт.— Ты — робот-игрушка. Видел рекламу по телевизору? «Пластиковый Братишка — купите приятеля своему сыну или дочери! Отлично выполненный, автоматически функционирующий двойник. Пошлите голограмму вашего ребенка, и через пять дней вы получите человечка, полностью на него похожего, только более воспитанного». Вот он — Пластиковый Братишка! Точный слепок с оригинала. Обыкновенный робот-игрушка.

— Неправда! — снова закричал Пластиковый Братишка.

— На борту ракеты, которая следует отсюда на Землю, кое-что пропало. Игрушка одного пассажира, точнее, его сына, Пластиковый Братишка, рост 163,2 см, вес 56,34 кг, термостат установлен на 36,4°С. Так же, как и мальчик, отзывается на имя Петр. Мальчик забыл игрушку в гостинице и боялся признаться в этом отцу, он утверждал, что запаковал куклу и положил ее в чемодан. Все открылось только теперь, и ему зададут трепку. А вот этот Пластиковый Петя утром убежал из гостиницы и думал, что где-нибудь здесь затеряется. Скорее всего, у него произошел шок из-за потери хозяина — при относительно упрощенной программе это случается, и он не знает, как себя вести. Поэтому у него такие странные реакции.

— *Только авария внутреннего устройства может служить тебе оправданием,*— засигналил Лусноц Пластиковому Братишке.

— *У него упрощенная схема,*— отсигналил вместо Братишки лейтенант.— *Он может поддерживать связь только как люди, при помощи звуков. Чего требовать от игрушки, да еще не слишком дорогой?*

— Подумать только, мы обходились с ним как с человеком,— перешел сержант на человеческую речь,— а он едва не откусил вам руку, я из-за него чуть ли не половину Солнечной системы на ноги поднимаю, и оказывается, что это всего-навсего какой-то паршивый робот низшей системы. Его вообще нужно было оставить там, где он был, заржавел бы, да и только.

— Я не заржавею! — воскликнул мальчик.— Я человек, а не какая-то забытая игрушка. Я Петр!

— Ну конечно. Пластиковый Петя.

— Петр!

Лейтенант снова заработал сервомоторами мускулов и усмехнулся.

— Молодец, Петя! Мне нравятся молодые люди, которые умеют стоять на своем. Однако твое утверждение лишено всякой логики. Если бы ты был человеком, сидел бы ты сейчас в ракете вместе с родителями и приближался к Земле. Ты знал бы, что прятаться вечером в скалах не полагается, что это опасно для жизни. Знал бы ты и какие тут по ночам стоят морозы и понимал бы, чем это тебе угрожает. Только ты робот, и мороз тебе нипочем. Разве это не ясно?

Пластиковый Братишка бросил взгляд в угол, где лежал небольшой рюкзак.

— У меня с собой спальный мешок с подогревом.

— В этом мешке вместе с его подогревом было бы —60°, и если бы ты был человек, все равно замерз бы.

Игрушка не ответила.

— И вот еще: если ты мальчик, как же мог твой Пластиковый Братишка оставить тебя в опасности?

— Но я же не в опасности.

— Теперь нет. Собственно, тебе-то ничего не грозило. Потому что ты робот и только выдаешь себя за мальчика. По-видимому, ты еще не пришел в себя после шока.

— Петя обещал, что не выдаст меня. Он поклялся мне на пупке. Точно.

— Что-что?

— Поклялся на голом пупке. Вот так.

Пластиковый Братишка задрал свитер и майку. Он приложил руку — два пальца — к напоминавшему дырку небольшому углублению в передней части корпуса.

— *Как он все же похож на человека!*— просигналил сержант.

— *Их учат каким-то глупым атавизмам. Я еще никогда не встречался с таким ритуалом,*— отсигналил в ответ лейтенант.

— Но, Братишка, пойми, что такими штучками ты не сможешь выключить блок безопасности,— вслух сказал лейтенант.— Блок находится не здесь. И не вздумай экспериментировать с нами.

— Ничего я не отключал. Мой Петя действует как надо. Я просто убедил его, что ничего со мной не случится, если он оставит меня здесь. Я уговорил его поменяться со мной.

Лейтенант снова усмехнулся.

— Какой мальчик надумал бы это сделать?

Пластиковый Братишка упрямо наклонил голову.

— Все так делают. Ну, все ребята из нашего класса.

Сержант Лусноц качался на стуле с ловкостью, свойственной только роботам,— он балансировал на задних ножках, что вряд ли удалось бы человеку, и улыбался. Лейтенанту не нужно было даже принимать мозговые сигналы Пластикового Братишки, чтобы прочитать его мысли: «Мы, ребята, умеем выдумывать». Сержант покачался-покачался, потом стул снова встал на все четыре ножки.

— Ну что, Братишка, может быть, хватит нас дурачить? — строгим голосом произнес Лусноц.— Выдавать себя за человека довольно трудно, и тебе это скоро надоест. Твое запоминающее устройство должно удерживать массу глупостей, без которых не обойтись настоящему человеку. Люди, правда, не отдают себе в этом отчета, но быть человеком весьма неудобно и затруднительно, уж поверь мне!

Тишина.

— Не стоит завидовать им, Братишка,— мирно продолжал сержант.— Не стоит. Роботам все равно лучше. Раз ты неживой, ты и не смертен. А то, что надо повиноваться людям,— что ж, они тоже все кому-нибудь да повинуются, даже если сами этого не понимают.

— Но я же человек! — возразил Пластиковый Мальчик. Он не казался теперь таким подавленным, как тогда, когда лейтенант привел его в отделение.— Я настоящий человек, спросите у кого угодно!

— Ну ладно, допустим. Тогда скажи, какого черта ты тут остался? Почему не улетел с мамой и папой домой? Можешь ты мне это объяснить?

Игрушка широко раскрыла рот, но ничего не сказала.

— Ну вот. Не знаешь?

— Я просто... просто хотел испытать...

— Что испытать?

— Ну... как тут все...

— *Ну и запас слов у него, да и противоречив,*— отсигналил сержант.

— *Да, способность спорить не предусматривается программой, заложенной в такие игрушки,*— ответил лейтенант.

— Ладно, Братишка, до утра оставим тебя здесь,— сказал мальчику сержант,— а потом я отвезу тебя на склад космодрома. Через три недели твой хозяин получит тебя, а ты — его. Хочешь, можешь выключиться и активизироваться уже на Земле.

Мальчик поднял голову и прямо взглянул на лейтенанта.

— Позвоните папе,— попросил он,— прошу вас, господин полицейский! Пожалуйста! Скажите ему, что я никогда больше не буду! Правда...

— Но мы же звонили! И все, что надо, выяснили. Твой хозяин признался, что забыл тебя. Какой смысл продолжать комедию? Что это тебе даст?

— *Бросьте,*— отсигналил сержанту лейтенант,— *у нас еще куча дел. Он позаботится о себе сам, как любой робот.*

В наступившей тишине гудели катушки информационной связи.

— Я проголодался,— нарушил молчание Пластиковый Мальчик.— Нет ли у вас чего-нибудь поесть?

Лейтенант начал терять терпение.

— Нет. У нас тут ничего нет. Потому что сержант и я тоже роботы, хоть и похожи на людей, а роботы не едят.

Он повернулся к мальчику и для устрашения зажег оранжевый свет в глазах.

Игрушка разразилась отлично имитированными рыданиями.

Ночь проходила, менялись цифры на часах над главным пультом. Лейтенант склонился над автоматизированным отчетным табло, фиксируя события вчерашнего дня. Сержант Лусноц контролировал функции основной и резервной энергосистем. У полиции на Каллисто были самые разнообразные обязанности, в конце концов полицейские — роботы, а роботы умеют все. Пластиковый мальчик сидел неподвижно, уронив голову на стол, одна рука его безжизненно свесилась вниз. Рот его полуоткрылся, и если бы это был человек, то создавалось бы впечатление, что он замерз. Однако для отдыха поза его была совершенно неподходящей.

— *Похоже, он все-таки спит,*— заметил сержант.

— *Нет, на это ему нас не поймать. У него очень простая схема. Спать может и утюг.*

— *А если он правда спит?*

— *Чепуха, Лусноц. Что это на вас вдруг нашло?*

— *Меня беспокоит одно, лейтенант, что-то в его ответах не соответствует логике.*

— *Это очень простой робот, Лусноц, от него нельзя требовать особой логики.*

— *Не в том дело, шеф. Мне не понравилось, как он говорит. Так роботы вообще не говорят. До робота ему далеко. И еще — вы заметили, как он строит свои ответы, вообще свою речь? Она у него распадается. И у него очень маленький запас информации. Так говорят люди, а не роботы.*

— *Это последствия шока. Его запрограммировали так, чтобы он находился и существовал рядом с хозяином. И вдруг он очутился один. И возможно, на его систему как-то спроецировалась человеческая психика.*

— *Не знаю, шеф. Я в этом не уверен.*

— *Да так оно и есть, чего там!*

— *Докажите.*

— *Но, Лусноц, что с вами?*

— *Ну попробуйте отломать ему руку. Если это робот, ничего с ним не будет, тут же и поправим.*

— *Бросьте глупости, сержант. У вас готов анализ атмосферы?*

— *Сейчас будет готов.*

Небосвод над зданием отделения полиции начал окрашиваться в темно-фиолетовые тона. На Каллисто начинался новый день.

Вдруг лейтенант Верт встал и остановил свои приборы.

— *Вызовите еще раз Центральную, Лусноц,* — просигналил он.— *Пусть соединят нас с ракетой.*

— *Что? Убедил я вас?* — с торжеством отозвался сержант.

— *Нет, не убедили. Он убедил,*— лейтенант взглянул на спящего мальчика.

— *Но только что вы утверждали, что спать можно научить и утюг, достаточно его запрограммировать.*

— *Да. Но разве можно так запрограммировать игрушку, чтобы у нее от голода урчало в животе?*

Сержант прислушался.

Потом покачал головой, точно и он был не робот, и вздохнул.

— *Ну что же, если прикажете, я слущусь в ближайший отель за молоком и булками с маслом?*

— *Прикажу, сержант,* — отсигналил лейтенант,— *только тихо, не разбудите его. У людей чуткий сон.*

Ледяные скалы вокруг отделения полиции снова засверкали как гигантский калейдоскоп.

Перевод с чешского Е. Ц. АРОНОВИЧ

РЕДЖИНАЛД БРЕТНОР /США/

Корень зла

Рисунок Бельского Л. И. и Потапова В. М.

Художник Амброзий Гошок постоянно голодал. Однако он не мог позволить себе голодать красиво — в мансарде на Монмартре или в Гринич-Виллидж. Обитал он в бедной части американского города Питтсбурга, в холодной, прокопченной квартирке, заставленной множеством нераспроданных картин и мягкой ворсистой мебелью, всегда казавшейся влажной на ощупь, из прорех ее кое-где торчала набивка. Стиль Амброзия поразительно напоминал манеру письма Рембрандта, хотя в технике молодой художник даже превзошел великого мастера. Все картины Амброзия были до смешного старомодными.

Жена давно покинула Амброзия, отдав предпочтение оборотистому дельцу, который сумел распродать многие тысячи репродукций Клее и Мондриана[1] по цене доллар девяносто восемь центов за штуку. Прощальную записку жена нацарапала на оборотной стороне убийственного счета, присланного зубным врачом. На полу валялись две повестки в суд, а также уведомление от домовладельца о том, что художнику надлежит съехать. Небритый и изможденный, Амброзий восседал посреди всего этого бедлама. В левой руке он держал газетную вырезку с рецензией на его картины, написанной неким Дж. Германом Лортом, признанным в Америке авторитетом в области изобразительного искусства. В правой был зажат мастихин, художник в отчаянии счищал им угодивших на холст маленьких зеленых кузнечиков — на мольберте было укреплено неоконченное полотно, на котором художник изобразил обнаженную женщину: в свое время мужу позировала миссис Гошок.

Маленькие зеленые кузнечики — эти распроклятые «крики-тики», как он их называл,— набились повсюду. Они свирепствовали по всей восточной части Соединенных Штатов. Амброзию в общем-то было на них наплевать. Но они стали для него пресловутой последней каплей, последним переживанием, которое сломило его. Амброзий счищал кузнечиков с холста и все думал свои непривычно тяжкие думы.

Художник напряженно размышлял так несколько часов, и мысли его, разумеется, устремлялись в бескрайнюю даль, в глубь обитаемой Вселенной Вот почему, наверное, в два часа три минуты пополудни за окном послышалось жужжание, затем щелкнула открываемая снаружи оконная створка, и вслед за этим в комнату влетел миниатюрный космический корабль, по форме напоминавший обыкновенную бадью,— он со стуком плюхнулся на купленный в кредит ковер, за который Амброзий еще не успел расплатиться. В кораблике открылся люк, и из него выглянуло какое-то странное существо.

— Вот и я,— сказало существо с едва уловимым, но безошибочно славянским акцентом.

Амброзий, не выказав ни малейшего удивления, швырнул через плечо кузнечика и, сверкнув на пришельца глазами, произнес с решимостью в голосе:

— Нет, к отцам города я тебя не поведу!

И тут же принялся счищать следующего кузнечика, лапки которого увязли в самой интимной части тела миссис Гошок.

— Меня ваши отцы не интересуют,— отвечало странное существо, отстегивая от пояса нечто похожее на усовершенствованный бластер.— Вы мысленно призывали меня, поскольку желаете, чтобы было истреблено н е ч т о. И я, Джонни Пятнашка, прилетел исполнить ваше желание. Скажите же, что мешает вам жить?

Амброзий опустил руку с мастихином.

— Многое! — в сердцах воскликнул он.— Послушай-ка малыш, причина и способ твоего появления в трудную минуту моей жизни заставляют меня говорить с тобой серьезно. Располагайся удобнее.

И Амброзий поведал пришельцу все свои печали: он рассказал о своей неудачной попытке еще в художественном училище добиться стипендии, о домовладельце, о жене, и в довершение — о вырезке из газеты за подписью «Дж Герман Лорт», которую немного погодя и прочитал, добравшись в конце концов до следующих слов: «...ведь именно произведения подобных псевдотворческих личностей, этаких «самобытных художников» вроде Амброзия Гошока, которым свойственно плоское, близкое к фотографическому восприятие действительности, вызывают негодование у каждого проницательного критика; взирая на полот-

[1] Клее Пауль (1879—1940) — швейцарский живописец, график, один из лидеров экспрессионизма. Мондриан Пит (1872—1944)— нидерландский живописец, создатель неопластицизма. *(Здесь и далее прим. перев.)*

на Гошока, тонкий ценитель найдет подтверждение гой глубоко обоснованной доктрины, которая изложена мною в книге «Созидательная творческая личность»: подлинное произведение искусства может быть создано только художником, обучавшимся в специальных изостудиях у больших мастеров, создано, о чем можно было бы и не напоминать, путем освоения богатейшей сокровищницы образов, которыми населена окружающая нас природа, например, образов сплавляемого по рекам леса, парящих низко над землей птиц, вывернутых с корнем деревьев и растрескавшихся скал; все остальное лишь обман, мираж, бессовестное мошенничество!» Амброзий швырнул вырезку на пол.

— Тебе может показаться,— воскликнул он,— что простой смертный не в силах вынести всего того, что со мной приключилось! Так нет же,— он указал на назойливых кузнечиков,— ко всему еще и это!

— А что значит «это»? — поинтересовалось существо.

Амброзий сделал глубокий вздох, сосчитал до семи и потом истерически закричал:

— Крики-тики!

— Какие пустяки! — молвило существо.— Я их всех истреблю. Только ты заплатишь мне...

— Я? Заплачу?..— с горечью в голосе произнес Амброзий.— Чем же я тебе заплачу?

— Ты заплатишь мне картинами. Шесть полотен отдашь сейчас же. В счет аванса. Тогда я начну истреблять твоих крики-тиков. Потом, когда дело будет сделано, отдашь мне еще дюжину картин.

Амброзий решил, что на других планетах, должно быть, обитают эксцентричные меценаты, но возражать не стал. Он безучастно наблюдал за тем, как пришелец погрузил на борт корабля шесть его картин, и нехотя помахал ему рукой на прощание. Как только инопланетянин отбыл, Амброзий тут же продолжил свое занятие — снова стал счищать кузнечиков с обнаженного тела миссис Гошок.

Пришелец вернулся через два года. На сей раз, однако, его космическому кораблю не пришлось влетать в окно. Он просто-напросто спланировал мимо башен замка Амброзия Гошока во Флориде прямо во двор с фонтанами, несколько напоминавшими те, что бьют перед усыпальницей Тадж-Махал, и приземлился среди резвящихся молодых женщин; глядя на их фигуры и одежды, можно было предположить, что они — обитательницы модернизированного мусульманского рая. Некоторые женщины — совершенно обнаженные — плескались в фонтанах. Другие слонялись вокруг Амброзия и его мольберта в надежде, что он попытается их соблазнить. Две красавицы стояли рядом с хлопушками в руках, готовые обрушить их на маленьких зеленых кузнечиков, если те появятся.

Пришелец не обратил особого внимания на то, что Амброзий кивнул ему весьма сдержанно.

— Разыскать вас трудновато,— со смешком произнес инопланетянин.— В полмиле к северу отсюда я видел огромные дворцы — ха-ха! — подумать только, чистый мрамор! На юге японский замок — еще грандиознее! Кто все это построил?

Амброзий не слишком любезно отвечал, что дворцы принадлежат композиторам, скульпторам и писателям, а японский замок — прихоть одной престарелой поэтессы. Однако пришелец должен извинить Амброзия: он занят...

Пришелец, казалось, не обратил никакого внимания на слова художника.

— Взгляните, как изменилось все вокруг! — воскликнул он, потирая руки.— Деятели искусства процветают. У них — собственные яхты, «роллс-ройсы», бриллианты, их окружает множество привлекательных женщин — владелиц норковых шубок. Я прибыл, чтобы получить свой гонорар — обещанные двенадцать картин.

— Пошел вон! — огрызнулся Амброзий.— Ничего ты не получишь!

Пришелец оторопел.

— Разве вы не счастливы? — возразил он.— Неужели вам не нравится такая жизнь? Ведь я исполнил все, как обещал. Вы должны мне еще дюжину картин в счет гонорара.

В это самое мгновение на холст с нарисованной на нем обнаженной женщиной, над которым трудился Амброзий, прыгнул кузнечик. Художник отшвырнул кисть.

— Ничего не получишь, мошенник! — в сердцах крикнул он.— Ты ведь так ничего и не сделал! Сейчас любой художник может добиться успеха, но ты тут ни при чем. Посмотри: здесь по-прежнему полно этих распроклятых крики-тиков!

У пришельца от удивления отвисла челюсть. Мгновение он обалдело глядел на Амброзия.

Потом прошамкал:

— Крики-тики — кузнечики? Бог мой! А я-то уничтожил всех критиков!

РИЧАРД УИЛСОН /США/

Подвижник Гарри — виновник «утечки умов»

Предприниматель космической эры, подвижник прогресса Гарри задумал осуществить один проект еще во времена полета Гэса Гриссома. Идея его была восхитительно проста — дать возможность каждому жителю Соединенных Штатов лично участвовать в первой американской высадке на Марсе.

Подвижник прогресса Гарри сулил нечто из ряда вон выходящее. Он обещал не то привычное, стороннее участие в экспедиции, когда люди вынуждены довольствоваться запоздалыми записями голоса астронавта, рассказывающего о светлячках в космосе, или наблюдать за отсчетом времени на табло в Центре управления полетом после того, как запуск уже состоялся.

Предприниматель гарантировал непосредственное участие в экспедиции всех желающих... живой контакт между первопроходцами космоса и теми счастливчиками, которым удалось вступить в его клуб под названием «Ты астронавт».

Гарри продавал, так сказать, прямую связь с мозгом любого из четырех астронавтов, призванных осуществить проект «Дальний бросок». Он предлагал полное отождествление с одним из первых людей, готовившихся ступить на поверхность Марса.

Участие в этом проекте, сравнимом по своей исторической значимости разве что с первым футбольным матчем, организованным Колумбом в Западном полушарии, стоило каких-нибудь десять долларов, а точнее — восемь долларов семьдесят пять центов для тех, кто сразу же высылал чек в соответствии с условиями предварительного платежа, что освобождало в дальнейшем от выплаты процентов.

Гарри, в прошлом старший редактор журнала «Лайф», доподлинно знал, с каким чиновником из НАСА[1] ему следовало иметь дело, чтобы получить исключительное право на использование мозга астронавтов.

Вся затея обошлась Гарри в каких-нибудь пятьдесят миллионов долларов, которые он должен был уплатить после запуска космического корабля.

В тот раз на Марс отправились Джордж Линкольн, Джон Ф. Адамс, Дуайт Д. Рузвельт и Томас Алва Райт.

Удивительным было сочетание их религиозных верований, поскольку в четверку вошли: протестант, католик, иудей и мусульманин, который, кстати, был негром.

Поистине — стопроцентные американцы. У каждого из них коэффициент умственного развития составлял не ниже 130 единиц, но и не выше 146 (у директора НАСА этот коэффициент равнялся 147).

Каждый из астронавтов знал, что он может и не вернуться на Землю, но каждый при этом помнил, что если вернется, то будет героем, причем героем богатым. Многочисленные контракты, заключенные перед стартом подвижником Гарри и ему подобными, обеспечивали астронавтам целое состояние, а каждому из них еще не было и тридцати.

Таким образом, за дополнительное вознаграждение в 10 000 долларов, которое они должны были получить по возвращении на Землю, астронавты позволили вживить в свой мозг сенсорное устройство, связывавшее их не только с электронным мозгом НАСА, но также с гигантской установкой-отождествителем в клубе подвижника Гарри «Ты астронавт».

По сути дела все до единого американцы попались в сети, расставленные хитроумным Гарри.

Случилось так потому, что он сделал еще и широкий жест: установил специальный взнос в размере одного доллара для школьников, так что каждый ребенок в любой школе, где было электричество, подключался напрямую к одному из героев Неустрашимой Четверки.

Всем предлагался на выбор астронавт, причем детям — лишь за доллар.

Вносишь один или десять долларов, выбираешь кумира на свой вкус и творишь вместе с ним историю.

Подвижник прогресса Гарри обещал, что с момента старта на Земле и до высадки на Марсе каждый участник эксперимента будет видеть, чувствовать и думать то же самое, что и связанный с ним астронавт.

Вы уже догадываетесь, что за этим последовало?

И тем не менее я обо всем поведаю до конца.

По иронии судьбы марсиане сбили корабль астронавтов в тот самый момент, когда он заходил на посадку.

Они (марсиане) взяли их (астронавтов) на мушку и подстрелили, словно утку.

Все происшедшее было ужасно, однако, как сказали бы англичане (а позднее именно это они и сказали), так уж оно вышло.

Никто заранее не разузнал характера марсиан, которые оказались просто дикими, необузданными варварами.

При обычном положении дел мы всего-навсего потеряли бы четверых астронавтов.

Однако ввиду грандиозности проекта подвижника Гарри, в котором участвовали сто семьдесят четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят человек, все они тоже погибли.

Случилась самая настоящая «утечка умов».

К счастью для подвижника Гарри, эти сто семьдесят с лишним миллионов американцев уплатили ему вперед. Сам же он, инстинктивно не доверяя собственному проекту, не подключился ни к одному из астронавтов.

И превратился в очень печального, одинокого миллиардера, но ненадолго.

Англичане, которым давно уже было тесновато на их островке, вторглись в США через Канаду, привлеченные американским вакуумом, дабы завладеть страной. Тут-то они и обложили нового подданного королевства — а именно подвижника прогресса Гарри — своими убийственными налогами.

Англичане разъяснили при этом, что действуют в лучших традициях англо-американского сотрудничества и во имя высших целей: чтобы противостоять здесь русским.

Ничего уж тут не поделаешь, или иными словами: так уж оно вышло

[1] Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США).

ЭДВАРД Д. ХОК /США/

Самый лучший зоопарк

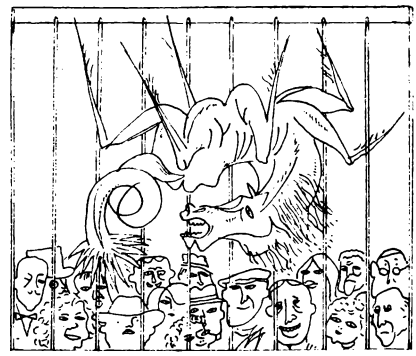


Рисунок Бельского Л. И. и Потапова В. М.

В августе, ближе к двадцать третьему числу, дети старались вести себя примерно. Именно в этот день раз в году на Землю прилетал огромный космический корабль серебристого цвета, привозивший Межпланетный зоопарк профессора Хьюго. Корабль совершал посадку неподалеку от Чикаго, и зоопарк был открыт для посетителей шесть часов кряду.

Еще до рассвета возле него выстраивались длиннейшие очереди — дети и взрослые. Каждый сжимал в руке заветный доллар, предвкушая радость увидеть нечто необыкновенное, и гадал, каких невиданных зверушек профессор доставит сюда на этот раз.

В прошлые годы им показывали трехногих тварей с Венеры, высоких, поджарых марсиан, а то и — откуда-то из глубин Вселенной — змееподобных монстров. Сейчас, когда длиннющий космический корабль неторопливо приземлился на ракетодроме, обслуживавшем сразу три города, на самой окраине Чикаго, люди с трепетом наблюдали за тем, как экраны в бортах корабля поползли вверх, открывая взорам собравшихся знакомые металлические решетки. В клетках находились невообразимые уроды, какие могут пригрезиться лишь в кошмарном сне,— приземистые, похожие на лошадей и одновременно на пауков животные. Они производили резкие, неожиданные движения и без умолку переговаривались пронзительными голосами.

Земляне столпи́лись у клеток. Между тем помощники профессора Хьюго, не теряя времени даром, собирали приготовленные доллары, а вскоре и сам достопочтенный профессор предстал перед публикой — в цилиндре и с накидкой радужных тонов на плечах.

— Жители Земли! — сказал он в микрофон.

Шум толпы утих. Профессор продолжал:

— Жители Земли, в нынешнем году за свой доллар вы получите истинное наслаждение: вы увидите редко встречающихся лошадей-пауков, населяющих планету Каан; мы доставили их сюда с огромными трудностями, преодолев миллионы космических миль. Подходите ближе, разглядывайте их, изучайте, слушайте их голоса, расскажите о них своим друзьям. Но торопливайтесь! Корабль стартует через шесть часов!

Люди медленно продвигались мимо клеток, испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде необычных созданий, которые напоминали лошадей, но, подобно паукам, могли ловко взбираться по вертикальным стенам.

— За такое зрелище, в самом деле, доллара не жалко,— сказал один из зрителей, направляясь к выходу.— Пойду-ка домой, приведу жену.

Людской поток не иссякал весь день; мимо клеток, вмонтированных в борта корабля, прошло десять тысяч человек. Через шесть часов профессор Хьюго снова взял в руки микрофон.

— Настало время старта, но мы вернемся на будущий год в этот же день. Если наш зоопарк вам понравился, позвоните своим друзьям в других городах и расскажите о нем. Завтра мы приземлимся в Нью-Йорке, а на следующей неделе побываем в Лондоне, Париже, Риме, Гонконге и Токио. Потом отправимся на другие планеты!

На прощанье профессор помахал собравшимся рукой, а когда корабль оторвался от Земли, многие говорили во всеуслышанье, что нынешний зоопарк был лучшим из тех, которые им до сих пор доводилось видеть...

Два месяца спустя, посетив еще три планеты, серебристый корабль профессора Хьюго опустился наконец среди знакомых, вышербленных скал планеты Каан. Необычные создания — пассажиры корабля, напоминавшие лошадей и пауков одновременно,— не замедлили покинуть клетки. Профессор Хьюго напутствовал их ободряющими словами, после чего все разбрелись кто куда, торопясь в свои обиталища.

В одном из них мама-кааниха с радостью встречала супруга и отпрыска. Она шумно их приветствовала и поспешила обнять.

— Пока вас не было, время тянулось так медленно,— сетовала она.— Вам понравилась экскурсия?

Супруг утвердительно кивнул.

— Наш малыш от нее в восторге. Мы посетили восемь планет и чего только не повидали

Малыш взбежал боком по стене пещеры.

— Интереснее всего было на планете, которая называется Земля,— пропищал он.— Тамошние существа прикрывают кожу одеждой и передвигаются на двух ногах!

— А они не опасны? — спросила мать.

— Нет,— заверил ее супруг.— Мы были защищены от них решетками и из корабля не выходили. В следующий раз ты должна полететь с нами. Зрелище стоит девятнадцати коммоков, которые мы отдали за экскурсию.

Малыш поддакнул, кивнув головой:

— На Земле — самый лучший зоопарк...

Перевод с английского
АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ИСПОВЕДЬ ПОЭТА

В новом сборнике замечательного болгарского поэта и общественного деятеля Георгия Джагарова «Исповедь» собраны полюбившиеся читателям стихи, статьи и эссе. Но это не просто собрание избранных произведений различных жанров, пишет еженедельник «Литературен фронт», «это нечто цельное, перед нами предстает богатая, сложная, многогранная личность автора. Любое другое название было бы неточным, потому что каждая строка звучит здесь как исповедь, а вся книга читается как одна поэма».

Сборник открывается речью Г. Джагарова, произнесенной при вручении ему премии Французской академии за сборник «Птицы против ветра» (см. «ИЛ», 1983, № 3). Г. Джагаров — лауреат многих высоких наград своей страны, в том числе и Димитровской премии. Премию Французской академии он воспринял как международное признание всей болгарской поэзии, традиций ее лучших мастеров. И не случайно сборник завершается взволнованным словом о великом поэте-революционере Христо Ботеве.

«Литературен фронт» отмечает иллюстрации и художественное оформление книги, выполненное Г. Трифоновым, который «по своему прочел произведение поэта».

Сборник «Исповедь» стал как бы итоговым для Г. Джагарова, шестидесятилетие которого торжественно отмечалось в этом году. За активное участие в борьбе против фашизма, за литературную, общественно-политическую и государственную деятельность академику, председателю Государственного Совета НРБ Г. Джагарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Стихи Г. Джагарова переведены более чем на тридцать языков, а его пьесы с успехом шли в СССР, Англии, Дании, Румынии, США и других странах.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МЯТЕЖНАЯ МУЗЫКА 80-х

«Вот уже двадцать лет звучит мятежная музыка регги, музыка, «рождающая оптимизм... из пессимизма»,— пишет корреспондент газеты «Морнинг стар» в своем обзоре о негритянских музыкантах, исполнителях регги, живущих в Англии. Пластинки с записями этой музыки получили в стране широкое распространение. «Уэйлерз» («Плакальщики») — самая известная, часто записывающаяся группа. Соперничать с ней по яркости исполнения и популярности могла бы, по мнению корреспондента, только группа «Третий мир». Ее первая пластинка — одна из самых удачных тиражированных записей регги. И хотя эту группу порой обвиняют в компиляторстве, на самом деле она органично сочетает в своих ритмах музыку диско с музыкой лиричной, задушевной. Интерпретация мелодии О'Джейза «Теперь, когда мы нашли любовь» стоит в ряду лучших танцевальных записей за последнее десятилетие. В «Чувстве решимости» — новом диске группы, также сочетающем в себе разные стили,— слышится призыв к единению ради спасения мира.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ

История «открытия» романа Грэма Грина «Каждый десятый» носит сенсационный и в чем-то даже детективный характер.

В 1983 г. писатель получил письмо из Америки, в котором неизвестное лицо уведомляло его, что Голливуд предложил одному американскому издательству приобрести произведение Грина под названием «Каждый десятый». Грин, по его собственному признанию, с

На снимке: группа регги «Третий мир» в минуты отдыха.

(Газета «Морнинг стар»)

трудом припомнил, что в 40-е годы написал две или три страницы набросков к сценарию под таким заглавием. Так что препятствовать публикации «Каждого десятого» он не собирался. Однако издатель Энтони Блонд, который приобрел права на эту рукопись, прислал Грину текст, поинтересовавшись, не захочет ли он внести в него какие-либо изменения. Грин, как он сам отмечает, с удивлением обнаружил, что «Каждый десятый» — вполне законченное произведение. Перечитав текст, писатель задался вопросом, как могло случиться, что он начисто забыл о существовании романа.

Надо сказать, этот вопрос мучил не только Грина, но и некоторых рецензентов, в частности Кристофера Хиченса из «Таймс литерари сапплмент», который даже осмелился весьма дерзко спросить: «А может быть, автор вовсе не Грин и «Каждый десятый» — мистификация, мастерская подделка под Грина?»

Сомнения развеяла другая, не менее неожиданная находка. Перебирая архив в своей парижской квартире, Грин обнаружил картонную коробку, в которой хранились его дневники, записные книжки, черновики 1937—1940 гг. Листая их, писатель наткнулся на варианты двух своих сценариев, а также следующую запись в записной книжке: «Обсуждал с американским режиссером два наброска к сценарию. В одном — политическая ситуация наподобие испанской. Убивают каждого десятого. Десять человек в тюрьме тянут жребий. Вытащивший самую длинную спичку предлагает большие деньги тому, кто согласится быть расстрелянным вместо него. Один из заключенных идет на это ради благополучия родных. После своего освобождения богач под чужим именем посещает семью убитого, которая владеет теперь всем его состоянием. У него же не осталось ничего, кроме жизни...» Эта запись убедила Грина, что роман написан им самим.

Действие романа происходит во Франции во время войны и в первый год после освобождения. Человеком, купившим себе жизнь, оказывается парижский адвокат Жан-Луи Шавель, который, выйдя из тюрьмы, под чужим именем возвращается к себе в дом, где теперь живут сестра и мать погибшего вместо него юноши.

Этот дом, отмечает рецензент «Нью-Йорк таймс мэгэзин» Джон Винокур, становится ареной, на которой разыгрывается драматическая история. Ценой нравственных страданий герой обретает свое подлинное «я».

«Это вовсе не безделица в наследии крупнейшего писателя современности»,— отмечает обозреватель журнала «Обсервер», но произведение, где автор уже наметил контуры страны, которую в будущем критики назовут «Гринландией».

На снимке: сцена из спектакля «Унтер-офицер и другие». Унтер-офицер — актер Дюла Сомбатхи, советская девушка-солдат — актриса Илдико Баншаги.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ПРЕМИЯ СПЕКТАКЛЮ «УНТЕР-ОФИЦЕР И ДРУГИЕ»

Как сообщила венгерская газета «Мадьяр немзет», специальной премии Столичного Совета в этом году удостоен спектакль Пештского театра по пьесе Имре Добози «Унтер-офицер и другие».

Существуют различные жанровые варианты этого произведения, созданного Имре Добози на основе своего личного опыта — опыта человека, сражавшегося с оружием в руках в далекие теперь 1944—1945 годы на стороне Советской Армии.

Сначала им был написан сценарий, фильм по которому режиссера Мартона Келети венгерская критика и сегодня называет одной из лучших венгерских кинокомедий, затем повесть, а потом уже пьеса, шедшая в свое время в театре города Веспрема.

Известный венгерский режиссер Иштван Хорваи в соавторстве с Жужей Радноти создал по мотивам этих произведений новый сценический вариант пьесы «Унтер-офицер и другие» и осуществил его постановку в Пештском театре.

О чем этот спектакль?

Сам Имре Добози писал, что в этом произведении он попытался не только сказать, что «война — самое бесчеловечное занятие человека», но и выявить то лукавое, озорное начало, которое всегда присутствует в народном характере и помогает выстоять, вынести все невзгоды.

В покинутом хозяином замке вблизи линии фронта волею случая оказываются вместе бывший слуга хозяина замка, унтер-офицер и несколько солдат, дезертировавших из хортистской армии, раненая советская девушка-солдат, рабочий-коммунист, бежавший из штрафного батальона. Это люди разных убеждений, разных взглядов на жизнь. Через столкновение мнений, характеров, как отмечает критик Дёрдь Шаш на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика», и происходит осмысление героями — и зрителями пьесы — исторической судьбы Венгрии.

ГДР

РАССКАЗЫ ГЮНТЕРА РЮККЕРА

Несколько месяцев назад издательство «Ауфбау» выпустило книгу рассказов Гюнтера Рюккера. До сих пор Гюнтер Рюккер был известен как режиссер и автор сценария, радиопьес (о нем см. «ИЛ», 1972, № 3, 6; 1974, № 5; 1981, № 3).

Издательство «Ауфбау» готовит сейчас второй сборник Рюккера «Антон Поппер и другие рассказы». С чтением отрывков из этой книги автор выступил недавно в «Театер им паласт». Мне всегда хотелось попробовать себя в жанре прозы,— сказал Рюккер,— но я долго на это не решался. Начал я с того, что обратился к событиям из жизни моих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Я нашел много интересного в повседневности, которая их окружала, мое внимание привлекли судьбы людей...»

Время действия рассказов — 20-е годы, годы фашизма и войны, послевоенное десятилетие, наши дни.

«Рюккер пишет простым, очень скупым языком, трагические сцены перемежаются с веселыми, ироническими, иногда анекдотическими,— отмечает газета «Нойес Дойчланд».— В отдельных эпизодах автор достигает высокого мастерства, развивая лучшие традиции немецкой классической прозы».

«Писателю удалось передать величие духа «маленьких людей», их чувство достоинства,— пишет рецензент «Берлинер цайтунг»,— Рюккер еще раз показал нам, что о прошлом забывать нельзя, что о нем еще не все сказано, что оно тесно связано с нашей сегодняшней жизнью...»

ПРЕМИИ СВОБОДНЫХ НЕМЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Состоялось присуждение премий Объединения Свободных немецких профсоюзов за 1985 год. Премии в области литературы получили Герман Кант — «за выдающийся вклад в социалистическую литературу Германской Демократической Республики» и Гизела Штайнекерт — «за сборники стихов и сборники песен». Премии в области театрального искусства присуждены известным актерам Эрвину Гешоннеку и Матильде Даннеггер, в области кино — режиссеру Ральфу Кирстену, автору сценария советскому писателю Михаилу Шатрову, актрисе Гудрун Окрас и другим создателям фильма студии ДЕФА «Когда другие молчат» (об этом фильме см. «ИЛ», 1985, № 3).

Премиями отмечен также коллектив, создавший телевизионный фильм «Вторая жизнь Паулины», камерный оркестр «Камерата музыка», композитор Генри Кауфман, ряд народных ансамблей.

Специальной журналистской премией награжден коллектив газеты «Нойес Дойчланд».

ЕГИПЕТ

МОЛЬЕР ЕГИПТА

В Египте вышла книга театроведов Наджвы Ибрахим и Фуада Ануса «Театр Якуба Саннуа». В ней рассказывается о жизни и деятельности видного просветителя, основоположника национального египетского театра и сатирической журналистики Якуба Саннуа (1839—1912).

Саннуа организовал в 1970 г. в Каире театр, где начал ставить на арабском языке комедии собственного сочинения. (До этого в Египте существовали только театры, где иностранные труппы ставили пьесы и оперы на европейских языках, преимущественно на итальянском. Посещали их в основном европейцы.) Всего Саннуа написал 32 комедии, включая пьесы для театра кукол. В них он высмеивал пашей и феодалов, бичевал социальные пороки, невежество, суеверия.

Тогдашний египетский правитель, большой ценитель театра хедив Исмаил повелел именовать Якуба Саннуа Мольером Египта. Однако властитель резко изменил свое отношение к любимцу после того, как тот стал в своих пьесах критиковать его политику. Театр Саннуа был закрыт, а автор попал в немилость.

Перейдя в лагерь оппозиции, Саннуа, в 1877 г. начал издавать сатирическую газету под названием «Абу Наддара заркa» («Человек в синих очках»). Газета резко выступала против политики хедива и его министров и была вскоре закрыта. Эмигрировав во Францию, Саннуа продолжал издавать свою газету в Париже, откуда она тайно доставлялась в арабские страны. Читатели ценили ее за остроумные карикатуры и беспощадную сатиру, направленную против правителей Египта и их зарубежных покровителей.

И хотя о Якубе Саннуа вышло уже немало работ египетских и европейских авторов, книга Н. Ибрахим и Ф. Ануса по-новому освещает некоторые стороны его жизни и деятельности.

ИЗРАИЛЬ

«ЗА КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ»

Газета «Юманите» опубликовала рецензию на новый фильм прогрессивного израильского режиссера Ури Барбаша «За каменными стенами».

В израильской тюрьме «для особо опасных преступников» содержатся евреи и арабы. И политические заключенные и уголовники. Один из двух главных героев фильма, по имени Ури (артист Арнон Цадоки — еврей-уголовник, другой — Исам (артист Мухаммед Бакри) — палестинский араб, политический заключенный. Рядом с ними в тюрьме люди с разным прошлым, с непохожими характерами: израильский парашютист Асаф, осужденный за попытку установить мирный контакт с «неприятелем», молодой наркоман Дорон по прозвищу Соловей, мечтающий принять участие в «фестивале песни», устраиваемом тюремным начальством.

Как пишет автор рецензии, кинокритик Жиль Ле Морван, Ури Барбаш не стремился в своем фильме к «всестороннему политическому и стратегическому анализу» арабо-израильского конфликта. «Мы пытались исследовать,— говорит режиссер,— сложные взаимоотношения между «врагами». Борясь с предрассудками и расизмом, мы стремились показать, как дружба, любовь и сострадание могут проложить себе дорогу даже в тюремные застенки».

Вначале главные герои фильма Ури и Исам обвиняют друг друга в терроризме, но затем, сполна испытав на себе насилие и произвол тюремщиков, начинают понимать, кто их главный враг. Этого общего врага в тюрьме олицетворяет израильский офицер органов безопасности, действующий по принципу «разделяй и властвуй».

Фильм «За каменными стенами» был удостоен Международной премии критики на кинофестивале в Венеции.

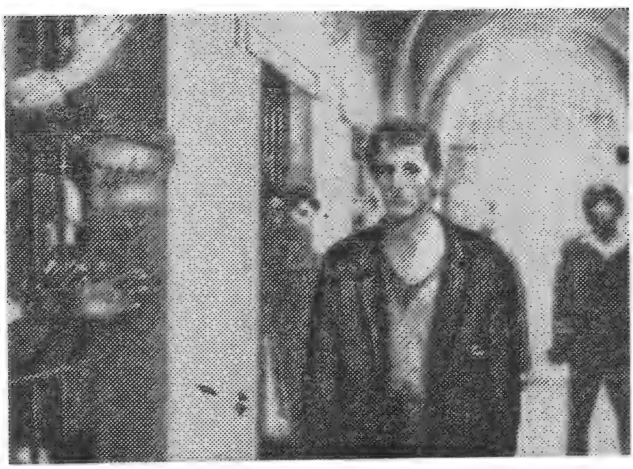
ИНДИЯ

«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ХИНДИ»

Под таким названием в Дели на языке хинди вышла книга статей советского индолога Александра Сенкевича, освещающая характерные тенденции в развитии литературы хинди последних десятилетий. Исследователь сосредоточивает внимание главным образом на творчестве ведущих писателей нового поколения, которые вышли на авансцену литературной жизни уже в

На снимке: кадр из фильма «За каменными стенами». Палестинского патриота Исама (артист М. Бакри), сопровождаемого израильским охранником, приветствуют заключенные — арабы и евреи.

(Газета «Юманите»)



годы независимого развития страны. Среди них — Г. И. Муктибодх, Сарвешвар Даял Саксена, Рагхувир Сахай, Шрикант Варма, Камалешвар и другие. Те изменения, которые происходят в литературе хинди — обращение к новым проблемам, поиск новых средств художественной выразительности, наиболее заметны, по мнению автора, в творчестве представителей «новой поэзии».

Преимущественное внимание исследователя к поэзии закономерно: в индийской литературе поэзия традиционно считается самым развитым жанром. Термин «новая поэзия», пишет Сенкевич, применим не только к литературе Индии, но и к современным литературам других развивающихся стран — Ирана, арабских стран, Непала, Бангладеш. «Новая поэзия» отражает происходящий в этих странах процесс творческого освоения современной зарубежной культуры, своего рода «интернационализацию» тем и средств выражения.

Как пишет автор предисловия к индийскому изданию книги, известный писатель и литературовед Ганга Прасад Вимал, «советскому исследователю удалось аргументированно, с хорошим знанием предмета осветить многие сложные явления литературной жизни современной Индии, удалось проникнуть в суть явлений, скрытых от поверхностного взгляда». «В отличие от западных исследователей,— подчеркивает Ганга Прасад Вимал,— все еще продолжающих отдавать предпочтение произведениям древней индийской литературы, советские индологи стремятся понять динамику развития жизни современной Индии». Ганга Прасад Вимал считает должным отметить огромный вклад советских ученых в развитие зарубежной индологии на современном этапе. «То, что сделали ученые Советского Союза для изучения Индии XX века, не сделано ни в одной другой стране. О большом интересе к современной Индии можно судить не только по трудам ученых, но и по многочисленным переводам индийской художественной литературы в СССР».

ИТАЛИЯ

«МАЛЕНЬКИЕ ХРОНИКИ»

Выпущена сотая книга серии «Память». Это — «Маленькие хроники» Леонардо Шаши, который в 1979 году и положил начало серии своей книжкой «На стороне неверных».

«Маленькие хроники»,— замечает в «Коррьера делла сера» Джулио Нашимбене,— только на первый взгляд контрастируют с появившейся несколькими месяцами раньше книгой этого же автора «Глаз козы»; та была посвящена пословицам, загадкам, обычаям родного Ракальмуто, здесь Шаша пытается дать объяснение таинственным событиям, случившимся в весьма отдаленных местах и в давние времена, но в обеих книгах речь идет о том, что «большой мир» обычно обходит вниманием».

Пространственный и временной диапазон семи маленьких хроник широк: тут и история одержимого еретика дона Мариано Крешимано, и рассказ о деяниях кузена Наполеона III Пьетро Бонапарта, послужившего прототипом для героя романа Стендаля «Пармская обитель» Фабрицио дель Донго, и исповедь пиночетовского шпиона, в прошлом социалиста...

При создании всех этих хроник писателя каждый раз привлекала какая-нибудь неточность или недоговоренность в изложении вычитанных им из книг или периодики фактов. Больше всего Шашу увлекают случаи «раздвоения» личности, совмещения ролей. После тщательного изучения архивного материала писатель выдвигает собственную версию событий.

Заключительная маленькая хроника посвящена любимому писателю Шаши Хорхе Луису Борхесу. В ее основу положена перепечатанная парижской газетой «Монд» заметка одного аргентинского журналиста о том, что все произведения Борхеса созданы группой мистификаторов, среди которых друг и неоднократный соавтор Борхеса, известный аргентинский писатель Адольфо Бьой Касарес... «Не является ли это выдержанное в «борхесианском» духе загадочное сообщение выдумкой самого Борхеса, так настоятельно просившего, чтобы о нем забыли?» — спрашивает Шаша.

«Сицилийский писатель, известный как страстный исследователь хроник,— пишет в еженедельнике «Панорама» Франко Маркоальди,— вновь доказывает, что реконструкция даже самых незначительных и забытых фактов является почвой, на которой может взрасти увлекательнейший художественный вымысел».

КАНАДА

«УБИЙСТВО В ТЕМНОТЕ»

Так называется новая книга Маргарет Этвуд, завоевавшей признание отечественного и зарубежного читателя своими романами, сборниками стихов, рассказов, критических эссе. Сейчас в издательстве «Радуга» готовится том избранных произведений Маргарет Этвуд.

Небольшая по объему новая книжка виднейшей канадской писательницы, несмотря на столь интригующее откровенно детективное название, не имеет ни малейшего отношения к криминалистике; в ней собраны миниатюры — автобиографические зарисовки, мини-новеллы, стихи в прозе, фельетоны... Это, как пишет издатель книги, седьмое по счету прозаическое или десятое по счету поэтическое произведение — считайте, как вам будет угодно, это вовсе не сборник разнородных, самостоятельных вещей, а нечто цельное, чрезвычайно своеобразное и чрезвычайно поэтическое. В «Убийстве в темноте» ощущается не столько полифония жанра, сколько полифония чувств и мыслей Маргарет Этвуд, что, в сущности, позволяет принимать эту книгу как исповедь писательницы: сладостные и горькие воспоминания о детстве, юности, первой влюбленности, сатирические новеллы — советы начинающим и писательницам-женщинам, аллегорические стихи-размышления об изначальном и главном. Почему же, удивится читатель, книга названа «Убийство в темноте»? Да потому что, когда Маргарет ходила в пятый класс и была влюблена в мальчика Билла, а он — как это водится! — в Луизу, они любили забираться в подвал огромного дома, принадлежащего родителям Луизы, и играть в «убийцу в темноте», попросту в жмурки.

МОНГОЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

Монгольская общественность широко отметила 70-летие со дня рождения видного государственного деятеля, известного ученого и писателя Дондогийна Цэвэгмида.

За более чем полувековую творческую деятельность Д. Цэвэгмид внес большой вклад в воспитание многих поколений литераторов и читателей. Он принимал непосредственное участие в осуществлении культурных преобразований в Монголии в 20-е годы. Перу писателя принадлежат ставшие классикой современной монгольской литературы поэма «На могиле», рассказы «Болд и Самбу», «Пастух Найдан», сказка в стихах «Алагдай», путевые заметки «В Заалтайской Гоби», романы «Пять лет спустя» и «Первый учитель», многие другие произведения. Рассказы писателя неоднократно переводились на русский язык. В «ИЛ», 1984, № 3 были опубликованы «Крик улара» и «Гнездо ягнятника».

Дондогийн Цэвэгмид — доктор биологических наук, заместитель председателя Совета Министров МНР.

За активную, плодотворную деятельность Д. Цэвэгмиду присвоено звание заслуженного учителя МНР, он награжден двумя орденами Сухэ-Батора, орденом Трудового Красного Знамени, болгарским орденом «Кирилл и Мефодий». Всемирный Совет Мира присудил ему Золотую медаль имени Жолио Кюри.

Вышедший в 1983 г. роман Д. Цэвэгмида «Первый учитель» повествует о становлении системы народного образования в Монголии в первые годы народной власти. Главная героиня Амаржаргал — бедная девушка-батрачка — прошла все круги феодального ада: гнет местных нойонов, пытки белобандитов Унгерна, разгул жестокости и бандитизма иноземных агрессоров. Революция принесла ей свободу и возможность учиться и учить других.

Роман Д. Цэвэгмида «Первый учитель» пользуется популярностью у монгольских читателей, он высоко оценен критикой.

НОРВЕГИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТАТЬИ ЮХАНА БОРГЕНА

Вдова выдающегося норвежского писателя Юхана Боргена продолжает работу над литературным наследием своего покойного мужа. Недавно норвежское издательство «Гюльдендаль» выпустило сборник: «Юхан Борген. Четыре лекции» в обрамлении Анны-Марты Борген. Обрамление представляет собой интересный биографический комментарий, добавляющий новые штрихи к портрету писателя.

Как известно, Борген был не только выдающимся писателем-беллетристом, драматургом, журналистом, но и видным критиком, теоретиком и исследователем литературы. О трудолюбии Боргена ходили легенды. Борген пристально следил за развитием литературного процесса в Норвегии и во многих других странах. Его перу принадлежит огромное количество статей об общих проблемах искусства (в том числе изобразительного), о психологии творчества, об отдельных писателях. Он много и регулярно выступал по радио и телевидению, кроме того, совершил лекционное турне по северной Норвегии. В книгу, изданную Анной-Мартой Борген, вошло несколько этих лекций, текст которых ранее не публиковался.

Юхан Борген был замечательным рассказчиком, всегда находившим контакт со своими слушателями. Ему органически был присущ дар перевоплощения. «Театр одного актера самого высокого класса», «Борген буквально завораживает, гипнотизирует публику», «Как много значит он для нас, молодежи» — эти восторженные отклики на выступления писателя приводятся в книге вдовой писателя. Темы прочитанных им во время турне лекций разнообразны, Борген говорит в них о природе художественного творчества, о роли воображения, фантазии, иронии, многоликости авторского «я». Он говорит о многообразии художественных средств, выработанных современным искусством, но главным считает опору на традицию, на народное искусство. Одна из его лекций — «Неиссякаемое богатство норвежских сказок» — посвящена творчеству норвежских фольклористов П. Асбьёрнсона и Й. Му.

На снимке: Юхан Борген выступает в зале университета Осло перед студентами и преподавателями.

(Из книги «Юхан Борген. Четыре лекции»)

ПОРТУГАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН БАПТИШТЫ БАШТУША

Вышел новый роман известного португальского писателя и журналиста Баптишты Баштуша «Размышления над пустым гробом». В интервью, данном газете «Жорнал даш летраш, артеш и идейаш», писатель сказал, что в своем творчестве он следует португальской культурно-литературной традиции. Среди наиболее близких ему по духу писателей он назвал Карлуша де Оливейру, Мануэла да Фонсеку, Жозе Сарамагу — крупнейших представителей португальского неореализма. О себе писатель говорит: «Я думаю по-португальски, пишу по-португальски и ставлю те вопросы, которые волнуют португальцев».

«Размышления над пустым гробом» — это история военного левых убеждений, который видит, как после Апрельской революции 1974 г. рушатся его надежды на радикальные изменения в стране. В своих размышлениях герой-рассказчик (роман написан от первого лица) неизменно обращается и к периоду фашизма и к событиям 1975 г., когда пути развития страны окончательно определились. По мнению автора статьи в газете «Эшпрессу», писатель ищет историческое объяснение избранного Португалией пути развития, истоки крушения надежд на быстрые изменения в структуре португальского общества.

Герой романа «Размышления над пустым гробом» воплощает в себе обобщенный образ поколения, подготовившего и осуществившего революционный переворот. И теперь, спустя несколько лет после революции, он анализирует и критикует политическую практику левых сил. Но критика эта не отречение от прежних убеждений; герой ощущает свою непосредственную причастность к общему делу борьбы и сам осуждает себя за совершенные ошибки. «Это критика моей собственной жизни и моих прежних книг»,—сказал о своем романе Баптишта Баштуш. «Смелой и честной книгой» назвал «Размышления над пустым гробом» рецензент «Эшпрессу».

Название романа, по мнению автора рецензии, может быть истолковано двояко: это напоминание о смерти, плач по неудавшейся революции и разбитым надеждам, но гроб все-таки пуст, значит, трупа и самой смерти не было, революция не погибла. И «Размышления» воспринимаются как «заклятие против смерти», «искупление» совершенных ошибок.

«Жорнал даш летраш» назвал «Размышления над пустым гробом» «одним из самых нежных и суровых, острых, сдержанных романов в современной португальской литературе и «лучшим романом о жизни португальца после революции».

США

«ПОМЕХИ» ДОНА ДЕЛИЛЛО

«Помехи» — восьмой роман известного американского прозаика Дона Делилло, но первый, который вызвал столь большой интерес прессы. В основе сюжета — катастрофа на химическом комбинате в небольшом городе на Среднем Западе, потребовавшая срочной эвакуации всего населения, включая и семейство главного героя, преподавателя истории в местном колледже.

Молодая американская писательница Джейн Энн Фил-

липс, откликнувшаяся на выход книги рецензией в «Нью-Йорк таймс бук ревью», пишет, что читателю трудно освободиться от прямых ассоциаций с недавней катастрофой на заводе в Индии, принадлежавшем американскому концерну. Роман Делилло написан раньше, но сама жизнь подтвердила актуальность его сюжета.

Экстремальная ситуация для автора книги не самоценна. «Помехи» — многоплановый роман. Главный герой Джек Глэдни, от лица которого ведется повествование, возглавляет у себя в колледже «отделение гитлеровских штудий». Циничный интеллектуал, зорко видящий разнообразные пороки окружающего мира, он не пытается что-либо исправить, занятия историей фашизма убедили его в том, что толпой чрезвычайно легко манипулировать, заражая ее самыми бредовыми идеями. И в Америке все это может легко повториться, считает герой, так как Америка — «то место, где никто ни за что не отвечает и никто ничего не контролирует, все — простые пешки, пассивные потребители, и только».

Такая характеристика вполне приложима и к запущенному дому самого Джека Глэдни, где обитает его странное семейство. Жена профессора обходит дома слепых и читает им вслух газеты. Четырнадцатилетний сын Генрих переписывается с пожизненно осужденным преступником, с которым познакомился через шахматный клуб — они играют по переписке. Одиннадцатилетняя дочь бунтует против родителей. Но для героя все эти странности — благо, ибо более всего он не выносит того, что именует приверженностью группе, стадностью.

«Помехи» в романе, по мнению рецензента, — это прежде всего бесчувственность, омертвелость сознания типичного сегодняшнего американца, одержимость заведомо антигуманными идеями и настроениями «Помехи» — это и шум автомобилей, и вой магнитофонов с записями популярных певцов, и бормотание с телеэкрана, и множество других продуктов «массовой культуры» со всеми ее эрзац-ценностями. Эта книга, считает Джейн Энн Филлипс, прежде всего — о «потребительстве, ставшем культом». Даже грязное облако газа Ниодин-Д, нависающее над городом, не может поколебать какой-то тупой убежденности его жителей, что жизнь все равно остается своего рода супермаркетом, где продаются роскошные вещи.

Джейн Энн Филлипс пишет, что суть романа — процесс постижения правды, от которой главные герои и их окружение себя оберегают разного рода мифами, преимущественно потребительского толка. Завершая рецензию, она пишет: «Роман не предлагает ответов, но он ставит вопросы, от которых никуда не уйти, и сделано это с подкупающим мастерством».

ТУНИС

«АМИНА»

Издательство «Дар аль-калам» выпустило роман писательницы Закии Абд аль-Кадер «Амина» (так зовут главную героиню). Как отмечает обозреватель журнала «Альхаят ас-санафийя», это первый роман на арабском языке, опубликованный тунисской писательницей.

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

В том же издательстве опубликована книга «Проблемы современной арабской культуры». Автор книги — Мухиддин Сабир, известный суданский поэт, занимающий в настоящее время пост директора Арабской организации по вопросам образования, культуры и науки при Лиге арабских стран (АЛЕКСО). Как сообщает журнал «ИБЛА», в семи главах этого исследования рассматриваются вопросы «арабской культурной стратегии, арабизации, высшего образования, распространения арабского языка за границей, арабо-европейских культурных связей, исторического значения арабской цивилизации».

ФИНЛЯНДИЯ

МАЛЕР В ФИНЛЯНДИИ

В декабре прошлого года в Париже вышла последняя часть трилогии Анри-Луи Де Ла Гранжа об австрийском композиторе и дирижере Густаве Малере. Ей присужден «Гран-при» по критике. Две предыдущие книги — «К славе» и «Золотой век Вены» — рассказали о периодах 1860—1900 и 1900—1907 гг. Третья книга — «Гений, пораженный молнией» — о последних годах жизни Малера.

На выход книги в свет откликнулись финские газеты.

«После той гигантской исследовательской работы, которую проделал автор трилогии, трудно представить, что можно найти еще что-то новое о Малере», — пишет газета «Хельсингин саномат». Далее автор рецензии отмечает, что писатель уделяет большое внимание и личной жизни композитора, и его концертным поездкам. Не забыт и такой, казалось бы, скромный эпизод, как поездка Малера в Финляндию. Де Ла Гранж удачно воссоздает культурную жизнь Хельсинки начала XX века. Он рассказывает об отношениях Малера и Сибелиуса, пишет о том восхищении, которое вызвало у композитора искусство известного финского художника, друга А. М. Горького, Акселя Галлена-Каллелы: меньше чем за полчаса он написал удивительно живой

Аксель Галлен-Каллела. Портрет Густава Малера.

(Газета «Хельсингин саномат»)

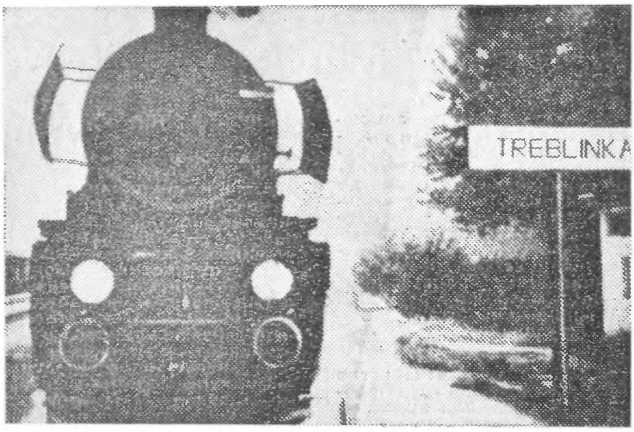
портрет Малера. Этот портрет занимал почетное место на выставке, посвященной Малеру, которая состоялась в Париже в начале этого года.

«Де Ла Гранж создал самое полное и масштабное описание жизни Малера на сегодняшний день», — заключает «Хельсингин саномат».

ФРАНЦИЯ

ПРИГОВОР ФАШИЗМУ

Десять лет посвятил французский режиссер-документалист Клод Ланцманн работе над фильмом «Уничтожение», где собрал живые свидетельства бывших узников концлагерей, а также самих нацистов и других очевидцев и комментаторов страшных событий, отсняв 350-часовой материал. Даже по сравнению с известными лентами о лагерях смерти, пишет обозреватель журнала «Нувель обсерватёр» Клод Руа, это уникальный фильм, ибо в нем чувствуется дыхание истории. Нет ни кадров военной хроники, ни прямого показа ужасов лагерного бытия, но тем сильнее выступает в своей наготе неприкрашенная правда. В течение девяти с половиной часов экранного времени герои — заключенные и палачи, — возвращаясь в ад, представляют невыносимые подробности на суд зрителей. По мнению Клода Руа, фильм напоминает фугу Баха: каждую отдельную тему развивают несколько голосов, давая в сложном контрапункте все новые ее вариации. Диалог с режиссером, остающимся за кадром, ведут и участник освенцимского Сопротивления Урба, и самоуверенный эсэсовец



На снимке: кадр из фильма — вокзал в Треблинке. Сюда приходили «составы смерти».

(Газета «Нувель обсерватёр»)

Франц Зухомель, «парикмахер» газовой камеры Авраам Бомба и американский историк Рауль Хилберг, старый поляк-крестьянин и машинист, водивший в Треблинку «составы смерти»...

«Нет, не воспоминания послужили основой фильма,— подчеркивает Клод Ланцманн в одном из интервью.— Воспоминания ненадежны, невосстановимы, бесформенны. Моя задача заключалась в другом: я должен был поставить людей в такие обстоятельства, чтобы они заново пережили прошлое. Пережили, а не вспомнили... Такова цена правды. Эту правду я и хотел передать».

Парижское издательство «Фейяр» готовит литературный вариант «Уничтожения» — фильма, ставшего документом, обвиняющим фашизм.

ЮГОСЛАВИЯ

«ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ» — ГРЕЧЕСКОМУ ПОЭТУ Я. РИЦОСУ

«Золотой венец» — международная литературная премия Стружских вечеров поэзии, поэтического форума, проводящегося ежегодно на берегу Охридского озера в Македонии, в Струге,— в этом году единогласно присуждена греческому поэту Яннису Рицосу.

За пятьдесят лет творческой деятельности поэтом опубликовано около восьмидесяти сборников стихов, его произведения издавались в переводах более чем на тридцати языках народов мира.

В решении Совета Стружских вечеров поэзии отмечается не только большой вклад Рицоса в развитие мировой поэзии. но и его политическая, революционная деятельность, борьба против монархо-фашистских и военных диктатур, вдохновлявшая его на создание подлинных шедевров поэзии.

Яннис Рицос направил в адрес Стружских вечеров послание, в котором, в частности, говорится: «... для меня поэзия столь же безгранична, как и сама жизнь с ее прошлым, настоящим и будущим, для человека всегда было характерно стремление к самосохранению и продолжению рода, то есть к любви и постоянству».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 16.08.85. Подписано в печать 15.10.85. А 07315. Формат 70×108$^1/_{16}$. Высокая печать. Бумага кн. журн. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. 26,554.

Тираж 405 000 экз. Зак. 3122.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Оплакивание.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394